

*В чрево матери птица меня принесла,
В некий день я рожден на углу Госпитальной.
В этом доме, где некогда баня была,
Где за баней ютился дом синагогальный.
Там петух ковылял, и собака плелась,
И индюк, гоготавший, расплескивал грязь.
Я любил зацветавшие щели молелен –
В них торчал липкий мох – омертвелая зелень.
Но я рос. Тают годы, как в оттепель снег.
Мох ободран, петух был на Пасху зарезан.
Но люблю этот дом, где был начат мой век.
Ах, не там ли я зачат, рожден и обрезан?
Да и как мне забыть мой родной Хаджибей,
Берега Ланжерона меж мыльных зыбей,
И не я ль неуклонно, закинутый, помню
Слободу, Бугаевку и каменоломню...*

Петух



Семен Гехт

Избранное

Стихотворения

Проза

Воспоминания

Одесса
2008

ББК

Г

УДК

Гехт, Семен Григорьевич

Г Избранное // Сост., авт. вступ. ст., коммент. А. Л. Яворская. –
Одесса, 2008. – 432 с.: ил.
ISBN

В книге впервые собраны ранние стихи, рассказы, очерки и переводы Семена Гехта (1901-1963). Публикуются также его письма и воспоминания современников. Все это дает представление о творчестве и судьбе несправедливо забытого писателя.

Книга издана при содействии Евгения Калининского (США)

Составитель благодарит за помощь в работе над книгой *С.З. Луцicka, М.Р. Бельского, А.И. Ильф, Н.Н. Панасенко, Л.М. Рукмана, А.Ю. Розенбойма, Е.А. Каракину, сотрудников ОГНБ им. М. Горького О.М. Барковскую и Т.В. Щурову, сотрудников ГАОО Л.Г. Белоусову и В.К. Сичкаренко, сотрудников отдела изофондов Московского литературного музея Л.К. Алексееву и Л.А. Хлюстову, А.Ю. Галушкина (Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Москва), директора ОЛМ Т.И. Липтугу и сотрудников отдела фондов ОЛМ Е.С. Черненко, Н.Е. Михайлову, Э.П. Насонову, Е.А. Шабельскую.*

Фотографии из фондов ОЛМ,
а также предоставленные Московским литературным музеем
и А. Е. Парнисом (Москва)

На фронтисписе:

С. Гехт. Москва. Конец 1920-х. Из фондов Московского литературного музея

ISBN

© А.Л. Яворская, составление, статья, 2008

© ОЛМ, 2008

© Н.С. Луцтик, оригинал-макет, 2008

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Письмо К. Паустовского в Гослитиздат

Глубокоуважаемый Александр Васильевич!

Обращаюсь к Вам в связи с литературным наследством писателя Семёна Григорьевича ГЕХТА, умершего в 1963 году.

Гехт был одним из зачинателей советской литературы на юге страны вместе с группой молодых писателей – Катаевым, Олешей, Ильфом, Багрицким, Евгением Петровым, Бабелем, Славиным и другими.

Гехт был писателем большого дарования, мужества и чистоты.

Литературное наследство его не очень обширно, но очень значительно и ценно. До сих пор Гехт не оценен в полной мере, как он того заслуживает. Я позволю, чтобы не повторяться, привести здесь ту характеристику Гехта, какую я дал ему в одной из глав своей повести «Книга скитаний» («Новый мир» № 11 и 12 за 1964 год).

«Есть люди, без которых невозможно представить себе настоящую литературу и литературную жизнь. Есть люди, которые, независимо от того, много или мало они написали, являются писателями по самой своей сути, по “составу крови”, по огромной заинтересованности всем окружающим, по остроте и образности мысли. У таких людей жизнь связана с литературой и писательской работой непрерывно и навсегда. Таким человеком и писателем и был Гехт».

Гехт писал сочно и лаконично. Наличие некоей строгой и взыскательной доброты было характерно для его вещей, так же, как и наличие огромной его заинтересованности в окружающей писателя «быстротекущей» жизни. Гехт принадлежит к тем писателям, книги которых бесспорно требуют переиздания. В области переиздания Гослитиздат выполняет великую миссию сохранения всего ценного, что накоплено нашей социалистической литературой. Мы не вправе ничего забывать, ни терять, – ни одной крупинки из сокровищницы нашей советской прозы и поэзии.

Поэтому я, как один из членов комиссии по литературному наследству Гехта, вместе с остальными членами комиссии обращаюсь к Вам с предложением выпустить в свет двухтомник произведений С. Г. Гехта.

Уважающий Вас К. Паустовский.

Барвиха. 10 мая 1964 г.

Алена ЯВОРСКАЯ

«Грустный Еврейский Художественный Текст»

*Не быть челом веку своему,
А быть челом века своего,
Быть человеком.*
С. Парнок

В знаменитой южнорусской литературной школе слишком много талантов. И на фоне Исаака Бабеля, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Валентина Катаева, Юрия Олеши иные словно бы незаметны. В другой ситуации и они могли бы стать известными, но теперь в лучшем случае о них вспоминают современники. И яркая вспышка юного таланта, столь много обещавшая, теряется во времени. Так забыли и о талантливом писателе и достойном человеке (а ведь это далеко не всегда совпадает), которого называли в середине двадцатых учеником и последователем Бабеля.

Семен Григорьевич Гехт не вошел в число звезд первой величины одесской школы. В середине шестидесятых годов его друг, писатель Сергей Бондарин разделил «южнорусских» в своей шуточной табели о рангах так: «старшее поколение – классики и полуклассики <...>, второе поколение – полуклассики, натретьклассики, четвертьклассики <...>, третье – классики будущего <...>»¹. Гехта и себя он отнес ко второму поколению. Компания была вполне приличная: Илья Зильберштейн, Евгений Петров, Семен Липкин, Татьяна Тэсс, Илья Френкель, Аркадий Штейнберг, Арсений Тарковский.

Гехта упоминают литературные словари², но все же имя и творчество его сегодня практически неизвестно. Биография, опубликованная в литературных энциклопедиях, при ближайшем рассмотрении грешит многими неточностями. Вызывает сомнение многое – дата первой публикации, более того, дата и место рождения писателя, его настоящее имя. Нет и полного перечня книг.

Согласно справочникам, «Семен Григорьевич Гехт родился 14 (27) марта 1903 года в Одессе»³. Подпись под первой публикацией – в 1912 году –

«С. Гехт», в одесской прессе 1922-1923 годов его называют «Соломон». В справке МВД СССР об освобождении из лагеря сказано: «Выдана Гехту Аврааму Гершевичу (он же Семен Григорьевич)». На допросе в НКГБ Гехт объяснил такое разночтение: «По старой еврейской традиции, если кто-либо из детей заболит, ему дополнительно давалось новое имя. Таким образом, у меня с детства – два имени: Авраам и Семен»⁴.

Дата рождения – 14 марта (по старому стилю) 1903 года. Но в метрической книге одесского раввина о рождении за указанное число запись о рождении Авраама (или Семена) Гехта отсутствует⁵. Ребенок с таким именем и фамилией не зарегистрирован в книгах за 1900-1904 годы. Следовательно, вызывает сомнение и то, что родился он в Одессе.

Со слов внучатой племянницы Гехта Ф. Л. Раскиной известно, что, по семейным рассказам, Гехт родился в конце 1900-го – начале 1901 года, после гибели родителей воспитывался в семье старшего брата⁶. Есть и еще одна версия: «во время еврейского погрома были убиты его родители, а его самого погромщики выбросили из окна»⁷. Список погибших во время погрома 1905 года в Одессе занимает в книге одесского раввина об умерших 23 листа⁸. Но записи о смерти отца и матери Гехта там нет. Позднее на допросе он скажет, что отец умер в 1917 году. И действительно, в книге раввина есть запись об умершем 23 марта 1917 от эмфиземы легких гайсинском мещанине Герше Лейбове Гехте.⁹

О детстве Гехта практически ничего не известно. По семейным воспоминаниям, он был замкнут, немногословен, очень любил читать. Часто уединялся и писал стихи¹⁰.

Принято считать, что впервые стихи его были опубликованы в январе 1922 года. В действительности дату необходимо сместить на десять лет. Отметим, что одна из особенностей творчества Гехта – то, что рассказы, написанные и в начале 30-х, и в конце 50-х, содержат реальные факты биографии писателя.

«...Я написал стихотворение и, по совету взрослых, послал его в редакцию детского журнала. <...> Недели через две я увидел свое стихотворение опубликованным. Ну, уж тут руки зачесались всюду, буквально не сходя с места, написал я еще стишок <...>. Увы, в следующем номере я стихов уже не нашел. Школьный товарищ посоветовал: “Загляни в ”Почтовый ящик”. Фамилию свою я нашел в “Почтовом ящике” сразу» («В гостях у молодежи»)¹¹.

К немалому удивлению, обнаружился тот самый детский журнал. «Детство и отрочество. Литературно-художественный, с научным отделом двухнедельный журнал для детей» выходил в Одессе в 1912-1913 годах. В отделах «Страничка наших читателей» и «Забавы и развлечения» публиковались стихи, рассказы, шарады и загадки юных читателей. Как правило, публикацию сопровождал в том же номере ответ редакции автору в разделе «Почтовый ящик».

В октябре 1912-го «Забавы и развлечения» помещают шараду:

Звериное рычание будет первый слог;
 Целого окончание – простой предлог;
 Целое ж без крови не обходится никогда;
 Это спор двух народов, вражда.
 [Отгадка – война]

*С. Гехт, 12 лет*¹²

Четверостишие можно считать литературным дебютом Гехта: в журнале при первой публикации обязательно указывался возраст автора, при последующих – просто фамилия. (Это подтверждает, что год рождения юного поэта – не 1903, а 1900 или 1901). В «Почтовом ящике» ответ редакции: «С. Гехту, 12 лет. Стихотворение Ваше не подходит. Шараду поместим. Тщательно работайте над стихотворениями и присылайте: может быть, будет удачнее»¹³. И наконец, опубликовано стихотворение «Тоска»¹⁴.

В одной из первых биографий Гехта сказано: «...получил среднее образование. Долгое время работал “мальчиком” при типографии»¹⁵. Место учебы и работы никогда не уточнялось. И вновь обратимся к художественным текстам. «Мы же учились <...> в Свечном училище. Оно называлось вторым казенным. Здесь проходили краткий курс практических наук, готовили конторщиков и бухгалтеров. Училище существовало на деньги свечного сбора («Пароход идет в Яффу и обратно»)»¹⁶ – это об учебе. О работе: «Когда мне было пятнадцать лет, в Петербурге убили Распутина. Я работал тогда в экспедиции одной крупной либеральной газеты. Она приносила большой доход. В городе любили острые статьи известного социал-демократа Якова Тулупника. Дивиденды получали семь акционеров. Одним из них была известная певица Иза Кремер, жадная и злая женщина. <...> нас было двенадцать подростков-фальцовщиков» («Соня Тулупник»)»¹⁷.

В тексте далее указано отчество Тулупника – Моисеевич. Бессспорно, имеется в виду одна из ведущих газет того времени – «Одесские новости» – и ее редактор Израиль Моисеевич Хейфец, журналист и

театральный критик. Одесские мемуаристы сообщали, что его женой была популярная поэтесса и певица Иза Кремер. (Вновь получает косвенное подтверждение дата рождения: Распутина убили в 1916-м, следовательно, герой – и автор – родился в 1901 году).

После работы рассыльным в типографии он стал наборщиком. «Пришел задумчивый пролетарий Гехт в кожаной куртке наборщика, папахивающей свинцом»¹⁸.

О жизни во время гражданской войны ничего не известно – не сохранилось ни документов, ни семейных воспоминаний. Можно лишь догадываться о пережитом по одной строчке из письма Гехта 1923 года: «Мне сейчас очень грустно – ей-богу! – мне, таскавшему мертвецов, жарившему ежей, горькому сироте»¹⁹.

22 января 1922 на первой странице газеты «Известия Одесского губисполкома и губкома КП(б)У» было напечатано стихотворение С. Гехта «9 января».

Следующее появится только через семь месяцев. Этот разрыв можно истолковать с помощью семейной легенды. Согласно ей, Семен уехал в Москву еще в 1919 году на крыше поезда. В цитировавшемся выше рассказе «В гостях у молодежи» герой уезжает из Одессы в Винницу (весной или летом 1922-го) в надежде найти работу. Вновь в Одессе он появляется только осенью.

«Темной дождливой ночью возвращался я в город, где меня никто не ждал, без видов на пропитание. Дождь сечет, пузырьки на окнах, голодно, и стал я в мыслях составлять стихотворение насчет дождя, пузырьков и пустоты желудка»²⁰. Эта поездка объясняет и семейную легенду, и то, что стихи Гехта впервые были опубликованы в январе, а знакомство с одесскими литераторами состоялось лишь осенью того же года.

Стихотворение, о котором он вспоминал, «Льют дожди беспрерывно...», появилось в газете «Известия» 29 октября 1922 года²¹.

В редакции газеты Гехт встречается с Багрицким, ставшим его наставником и другом. «Я познакомился с Эдуардом в конце 1922 года, когда он жил в Лермонтовском переулке. Его близкие друзья – С. Бондарин, Е. Голованевская, Т. Лишина – помогли ему перебраться в более приличную комнату»²². «Я прижился у Багрицкого, всюду его сопровождал. <...> У классического бедняка Эдуарда Багрицкого всегда жил какой-нибудь нахлебник. В то время у него нахлебничал я»²³.

Багрицкий познакомил его с молодыми поэтами, один из них – Сергей Бондарин стал близким другом Гехта. Бондарин писал о том времени:

«... Все было тогда, все начиналось, все возносилось – и тогда же мы встретились с Женей, с Генриеттой»²⁴. Дружба писателей продолжалась до последних дней, и в судьбах их много общего. Оба начинали с поэзии, а затем – Гехт раньше, а Бондарин позже – стали прозаиками. Семен Гехт в 1923 был влюблен в молодую художницу Женю-Генриетту Адлер, а женился на ней Сергей Бондарин в 1931 году. Да и арестовали друзей – Бондарина раньше, а Гехта позже – весной 1944. Но все это впереди. А пока что фамилия Гехта регулярно появляется в сообщениях о литературной жизни города. «Известия» 9 декабря 1922: «В выходящем на днях первом номере журнала “Силуэты” печатаются рассказы, стихи, статьи и фельетоны – <...> И. Бабеля, Эд. Багрицкого, Н. [так в тексте – А. Я.] Гехта»²⁵.

Гехт, как и многие начинающие писатели, посещал литературную организацию «Потоки Октября», неофициальным лидером которой в конце 1922-го стал Э. Багрицкий.

«В те дни одесские литераторы собирались в железнодорожном клубе на Степовой улице.

По субботам читали сами, по средам обсуждали произведения какого-нибудь московского поэта или классика. <...> В полночь мы расходились по домам, и Эдуард шел, провожаемый мною, через весь город, ежась от холода»²⁶. «В кружке этом я познакомился осенью 1922 года со всеми одесскими литераторами того времени»²⁷.

13 декабря «Известия» сообщают: «Сегодня состоится очередной 68-й вечер у потоковцев. Прочтут свои произведения: <...> Соломон Гехт – рассказ “Гипнотизер”; ...Эдуард Багрицкий – отрывки из поэмы “Летучий голландец”»²⁸. Это первое упоминание о прозаическом произведении Гехта.

В «Известиях» появляется и первый отзыв о творчестве молодого поэта: «Наибольшего внимания из читавших на последних заседаниях [«Потоков Октября»] заслуживает, несомненно, молодой поэт С. Гехт. Прочитанные им новые стихи являются образными, художественно замыкающими картины и мысли, и лучшее его стихотворение “Быль” поражает своей простой “лирикой обыденщины”»²⁹. Возможно, речь идет о стихотворении «Бытие»³⁰. На первый взгляд, оно перекликается со стихотворением Э. Багрицкого «Происхождение», но «Происхождение» написано намного позже, в 1931 году.

Декабрем 1922 – январем 1923 датирован первый номер журнала «Силуэты». С третьего номера появляются публикации Гехта. Дебютирует он как прозаик. В третьем номере журнала за январь 1923 – рассказ «Случайная жертва (из ангорских воспоминаний)».

Воспоминания современников во многом противоречивы – так, С. Бондарин (как позднее и Г. Адлер) относил знакомство с Гехтом ко времени действия литературного кружка «Коллектив поэтов», зиме 1920/21³¹. Мемуаристы смещают даты, но из сухих строк периодики осени – зимы 1922-го и писем Гехта первой половины 1923 года очевидно, что еще до отъезда в Москву он был хорошо знаком и дружен как с И. Ильфом и Л. Славиним (участниками «Коллектива поэтов» 1920-1921 годов), так и с Н. Матяшем, Г. Захаровым и А. Борисовым (членами «Потоков Октября» в 1922-1923 годах).

Знакомство с Исааком Бабелем, во многом определившее дальнейшую литературную карьеру Гехта, могло произойти не ранее января 1923 года³².

«От него [Багрицкого] я впервые услышал о «чудном писателе», который живет на углу Ришельевской и Почтовой.

– Как фамилия? – спросил я.

– Бабель, – ответил Эдуард, – ну, это классный писатель! Вот мы потащимся к нему в гости, он нам почитает»³³.

В апреле 1923 года Семен Гехт и Сергей Бондарин собираются ехать в Москву. Бабель дает им две небольшие рекомендательные записки – к Владимиру Нарбуту и Михаилу Кольцову (редактору выходившего с 1 апреля журнала «Огонек»).

Рекомендации Бабеля явно пригодились. В первом письме из Москвы Гехт сообщает Марии Тарасенко: «Я сдал для журнала (ежемесячник) Ингулову одну вещь небольшую. Это и очерки в “Огоньке” дают мне возможность держаться здесь. У Сережи дела обстоят хуже. Одними стихами здесь даже Асеев и Пастернак не живут. Нужно быть газетчиком и журналистом. Сереже это не удастся». После непродолжительного пребывания в Москве Бондарин вернулся в Одессу, а Гехт остался завоевывать столицу.

Первая публикация С. Гехта в «Огоньке» появилась 6 мая – очерк «Одесса». После этого практически в каждом номере журнала есть очерк или рассказ Гехта.

Из письма к Генриетте Адлер от 15 сентября 1923 года: «Я нигде не служу, ибо не хочу. Предлагали кое-какие должности по газетам – отказался. Но работаю много. Успел уже хорошо зарекомендовать себя в лучших журналах и деньги вообще – в пределах, конечно, добываю легко». В 1923 он печатался в московском «Гудке», берлинском «Накануне», в журнале «На вахте». Стихи, похоже, после переезда в Москву перестал писать – ни одна публикация не обнаружена.

Появляются и московские друзья. «Выйдя из «Накануне» или другой какой-либо редакции, скопом шли по Тверской. В этих компаниях бывали Катаев, Буглаков <...> Гехт», – вспоминал Эмиль Миндлин³⁴. В это же время складываются дружеские отношения с Константином Паустовским. Гехт работал и в газете «Гудок», большинство журналистов которой (особенно одесситы), стали впоследствии, как и уверял Гехт Э. Миндлина, «настоящими писателями».

Круг общения сохранялся – к 1923 году почти все начинавшие в Одессе поэты и прозаики перебрались в Москву. Судя по письмам и воспоминаниям современников, наиболее близкие отношения в 1923–1927 годах были у Гехта с Ильей Ильфом и Исааком Бабелем. «Мери [М. Э. Шапошникова, сестра И. Э. Бабеля, уехала за границу в 1924 году. – А. Я.] прекрасно помнила молодых одесских литераторов в окружении Бабеля, чаще других называла Семена Гехта, ходившего за ним как тень»³⁵. Ильф шутливо писал Г. Адлер: «Гехт бредит письмом и Бабелем. Но письма нет, а Бабеля слишком много»³⁶.

Литературная жизнь бурлила, быт же был достаточно суров.

О зиме 1923/24 вспоминал К. Паустовский: «Мы жили вместе с Гехтом в пустой и глухой даче в Пушкино. Гехт ночевал на чердаке – на комнату не было денег. На ночь на чердак загоняли хозяйских коз. Они сжевывали носки, рубахи и рукописи Гехта (Гехт писал на подоконнике, стола не было)»³⁷.

Из письма С. Кирсанова С. Бондарину 1925 года: «Если ты приедешь в Москву – ты удивишься – о чем люди говорят: статьи, деньги, дела, авансы, службы, десяток сплетен и все. Таковы и Катаев, и Гехт, и Олеша, и Славин, и Ильф, и другие»³⁸. Примечательно, что Гехт назван вторым, сразу после наиболее известного в то время из одесской компании В. Катаева.

В 1925 году в жизни Гехта многое меняется. Выходит первая книга, точнее две сразу – в библиотечке крестьянского журнала «Сеятель правды» – «Круговая порука (тюремная запись)», а в библиотеке журнала «Огонек» – «Рассказы». В том же году Гехт женился на Вере Михайловне Синяковой (1896–1973). Семейство Синяковых (сестры Мария, Надежда, Вера, Ксения (Оксана), Зинаида) сыграло значительную роль в истории российского футуризма.

«Синяковых пять сестер. Каждая из них по-своему красива. Жили они раньше в Харькове, отец у них был черносотенец, а мать человек передовой и безбожница. Дочери бродили по лесу в хитонах, с распущенными волосами и своей независимостью и эксцентричностью

смущали всю округу. В их доме родился футуризм. Во всех них поочередно был влюблен Хлебников, в Надю – Пастернак, в Марию – Бурлюк, на Оксане женился Асеев», – писал Осип Брик³⁹.

В. Хлебников посвятил сестрам поэмы «Три сестры» (1920) и «Синие оковы» (1922).

О Вере строки:

И волосы темного хлеба
Волнуются, льются назад.
<...>
Те волосы – золотая темного мед,
Те волосы – черного хлеба поток.
<...>
И полумать и полудитя
И с мглой языческой дружа,
Она уходит в лес, хотя
Зовет назад ее межа⁴⁰.

«Я помню, как Бурлюк и Маяковский рисовали портрет сестры Веры. <...> Маяковский ухаживал за сестрой Верой»,⁴¹ – вспоминала художница Мария Синякова (сохранились два портрета С. Бондарина 1930-х годов ее работы – вновь пересечение судеб).

Борис Ефимов описал первое чтение Владимиром Маяковским поэмы «Про это» на квартире в Водопьяном переулке:

«Кольцов, который был очень дружен с Маяковским, взял меня с собой на первую читку поэмы “Про это”. Помню огромную квартиру, переполненную людьми, нестройный гомон голосов. <...> После чтения началось обсуждение, живое, страстное. В разгар дебатов девушка, рядом с которой я случайно очутился, неожиданно предложила мне сыграть в шахматы. Мы устроились в сторонке у окна и погрузились в игру, тихо между собой беседуя.

– Скажите, – спросил я, – вы поняли все, что читал Владим Владимыч?

– Я уже второй раз слушаю, – был неясный ответ.

– Вера Михайловна, – сказал я, проникшись к ней доверием, – вы тут как будто свой человек, научите, умоляю, что примерно надо ответить, если кто-нибудь вздумает спросить мое мнение?

В ее узких глазах мелькнула лукавая искорка.

– Надо сказать, – произнесла она с серьезным видом, – здорово это Маяковский против быта»⁴².

Из письма Бондарина одесскому приятелю: «Мое последнее время, вообще, посвящено кочевкам по интересным местам Харькова.

Бывал в усадьбе сестер Синяковых – девушек, знакомых в литературе своей близостью к славным именам Асеева, Петникова, Хлебникова, Пастернака – и др. Как тебе известно, одна из них замужем за Гехтом»⁴³.

В 1925 году наконец-то перебирается в Москву Багрицкий. «Внезапно в один туманный зимний день в Обыденном переулке появился Эдуард Багрицкий. Прямо с вокзала его привез ко мне Гехт»⁴⁴ (Паустовский).

Багрицкий, как и в Одессе, оставался центром притяжения для молодых литераторов. У него бывали все одесситы, особенно часто появлялись бывшие «потоквцы». Гехт вспоминал:

«Я двенадцать лет подряд ходил к нему в гости <...>, и каждое такое посещение превращалось в праздник»⁴⁵. Однажды в 1927 году в Кунцево «... шел разговор об охоте. Эдуард Багрицкий сказал, что ему хочется поехать в Белоруссию. <...> Проговорив весь вечер о Белоруссии, решили выехать на другой день в Минск, чтобы оттуда двинуться в глубь Полесья»⁴⁶. В Минске: «Мы наняли с Багрицким балагулу – традиционного еврейского извозчика – и поехали по Логойскому шоссе». После возвращения в Минск состоялся литературный вечер: «... мы выступали с Багрицким в летнем театре, в саду... Профинтерна. ... Эдуард читал тогда лекцию о поэзии. В зале собралось очень мало людей. Типографии выдали афиши за двадцать минут до начала вечера <...>. Все же было продано около двухсот билетов. Я сидел на эстраде, оглядывал пустой зал. Эдуард читал стихи <...>. Видимо, по саду прошел слух о нем, так как к концу лекции огромный зал наполнился до отказа»⁴⁷.

Гехт не забывает Одессу. Его рассказы появляются на страницах одесского журнала «Шквал». Там были впервые опубликованы «Киоск Триандофилиды», «Ягве», «Дочь бакалейщика», «Джозеф Шостак». Рассказ «Дочь бакалейщика» предваряет редакционная врезка: «Свою литературную деятельность С. Гехт начал в Одессе. Быстро окрепло дарование молодого писателя. В настоящее время его рассказы регулярно появляются на страницах московских журналов. Особенное внимание критики привлекли так называемые “простые рассказы” Гехта»⁴⁸.

Не пропали и опыты переводов: в 1926 году издательство «ЗиФ» (директором которого был В. Нарбут) выпустило книгу рассказов Шолом-Алейхема «Шестьдесят шесть», а в 1927-м – второй том избранных сочинений Шолом-Алейхема «Мыльный пузырь» в переводе С. Гехта.

В 1927 году выходят две книги – повесть «Человек, который забыл свою жизнь» и сборник рассказов «Шмаков и Пранайтис».

Он регулярно печатается в журналах «Огонек», «Прожектор», «Тридцать дней», «Красная новь». В № 1 журнала «Тридцать дней»

за 1928 год одновременно появляются первые главы романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и рассказ Гехта «Полет за 15 рублей». В том же году выходит книга с одноименным названием.

Некоторые из произведений вызывают неоднозначную реакцию: «Гехт напечатал повесть “Танков”, послужившую причиной вражды к нему лефов и Лили Брик, которых он отчасти в этой повести изобразил. Он порицает и скучает»⁴⁹.

В 1929 году выходит книга «Штрафная рота», в 1930-м – «История переселенцев Будлеров» и второе издание повести «Человек, который забыл свою жизнь». «Постоянный кочевник» Гехт много ездил по стране: «Я бывал и в Подолии, и на Херсонщине, и в еврейских колхозах Крыма и Приднепровья»⁵⁰.

У него, как когда-то у Катаева, постоянно живут молодые одесситы.

Если сразу после переезда в Москву Гехт мог гордо написать: «Предлагали кое-какие должности по газетам – отказался», – то в тридцатые годы он работает в редакциях нескольких журналов. Один из них – туристический журнал «На суше и на море».

В 1931 году выходят две книги – «Ефим Калюжный из Смидовичей» и «Сын сапожника». В 1932-м – «Арина Гулькевич» и «Веселое отрочество». Сборник рассказов «Мои последние встречи» вышел в 1933-м. После этого наступает перерыв, следующая книга появится в 1936 году.

В августе 1933 года состоялась печально известная поездка писателей по Беломорканалу. В группе были М. Горький, М. Зощенко, В. Инбер, товарищи Гехта по «Гудку» – В. Катаев, И. Ильф и Е. Петров, Л. Славин, А. Эрлих и другие.

В результате появилась книга «Беломоро-Балтийский канал имени Сталина. История строительства» под редакцией М. Горького, Л. Авербаха, С. Фирина (М., 1934). Каждую главу писали совместно несколько человек. Гехт, наряду с С. Булатовым, Вс. Ивановым, Я. Рыкачевым, А. Толстым, В. Шкловским, был в числе авторов тринадцатой главы – «Имени Сталина». Позднее он вспоминал: «Когда группа писателей засела по возвращении за коллективный труд о Беломорканале, Ильф с Петровым разумно отказались от участия в этом труде»⁵¹. Весной 1934-го Гехт (опять с группой писателей) участвовал в поездке по местам жизни Горького – в связи с замыслом создать книгу об истории Горьковского края. Статья о поездке появилась в «Литературной газете» 8 мая 1934 года.

«Жизнью Гехта руководит чувство молодости. Гехт ненасытен. Он непрерывно странствует по Советскому Союзу. Почти нет таких

уголков нашей страны, где бы он не побывал, и где его нельзя было неожиданно встретить»⁵².

В 1936-м Гехт и Паустовский входили в коллектив литературных сотрудников журнала «Наши достижения», основателем которого был Максим Горький. В одном из номеров были помещены статьи на тему «Журнал и литературная среда». Из текста Гехта ясно, что волновало его: «... С грустью ощущая, что до боли нуждаюсь в творческой среде, которой, по-моему, сейчас ни у кого нет. Редакции?

Но там имеет место только купля и продажа. Все это случайно, сумбурно и ни капли мне не помогает, не учит. Я учусь сам и потому трачу на учение гораздо больше сил и лет, чем это нужно. Увы, мы разобщены, и в нашей среде много лжи. <...>

Я мечтаю о творческой среде, где не будет лжи и чинопочитания. <...> Л. Толстой советовал Л. Андрееву “Не пишите о том, что вы не знаете, не пишите для денег, не пишите о том, что вам неинтересно”. Как часто мы нарушаем все три завета лучшего писателя мира. Мне скажут: ”Но как прожить? Пить-есть надо!”. Итак, пусть это звучит парадоксально, но в наше зажиточное время я призываю литераторов к подтянутому, к строгому бюджету. Иначе мы превратимся в ремесленников и притом в жалких ремесленников. <...> Многие из нас превратились в ремесленников, иллюстрирующих определенный тезис или положение. <...>

Хочу надеяться, что товарищеская среда пойдет войной и добьет лакировщиков, засевших в нескольких редакциях и тупо удаляющих каждое неблагополучное, по их мнению, слово. Вот несколько примеров.

Я рассказывал о том, как человек в ссылке в 1909 г. читает Маркса и Плеханова. Лжец и лакировщик зачеркивает Плеханова.

Я рассказывал о том, как премированный инженер просит вместо патефона, которого он не любит, дать ему оренбургский платок для матери. Лжец и лакировщик не позволяет герою не любить патефон и зачеркивает упоминание о нелюбви к патефонам

Я рассказывал о том, как в годы НЭПа тысячи людей толпились в ожидании работы у биржи труда. Лжец и лакировщик зачеркивает “неблагополучные факты”. Я рассказывал о мальчике, стоявшем у парашютной вышки Парка культуры и отдыха. Мальчик хочет прыгнуть, но у него нет рубля. Лжец и лакировщик зачеркивает фразу, сообщающую, что у мальчугана нет рубля. К сожалению, я мог бы привести сотни примеров. Чиновник, засевший во многих редакциях, стремится к тому, чтобы все было гладко, спокойно, елейно.

Он боится, “как бы чего не вышло”, в конечном счете как бы не пострадала его карьера».

Гехт вспоминает литературный кружок времен своей юности: «... Душою группы был Эдуард Багрицкий. Как мы были тогда строги и серьезны! Я чувствовал, что расту с каждым днем. Потом мы разъехались, разошлись, и я уже не нашел новой среды и как часто страдал от своего одиночества! Сколько ложных шагов! Как часто топтался я на месте, растерянно оглядываясь вокруг. Я не хочу показаться сентиментальным – это не вопль о дружбе. Это законное желание обрести тесную, честную и принципиальную деловую среду»⁵³.

В 1936 году выходит книга с экзотическим названием «Пароход идет в Яффу и обратно» – описание жизни поселенцев в Палестине, явление редкое для советской литературы того времени.

Кроме повестей, рассказов, очерков Гехт писал рецензии на кинофильмы, театральные постановки, статьи о книгах В. Катаева, А. Толстого, В. Кетлинской, М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, И. Эренбурга и др. Публиковались они преимущественно в «Литературной газете» (1937-1941). В те же годы он был сотрудником критико-библиографического журнала «Литературное обозрение». После смерти Ильфа Гехт написал большую статью «Илья Ильф», опубликованную в «Литературном обозрении» за 23 апреля 1937 года.

Смерть Ильфа – не единственная утрата тех лет. В октябре 1936 года был арестован Владимир Нарбут, год спустя – Михаил Кольцов. Это им были адресованы записки Бабеля, с которыми два д'Артаньяна – Бондарин и Гехт – отправились завоевывать Москву в далеком 1923-м. В тюрьме и соавтор Багрицкого Аркадий Штейнберг, с которым Гехт познакомился в Кунцево в 1928 году.

Семен Гехт был среди немногих писателей, осмелившихся во время краткого ослабления репрессий после ареста Ежова изобразить происходившее в стране. В повести «Поучительная история» описана судьба инженера, несправедливо обвиненного во вредительстве, а затем оправданного. «Поучительная история» вышла отдельным изданием и практически одновременно была опубликована в сборнике «Год XX, альманах пятнадцатый» (1939). В альманахе напечатаны третья – пятая части. Начальные главы о детстве героев и жизни местечка были сняты Гехтом или редакцией.

Автор выразительно и взволнованно описывает равнодушие к судьбе героя, которое проявляют вроде бы достойные и порядочные люди. Они боятся нарушить свою налаженную жизнь, карьеру или просто

не желают вмешиваться в происходящее, считая, что невиновных не наказывают. Гехт, правда, осуждает и героя, который не стал активно добиваться своего оправдания, а предпочел уехать в глухое село.

В те годы многие таким образом спаслись от ареста. Подальше от Москвы, в Солотче, жил и друг Гехта Константин Паустовский, автор рецензии на повесть: «В этой книге с особой ясностью выступает характерная черта Гехта – писателя и человека – его мужество, открытый взгляд в лицо. <...> книга Гехта идет вразрез <...> приспособленческому и трусливому “направлению” в литературе. В этом прежде всего ее значительная сила»⁵⁴.

В тексте Гехт цитирует, не называя автора, слова из «Конармии» Бабеля об «интернационале добрых людей».

И. Бабель был арестован в мае 1939 года. Т. Стах, присутствовавшая при обыске в городской квартире Бабеля, вспоминала:

«Вышла на улицу, <...> но не успела дойти до угла, как столкнулась с бегущим куда-то Семеном Гехтом.

– Татьяна, – сказал он, заикаясь, – вы знаете, Бабеля взяли!»⁵⁵

Из протоколов допросов известно, что Бабеля вынуждали дать показания на Катаева и Олешу⁵⁶. Фамилия Гехта в деле не упоминалась. Но реакция его на арест Бабеля, которую он не скрывал от окружающих, аукнется на допросе через пять лет – доносчиков, увы, хватало.

В ноябре 1939 года С. Гехта вызвали одним из свидетелей защиты – пересматривалось дело арестованного в ноябре 1937-го поэта и переводчика Аркадия Штейнберга.

«Свидетель Гехт, друживший со Штейнбергом с 1928 года и ценивший его как поэта и художника <...> не слышал <...> антисоветских высказываний <...>. Мнение Штейнберга о Сталине он назвал «мнением, достойным советского гражданина». И к советской поэзии А. А. [Аркадий Акимович Штейнберг – А. Я.] относился прекрасно и “никогда ее не опошлял”»⁵⁷.

Штейнберга освободили прямо в зале суда.

В 1939 году вышли две книги – «У шлагбаума» и «Поучительная история».

Повесть «Поучительная история» упоминается во всех статьях, посвященных писателю⁵⁸. Но другое произведение Гехта на ту же тему, притом, что поразительно, написанное уже после активного возобновления репрессий, забыто.

«Была у Гехта вещь, о которой мало кто помнит. Потрясенный событиями 37 года, лишившими его многих друзей, Гехт, после

снятия Ежова, когда наступило кратковременное послабление, написал повесть «Опасность» – о том, как вредит людям и стране всеобщая подозрительность, как вредно поощрение наветов и клеветы»⁵⁹.

Автор воспоминаний – Лазарь Шерешевский смешивает воедино два произведения Гехта.

Январь 1941-го: ленинградский журнал «Литературный современный» напечатал последнюю написанную перед войной повесть Гехта «Вместе». В ней выведена Одесса 1937-1938 годов. Город не назван, но даны названия улиц, районов Одессы. Прототипами второстепенных героев стали В. Таиров (винодел Башилов), писатель А. Кипен (ученый и преподаватель Липин), В. Филатов (глазной врач Буква); в тексте много цитат из стихов Э. Багрицкого.

В повествовании есть намеки на арест участника войны в Испании, и, кажется, впервые в советской литературе описан механизм фабрикации дел: арестованного вынуждают дать ложные показания на людей, указанных следователем. Повесть, как и предыдущая, заканчивается торжеством справедливости. После обращения в Киев (в «Поучительной истории» мать героя ездила в Москву к Калинину) выясняется, что следователь был замаскированным вредителем.

Примечательно, что вмешиваются в ход событий не близкие, а посторонние люди. После рассказов о непонятной истории с пропавшим мужем учительницы (слова «арест» автор старается избегать) ученик и его отец, втайне друг от друга, обращаются к партийному деятелю в Киев. Любопытно и упоминание о проблемах партийного деятеля с легкомысленной и равнодушной к общественной жизни дочерью.

А. Фадеев писал о «Вместе»: «Некоторые события и обстоятельства, действительно имевшие место в советской действительности, – вроде деятельности врагов народа в прокуратуре <...> выглядят в фальшивой и сентиментальной ткани повести как поклеп на советскую действительность»⁶⁰. Он упрекал в этом автора – «человека талантливой, но глядящего на мир, мир довольно суровый, глазами сентиментального гимназиста»⁶¹. Что ж, Гехт мог бы в ответ процитировать персонажа «Золотого тельца» – гимназий он не кончал, да и о суровости мира знал не понаслышке.

Во время Великой Отечественной войны Семен Гехт, как и большинство писателей, был военным журналистом. В сентябре 1941-го В. Шкловский писал С. Бондарину: «Твоя жена работает в “Литературной газете”. Газета плохая, бывать там приходится мало. Гехт собирается ехать на фронт, ждет назначения»⁶². 1 октября в «Литературной газете» опубликована статья С. Гехта «Фронтной блокнот К. Симонова».

По словам С. Бондарина, «Поздней зимою в Чистополь наконец пришло извещение о мобилизации группы поэтов и писателей. <...> В зимнюю декабрьскую ночь группа вызываемых военкоматом – тут были Михаил Зенкевич, Семен Гехт, Арсений Тарковский, <...> двинулись за развальнями, на которых была сложена поклажа, из Чистополя в Казань»⁶³. Среди них был и сын Эдуарда Багрицкого, Всеволод, через несколько месяцев погибший на фронте.

Гехт стал военным корреспондентом газеты «Гудок», в которой работал в юности. Илья Эренбург вспоминал о зиме 1941/42: «В Клубе писателей было очень холодно, но туда приходили пить водку, закусывали солеными грибами. Многие писатели были в военной форме – от фронта до Москвы можно было доехать за три-четыре часа. Помню там Петрова, Симонова, Светлова, Алигер, Гехта»⁶⁴.

Весной 1944 года Семена Григорьевича арестовали.

Современники связывали воедино арест друзей – Семена Гехта и Сергея Бондарина. По словам Г. Адлер, их «взяли по одному делу – хоть служили они в разных местах. Сергей Александрович был военным журналистом на флоте»⁶⁵. Эту версию подтверждал и Саул Боровой: «Бондарин и Гехт в конце войны были арестованы. Якобы – по глупости Гехта, который чем-то громко возмущался и привел в свидетели Бондарина»⁶⁶.

Сидевший с Гехтом в одном лагере переводчик Л. Шерешевский: «Гехт, как и другие, ничего о своем деле не говорил. Я знал только, что вместе с ним осужден был и писатель Сергей Бондарин, что они были военными корреспондентами, ездили в только что освобожденную от захватчиков Одессу и вскоре попали под решение Особого совещания»⁶⁷.

Сам Бондарин писал в дневнике, что причиной ареста стало письмо его сослуживца по Черноморскому флоту журналиста Улина Сталину о том, «что, де, с писателями обращаются неразумно, недостойно, заставляя их мыслить на уровне репортеров»⁶⁸.

Сергея Бондарина арестовали 3 марта 1944 года, когда Одесса еще была оккупирована. Одна из фронтowych публикаций Семена Гехта «Сын Одессы» в газете «Красная звезда» датирована 11 апреля (на следующий день после освобождения города). Он успел до ареста побывать в Одессе, провел там несколько дней, встретился с вернувшимся в город Н. Матяшем – членом «Потоков Октября». Как вспоминали родные, в библиотеке им. М. Горького просматривал подшивки газеты «Молва», выходившей во время оккупации. По их словам, это и

послужило причиной ареста⁶⁹. И только после публикации фрагментов из дела Гехта стало известно, что один из номеров «Молвы» был приобщен к делу как вещественное доказательство.

Гехта арестовали 22 мая 1944 года. 21 апреля 1945 года он был осужден по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР и приговорен «к лишению свободы на восемь лет с поражением в правах и без права переписки»⁷⁰. Те же восемь лет получил и Бондарин.

Летом 1945-го Семен Григорьевич попал в подмосковный лагерь при экспериментальном заводе МВД. Лагерь славился довольно либеральным отношением к заключенным, дважды в месяц (в выходные) там устраивались литературные вечера. В своем бараке Гехт вел неофициальный литературный семинар (среди заключенных было много молодых литераторов). В одном из разговоров он вспомнил поездку на Беломорканал: «И тогда в лагерях кормили ржавой селедкой».

В передачи мужу Вера Михайловна, кроме продуктов, вкладывала и свежие литературные журналы – их передавал другу В. Гроссман. После ареста Гехта она жила в семье Николая Асеева, жена которого, Оксана, была ее сестрой.

В феврале 1946 года бывший «потоковец» Семен Олендер (квартировавший в тридцатые у Гехта) осторожно писал в Одессу товарищу по кружку Алексею Борисову: «О Гехте и Бондарине ничего приятного сообщить не могу, оба они отсутствуют – по какой причине, неизвестно. Ты одессит, и сам понимаешь, что это значит»⁷¹.

Осенью сорок шестого в лагере вновь фабриковались дела. Начальство решило добавить сроки тем, кто по приговору получил три-четыре года. Вскоре «„кум” начал расправу с теми, кто не согласился дать <...> показания. Среди рассердивших “кума” зеков оказался и Семен Гехт. <...> выдернутых ночью этапников грузили на покрытые брезентом машины. Гехт сидел скорчившись, нахохлившийся, печальный»⁷². Он попал в Коми АССР, где были известные строгим режимом лесные лагеря под поселком Вожаель, описанные позднее Л. Разгоном.

«... уже будучи известным писателем, стал жертвой навета, – он изучил профессию лесоруба, был разносчиком молока в детских яслях, сторожем в парке»⁷³.

Гехта освободили из лагеря в марте 1952 года.

«Справка об освобождении МВД СССР / Исправтруд лагерь «АН» 21 марта 1952 г.

Выдана Гехту Аврааму Гершевичу (он же Семен Григорьевич), 1903 г. рожд., Одесса, осужденному по делу Управления НКГБ СССР 21 апр. 1945 г. по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР к лишению свободы на восемь лет с поражением в правах и без права переписки. Освобожден 21 марта 1952 г. по отбытию срока наказания с зачетом рабочих дней за хорошие производственные показатели. Следует к избранному месту жительству в Калужск. обл., Малоярославецкий р-н, ст. Малоярославец»⁷⁴.

Основываясь на поздних текстах писателя, можно предположить, что в 1954 году Гехт был в Казахстане – в нескольких его рассказах действие происходит на целине. В одном из них фраза: «В тарных мастерских, где я работал последний год экспедитором»⁷⁵.

Первая обнаруженная публикация после освобождения достаточно характерна для середины пятидесятых, когда многие поэты и писатели, не имевшие возможности печатать свои произведения, занимались переводами. В 1955 году вышла книга «Поэзия Советской Якутии». Гехт попал в хорошую компанию – среди переводчиков с якутского были А. Ахматова, С. Липкин, А. Тарковский⁷⁶.

Гехта реабилитировали в 1956 году.

В 1957-м вышла книга «Будка Соловья» – о жизни леспромхоза (бесспорно, основанная на лагерных впечатлениях, но ни словом о лагерях не упоминавшая). Фамилию одного из героев – Соловей – многие воспринимали, как название птицы. Эта ошибка постоянно встречается и в мемуарах, и в критических статьях. Ошибся даже его друг Э. Миндлин: «Гехт, написавший несколько добрых и светлых книг и лучшую среди них – повесть «Будка соловья», так и светящуюся чувством чистосердечной любви к многострадальному человечеству»⁷⁷.

Гехт возобновляет связи со старыми друзьями, московскими и одесскими. Бывшие «потоковцы» – и оставшиеся в Одессе, и живущие в Москве – поддерживают тесные отношения, в их переписке постоянно идет речь о литературной жизни столицы. В январе 1958 года Гехт поздравляет одесского писателя Григория Захарова с шестидесятилетием: «Уже стало трюизмом говорить о богатом литературном прошлом Одессы. Однако прошлое это, озаренное великолепными именами Бабеля, Багрицкого, Ильфа и Петрова и других – факт историко-литературный»⁷⁸.

«Наш современник», № 4 за 1958 год, в рубрике «Очерки наших дней» под общим названием «Советская старина» публикует очерки Гехта. Позднее почти все они вошли в книгу «В гостях у молодежи». В 4-м номере того же журнала за 1959 год вновь появляются очерки

Гехта «В Москве и в Одессе» – теплые воспоминания о Бабеле, о кружке «Потоки Октября».

В 1959 году была издана книга рассказов для детей «Три плова». В марте того же года Гехт побывал в Одессе, встретился с друзьями юности и родными. Сохранились его письма в Одессу Г. Захарову и А. Борисову.

«Дорогой Захаров. Я не был долго в Москве и вот почему отвечаю с таким опозданием. У В. Катаева я не бываю, и вообще, как всякий знаменитый человек, он наполовину представляет собой учреждение. Знаю заранее, что он, не читая, передаст стихи литературным работникам редакции»⁷⁹. Вероятно, речь идет о публикации стихов Г. Захарова в журнале «Юность», редактором которого был В. Катаев.

К А. Борисову:

«Надеюсь, что еще будем вместе взбираться по скалам Большого Фонтана и Люстдорфской дороги. Твой С. Гехт»⁸⁰.

«Надеюсь, что в скором времени пошатаемся еще по скалистым местам, аминь. Сегодня, увы, были с Сергеем [Бондариним] на захоронении урны с прахом Ю. Олещи, который умер еще в мае»⁸¹.

В 1960 году вышла книга «В гостях у молодежи». Гехт, вместе с Г. Мунблитом и Л. Славиным, входил в комиссию по литературному наследию И. Бабеля. «Гехт встречается с Бабелихой [А. Н. Пирожковой]. Переиздавать его что-то не хотят»⁸².

После освобождения и реабилитации он, в отличие от Бондарина, который еще на поселении начал вести дневник и потом писал «в стол» лагерные «Капкаринские записки», вычеркнул эти годы из памяти.

«Гехт и в самом деле довольно печален, хотя и слыл прежде записным застольным весельчаком, что ли... Если не весельчаком – болтуном. Его известное происшествие [то есть арест – А. Я.] поломало больше, чем других, он очень постарел»⁸³.

В 1960 году в Москве побывала племянница Гехта Ф. Раскина. Она вспоминает скромную, почти аскетическую обстановку квартиры и обращение друг к другу на «вы», поразившее ее⁸⁴.

Похоже, Гехт еще раз приезжал в Одессу – известен его автограф Анне Николаевне Цакни-Дерibas (первой жене И. Бунина) на книге «В гостях у молодежи», датированный 1961 годом⁸⁵.

В январе 1962-го Гехт писал А. Борисову:

«Надеюсь встретиться с тобой – и не раз – на этой земле. Обнимаю. Твой С. Гехт»⁸⁰.

В одном из писем С. Олендера Г. Захарову шла речь об издании сборника одесских авторов (очевидно, в него должны были входить

и москвичи, и современные одесские писатели): «Нужна будет редколлегия. Было бы хорошо, если бы согласился войти в нее К. Паустовский, С. Гехт <...>. (В. Катаев как-то отдалился от всех, не знаю даже, даст ли он материал)»⁸⁷.

Последняя книга рассказов, вышедшая в 1963 году, называлась «Долги сердца».

На фотографиях того времени Гехт – печальный, с грустной улыбкой.

О последних месяцах жизни Гехта и о той роли, которую сыграл друживший с ним К. Паустовский, подробно вспоминал Э. Миндлин⁸⁸.

С. Олендер писал А. Борисову в мае шестьдесят четвертого: «Гехт тяжело болен – он уже больше четырех месяцев в больнице после операции»⁸⁹.

13 июня 1963 года «Литературная газета» помещает некролог:

«Умер Семен Григорьевич Гехт – прекрасный прозаик, писатель с талантливой душой, острым, сильным и обаятельным умом. Он вышел из самой гущи народной жизни, из той среды, где бедность находилась на грани нищеты. <...>

Читатели помнят его очерки в “Наших достижениях”, встречавшие взыскательное одобрение М. Горького, и “Штрафную роту”, высоко ценимую Бабелем и Багрицким, и “Человека, который забыл свое имя” [ошибка, правильно: “Человек, который забыл свою жизнь” – А. Я.], и вызвавшую накануне войны большой интерес “Поучительную историю”.

<...> Последнюю книгу Семена Гехта, только что вышедшую в свет, – “Долги сердца”, – друзья принесли ему в больницу, где лежал он долго, где болел мучительно. На больничной койке встретил он свое шестидесятилетие...»⁹⁰.

К. Паустовский, который так много сделал, чтобы спасти Гехта, написал:

«Он был воплощением человеческого достоинства и доброты. Эти его качества очень действовали на окружающих и невольно сообщались им.

Гехт – это молодость нашего поколения, поколения писателей, пришедших с юга и с берегов Черного моря. <...>

Писательская жизнь Гехта была нелегкой и чистой. Он не знал обеспеченности и сторонился бесплодных околелитературных страстей.

Он долго боролся за жизнь. Спасти его не удалось. Будем же беречь память о нем, благодарную и светлую память о нашем общем миле друге»⁹¹.

Семен Григорьевич Гехт был похоронен на московском Введенском кладбище⁹².

Спустя год после его смерти в Одессе прошла научная конференция «Литературная Одесса 20-х годов». К. Паустовский, который из-за болезни не смог приехать, писал, обращаясь к участникам:

«Никогда не устану говорить о том, сколько хорошего принесли мне дружба <...> с тенистой и солнечной разнохарактерной Одессой, с ее веселыми людьми, славными одесситами, среди которых были такие писатели и поэты, как Исаак Бабель, Эдуард Багрицкий, Юрий Олеся, Илья Ильф, Евгений Петров, Семен Гехт...

<...> Не знаю, прав ли я, но мне трудно представить себе Бабеля без Гехта, Олешу без Славина или Бондарина. Разумеется, этим я не хочу сказать о равнозначности этих очень разных литературных талантов. Я говорю о их духовном родстве, о преданности литературному делу»⁹³.

В Советском Союзе книги Гехта после его смерти не переиздавались. В 1983 году в Израиле вышла книга «Простой рассказ о мертвцах и другие рассказы». В Ростове-на-Дону в 2000 году издана книга Шолом-Алейхема «Избранное» в переводах И. Пинкуса и С. Гехта.

В последние годы в статьях о советской литературе двадцатых годов все чаще упоминается имя Гехта в одном ряду с А. Соболев, И. Бабелем и другими известными писателями. «Получила развитие в 20-е годы и русскоязычная еврейская литература. Среди прозаиков и поэтов выделялись И. Бабель, <...> С. Гехт, И. Уткин, ранний Маршак»⁹⁴.

Эпиграфом к повести «Вместе» Гехт взял строки Софьи Парнок:

Не бить челом веку своему,
А быть челом века своего,
Быть человеком.

Эти же строки – лучшая эпитафия Семену Григорьевичу Гехту.

Автор благодарит за помощь в работе над книгой *С.З. Луцика, М.Р. Бельского, А.И. Ильф, Н.Н. Панасенко, Л.М. Рукмана, А.Ю. Розенбойма, Е.А. Каракину, сотрудников ОГНБ им. М. Горького О.М. Барковскую и Т.В. Щурову, сотрудников ГАОО Л.Г. Белоусову и В.К. Сичкаренко, сотрудников отдела изофондов Московского литературного музея Л.К. Алексееву и Л.А. Хлюстову, А.Ю. Галушкина (Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Москва), директора ОЛМ Т.И. Литтугу и сотрудников отдела фондов Е.С. Черненко, Н.Е. Михайлову, Э.П. Насонову, Е.А. Шабельскую.*

Примечания

- ¹ Бондарин С. Одесситы и к ним примкнувшие: Наброски к выступлению на конференции «Литературная Одесса 20-х годов». – Машинопись. – ОЛМ, НВ-3312.
- ² Краткая литературная энциклопедия. – Т. 2. – М., 1964. – С. 172.
Краткая еврейская энциклопедия. – Т. 2. – Иерусалим, 1982. – С. 119.
Упомянуты переводы с идиш Ш. Аша, Шолом-Алейхема; ошибочно указана дата ареста – «в конце 1940-х гг.».
Российская советская еврейская энциклопедия. – Т. 1. – М., 1994. – С. 301.
Ошибочно указаны дата и причина ареста – «в конце 1940-х гг. в период борьбы с космополитизмом», дата освобождения – 1956.
Казак В. Лексикон русской литературы XX века. – М., 1996. – С. 100-101.
Вайнштейн М. В ожидании Мессии // Гехт С. Простой рассказ о мертвецах и другие произведения. – Иерусалим, 1983. – С. 229-248. Включает наиболее полный перечень книг Гехта; в него не вошли «Круговая порука» (1925), «Шмаков и Пранайтис» (1927), «Полет за 15 рублей» (1928), «У шлагбаума» (1939).
Человек трагической судьбы // Вайнер А. Л., Кузнецов Э. А. Есть город, который... – Одесса, 2002. – С. 154-156.
Петряева Е. И. С. Гехт на страницах одесской прессы 20-х годов // Литературная Одесса 20-х годов: Тезисы межвуз. науч. конф. Ноябрь 1964. – Одесса, 1964. – С. 48-49.
Малинова Г. Л. «Молодость нашего поколения» // Вестник региона. – Одесса, 1996. – 24 февр.; то же в книге: Малинова Г. Л. Из-под завесы тайны. – Одесса, 2002. – С. 330—343.
Вайнер А. Л., Кузнецов Э. А. Человек трагической судьбы // Ор Самеах. – Одесса, 2003. —19 марта.
Вайнер А. Л., Кузнецов Э. А. Трагическая судьба // Юг. – Одесса, 2003. – 27 марта.
Мисюк А. Один из семи // Шомрей шабос. – Одесса, 2003. – 28 февр., № 24 (414); 7 марта, № 25 (415).
Яворская А. Веселый грустный человек... и Генриетта // Мигдаль. – Одесса, 2003 – № 11-12. – С. 36-41.
Яворская А. Материалы к биографии Семена Гехта; Письма Семена Гехта в фондах ОЛМ // Дом князя Гагарина: Сб. ст. и публ. Одес. лит. музей. – Вып. 3. – Одесса, 2004. —Ч. 2. – С.157-258.
Яворская А. Семен Гехт – ученик Бабеля // Одесса и еврейская цивилизация: Сб. материалов III междунар. науч. конф. – Одесса, 2005. – С. 28-55.
Шульман Э. Опасность или поучительная история. Из архива ФСБ: По материалам одного следственного дела: Тексты и комментарии // Вопросы литературы. – М., 2006. – Март – апр. – С. 262-297.
Статьи о С. Г. Гехте есть в электронной версии «Универсальной энциклопедии» и «Большого энциклопедического словаря»; в базе данных «Мемориала» информация о нем под № 4553.

- ³ «Гехт Семен Григорьевич [р. 14 (27).III.1903, Одесса — 10.VI.1963, Москва] — рус. сов. писатель. <...>». — Краткая литературная энциклопедия. — Т. 2. — М., 1964. — С. 172; то же — в остальных.
- ⁴ Шульман Э. Опасность или поучительная история. / Вопросы литературы. — М., 2006, март-апр. — С. 265
- ⁵ ГАОО. Ф. 39, оп. 5, д.107, л. 115-117.
- ⁶ Беседа с Фирой Лазаревной Раскиной (племянницей С. Гехта), июль 2003.
- ⁷ Человек трагической судьбы // Вайнер А. Л., Кузнецов Э. А. Есть город, который... — Одесса, 2002. — С. 154.
- ⁸ ГАОО. Ф. 39, оп. 5, д. 118, л. 323-344.
- ⁹ ГАОО. Ф. 39, оп. 5, д.163, л. 170, № 569
- ¹⁰ Беседа с Фирой Лазаревной Раскиной, июль 2003.
- ¹¹ Гехт С. В гостях у молодежи. — М., 1960. — С. 142.
- ¹² Детство и отрочество. — Одесса, 1912. — № 8. — С. 14.
- ¹³ Там же. — С. 16.
- ¹⁴ Детство и отрочество. — 1912. — № 11. — С. 12.
Тихо догорает свечка...
Свет свой на меня бросает...
Не теплится больше печка...
Все тоска меня снедает.
Все, свои закрывши очи,
Крепким дремлют сном,
Только я сижу средь ночи,
Бодрым, как и днем.
Про дни минувшие тоскую,
Когда я счастлив был,
Когда обласкан был родными,
Когда в согласьи с ними жил.
Я дни былые призываю
С мольбою, со слезами,
Я счастье и добро им обещаю
Напрасно... Ограда меж нами.
- В этом же номере есть и шарада. «Почтовый ящик» сообщает: «Одно из Ваших стихотворений помещаем. Желательно было бы получить Вашу автобиографию (подробное описание жизни)».
- ¹⁵ Гехт С. Полет за пятнадцать рублей // Тридцать дней. — М., 1928 — № 1. — С. 19.
- ¹⁶ Гехт С. Пароход идет в Яффу и обратно. — М., 1936. — С. 20.
- ¹⁷ Гехт С. Мои последние встречи. — М., 1933. — С. 48.
- ¹⁸ Бондарин С. Прикосновение к человеку. — М., 1973. — С. 196.
- ¹⁹ Письмо С. Гехта Г. Адлер от 29 октября 1923 из Москвы в Одессу. ОЛМ, Р-93. См. с. 341 настоящего издания.
- ²⁰ Гехт С. В гостях у молодежи. — М., 1960. — С. 146.

- ²¹ См. с. 35 настоящего издания.
- ²² Гехт С. Вечера в железнодорожном клубе // Э. Багрицкий: Альманах под ред. Влад. Нарбута. – М., 1936. – С. 239-240.
- ²³ Гехт С. В гостях у молодежи. – М., 1960. – С. 148-149.
- ²⁴ Бондарин С. Капкаринские записки: (Фрагменты). 1948-1953 гг. // Дом князя Гагарина: Сб. ст. и публ. / Одес. гос. лит. музей. – Вып. 1. – Одесса, 1997. – С. 220.
- ²⁵ «Силуэты» // Известия Одес. губисполкома и губкома КП(б)У. – 1922. – 9 дек., № 904. – С. 4. – Далее – Известия...
- ²⁶ Гехт С. Вечера в железнодорожном клубе // Э. Багрицкий: Альманах под ред. Влад. Нарбута. – М., 1936. – С. 240-241.
- ²⁷ Гехт С. В гостях у молодежи. – М., 1960. – С. 1.
- ²⁸ «Потоки» // Известия... – 1922, 13 дек., № 907. – С. 4.
- ²⁹ «Литературная Одесса» // Известия... – 1922, 16 дек., № 910. – С. 3.
- ³⁰ Гехт С. Бытие // Силуэты. – Одесса, 1923, № 4. – С. 4. См. с. 41 настоящего издания.
- ³¹ Бондарин С. Прикосновение к человеку. – М., 1973. – С. 196. Надо отметить, что в уже упоминавшемся наброске «Одесситы и к ним примкнувшие» (см. прим. 2) Бондарин не включает Гехта в перечень участников «Коллектива поэтов».
- ³² И. Бабель уехал из Одессы в Сухуми в апреле 1922-го и вернулся в январе 1923-го. См.: Спектор У. Краткая летопись жизни и творчества Исаака Эммануиловича Бабеля // Бабель И. Пробуждение: Очерки, рассказы, киноповесть, пьеса. – Тбилиси, 1989. – С. 423.
- ³³ Гехт С. Вечера в железнодорожном клубе // Э. Багрицкий: Альманах под ред. Влад. Нарбута. – М., 1936. – С. 240.
- ³⁴ Миндлин Э. Необыкновенные собеседники. – М., 1968. – С. 139.
- ³⁵ Поварцов С. Подготовительные материалы для жизнеописания Бабеля Исаака Эммануиловича // Вопросы литературы. – 2001. – № 2. – С. 204. См. также: Ковский В. Неподдельная жизнь и беллетристические подделки // Вопросы литературы. – 2002. – № 3. – С.85: «Все люди, которые были дороги Бабелю, стали дороги и ей [А. Н. Пирожковой]: друг гимназической юности И. Лившиц [ошибка – Бабель и Лившиц учились в Коммерческом имени Николая I училище – А. Я.]; писатели С. Гехт и Ю. Олеша».
- ³⁶ Письмо И. Ильфа Г. Адлер от 1 декабря 1923 из Москвы в Одессу. ОЛМ. Часть письма, в том числе приведенные фразы, опубликованы: Бондарин С. Парус плаваний и воспоминаний. – М., 1971. – С. 169. Впервые полностью опубликовано: Городецкая Н. Три письма Ильи Ильфа // Дом князя Гагарина: Сб. статей и публ. / Одес. гос. лит. музей. – Вып. 1. – Одесса, 1997. – С. 115.
- ³⁷ Паустовский К. «Поучительная история» // Лит. газета. – 1939. – 15 июня, № 35. – С. 4.
- ³⁸ Письмо С. Кирсанова С. Бондарину [1925]. – ОЛМ, P-82.
- ³⁹ Брик Л. Из воспоминаний // Альманах с Маяковским. – М., 1934. – С. 67.

- ⁴⁰ Три сестры. Хлебников В. Творения. – М., 1987. – С. 272, 274.
В 1956 г. Н.Асеев посвятит Синяковым стихотворение «Пять сестер»:

Мне пять сестер знакомы были издавна:
ни с чьим ни взгляд, ни вкус не схожи в них;
их жизнь передо мною перелистана,
как гордости и верности дневник.

Они прошли, безвкусью не покорствуя,
босыми меж провалов и меж ям,
не упрекая жизнь за корку черствую,
верны своим погибнувшим друзьям.

Я знал их с детства сильными и свежими:
глаза сияли, губы звали смех;
года прошли, – они остались прежними,
прекрасно непохожими на всех...

Асеев Н. Собр. соч. в 5-ти т. – М., 1964. – Т. 4. – С. 337.

Вера Синякова с 1916 по 1924 г. была женой поэта Г. Н. Петникова.

- ⁴¹ Синякова М. «Это человек, ищущий трагедии...» // Вопросы литературы. – 1990. – Апрель. – С. 264, 265.
- ⁴² Ефимов Б. Из книги «Сорок лет» // Маяковский в воспоминаниях современников. – М., 1963. – С. 320.
- ⁴³ Письмо С. Бондарина А. Дунаевскому от 25 июля 1926. ОЛМ, Р-888.
- ⁴⁴ Паустовский К. Из воспоминаний // Эдуард Багрицкий: Воспоминания современников. – М., 1973. – С. 121.
- ⁴⁵ Гехт С. Рассказ о поездке с Эдуардом Багрицким в Белоруссию // «Год двадцать второй». – Альманах 14. – М., 1938. – С. 462.
- ⁴⁶ Там же. – С. 442.
- ⁴⁷ Там же. – С. 455.
- ⁴⁸ Шквал. – Одесса, 1926. – 8 мая, № 50 (18).
- ⁴⁹ Письмо С. Бондарина А. Дунаевскому от 3 марта 1928 из Москвы в Одессу. – ОЛМ, Р-898. Повесть готовится к переизданию в Москве.
- ⁵⁰ Гехт С. Рассказ о поездке с Эдуардом Багрицким в Белоруссию // «Год двадцать второй». – Альманах 14. – М., 1938. – С. 448.
Ср.: «В тот год [1929 – А. Я.] я выехал по делам службы в Уссурийский край». (Гехт С. Пароход идет в Яффу и обратно. – М., 1936. – С. 9).
- ⁵¹ Гехт С. Семь ступеней // Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове. – М., 1963. – С. 108.
- ⁵² Паустовский К. «Поучительная история» // Лит. газета. – 1939. —15 июня, № 35. – С. 4.
- ⁵³ Гехт С. «Наперсника мы ищем...» // Наши достижения. – М., 1936. – № 5. – С.139-140.

- ⁵⁴ Паустовский К. «Поучительная история» // Лит. газета. – 1939. – 15 июня, № 35. – С. 4.
- ⁵⁵ Стах Т. Воспоминания о И. Бабеле. – Машинопись. – ОЛМ, НВ-3531. – С. 12.
- ⁵⁶ См.: Поварцов С. Причина смерти – расстрел. – М., 1996.
- ⁵⁷ Следственное дело № 4788 // Штейнберг А. К верховьям. – М., 1997. – С. 342.
- ⁵⁸ «Автор многих книг, Семен Гехт приобрел наибольшую известность в конце тридцатых годов повестью “Поучительная история”, рассказывающей о безвинно оклеветанном человеке и о восстановлении справедливости». (Левин Ф. Счастье выполненного долга // Знамя. – М., 1963. – № 10. – С. 221).
- ⁵⁹ Шерешевский Л. Мои литературные институты, или Пять силуэтов за колючей проволокой // Книжное обозрение. – 1989, 3 февр., № 5 (1183). – С. 8-9.
- ⁶⁰ Фадеев А. А. Семен Гехт. Вместе // Собр. соч. в 5-ти т. – Т. 5. – М., 1961. – С. 65.
- ⁶¹ Там же. – С. 65.
- ⁶² Письмо В. Шкловского С. Бондарину от 27 сентября 1941 [из Москвы]. ОЛМ, Р-213.
- ⁶³ Бондарин С. Парус плаваний и воспоминаний. – М., 1971. – С. 205—206.
- ⁶⁴ Эренбург И. Собр. соч. в 9-ти т. – Т. 9. – М., 1967. – С. 299.
- ⁶⁵ Разговор с Г. Адлер. – Москва, ноябрь 1996.
- ⁶⁶ Картотека С. 3. Лущика. Разговор с С. Боровым 9 октября 1978.
- ⁶⁷ Шерешевский Л. Мои литературные институты, или Пять силуэтов за колючей проволокой // Книжное обозрение. – 1989. – 3 февр., № 5 (1183). – С. 8.
- ⁶⁸ Бондарин С. Капкаринские записки: (Фрагменты). 1948—1953 гг. // Дом князя Гагарина: Сб. статей и публ. / Одес. гос. лит. музей. – Вып. 1. – Одесса, 1997. – С. 211.
- Подробнее см.: Мисюк А. А. «Капкаринские записки» Сергея Бондарина // Там же.
- ⁶⁹ Беседа с Ф. Л. Раскиной. – Одесса, 18 ноября 2003.
- ⁷⁰ Справка об освобождении. 21 марта 1952 г. – Сообщено А. Галушкиным (Москва), письмо от 5 января 2004.
- ⁷¹ Письмо С. Олендера А. Борисову из Москвы в Одессу от 6 февраля 1946. – Собрание С. 3. Лущика.
- ⁷² Шерешевский Л. Мои литературные институты, или Пять силуэтов за колючей проволокой // Книжное обозрение. – 1989. – 3 февр., № 5 (1183).
- ⁷³ Машинопись некролога С. Гехту. – ОЛМ, НВ-3269.
В опубликованном тексте эта фраза выпущена. Машинопись хранилась в архиве С. Бондарина; возможно, он автор текста.
- ⁷⁴ Справка об освобождении. 21 марта 1952 г.
- ⁷⁵ Гехт С. В гостях у молодежи. – М., 1960. – С. 97.
- ⁷⁶ Поэзия Советской Якутии. – М., 1955. – С. 128, 258, 259, 261.
Повторно поэма Кюннюка Урастырова «Северная радуга» была опубликована в журнале «Полярная звезда» (Якутск, 1956. – Кн. 2. – С. 40-50. – Пер. с якут. С. Гехта).

- ⁷⁷ Миндлин Э. Необыкновенные собеседники. – М., 1968. – С. 382.
- ⁷⁸ Письмо С. Гехта. Поздравление юбиляру Георгию Захарову. 15.01.58. – ОГНБ им. М. Горького, музей книги. Ф. 78/1.
- ⁷⁹ Письмо С. Гехта Г. Захарову из Москвы в Одессу от 27 июля 1957. – Там же.
- ⁸⁰ Открытка С. Гехта А. Борисову из Москвы в Одессу от 9 февраля 1959. – Собрание С. З. Лущика.
- ⁸¹ Открытка С. Гехта А. Борисову из Москвы в Одессу. 10 ноября 1960. – Собрание С. З. Лущика.
- ⁸² Письмо С. Бондарина Т. Стах от 23 февраля 1960 [из Москвы в Киев]. – ОЛМ, НВ-1649/9.
- ⁸³ Письмо С. Бондарина Т. Стах от 20 мая 1961 [из Москвы в Киев]. – ОЛМ, НВ-1649/1.
- ⁸⁴ Беседа с Ф. Л. Раскиной, Одесса, 18 ноября 2003.
- ⁸⁵ Книга с дарственной надписью А. Н. Дерibas-Цакни хранилась в семье И. В. Шерешевского. – Картотека С. З. Лущика, запись от 21 марта 1981.
Учитывая описанные в повести «Вместе» встречи одесской интеллигенции, которые проходили на квартире Александра Дерibasа, можно предположить, что знакомство Гехта с А.Цакни-Дерibas могло состояться еще до войны.
- ⁸⁶ Открытка С. Гехта А. Борисову от 2 января 1962. – Собрание С. Лущика.
- ⁸⁷ Письмо С. Олендера Г. Захарову от 6 февраля 1962. – Там же.
- ⁸⁸ Миндлин Э. Необыкновенные собеседники. – М., 1968. – С. 413.
- ⁸⁹ Письмо С. Олендера А. Борисову от 6 мая 1963. – Собрание С. З. Лущика.
- ⁹⁰ Машинопись некролога С. Гехту. – ОЛМ, НВ-3269.
Текст был подписан Н. Асеевым, К. Паустовским, В. Гроссманом, Р. Фраерманом, С. Бондариним, Н. Чуковским, С. Липкиным, Э. Миндлиным, Р. Мораном, Б. Слуцким, опубликован в «Литературной газете» 13 июня 1963 без упоминания фамилий, за подписью президиума правления Московской писательской организации Союза писателей РСФСР.
- ⁹¹ Паустовский К. Семен Гехт: (некролог) // Лит. газета. – 1963. – 13 июня.
- ⁹² Артамонов М. Д. Введенские горы. – М., 1993. – С. 50.
- ⁹³ Паустовский К. Участником конференции «Литературная Одесса 20-х годов» // Лит. газета. – 1982. – 9 июня, № 23. – С. 5.
- ⁹⁴ Евреи в СССР в 20-е годы. – <http://school.spb.ru>.

Семен Гехт

Стихотворения

* * *

Льют дожди непрерывно, плачет медь заунывно,
Лес мелькает за лесом, верста за верстой.
Вот – фонарики станций, Бут в предутреннем глянце,
Вот идут новобранцы нестройной толпой.

От возов продналога чернеет дорога...
И настойчиво капли в окошко стучат,
И не радуют взора огни семафора,
И не тянет вперед, и не тянет назад.
Дома – стужа и слякоть. Так о том ли мне плакать,
Что на чуждой сторонке холод душу скует?
И стучат унисонно капли в окна вагона,
Точно марш похоронный дождь тоскливо поет.

Порт

Одесский порт, уснувший в неге сонной,
Вдруг увидал сквозь сырость и сквозь мрак
Ряд кораблей – и вздрогнул, оживленный,
И усмехнулся радужно маяк.

От берегов Неаполя и Лукки
Мчит на парах нарядный пароход.
Товарами наполненные тюки
Торговая Италия везет.

Вот крошечное судно из Констанцы
Надменно обогнуло волнорез.
Косилки, и зерно, и померанцы
В обмен на лен, на пух, на шерсть, на лес.

И стало возрождение возможней,
Раскован лед и восьмилетний плен,
И снова жизнь в облупленной таможне
И солнечная музыка сирен.

Перекоп

Мы тяжко протоптали стежки
Шоссе запыленных и хмурых.
Херсон, и Пристань, и Алешки!
Кто помнит эти перебежки
На бесконечных кучугурах?
Но дни Каховского плацдарма
И груды вывернутых тел
Вспомянет не одна казарма,
Кто уцелел, кто уцелел.
Челябинского хлебопашца
И юзовского рудокопа
Крестили именем Сиваша
И гулким эхом Перекопа.
Развеян дым артиллерийский,
Растаял враг, как пухлый снег,
Но тот, кто пал в пучине склизкой
Не встанет. Он исчез навек.
Хвала живому. Сжав винтовку
И натянув шелом на лоб,
Он может повторить Каховку
И легендарный Перекоп.

Вавилон

...И летопись зацветшую времен
Перелистав, читаем: Вавилон.
Земля, как куб, и небосклон, как куб.
Ливан и кедр, и высеченный дуб,
Щекотный дым спаленного овна,
Литые чаши пенного вина,
Каильный чад и суетливый звон,
Дразнящий смех нагих и пьяных жен,
О, Вавилон, безумный Вавилон.
Бык – божество, и фаллос – жизни суть
Залить вином и кровью захлестнуть,
Зане – быкоподобен каждый муж,
Жена – кобыла, павиан и уж.
И затхлый, издыхающий закат,
И солнце – чад, и полнолуние – чад.
Но где ж пшеница, лилия и лен?
О, в плевелах тонущий Вавилон.

... И глыба глыб качнулась тяжело,
И рушится божественное зло.

Пекарня

Уголь горячий сгребаю гарной лопатой.
– Эй, мальчуганы, ворочайте тесто живей!
Лейте соленую воду в кадки, ушаты,
И не забудьте развесть кисло-бродильных дрожжей.

Под раскаленный зевает пылающей домной,
Соком багровым расцвечены линии плеч.
Круглые хлебы сажаю я за угол темный
И закрываю заслонкой кирпичную печь.

Пар иссушит, крупносольную влагу сжимая,
Верхнюю корку румянцем густым обведет.
Гольый мальчишка с корзинкой придет, ковыляя,
Быстрой ладонью горячие хлебы сберет.

Сладко визжит под зубами пшеничная мякоть,
Ноздри щекочет прокисшая масса дрожжей,
Слава дождю, уберегшему зернышко злака
От косоглазых и жгучих и жестких лучей.

Роды

Как мелькнул белоснежный платок
Повивальной бабушки дряхлой,
Поднялся говорливый шумок
И аптечную лавкой запахло.
У постели толпится родня;
Таз дрожит, дребезжащий и звонкий,
И летят к простыне простыня,
И поспешно готовят пеленки.
На пуху, подымая плечо,
Жалко женщина плачет и воет,
Человек, не рожденный еще,
В темном чреве скребется и ноет.
Но такой незаметный (давно ль)
Он теперь раздирает утробу.
И растет материнская боль,
Вызывая горячую злобу.
И кричит, и визжит, и зовет,
И кудахтает (курица будто),
И томит ожиданье. Но вот
Наступает тугая минута.
На кровати зачатый сырой
Воспаленной и душной любовью
Он пушисто ползет головой,
Перепачканный калом и кровью.
И протяжный пронзительный плач
Расползается (дочь или сын?),
Бабка в руки хватает, как мяч,
И поспешно стрижет пуповину.
Бух в лохань – малыша искупать! –
Он скользнет и болтается гибкий.
И сияет усталая мать
Истомленной и томной улыбкой.

Бытие

В чрево матери птица меня принесла,
В некий день я рожден на углу Госпитальной.
В этом доме, где некогда баня была,
Где за баней ютился дом синагогальный.
Там петух ковылял, и собака плелась,
И индюк, гоготающий, расплескивал грязь.
Я любил зацветавшие щели молелен –
В них торчал липкий мох – омертвелая зелень.
Но я рос. Тают годы, как в оттепель снег.
Мох ободран, петух был на Пасху зарезан.
Но люблю этот дом, где был начат мой век.
Ах, не там ли я зачат, рожден и обрезан?
Да и как мне забыть мой родной Хаджибей,
Берега Ланжерона меж мыльных зыбей,
И не я ль неуклонно, закинутый, помню
Слободу, Бугаевку и каменоломню.
Волны вечности хлынут и вновь утекут,
Уподобив меня переполненной чаше.
Я ребенок. Я снова читаю Талмуд
И ищу откровений великого Раши.
Я забыл этот бред и, от книги ушед,
Я познал беззаботность в течении лет,
И древесные шумы, и отклики птичьи,
И дыхание пашен, и ласки девичьи.
Но есть год. Он семнадцатым мечен числом –
Неуклюж и коряв, как кирпичный обломок.
И не раз и не дважды вспомнят о нем,
И в торбине столетий отыщет потомок.
Этот год, распрямивший согбенные выи,
Взбудоражил инстинкты и спутал стихии.

Пил и я Октября золотое вино,
Воевал под Тамбовом, встречался с Махно;
Нагружал шарабаны, повозки и фуры.
Наступал на Махно, убегал от Петлюры.
И в тюрьме, что похожа была на сераль
(Часовой – и на шомполе солнце полудня) –
Где засовы тяжки и решетчатая сталь,
Я познал одиночество, скуку и будни.
Знаю ныне: меж чуждых и высохших нив
Суждено расхлестать мне желавшее тело.
От младенческих весен бродягою быв,
Мне ль бродяжьего можно избегнуть удела?

Всенощная

Двигается радуга апреля
По излучинам приморским юга
Теплой влагой город захлестнуть.
Вот и нынче на Страстной неделе
Огибая прошлой ночью угол,
Видел трепыхавшуюся жуть.
Фонари мигали, липли свечи,
Колокольня легкая гудела,
Тени разбегались по кустам,
Мытари вернулись, не обретши
В полночь воскресающего тела,
И задули пламень – стыд и срам.
Тщетно, мытари, искать, как древле
В зыбких насыпях Иерусалима
Опаленные ученики –
Коль гробницу раскрошили черви,
Расплеснулась плоть потоком дыма
И застлала кирпичи пески.
С фонарями веры не обрящешь,
И молитва тоже не поможет,
И умершее не оживет.
Что с того, что косный верил пращур,
Что с того, что отчим верил тоже, –
Если сын кадило не возьмет,
Просветленный, не идет склониться
На бетон холодный. Пахнет цвелью,
Пальма – словно сорная трава.
И распластанная плащаница
Меркнет, и просфоры зачерствели,
И храмина гулкая мертва.

9 января

В этот день поповская попона
Жало змей скрывала под собой,
И жандарм – суровый брат Гапона
Управлял рабочей толпой.

Меткий взмах, удар нагайки хлесткий –
И под смех с старухи сбит чепец.
В этот день от пуль на перекрестке
Лег старик – быть может, мой отец!

В этот день был замурован камень –
Не вернуться никогда назад, –
Тот, чей мозг и сердце были пламень –
Может быть, то был мой старший брат!

В этот вечер – мне сказали люди –
Девушке у чадного костра
Палачи щипцами рвали груди –
Может, то была моя сестра!

В эту ночь – ночь гнева и печали,
На тебе проклятия печать.
В эту ночь в заброшенном подвале
Над детьми рыдала скорбно мать.

Верю я незыблемо и твердо –
И душа, уверовав, светла, –
Что жандарма холеная морда
В прошлое навеки отошла.

Верю я, что в год безмерных бедствий
Мы сумеем все же устоять.
Что, поняв возможности последствий,
Не попятимся мы вспять!

Исаак Бабель

О Техте

* * *

В апреле 1923 года Семен Гехт и Сергей Бондарин едут в Москву. Исаак Бабель передает с ними письма.

Исааку Лившицу:

«...Это письмо передадут тебе совершенно бесшабашные ребята – одесские поэты Гехт и Бондарин. Они без царя в голове, но не без дарования. Помоги им, чем можешь...»

Владимиру Нарбуту:

«Друг мой, Владимир Иванович.

Вот два бесшабашных парня. Я их люблю, поэтому и пишу им рекомендацию. Они нищи до крайности. Думаю, что могут сгодиться на что-нибудь. Рассмотрю их орлиным своим оком <...>

Од. 17.4.23

Твой И. Бабель».

Михаилу Кольцову:

«От Бабеля, без вести пропавшего, заточившего себя добровольно – Кольцову, прославленному древле от всех.

Вот Гехт и Бондарин. Их актив: юношеская продерзость и талант, который некоторыми оспаривается. В пассиве у них то же, что в активе. Им, как и пролетариату, нечего терять. Завоевать же они хотят прожиточный минимум. Отдаю их под вашу высокую руку. – От сего дня в непродолжительном времени я напишу вам о себе письмо.

Ваш И. Бабель

Од. 17.4.23».

В ОДЕССЕ КАЖДЫЙ ЮНОША...

В Одессе каждый юноша – пока он не женился – хочет быть юнгой на океанском судне. Пароходы, приходящие к нам в порт, разжигают одесские наши сердца жаждой прекрасных и новых земель.

Вот семь молодых одесситов. У них нет ни денег, ни виз. Дать бы им паспорт и три английских фунта – и они укатили бы в недосягаемые страны, названия которых звонки и меланхоличны, как речь негра, ступившего на чужой берег.

Вот семь молодых одесситов. Они читают колониальные романы по вечерам, а днем они служат в самом скучном из губстатбюро. И потому что у них нет ни визы, ни английских фунтов – поэтому Гехт пишет об уездном Можайске, как о стране, открытой им и не изведанной никем другим, а Славин повествует о Балте, как Расин о Карфагене. Душевным и чистым голосом подпекает им Паустовский, попавший на Пересыпь, к мельнице Вайнштейна, и необыкновенно трогательно притворяющийся, что он на тропиках. Впрочем, и притворяться нечего. Наша Пересыпь, я думаю, лучше тропиков.

Третий одессит – Ильф. По Ильфу, люди – замысловатые актеры, подряд гениальные.

Потом Багрицкий, плотояднейший из фламандцев. Он пахнет, как скумбрия, только что изжаренная моей матерью на подсолнечном масле. Он пахнет, как уха из бычков, которую на прибрежном ароматическом песку варят мало-фонтанские рыбаки в двенадцатом часу июльского неустойчивого дня. Багрицкий полон пурпурной влаги, как арбуз, который когда-то в юности мы разбивали с ним о тумбы в Практической гавани у пароходов, поставленных на близкую Александрийскую линию.

Колычев и Гребнев моложе других в этой книге. У них есть о чем порассказать, и мы от них не спасемся. Они возьмут свое и расскажут о диковинных вещах.

Тут все дело в том, что в Одессе каждый юноша – пока он не женился – хочет быть юнгой на океанском судне. И одна у нас беда – в Одессе мы женимся с необыкновенным упорством.

Семен Гехт

Очерки

... Очерки эти резко действовали на все пять чувств. Они **пахли** морем, акациями, бахчами и нагретым аккерманским камнем.

Вы **осязали** на своем лице дыхание разнообразных морских ветров, а на руках – тяжесть смолистых канатов.

Вы **чувствовали** вкус зеленоватой едкой брынзы и маленьких дынь канталуп.

Вы **видели** все это со стереоскопической выпуклостью, – даже далекие, совершенно прозрачные облака над Кинбурнской косой.

И вы **слышали** острый и певучий береговой говор ничему не удивляющихся, но любопытных южан, – особенно певучий во время ссор и перебранок.

Чем это достигалось, я не знаю.

К. Паустовский

Одесса

Только тогда оживает Приморский бульвар, когда в спокойную бухту врывается американская миноноска, на которой саженными цифрами тщательно выписано «227», и с огромного грузового корабля шлепают подмоченные канаты и скользят сходни.

Это значит, что на две недели порт оживет. Это значит, что эстакадный переулочек будет наводнен любопытствующими мальчишками, и несколько тысяч грузчиков заполнят пристани. Это значит, что по портовым улицам потянутся подводы, площадки и грузовые автомобили, у пакгаузов будет топтаться караул, и бездельничающие бабы будут подбирать высыпавшееся случайно из мешков зерно.

В остальное время в порту скучно, так как наладившееся сообщение в пределах Черного моря не способно оживить пространного и раскинувшегося порта. Суда из Константинополя и Италии приходят редко, стоят долго и не вызывают к себе особого интереса.

Днем в городе малоллюдно. Оживление бывает по вечерам, когда центральные улицы запружены проститутками и в ресторанах гастролируют румынские цимбалисты. Публика весьма охотно посещает многочисленные кинематографы и миниатюры, в которых столичные любовники ставят революционные пьесы и в которых «женщина-феномен» угадывает мысли на расстоянии.

Движение трамваев в сравнении с Москвой – ничтожно. Их так мало, этих великолепных трамваев, светящихся рекламами и подобных которым не сыщешь во всей России.

На прежнем Толкучем рынке расположился зверинец, работает карусель и мелькают качели. Зверинец убог и смешон до абсурда. Весь его состав исчисляется двумя медведями, орлом, лисицей и попугаем. Владельцы скорбно и величаво рассказывают о несчастных животных, умерших жуткой зимой 21 года. В балагане балерина исполняет Dance de la Gypsy Сен-Санса, но равнодушный и обманутый зритель насмешливо оглядывает ее грязное трико и стоптанные туфли.

Окраина, перенесшая тягчайшие беды, возрождается к жизни медленно и туго. Бугаевка еще не очищена от осколков снарядов, взорванных в эпоху германской оккупации, и поляна Дюковского сада оголенными пнями напоминает о столетних акациях, составивших гордость Молдаванки.

История этого сада, лучшего в Одессе, замечательна. Были тревожные дни оккупационного владычества, когда по взбудораженным улицам шныряли смуглые зуавы, когда коротконогие негры заполняли лунапарк и шотландские стрелки в юбках вызывали смех топтавшей вокруг них уличной детворы. Дров в городе не было совершенно. Несмотря на жаркие летние дни, нужда в них была огромная, так как обнищавшему окраинному населению не на чем было сварить постных щей. Однажды утром поднялись ремесленники Слободки и Бугаевки и, не обращая внимания на стрекотню пулеметов и на отточенные штыки зуавов, двинулись с пилами и колунами к великолепному Дюковскому саду. В течение одного летнего дня весь сад был вырублен и был увезен волоком, на повозках и спинах. Об этом дне окраинное население вспоминает с удовольствием и гордостью, и только тогда, когда зной уж слишком удушлив и нигде не сыщешь тени, к довольству примешивается сожаление о столетнем парке и чудесных акациях.

Горячая жизнь кипит только на Пересыпи. Там в полном ходу усовершенствованные и исключительные мельницы, там работают гигантские скотобойни, электрическая станция, кишечный завод и гордость заводской Одессы, завод б[ывший] Гена, выделяющий двухлемешные плуги, зубчатые бороны, косилки и сеялки. По обширным улицам тянутся подводы с лиманской солью и болгарские повозки с овощами с богатых и культурных участков полей орошения.

Так живет южная столица, удивляющая малолюдностью, но радующая взор наш внешней чистотой и благообразным видом.

Уличная Москва (письмо из Москвы)

Мы врезываемся в рельсовый лабиринт. Паровозная копоть захлестывает лицо. Разукрашенный пульман ныряет под стеклянный колпак. Человек в мундире ударяет палкой о чугун. И вот – платформа.

В моей корзинке – пять фунтов веса. Кроме старых газет, двух пар джутового белья и собственных рукописей – там ничего нет.

Но носильщики наваливаются на меня, как на американского родственника. Они пересекают мне дорогу, сбивают меня с ног и дергают за рукав. Но у меня есть опыт. И поэтому я ловким движением проскальзываю мимо целой сотни верзил в фартуках и с металлическими бляхами на левом соске и выхожу на Дорогомилловскую площадь. Я попал в столицу в удачный день. Республика справляет большой праздник. Прохожу сквозь широкую арку, сколоченную из фанерных щитов и обтянутую красными полотнами. Улицы запружены рабочими,двигающимися на Красную площадь. Вскидываю глаза кверху – тысячи вывесок, тысячи названий лезут мне в глаза. Многоцветные афиши оглядывают меня саженными буквами. И по правую сторону равнодушная рука клейщика напяливает на беспомощную стену новую кучу печатных листов. В чем дело? – Вечер гипнотизма, лекция об омоложении, воспоминания о Желябове, вечер поэзии, на котором выступают 150 поэтов и новые кинофильмы. Что ни улица – театр, переулочек – редакция, площадь – клуб, ассоциация, комитет, общежитие и факультет.

Старая истина: Москва разбухает за счет провинций. большие губерньские города оскудевают и съеживаются – чтоб еще более насытить Москву.

Внешний наряд Москвы с каждым днем расцветивается и обогащается. По вечерам внимательный комхоз промывает центральные улицы, в многочисленных скверах цветут тропические растения. Желтый песок Никитинского бульвара и кактусы театральной площади говорят приезжему о мирном состоянии Республики. Бойницы разубраны блестящими флагами и башни отливают иллюминацией. В шесть

и двенадцать печальные куранты Спасской башни лениво отбивают «Интернационал». В три и девять на Спасской гудит похоронный марш. Посетители Гумма снимают фуражки на всякий случай.

Огромный Гумм со стеклянным колпаком и цилиндрическими вывесками перегружен продающими и покупающими. В огромном Гумме плещет фонтан. Позади фонтана – знаменитый «Мартьяныч» – фешенебельный ресторан, где лакеи в красных фраках подают малороссийские щи и душистый кальян. от зеркального вестибюля на Красной площади до каменного «Зона» на Садовой тянется невидимая нить. Каменный «Зон» включает в себя два учреждения: театр Мейерхольда и казино. Вверху прожекторы освещают застроенную «конструкциями» сцену и жестокий Мейерхольд искореняет сентиментализм, насаждает порнографию, от которой Луначарский стонет на четвертой странице «Правды». Внизу краснорожие и потные спекулянты вышвыривают сотни миллиардов на рулетку. Длинные швейцары в зеленых livреях с галунами не пропускают в казино подозрительных (по одежде) посетителей. Здесь шикарные дамы проигрываются в пух и прах. Здесь юркие посредники от Мартьяныча вербуют женщин для своих клиентов. От столика к казино до дивана в Гумме – дистанция в пятнадцать минут.

Вечером огромные площади грохочут, как карусели, и жужжат, как сотни пропеллеров.

Вечером на площадях под небоскребами вздергиваются шесты и расплываются экранные полотна. Толпы всякого народу читают залпом надписи.

Дворцы сменяются прудами и демонстрация против лорда Керзона сменяется замоскворецкой драмой.

В Москве много говорят теперь о Комарове-Петрове. Тайна 33-х мешков с человеческими трупами не дает москвичам спать. Когда этого страшного извозчика везли в политехнический музей на общественный суд, конные разъезды с трудом уберегли его от самосуда толпы.

На базарах – гам и толкотня, суетливая и южная.

На всех площадях я встречаю толпы, окружающие певцов, чья скулящая песня и дребезжащая вольнка несутся с каждого перекрестка. Слепцы приспособились. Мне не приходится уже слышать о «калечестве бедном» и «свете затемненном». Но зато... Но зато они все поют, как один: «Ой, как литалы красны соколы-ы-ы»... А есть и такие, обрусевшие, от которых вы услышите нечто, действительно

чудовищное. В Охотном ряду слепец, ворочающий свою волынку так же лениво, как барышня лотерейный ролик, торжественно распевает:

– Председателю нашему, Ленину – слава!

– Наркомвоену нашему Троцкому – сла-а-ва!

И всем нашим комиссарикам – сла-а-а-ва!

Китайцы, стриженные по-запорожски и одетые в казенные гимнастерки и ластковые кальсоны, разворачивают на бульварах облезлый скарб, всаживают в ноздри десятидюймовые гвозди, глотают металлические шарики и с грохотом выплевывают их.

Цыганки уже не гадают – никто не хочет – и все потешаются.

Они увязываются и гнусавят, и нищенствуют, гремя раковинами серег и медью ожерелий.

Иногда днем в Охотном ряду неожиданное оживление. в открытом автомобиле проезжает т. Троцкий. Он сидит один в английском френче и суконном кепи. Толпа торговцев свежим балыком и каширской шенталой следит замороженными глазами за наркомвоенном, исчезающим в вестибюле Дома союзов.

По вечерам можно видеть на Тверской так называемые демонстрации торговцев. Беспатентные торговцы препровождаются в ближайший район. Они шествуют колоннами, конвоируемые милицейскими, с огромными корзинами на головах, ядерные и равнодушные.

От Нескучного сада до Крымского вала – площадь в несколько верст, занятая постройками сельскохозяйственной поставки. Тысячи вагонов леса свалены на набережной Москвы-реки и ... все растут с радующей быстротой каменные флигеля, струганные избы, конюшни, хлевы, птичники, павильоны, бани и пр. А в Нескучном – народные гулянья и катанья на лодках, на новых эстрадах оригинальные босоножки танцуют фокстротик и клоуны читают революционные стихи.

Одессита узнают по сплетням, одесского нэпмана – по озлобленности. Московские же торгаши не мыслят перемен. Московские нэпманы читают передовицы Стеклова и восторженно отзываются о Чичерине.

По воскресеньям в Сокольниках карнавалит комсомол.

В деревянной клети везут коменданта, загримированного великим патриархом. Он помахивает кадиллом, окропляя водой хохочущую толпу.

Алешки (письмо)

Вместо эпитафии две поговорки. Первая – «всякому овощу свое время» и вторая – «будет и на нашей улице праздник».

Это к тому, что каждому городу – будь он велик или мал – сужден свой час, знаменательный час, когда прокатившееся по его стогнам событие делает его местом историческим.

Левобережные Алешки, оползающие зеленью и карабкающиеся по кучугурам, знали дни, когда отрывистые огни коптили виноградники и сжигали пчелиные колоды, когда пылающие осколки врезывались в хрупкие простенки мазанок и обугленные тела путались в камыше и плесени, мертвыми руками колыхая зеленую заводь. Но эти дни – дни войны – знали и правобережные фабричные корпуса, и каменные отроги черноморских мысов.

А знали еще Алешки лето, сухое лето 1921 г., когда в домах огородников квартировала сивашская стрелковая дивизия и на городском плацу, за городским базаром, находилась радиостанция. Каждые два часа город забрасывался бюллетенями, устными, письменными, печатными и электрическими. Появились слухачи, город почувствовал себя возвеличенным, Москва казалась под рукой, а Харьков... Да что Харьков, если губернский (некогда) Херсон, тот самый, в котором пять общественных скверов и в них чутунные генералы с металлическими ядрами, бронзовыми досками и бетонными балюстрадами, ждал телеграмм из Алешек. От абрикосовых пастбищ мчались курьеры, возвеличенные курьеры, ибо место красит человека, пересекая узкую Конку, заросшую Чайку и раскачавшийся залив Днестра к оживленной пристани, к соломенной вдове, к губернскому (некогда) Херсону.

– А хто ж він, як не слухач? Мабуть, телеграфист?

– Ципа, слухач идет, Соня, слухач идет, ой, посмотри-ка!

Слухач ел даром (это в бесхлебный год) – пшеничные калачи, пил даром (это в чудовищную засуху) – виноградный настой, и у каждого хозяина был соломенный навес и густое одеяло для слухача. К его услугам были крашеные шарабаны, и пушистые девичьи затылки, и плоскодонные шаланды на низких плавнях.

Осенью сивашская дивизия перекочевала на левый берег – конец радиостанции! Располагалась дивизия на баржах с зарядными ящиками и двуколками, с граммофонами, швейными машинками и

корзинами абрикос. Провожать дивизию вышел весь город. Рыбаки усмехались, вколачивая доски в смолистые шхуны, дети пели «Интернационал» и Преображенский марш, а женский пол, который замужний, ревел, как оглашенный.

Но отчалив от плавучей шаланды и баржи – приднепровский Уэльс протянул ноги, городок затих, буторчатые дюны захлестнули дорожные известняки, и Москва стала казаться несуществующей, а Харьков, даже Харьков, далеким, как Парагвай.

Теперь на улицах Алешек кувыркаются грязно-розовые свиньи, тучновынные волы бодают афишные колонны и с деревянных заборов топорщатся пожелтевшие, обожженные, обугленные клочки отшумевших листков «Роста».

Каждому городу враждебен другой. Враг Алешек – бойкая Каховка.

У Каховки – железная дорога, хочешь – Каховка-Москва, хочешь – Каховка-Севастополь. В Каховке по воскресеньям бешеная ярмарка, пшеница на отбор и кони красавцы, Каховка на Днестре, где красный «Цесаревич» наваливается на пристань, а «Малая Гера» плетется на буксире.

Но Алешки – уездный город, что делать, против карты не попрешь.

В Алешках дома задымлены, как печи – врангелевские пушки бахали не зря, Каховка вкатилась в историю войн тысячами трупов, кровавыми днями (тяжкая победа) Каховского плацдарма.

У днепровских вод на шумных плавнях таврического безмятежья – гибельная Сахара. От самогона и пышек к калужскому квасу и сухому хлебу. А потом жуткая бесхлебица, вместо жгучего житняка – каменный жмых, горькая, злая, полосатая макуха.

Но Алешки – оазис Таврической Сахары. В то время, когда кругом на полях чахлая пшеница выгорала на корню и на выжженных складках вместо картошки вырастала сорная ботва и сморщенные клубни, в Алешках урожай был спасен отчаянными огородниками. Целыми днями работали хозяева, тихую Конку загромождали пожарные шланги и речное дно высохло, перекачиваемое на жадные огороды. А как скрипели огромные бадьи во всех колодцах на всех участках! Днем и ночью, как на военном заводе, дежурили люди у колодцев, от них не отходили, выкачивая по несколько тысяч ведер в день. Сваливались тут же, ожидая смены, спали и ели у колодцев, трепещущие и торжествующие.

Зима постлала снегом печальные поля, отогрела холодной влагой недра и апрельские ростки – радостная зелень – отодвинули воспоминания о днях смерти.

Народный суд

Список, возвещающий о служебном дне народного суда, огромен. Слушанию предстоит свыше двухсот дел. Сложная задача разрешается просто. Они рассасываются по восьми залам и ликвидируются незаметно.

В каждом зале – четыре малахитовых колонны, одна великолепная люстра, три аполлона с перержавевшими пахами и на стене – герб Республики.

В углу на помосте – длинный стол, обтянутый зеленым сукном. За столом – три широкоплечих дяди в штатском. Как в школе, на экзамене.

Но атмосфера все-таки в каждом зале – разная.

Например, во «втором гражданском» нет женщин. Подсудимых вводит конвой, толкутся многочисленные свидетели, по скамейкам ползает тревожный шепот. Перед скромным судьей и еще более скромными заседателями в мастеровых пиджаках и неуклюжих сапогах с раструбами проходят самогонщики всех мастей, случайные и высококвалифицированные. Легкий звон колокольчика.

– «Именем Российской Социалистической...» – все встают. Одна минута – готово. Усаживаются, кряхтя. Обязательно кряхтя – почему, неизвестно. Тишина – свист влетающей пыли и шелест уличной пыли.

– Подсудимый Ястребов!

От двери отделяются двое: монтер Павел Ястребов и конвоир. Обвиняемый шагает через зал, опустив глаза. Плотная вяземская рубашка не может скрыть нервного дрожания ребер. Ему читают обвинение: «Подсудимый Ястребов был задержан на Крымском валу с бидоном самогонки».

– Вы признаетесь в продаже спиртных напитков?

– Нет, товарищ судья. Никогда не торговал.

– Кому же предназначен самогон?

– Тестю нес в подарок.

– Это целый бидон-то? Ваша профессия?

– Мастером служу.

– Ставка ваша?

– 3 400 рублей.

– Однако же... Расход не по приходу. Дорогие подарки-то.

– У меня работа посторонняя была. Излишек оказался.

– Где вы работали на стороне?

– На Арбате.

– Укажите точный адрес и фамилию.

Подсудимый молчит. На вопрос о месте отвечает сбивчиво, краснея и заикаясь. К концу показаний путается совсем. Судья и заседатели уходят после краткого опроса свидетелей в совещательную комнату. Публика вздыхает.

– Бестолковый человек. Сам себя в грязь пихнул.

– Сумел заварить, сумеет и расхлебывать.

– И правду говоря: язык до Таганки доведет. Месяца три – фактура.

Подсудимый слушает, прикусив губу и блуждая невидящими глазами по перержавевшим бюстам равнодушных аполлонов. Он уже знает о наказании, ждущем его. Так и есть. У публики острый нюх – угадала.

Пока будут судить следующих самогонщиков, пройдем в соседний зал. Но что там делается? Милая, домашняя картина. В публике много женщин, молодых и «симпатичных». В рядах – хохот. Хохочет публика, затыкая рты платками, смеются, пригнувшись над столом, присяжные заседатели и улыбается судья. И что любопытнее всего: хохочут ответчики. Это немолодой муж и немолодая жена. Она требует развода, он отказывается ей в этом. Судья убеждает настойчивого супруга:

– Что вам за охота жить с нею, если она не хочет вас?

– Так если я ее люблю? Двадцать лет жили – не отколешь.

– Почему же вы ее избивали?

– Да, как не побить, товарищ судья, если она – негодная совсем хозяйка.

– Объяснитесь.

– В баню соберешься – белье не готово, обедать придешь – щи не состряпаны, в публичные места ходить задумала.

– Как это так, в публичные места!

– В клубы там разные. Не бабье это дело, товарищ судья.

Судья улыбается, в рядах – хохот. Легкий звон колокольчика – свист влетающей пыли и шелест уличной пыли.

Муж – «нет», по-прежнему. Жена «требую» – по-прежнему.

Публика – ушки на макушке. Мило, хорошо, свежо.

Судья захлопывает «дело» супругов -овых и никто не замечает, как вместе с папкой и пылью он захлопывает два солнечных луча. Ответ во всех бракоразводных процессах одинаков:

– Через три дня в общей канцелярии. Готово.

Уходя, муж оправдывается:

– Бабы достатки да бабы догадки – последнее дело. Одно слово – пошире мужика нашла. Эх...

Следующее дело – гражданка Карягина.

Гражданка Карягина – высокие каблуки – мюр и мерилиз, рыжие волосы – перекись водорода, а запах-то, запах – дрожжи и ваниль. Гражданка Карягина – ах!

– Истец Чапыгин! Толстый и солидный (главное, солидный) – домоуправление, акт о выселении. Нет денег, шум, танцульки, кокаин, нельзя терпеть.

Гражданка Карягина говорит долго и звонко. Кокетство – и не простое – первый сорт – струится от нее, как дым от паровоза. Но судья холоден. Но судья деловит – ах, что будет. Гражданка Карягина за платком – а платок душистый. Кофточка нараспашку и пуговичка на отлете – а лифчик-то кружевной, а груди-то тужеют, багровеют, качаются – неужели не поможет. Но судья – даром, что в пиджаке и сапогах аховых, а Фемиде – подобен. Холоден и слеп, как мраморная башня над фронтонами губернских окружных.

Оставим гражданку Карягину – пусть выворачивается, как знает – средств у нее достаточно. Посмотри, чем дышит уголовный суд.

– Подсудимый Аляско избил числа такого-то извозчика Клычко. Доставленный в район, по освидетельствовании оказался в состоянии полного опьянения.

– Признаете себя виновным?

– Извиняюсь. Случайно совсем. Напоили, черти.

– Кто напоил?

– Да пусть их. Ладно. Судите.

Обвиняемый угрюм и серьезен. Трезвый, он совершенно другой человек. Он не помнит себя в пьяном виде. Совестно и тяжело – сбить бы с рук.

Но когда вызывается жалобщик, дело принимает совсем неожиданный оборот. Пострадавший три недели тому назад извозчик Афанасий Клычко теперь вдребезги пьян. Он еле вкатывается в залу, смачно целует подсудимого Аляску и слушает с блаженным видом чтение

протокола. Ему нравятся деликатные слова, судья с перевязанной щечкой, аполлоны и все. Он доволен.

Но дело приобретает новое название. «Трезвый подсудимый и пьяный свидетель». В результате – пять рублей золотом – подсудимому Аляске и двадцать пять – жалобщику Клычко. Жалобщик Клычко изумлен и все-таки доволен. Он только не может никак выпутаться из колоннады и с недоумением изучает холодный и блистающий малахит.

Огибая барьер, подходят трое. Спины – корявая мощь, американские кепи, лица – нахмуренная ширь и синие блузы – словно сползли с агитационного плаката Дени. Трех богатырей обвиняют в том, что они, проходя по Чугунному мосту, бросили в воду бомбу. Три богатыря оправдываются – какая там бомба – ракета ерундовая. А свидетели сбоку: – треск-то откуда? Ракета не трещит, милые.

Старший сконфуженно оправдывается. Чувствуется правда.

– Шли мимо мосту. Видим – лежит, вроде дрожжи какие и фитилек посередине. – Лексей, – говорит Кстантин, – (Кстантин – вот он) – давай зажгем. Согласились – занятно. Поднесли спичку, а она-то как поползет, как поползет, да как стрельнет – кто его знать мог. Не военные мы.

– Где работали последнее время?

– В Можайске, лес возили.

– Эх, Можай, на баб урожай, – вздыхает присяжный заседатель.

Три члена суда уходят совещаться; три богатыря ждут. Три члена суда возвращаются и вот – именем социалистической.

– Оправданы, – говорит один из публики. Все довольны. По лицам богатырей проползает улыбка, похожая на первомайский плакат.

На улице дождь, град, а здесь тепло, уютно.

Есть буфет – чай, и булки, и котлеты. И оживленные кулуары – очень, очень уютно. Правда, не всем – десять человек все же пойдут отсюда под конвоем под кирпичный свод, на холодные нары, в убогую комнату, где нет ни поржавевших аполлонов, ни малахитовых колонн, ни великолепной люстры.

Старики Еврейская беднота на Подолии

Пивная «Богемия» дрожит от шума и дыма, белые скатерти залиты красным пивом, желтые официанты выгибают четвероугольные спины. Посетители шумят. Резкий кабацкий гул возбуждает древней пьяной му- тью даже тех, кто еще не пьян. И пьяные, и трезвые с одинаковой кабац- кой развязностью ездят по столу локтями, раскачиваются на стульях и орут. Кто они? Толстяки в регланах (красная шея – короткие брюки – жел- тые ботинки), дамы (два выреза, один разрез и еще кое-что), те, что на Ильинке (даю червонцы) и прочие. Пьют много, едят мало, говорят гром- ко, ругаются вполголоса (все-таки дамы). Пивная как таковая – ясно.

И вдруг (обязательно вдруг) медленным шагом, раскачиваясь, вздыхая и поглаживая бороду, вошел еврей. Но эффект был сверхче- ловеческий.

Что за диковинка – имеет основание удивляться каждый. – Еврей то-о-же!...

Однако же вот какой это еврей. У него широкое лицо, изборож- денное морщинами по диагонали (Рембрандт, Эрмитаж, верхний ярус), очень большая и очень седая борода, косматые брови над ем- кими глазницами и жилистые руки с длинными желтыми пальцами. Одежда на нем: археология, этнография, гравюра, смесь Пятикни- жия с анекдотом.

Пьяные посетители вытянули пьяные головы. В пьяных глазах изумление в кубе. Это потому что в позванивающую и грохочущую Москву неожиданно ворвался кусок Воьны, часть Подолии, отрывок Галиции.

Киев позади. Узловой пункт – трепещущая Винница. От станции влево – узкая колея. Крошечные рельсы и маленькие вагоны, покачи- вающиеся на шпалах, как шхуна на море или московский трамвай на спуске. И там, где узкая колея, споткнувшись о белые глыбы сахарных заводов, исчерпывается – город Хмельник. В городе Хмельнике муж- чины ходят в длинных капотах из польского шелка, женщины носят пестрые кашемировые шали и дети волочатся в люстриновых пиджа- ках. В городе Хмельнике – шесть дней горестный труд, ожесточенная торговля плюс легкое надувательство, ибо – не обманешь, не продашь. Но приходит суббота и тогда...

И тогда поцелованные Шехиной хозяйева топчут размякшую глину, подвернув лапсердаки и тихо напевая под нос. Ах, эта заунывная и вьющаяся жгутом мелодия! Городской человек слышал ее в Маринском и Большом театрах. (Сен-Санс – «Самсон и Далила», Серов – «Юдифь».) Это мелодия «голуса», угнетения и изгнания. Недаром так похожа она на бессарабскую дойну, бурлацкие песни Поволжья и хоры украинских дивчат.

Археологические евреи очень любят музыку. Любимые инструменты – скрипка и кларнет – проводники музыкального целомудрия. Каждое местечко и даже поселок имеет свою собственную музыкальную капеллу. На Волини их много и успех их огромный. Их часто даже приглашают на деревенские свадьбы крестьян. Если только найден повод – обрезание, крестины, похороны, помолвка – капелла на месте – гудит нутро контрабаса, скрипит канифоль и дрожит сияющая медь кларнета. Реже – валторна и барабан.

По тракту Хмельник-Меджибож ходят нищие. В старых черепках еще гнездится каббала: легенды о чудотворце Баал-шеме достались им в удел. Судьбы человечества определяются вычислениями – например, «Ленин-220» – что это значит? неизвестно.

На Подолии девушки круглые и ядреные. На Подолии девочек рожают больше, чем мальчиков. Стало быть, в мужчинах нужда, стало быть, мужчины на вес золота. Приезжай оборванцем – откормят до третьего подбородка, оденут в польский шелк, обуют в английские сапоги, только женись. А за женой – фруктовый сад, огород, кирпичная изба с каменным крылечком и крышей из дранки.

Думаете – старые девы? Отнюдь. Девятнадцатилетняя девушка считается в местечке перезрелой, если же ей двадцать два года – заведомо стара. А к жениху надо присматриваться и быть осторожной. Сколько жуликов наезжало из больших городов юга, вступали в брак и исчезали с деньгами!

Археологические евреи позиций еще не сдают. Пусть сыновья не посещают синагогу и не тянут еврейской дойны, а ходят в комсомол, чтобы делать противные богу дела и петь противные богу песни. Еще маленькие дети подвластны им, маленьких детей можно тормозить разделами Бытия и Чисел и неволить к зубрению списка наказаний за прелюбодеяние и соитие со скотиной. Но – увы и ах! – малыш подрастает, красные книжки сменяют ломаную библейскую нонпарель и даже переход евреев через Чермное море не будет его пугать, ибо он узнает смысл режущего слова «легенда».

Старики ненавидят это слово «всем сердцем своим» и «всей душою своею». Это слово вселяет в семью разлад и укрепляет вражду между теми, кто с археологией, и теми, кто хочет жить сегодняшним днем.

Благополучнее в Польше, хуже в Галиции, но Волынь, но Подолия, но Киевщина!

Нижеследующая сцена одинакова всегда и всюду, как типографская матрица. Еврейская семья. Обеденное время. Действующие лица: отец и сын.

Сын: (продолжая) ... и никакого чуда тут нет, просто большой отлив – вот и все.

Отец: – Как нет чуда? Значит, и Египта не было, и десяти казней не было? И Моисею бог не показывался? И десяти заповедей не было??

Сын: – Все это существовало и существует, как легенда.

Отец: (багровея) – Опять легенда? Вон из моего дома!..

Но все-таки садятся за обеденный стол, озлобленные и чуждые друг другу.

А старик рассказывает вечером в старом бетмедраше на классической Гнилопятке, что слышал, как Шехина, та самая, у которой крылья белее снега, плакала в его доме горчайшими слезами, ибо ее слезы – слезы безгрешной жены, посланницы седьмого неба.

Стариков не убеждает и героизм молодых. Молодые погибали в лесах, в схватках с бандитами, молодые выезжали на самооборону и встречали смерть как праведники. Но старикам и это не в счет.

Они не сдадут своих позиций. Они безмятежно уйдут в архив. И песни их – песни изгнания и угнетения, так похожие на бессарабскую дойну и хоры украинских дивчат, будут замкнуты за двумя ключами – скрипичным и басовым – в пятиместные юргенсоновские лагеря.

Лицом к солнцу

Сейчас стало модным среди кое-кого ругать Крым. Вернется какой-нибудь такой и на вопрос – как и что, отвечает лениво:

– Скучно в Крыму.

Он не нашел там, видите ли, городских развлечений. Мало, понимаете ли, кафэ, и сольные номера отсутствуют, и кинематограф дряблый, и посудачить не с кем. Другие называют Крым конфетным, где все нарочно, вроде Лос-Анжелоса, что ли.

– Неблагодарные люди! – хочется крикнуть им с досадой, – посмотрите на себя в зеркало. Чем вы были и чем стали! Вы приехали в Крым, начиненные всякими немочами, вялые и худосочные, хоть выкрасить да выбросить, а теперь... даже женщина посмотрит на вас без неудовольствия.

Нам хочется написать славословие Крыму, этому верному хранилищу не испорченного солнца и самого свежего воздуха. Здесь каждый санаторий творит чудеса: человека привезли на линейке, его внесли на носилках в кабинку, а через две недели он ходит уже по двору, а если этот человек – неврастеник (сейчас так много неврастеников лечится в санаториях), то вы можете наблюдать, как крымское солнце выжигает из него неврастению и как крымский воздух выдувает из него всю городскую желчь.

Если к деревне надо поворачиваться лицом, а к волоките спиной, то к солнцу надо повернуться и лицом и спиной.

Крепка санаторная дисциплина. На днях я попал в санаторий в три часа дня. Я не знал, что это мертвый час, и поплатился за это незнание. Я никак не мог отыскать своего больного приятеля. Все опрашиваемые молчали. Все лежали на плетеных койках во дворе, не двигаясь и ровно дыша. Они глядели сквозь меня и не говорили ни слова.

Наконец, я нашел моего больного. Он также посмотрел «сквозь» и не поздоровался даже. Я бросился к выходу, все калитки были заперты.

Наконец, кончился мертвый час и мой больной встал, улыбнулся и сказал:

– Здравствуйте.

Мы все в городе плохи. У нас острые лица и воспаленные глаза, а если и минула нас злополучная худоба, то животы наши безобразно повисли и кожа такая, что можно из нее пеньку щипать или тесто месить.

В Америке люди живут мало и умирают рано. Речь идет, разумеется, о гигантских столицах Соединенных Штатов. Человек, насчитывающий пятый десяток лет, уже не может найти работу. Он считается инвалидом, город съел его заживо, высосал из него жизненные соки, погубил его.

Наши города еще не похожи на американские. Но всякой дряни, вроде копоти, бензина, пыли, уже предостаточно. Мы тоже умираем преждевременно. А Крым может удлинить наши жизненные сроки и напитать наши жизненные соки.

С чем можно сравнить благодатный крымский воздух? Он такой, словно его пропустили через сто фильтров, словно его изготовили по специальному рецепту медика. Он проникает во все поры, и залиывает все дыры, и сглаживает все раны, и расширяет грудную клетку. И как прекрасно он пахнет солью!

Евпаторский пляж открыт с шести часов утра до восьми вечера. Перед открытием его ежедневно распахивают и расчесывают, и потому он чист, как мысли младенца. А если ткнули окурочек в песок – платите три рубля. Не надо гадить на пляже, гражданин, – помните о других!

Вы не увидите на пляже белых тел. Здесь лежат розовые, багровые, смуглые и черные люди. Блаженные лица смотрят в небо, упругие ноги зарыты в песок. Многие отдыхают под брезентовыми навесами, все ужасно линяют, кожа лупится и сползает, причиняя немалую, но утешительную боль.

Здесь не отличишь наркома от курьера. И только мы, москвичи, узнаем в этом голом человеке в черных трусах товарища Лозовского и в этом ныряющем пловце Глебова-Авилова. Вот ползет в воду крымский предсовнаркома. Поэт Николай Асеев поворачивается спиной к солнцу и тихо поет:

Берет меня досада
И чую я беду,
Как в море без доклада
К наркому я войду.

А нарком ныряет вверх и вниз и кувыркается, как дельфин –

Весь брызгами горя,
Без пишущей машинки
И без секретаря.

В детской хрестоматии есть рассказ о мальчугане, которому доктор прописал вкусное лекарство, два раза в день по столовой ложке. Но мальчуган решил вылечиться сразу и выпил лекарство сразу.

А сколько чудачков делают то же самое. Приедет в Крым на две недели и не терпится. Он хочет загореть в один день. И пролежит, несчастный, часов шесть на пляже. О результатах лучше не говорить – страшно.

Люди мчатся в Крым, как бабочки на огонь. Курортная статистика говорит о тысячах случаев, повторяющихся из года в год. А ожоги, иногда, бывают смертельными.

Эти строки автор пишет с подлинной болью в сердце. Опыт достался ему дорогой ценой. Вид его ужасен, кожа спадает чудовищными лентами и можно, пожалуй, без особого труда сдирать с него семь шкур.

Движимый гуманными чувствами, я предупреждаю всех новичков: – В первый день надо загорать не более десяти минут! Помните это и вы будете счастливы.

Семен Гехт

Книги

Общедоступная
библиотечка

Цена

1

копейка.

крестьянского
журнала „Сятедь
Правды“.

С. Гехт.

— Советская ко-
пейка трудовой
рубль бережет.

КРУГОВАЯ ПОРУКА.

(Тюремная запись).

СТИХИ: М. Исаковский
А. Бродяга.

ВЫПУСК

Самара

13

1925 года.

Круговая порука* (Тюремная запись)

– Бежать не советую. Верная смерть. Как в аптеке. – Комендант проткнул булавкой протокол и выдвинул ящик. – Можете идти.

Никто не решался выйти первым. Всех было пятеро. Фамилии их существовали еще в препроводительных, но имена их стерлись и остались только клички. Общая – арестантский Интернационал, отдельные: Пермяк, Вотяк, Чухонец, Мордвин и Еврей. Они не понимали друг друга, слабо усваивали слова коменданта и не догадывались, за что карает их правосудие.

– Зайцев, – крикнул комендант.

– Я! – ответил конвоир и хлопнул каблуками сапог.

– Отведи их в камеру.

– В тридцать первую?

Комендант кивнул глазами.

Арестанты просияли. – Значит – есть конвой, значит опять – тишина и отдых.

Но Зайцев, выйдя во двор, остановился.

– Шагайте, любимчики, фавориты, можно сказать, – небось дорогу сами найдете, – он усмехнулся, – поди, не убежете. Кругова то порука – не кот начихал.

Они вошли в общую камеру и сами заперли дверь – этого требовал комендант, – потом они захлопнули окна, не обведенные решетками – этого он тоже требовал. Пермяк затянул пермяцкую песню о пермяцкой корове, съевшей семь стогов сена, но чухонец ткнул его коленом в бок. Комендант запрещал петь песни. Они сидели молча, потом они завалились на нары. Никто из них не мог спать – каждый вспоминал лицо и слова коменданта. Он говорил так.

– Вам всем сидеть у меня полгода. Полгода, – он отсчитал шесть патронных гильз. – Месяц вы уже отмахали, – он выбросил одну гильзу

* В период французской оккупации на Украине властями часто применялась по отношению к арестованным – политическим и уголовным – система круговой поруки (прим. автора).

за окно, – осталось пять, – он заново отсчитал их. – Никакого конвоя вам не дам. Часовой – нет, караул – нет... (Это они понимали и так) – можете бежать, когда угодно. Но... – комендант поднялся на стуле и хлопнул кулаком по протоколу. Взметнулась пыль и все пятеро чихнули. Комендант освирепел.

– Не зубоскалить! – Он оглянул всех – никто не смеялся.

– Но, – продолжал он, – если один из вас убежит, – это слово они понимали тоже, – оставшимся сидеть два лишних года. Два года, – и он выдвинул вперед два пальца. Все пятеро побледнели, они знали, что пальцы и гильзы – это не одно и тоже.

– А беглеца все одно поймаем. Факт. Расстрел на месте. – Комендант отстегнул кобуру и погладил рукой черный наган. – Круговая порука, сукины дети – поняли, а? Зайцев, объясни.

И Зайцев объяснял:

– Кругова-то порука, товарищи, это не кот начихал, кругова-то порука – хитрая штука.

В камере было электричество, но комендант приказал его не зажигать. Ослушание грозило новой карой. Было темно и хотелось говорить. Но они не понимали друг друга. Зевая и вытягиваясь, они начали обыденную переключку.

– Даешь! – кричал вотяк, указывая на площадь за окном.

– Берешь! – отвечал чухонец.

– Огребашь, – подхватывал пермяк.

– Не лапай – не купишь, – выкрикивал еврей и указывал, смеясь, в сторону комендантского флигеля.

Мордвин молчал.

Этот вечер был таким же, как все последующие. Они вели счет дням, потому что были арестантами. Но ничем, конечно, не отличался один день от другого, было то, что должно было быть – от постоянных дум в сердце тоска и злоба, от забот – в волосах седина и гниды.

Если бы в камере был календарь, он был бы тощ, как фараонова скотина, потому что был декабрь.

Комендант мог выбросить в снег две патронные гильзы, прошло два месяца.

– Мороз-то, братишки, – сказал вотяк на вотяцком языке, но все поняли.

– Окаянный, – ответил пермяк, – держись.

– А-ах ты, у-ух ты, – подхватил чухонец.

– Печечку бы! Дровечек бы! Огонечка бы! – вскричал еврей.

Мордвин молчал.

В двенадцать часов в камеру постучал Зайцев.

– Можно? – спросил он. Все видели, как он скалил зубы за дверьюми и все молчали. Он вошел, раскачиваясь и важничая.

– Ну, ребятушки, спокойной ночи. Прошу не тревожить.

И ушел, довольный собой.

Во втором часу вотяк разбудил пермяка. Пермяк спал крепко, он видел во сне пермяцкую корову, съевшую семь стогов сена. Вотяк пощекотал его под мышками.

– А? Что такое? – пробормотал пермяк.

– Садись, говорить будем, – шепнул ему на ухо вотяк. Пермяк не понимал. Тогда вотяк указал ему на площадь.

– Много... много верста... Вятка?

Пермяк рассмеялся и хлопнул раз ладошами. Это означало тысячу.

– Ах, Вятка! Вятка – мать, Вятка – жена, дом – Вятка, дети – Вятка.

Ах, Вятка.

Пермяк задумался.

– А тебе Пермь? Пермь – дом, Пермь – жена? А?

– Не. Зуздинский.

– Ближе зуздинский. Совсем Вятка.

Они оглянулись. тупыми и сонными глазами смотрел на них мордвин.

– У, сука, молчит всегда, тикать хочет, – подумал вотяк и уткнулся носом в полушубок. Пермяк захрапел. Мордвин не спал всю ночь. Они думают, что он дурачок, он всегда ведь молчит. О, он покажет им завтра, понимает он или нет. Улыбаясь, он плевал сквозь щели досок на нижние нары.

На нижних нарах спали чухонец и еврей.

Еврей видел каждую ночь, как чухонец подкрадывался к окну и полз бесшумно назад, он следил за ним уже девятый день и знал, что этой ночью будет то же самое.

Когда луна выкатилась на площадь и отразилась в снегу, чухонец оцупал спящего соседа, темные нары и, спустившись, заковылял к мерзлему окну.

Еврей стиснул зубы, дыша носом в кулак. Чухонец вскарабкался на подоконник и прилип лбом к фанере.

– Вот оно как, – подумал еврей и соскользнул с нар.

Мордвин приподнялся и тяжело вздохнул, закрыв полотенцем рот. Он стал переводить глаза, воруя зрчками с одного на другого.

– Мать ты моя милая – подумал он, – и эти тоже. Вот будет работка.
– Нильзя, товарищи, – яростно закричал он, – комендант – нильзя.

Чухонец юркнул на нары, еврей полез под полушубок, кашляя. Вотяк захрапел и пермяк запел сквозь сон пермяцкую песню. Мордвин улыбнулся и, утомленный, растянулся плащмя.

Комендант любил пить по утрам горячий кофе. Он пил его всегда, спеша и захлебываясь, обжигая десны, губы и усы.

Утром следующего дня коменданту не суждено было допить своего кофе горячим.

– В чем дело, Зайцев? – спросил он конвоира, который отругивался натошак.

– Секреты пошли, интернационал каторжный, – ответил Зайцев, – кажинный хочет вас видеть. Просили докладать.

– А ты не спрашивал?

– Куды там. По особому, говорят делу. Кажинный в одиночку.

– Что ж, вступи.

Первым вошел вотяк. Он заговорил по-вотяцки, быстро двигая губами и нараспев. Комендант понял. Вотяк убеждал его дать конвой для мордвина. Вотяк говорил, что мордвин хочет бежать и он, вотяк, за него не ручается.

Комендант кликнул Зайцева.

– Отведи его в одиночку и запри, – сказал он, – и позови следующего.

Мордвин не говорил ничего. Он только назвал своих друзей, отсчитав их по пальцам одной ладони. Потом он указал правой рукой на площадь и левой похлопал по пятке. Выждав, он потряс кулаком и опять начал загибать пальцы.

– Ладно, – сказал комендант, – отведи его, Зайцев.

Еврей вошел, робко оглядываясь, он знал о плохом отношении к нему начальства. Комендант не любил его более всех. Он наступил ему на ногу и спросил:

– Ну, что, узи? Как поживаешь, узи? Что скажешь, узи?

Еврей назвал чухонца и комендант успокоился.

Он не видел его горячих жестов и не слышал его колючих слов, но только спросил погоду:

– Кончил, узи? Ух ты, пейсатый-волосатый, матери твоей хрен.

Еврей опомнился только тогда, когда конвоир запер за ним третью камеру.

Чухонца и пермяка комендант выслушивать не стал. Уставив в их лбы два нагана, он сам отвел их в камеру и повернул дважды ключ.

Все пятеро сидели в одиночных и каждый думал с удовольствием о том, что теперь он отвечает только за себя. Тяжкая забота отлегла. Им стало совсем легко и они начали весело перекликаться.

– Даешь! – орал вотяк.

– Берешь! – отвечал чухонец.

– Огребаешь, – подхватывал пермяк.

– Не лапай – не купишь, – выкрикивал еврей.

Мордвин пел и плакал.

Вечером того же дня их всех расстреляли на Воловьевой площадке. Зайцев взвалил мокрые трупы на шарабан, покрыл брезентом и отвез в каменоломни, на свалку.

А протокол стал еще более запыленным, так как комендант сделал наискось химическим карандашом пометку «исполнено» и сдал его в архив.

РАССКАЗЫ

С. ГЕХТА



■ ■ ■

БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК

№ 36

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ОГОНЕК
МОСПОЛИГРАФА * МОСКВ.

Марафет

Самоха пришел вечером из города злой и темный. Лохматый немец Адольф Кригер дремал в сторожке, а толстый инженер Нович спал на печи. Кухню застилал черный дым, повариха забивала печь сухим бурьяном, потрескивал снег, зализываемый синим пламенем.

Самоха ткнул инженера опорком.

– Вставай, брюхатый, – есть о чем поговорить.

– Не тревожь его, – сказала повариха шепотом, – полчаса, как с караула сменился. Замерз совсем, студент-от.

– Отогреем, – успокоил Самоха повариху и дохнул Новичу в свернутые глаза за стужей, – подымайся, заклеименный, дело есть.

Сонный инженер переминался, вытягиваясь, как гуттаперчевое чучело.

– Валяй, докладывай, – протянул он лениво, зевая закрытым ртом, – токо-ж ты, качалка, врать будешь.

– Ну, уж и врать, – закипятился. Самоха, – тебя перевернуть, легче зайца обогнать. И што я тебе качалкой дался?

– Так ты и есть качалка, – хихикнул инженер. Хохоток его был сишлым и был замкнут глухим зевком.

Самоха зашагал по кухне, взрывая острыми опорками теплый глиняный пол.

– От качалки слышу, вот что, – заговорил он сердито. – Инженер тоже, барахольщик ты, пролетариат, качалкин сын!

Инженер встал. Он освежил лицо колким снегом и вытер красные бугроватые щеки затхлой овечьей шерстью.

Самоха был серьезен и зол. Нович заинтересовался – чем это пахнет – может, работенка какая – картохи пуда два.

От славного прошлого у Новича остался только узкий, зеленый с желтизной мундир. Он носил его всегда, летом и зимой, носил поневоле – под мундиром были две жилетки, но ни одного пиджака. Бархатный воротник был посыпан мелкой, белой, сухой перхотью и пуговицы были зашиты в сукно. В этом мундире он уходил каждый день караулить парники. Подняв воротники, он туго завязывал его бечевкой, опоясывался ржавой двухствольной французской винтовкой и, желтый от равнодушия, топтал весенний снег, сберегая битые стеклянные рамы и тощую рассаду от окраинных воришек. Ночью его сменял Адольф Кригер, грязный, непричесанный немец из Бесарабии, варивший суп из улиток и щелкавший зубами вшей.

Инженеру было холодно. Он мерз девять часов на пустом огороде, медленно коченея. От мороза у него пылал затылок и шелушились уши. Он съежился, ворочая желваками, как лошадь.

– Подкинь бурьяну, – сказал он поварихе и лениво повернул лицо к Самохе. – Рассказывай, христосик, только покороче. Время – деньги.

– Ладно – потерпит.

Самоха смахнул опорки и ткнул ноги в печь.

– Был я в городе, в Наробразе продукт получал.

– Крупу выдали? – вмешалась повариха.

– Выдали. По 16 золотников, с обдиркой.

– Пшеничная али пшеничная?

– Пшеничную. Да, ты, Марфа, не мешай. Эх, приятели, друзья, хорошая в городе жизнь. По магазинам рису американского, хлеба с изюмом – завались. Знаешь закуту, которая от склада влево?

Нович наклонил голову.

– Привезли туда сегодня два ящика спирта. Заграничный, этикетка немецкая и упаковка тоже не наша. И еще – ящик с банками – нука, разгадай загадку.

– Рецепт какой?

– Хорош рецепт. Совсем не рецепт. Гадай еще.

– Сахарин?

– И не сахарин.

Нович сделал скучное лицо и зажмурил глаза.

– Говори, не тяни.

Самоха заковылял, передвигаясь на пальцах ног.

– Марафет – друзья-приятели, германский марафет, ма-ра-фет!

У Новича раздулись волосатые ноздри и задвигались челюсти. Перед глазами помелькали низкие, круглые, коричневые банки с белым хрупким кокаином. Он почувствовал, как снежный порошок сверкает на бумажной трубке и скрипит на красной, воспаленной ноздре.

Самоха оглянул его с торжеством. На минуту лицо его просветлело, потом оно опять сделалось злым и темным.

– Хорошая в городе жизнь. Нам бы с вами не помешало. Марфа, огонь убавился, сходи за бурьяном.

Повариха вышла, улыбаясь. Бурьяну было много: она догадывалась, что ее выгоняют на пять минут.

Когда хлопнула дверь, Самоха заговорил быстро.

– Мотай на ус, инженер. В закуте загать гвоздочками пририта, понял?

– Валяй дальше.

– Планка сосновая, пальцем ковырнул – готово. Разумеешь?

– Продолжай.

– Нам такое дело сподручно. В шинель бутылку, да за пазуху – бутылку, да по карманам банки и проживем в доску.

– А караул?

– Нету караула. Сторож на улице сидит, а мы со двора. Днем в отхожем засядем и вечера выждем. Как стемнеет, за работу.

– А потом куда? Ворота, небось, на запоре.

– В нужнике и подождем. Отопрут калитку, народ толкаться начнет, мы и выйдем.

Нович вобрал в себя лошадиные желваки. Вспомнились ему хорошие для него времена, когда мундир не был таким бледным и желтым, а перхоть такой белой и сухой. Подумав, он спросил:

– Адольфу сказать?

– Знает.

– Когда успел?

– Я у него на посту был. Обещался лопаточку приготовить.

– Зачем?

– А гвозди вытаскивать, планки отковыривать? Это так только говорится, что пальцем. Без струмента нельзя. Без струмента и к бабе не полезешь.

Дверь с грохотом открылась. Повариха втащилась с огромной охапкой легкого, сухого бурьяна.

Нович вобрал в себя лошадиные желваки и присел к огню. Самоха стал натаскивать опорки.

Марфа улыбалась, молчаливая и хитрая.

– Немец-то наш, – сказала она, – на огороде ежа ловит.

Прятели оживились.

– Поймал, не видала?

– Нет, ползет все. Просил спички принести.

Инженер разыскал на печи коробок.

– Пойдем Самоха. Ужин будет.

Они вышли в поле. Погода ломалась ночью. Снег рассыпался под ногами, мягкий и теплый;

– Теперь ежей завались, – усмехнулся Самоха, – они теплынь уважают.

– Кто идет?

Исполнительный немец щелкал ржавым затвором.

– Свои.

– Кто идет??

Кригер нервно впихивал в магазинку целую обойму.

– Не тарахти. Свои.

– А ты почему не сфистишь? Сфистеть надо.

И успокоенный немец ткнул винтовку в сторожку.

– Появились? – спросил Самоха.

Кригер указал на правый участок.

Они поползли по оттаявшим грядкам.

– Стой, слышишь?

По борозде полз еж. Он пыхтел, как паровоз – тук-тук, тук-тук.

Самоха натянул на правую руку варежку и поднял на воздух колкий комок. Видны были одни иглы.

Инженер сказал с видом знатока:

– Ты посмотри, какая морда. Если песья, то и брать не стоит.

– Шут его знает. Свернулся, качалка, не разглядишь.

Инженер зажег спичку и ткнул ему в иглы. Комок вздрогнул и быстро развернулся. Потом он опять свернулся, но все уже было потеряно. Инженер увидел плоскую свиную мордочку, а свиная мордочка сулит нежное, вкусное мясо. Он впихнул ежа в огромный карман своего мундира и пошел к немцу.

– Варить буду, Адольф. Бульон оставить тебе?

– Сюда принеси – жрать хочу. Мяса кусок и бульону котелок.

Кригер улыбнулся и, опоясавшись винтовкой, заходил по грядкам. Инженер и Самоха поплелись па кухню.

На кухне они шпарили ежа кипятком, пухлый звереныш тяжело сопел, потом вонзили ему нож в шершавую кожу. Нож ударился об иглы, скользнул по коже и разрезал ежа пополам. Тогда они еще раз ошпарили две темных и красных половинки и содрали шомполом упругую шкуру.

На скамейку скатились два сероватых комка. Это было очень хорошее мясо. В котелке оно пахло, как куриное, навар был жирный, предстал приятный ужин.

Старик сторож не заметил их прихода. Он не увидел трех обрванцев, втершихся в людскую кучу и уже со двора не выходивших. В шесть часов черный армянин, заведующий складом, дважды повернул ключ в огромном замке и прилепил четырехугольную сургучную печать. Двор опустел. Сторож запер ворота и засел, равнодушный, в караулке, тяжело зевая.

Друзья-приятели скучали в отхожем месте два часа. Рядом были конюшни. Слышно было, как лошади ржали по очереди, взрывая копытами саманку, как скрипел овес в яслях под горячими конскими

мордами и как степной симбирский жеребец старался перегрызть зубами плотный ремень, которым он был привязан к кольцу.

Подле конюшни толпились конюха, таскавшие воду в сплюснутых металлических ведрах – слышен был удар холодных брызг о каменные плиты.

Во дворе запищал резкий женский голос. Конюха густо басили, убеждая и ворча. В голосе была дрожь, чувствовалось, что руки их к чему-то тянутся и тоже дрожат.

Женщина бегала по двору, визжа и хохоча. Похоже было, что она раздирает кофту, теряет юбку, что ее сейчас будут яростно раздевать.

Инженер чмокнул губами.

– Вот так фемина! Товар – лицом.

У Кригера глаза стали мутными и завидующими. Он хотел кое-что сказать, но не сумел. Лицо совсем потемнело и свернулось.

Самоха заговорил гробовым голосом.

– Ребята, а это ведь машинистка.

– Рыжая?

– Она. Секретарская любовница, а к конюхам ходит. Ржаного хлебушка захотелось, ххи-и.

И Самоха засмеялся своим словам.

В конюшне хлопнула дверь. Саманка шуршала хрустящей пылью, густой бас захлебывался и сопел. Женский визг медленно ослабевал. Потом он совсем затих.

Инженер продолжал чмокать с присвистом.

– Вот так фемина! Всем феминам – фемина!

Первым вышел из оцепенения Кригер.

– Айда, за работу, друзья. Время – теньги.

Они поползли гуськом с закрытыми ртами, делая бесшумные движения. Чтобы пробраться к складу, надо было спуститься по маленькой лесенке вниз, пройти три гнилых и темных коридора, а потом опять по лесенке вниз. Внизу можно было ощупать сосновую загать.

Самоха зажег спичку.

Тусклое пламя осветило реденькие дощечки, вколоченные в стену пятью мелкими гвоздочками. Сквозь квадратные щели видны были большие ящики, исполосованные маскировкой.

Критер вытащил из-за пазухи плоскую лопату, небольшую и без ручки. Нагнувшись, он всадил ее в стену, продевая железо под планку. Дерево сухо хрустнуло, посыпалась мелкая штукатурка, понесло гнилым известняком, и планка упала на протянутые руки инженера.

Самоха побежал к дверям и вернулся на цыпочках назад.

– Ковыряй дальше, – сказал он шепотом.

Кригер нагнулся опять, и дерево хрустнуло еще раз. Образовалась дыра на шесть вершков.

Первый влез внутрь инженер. Толстое туловище его упиралось, и приятели подпихивали его сзади. Самоха вскарабкался последним.

В складе стоял острый и удушливый запах крепчайшего спирта. Он медленно испарялся. Его не могли уберечь ни плотная пробка, ни сургучная печать, ни дерево ящика.

Инженер взял сразу властный тон.

– Ну, друзья, медлить нечего. Я на цынке буду, а вы начинайте.

И он стал у дыры со свечкой в руке, оглядываясь назад и зажимая нос – воздух был слишком густ и остер.

Кригер работал лопатой, как топором. Ящик был сколочен туго, не за что было ухватиться, дерево не поддавалось.

– Клади на пупа, – посоветовал Самоха.

Кригер перевернул ящик, все бока его были заляпаны цифрами и заклеены синими этикетками. С новой стороны дерево тоже не поддавалось.

– Дай-ка я попытаюсь, – сказал Самоха.

Он взял у Кригера лопату, повернул ее острым углом, отошел на два шага и со всего размаху всадил ее в пуп ящика. Раздался смешанный звук железа, дерева и стекла. Тяжелая доска отлетела с грохотом, задев плечо Кригера, лопата сломилась на двое и по земле потекла скользкая жидкость пепельного цвета. Это был редкий латвийский спирт, полученный губздравом из-за границы для нужд больных.

– Растяпа, – сказал с укоризной инженер и бросился вылизывать лужицы спирта с отдельных кусков.

Кригер оттолкнул его со злостью.

– Успеешь, дьявол. Становись, где стоял.

И он вытащил торчавший в стороне маленький черный ящичек с кокаином. Верх ящика был сделан из фанеры и забит двумя узкими планками. И фанеру, и планки он отодрал рукой. Сверху лежала плотная серая шершавая бумага. Под бумагой была постлана темная шерсть. Под шерстью был квадратный кусок полосатого бархата и несколько пахучих розовых салфеток.

Кригер вышвыривал все это с остервенением. Наконец, ему в глаза ударил ослепительный свет. Под коричневым стеклом низких и круглых банок сверкала холодная белизна кокаина. Пробки были сделаны из стекла, заклеены голубыми бумажными колпачками и

перевязаны крепкими нитками. Кригер откусил одну пробку зубами и позвал инженера.

– Ну-ка, студент, посмотри товар.

У Новича губы вытянулись, как у монаха, лицо выразило мертвый восторг – марафет был настоящий.

На минуту друзья забыли о деле. Нович свернул из бумаги трубочку, Самоха и Кригер стали яростно забивать ноздри хрустящим порошком.

Легкие кристаллики таяли под пальцами и испарялись в ноздре.

Нович почувствовал, как у него деревенеет переносица и туго сжимаются виски. Челюсти сами задвигались, как на пружинах, и зубы сами поскрипывали, тужея и крепчая.

– Вот так фемина! – вздохнул он, припоминая. Ему казалось, что все это, даже то, что сейчас, случилось очень давно.

Горячий визг женщины кусал ему ухо. Он засел там, за барабанной перепонкой и повторялся, как эхо.

Нович с трудом поднял глаза и увидел светящиеся зрачки Самохи и Кригера. Их было восемь. Зрачки поворачивались, как огни маяка, отливая воском и лазурью.

Потом он посмотрел на их руки – они стали длинными и худыми, и мозоли на них сияли холодным электрическим светом.

Друзья погружали пальцы в кокаин, набирая огромные щепоти. Коричневые банки быстро опустошались. Нович вспомнил о дыре, о коридорах, о нужнике, о конюхах и почувствовал тревогу.

– Постой, – подумал он, – какая же это доза?

Банка была пуста. Кригер долго стучал по ней костяшками пальцев, потом подбросил ее на руках и швырнул в угол. Стекло глухо разбилось.

Нович зашагал по складу, подпрыгивая. Самоха перекусил зубами горлышко бутылки. Спирт брызнул, как из пульверизатора.

В ту же минуту Новичу показалось, что они уже пьют давно. Он выловил из ящика одну бутылку, разбил ее пополам и стал пить из обеих половин поочередно. Спирт обжигал ему губы, щекотал небритый подбородок, заливал мундир. Боль в висках прошла, переносица сделалась опять мягкой и гибкой, зубы перестали скрипеть; лицо стало красным и теплым, ноги – круглыми и чугунными. Он посмотрел на друзей. Они шатались по комнате, жуя губами, с бутылками под мышкой.

– Постой, – подумал Нович, – какую же они это бутылку пьют?

Он начал загибать пальцы, но их оказалось слишком много.

Самоха скатился на пол. Кригер барабанил руками по ящику и кричал в ухо Самохе:

– Запевало, на середину, шагом марш!

Он кричал долго, пока не затынул сам, притоптывая и присвистывая:

Где гу-ля-ешь? В поле летом.

Чем торгуешь? Ма-ра-фетом.

Политур-щики-чики, марафет-чики-чики...

Нович затопал в такт песне. Ему петь не хотелось, думалось еще, петь не надо вовсе, что петь опасно. Но он не успел еще хорошенько подумать об этом, как Кригер закричал: – Мала куча, – и навалил его на Самоху. Самоха застонал, Новича обожгло его жаркое дыхание, потом Нович почувствовал на себе тело Кригера и тоже застонал.

Черный армянин, заведующий складом, пришел в наробраз ранее обычного. После он говорил всем, что видел во сне атамана Тютюника в черном белье – он понял, что предстоит несчастье, и побегал скорей на склад.

Старика-сторожа не было ни у ворот, ни в караулке. Двери склада он нашел в порядке. Замок был цел и печать была на месте. Но что пришлось ему увидеть, как только он открыл дверь? – армянин рассказывал об этом с ужасом, вздыхая и пришептывая.

– Поперек пола лежала куча мертвых тел. Всех было семеро – шесть мужчин и одна женщина. Лица у них были, как гуттаперча, волосы взлохмачены и ноги вытянуты носками внутрь.

Армянин пригляделся и узнал старика-сторожа и знакомого конюха с полевых участков, приехавшего за продуктами. Остальные были ему неизвестны.

Днем сбежался народ. О несчастье узнала повариха, она долго и много редела – в куче были два конюха из Наробраза, один приходился ей мужем, другой – земляком.

Плакал еще секретарь – машинистка лежала рваная и грязная. Над инженером и немцем никто не выл – знала их одна повариха, но у нее своего горя было вдоволь.

Вечером, когда все успокоились, армянин составил протокол о хищении. В списке об убытках говорилось так:

– Покойники, в составе шести человек и одной женщины, выпили пятнадцать бутылок латвийского спирта и вынюхали пять банок кокаина.

Гай-Макан

Я его встретил в Берлине, на Любенаер-штрассе, у хлебного магазина, в очереди.

– Гай-Макан, – сказал, я, – какими судьбами?

Он не повернул своей чудовищной тыквы, вдавленной в плечи. Больничный, газовый свет заливал его девятипудовую тушу (теперь это было большое тело, разбухшее от водянки), его генеральские штаны и желтые башмаки с черными пуговицами.

– Гай-Макан, – вздохнул я, – где твоя папаха и где твои сапоги? И откуда у околоточного генеральские лампы?

На голове его болтался измятый картуз. Его мясо обвисло и его кровь помутнела. Он был жалок, несмотря на свой огромный рост. Ах, что сказали бы жители Старой Слободы, задавленные его мономаховой папахой и затоптанные его каменными сапогами?

Было дело в городе Фастове. Осенью 1918 года симпатичный городишко Фастов узнал, что такое власть. Присланный из Киева исправник, веселый и лукавый Гай-Макан, требовал к завтраку, обеду и ужину целого гуся с цивильной подливкой, со сладким соусом. Он также требовал, чтобы еврейские женщины мыли ему пол и еврейские девушки стирали ему белье. Когда у него треснул серый, из офицерского сукна, мундир, синагогальный служка обходил дома с подписным листом и кружкой.

– Пану исправнику на одежду.

Кто-то однажды щелкнул доносом в Киев на Гай-Макана. Своевольный исправник получил от австрийского начальства строгое письмо. Там были следующие слова: «Мы полагаем, что взимание налога без инструкции центральной власти является...».

Он не дочитал письма до конца, но скомкал бумагу и швырнул ее в корзину. Потом он произнес знаменитые слова, которые облетели весь уезд.

– Х-хе, – сказал Гай-Макан, – они полагают, а я располагаю.

Пятый месяц власти мадяров был последним месяцем их власти. Они отступали в ужасе. Петлюровские полки окружали их с тылу, партизаны стреляли им в спину и крестьяне грабили их на пути. Военное командование растерялось – в Киеве застрелился генерал Бельц.

Петлюровцы пришли вечером. Пост был слишком долог. Нужда была слишком остра. К полуночи произошел очередной погром.

Восемнадцать месяцев нескончаемых бедствий научили еврейских женщин встречать смерть спокойно, ибо смерть была неизбежна, и пугаться жизни, ибо жизнь казалась случайностью.

К погрому приготовились, как к параду. Молодухи отнесли грудных детей к старухам – когда наваливались на мать, младенца душили, чтоб не пищал. Те, что постарше – содрали чистые шелковые простыни с постелей и покрыли их грубой тканью. Они понимали, что очиститься можно всегда, ведь женщина бывает нечистой на закате каждой луны, каждые 28 дней.

Но Бейла Прицкер, единственная дочь живописца вывесок, сказала с горечью:

– Я не перенесу этого. Я хочу умереть.

И она проплакала целый день. Больной отец, разбитый параличом старик, лежал за перегородкой и ничего не слышал; на улице шел дождь, вода барабанила по жести и стеклу, он стонал, хотя никаких болей не чувствовал – было сладко стонать в такт дождю.

Казак выжидали полуночи. Полночью темные горницы застлал покорный вой. Мрачная орава ринулась в кирпичные конуры.

Когда Омелько Пугач ворвался к Прицкер, он увидел бледную женщину, съжившуюся под одеялом, с тугозабинтованным лицом и подрезанными волосами.

Омелько Пугач слыл эскадронным забиякой и прославленным головорезом. Больная женщина не смутила его. Он подплыл к кровати и шаркнул ножкой,

– Здравсте, товарищ-хозяйка, чем угощать будешь?

Бейла Прицкер прошептала больным и равнодушным голосом:

– Я больна...

Омелька свистнул:

– Это ничего, что больна. Я по реквизиции. У меня вот...

Он выловил из кобуры угловатый бельгийский браунинг и покачал его на ладони.

– Позвольте посмотреть –шпрехен-зидойтш.

Бейла Прицкер слушала, закрыв глаза. Потом она сделала усилие и выдавила из себя глухим и скучным голосом:

– Я больна сифилисом.

Казак с недоумением откатился от кровати. На минуту его глазам стало темно и рукам холодно, потом он оправился и пробурчал с досадой:

– Елки-палки, это похуже того.

Он услышал длинный, жалобный стон старика и сплюнул от огорчения. За дверью скрипнули и застонали половицы. Казак насторожил уши. Чьи-то гигантские ноги грохали чугуном и сталью. Чье-то гигантское тело наваливалось на дверь. Прошла одна минута – раздался

оглушительный кашель, проржавевшие петли пронзительно взвизгнули, и дверь сорвалась, расплескивая стекольные брызги.

От крутого печного дыма, от влажного осеннего пара отделилась огромная человеческая туша.

– Пану исправнику честь и слава!

Омелько Пугач отдал почтительно честь враждебному начальству.

Гай-Макана любили все.

Из девятипудовой туши выкатился с грохотом тонкий хохоток.

– Что, забавляемся, Омелько?

Казак закусил зубами усы.

– Порчена, пан исправник.

Гай-Макан выдвинул вперед волосатое ухо.

– Порченное, говоришь? А откуда узнал?

Казак сделал брезгливое движение в сторону Бейлы.

– Забинтованная лежит. Сама упредила.

Гай-Макан хитро улыбнулся и подошел к кровати. Бейла лежала, неподвижная и жалкая. Из ключев ваты и марли выглядывали два черных глаза, два больших, лошадиных, нищенских глаза. От губ по бинту волнистыми струйками текла кровь.

Пан исправник, отдернул одеяло.

– Ой-вей, дорогая Хая, сегодня я с тобой погуляю.

– Я больна сифилисом, – сказала Бейла.

Тонкий хохоток перешел в густой хохот.

– Это еще вопрос, панна. Треба сюда эксперта.

И Гай-Макан шепнул Омельке на ухо два слова. Казак свистнул, улыбнулся и выскочил на улицу.

Пять минут спустя он вернулся назад, ведя за руку маленького черного человечка. Человечек был бледен, без шапки, волосы были взъерошены, он тяжело отфыркивался и быстро мигал глазами.

Бейла глухо вскрикнула – она узнала доктора, Айзика Эйнштейна.

Гай-Макан подошел к нему. Он задрожал всем телом и покосился заячьим взглядом на дверь. У двери стоял Омелько.

– Что угодно? – спросил Гай-Макан, раздувая ноздри.

Доктор молчал. Пан исправник показал язык и отрекомендовал себя:

– Миль диавль, ведьму в дышло, Гай-Макан, честь имею!

Доктор выравнялся во фронт и хрипло пробормотал:

– Господин вартовый, я...

Шпоры звонко стукнулись. Гай-Макан зашипел:

– Кому вартовый, а тебе околоточный, понял?

– Господин околоточный, мне...

Ничего не понимая, доктор пополз к выходу. Гай-Макан двигался на него, тяжелый и неизбежный, как ураган, как тайфун, как смерч. Он настиг его у двери. Две руки, две каменных руки каменного командора вдавились в его плечи, как в воск. Кости сухо хрустнули под четырехугольными пальцами гиганта.

– Ах, – прошептал доктор, – господин околоточный, мне больно.

Гай-Макан схватил его за шиворот и прижал к стене.

– Тебе больно, да? Тебе больно, ах, ты, цаца!

И он ударил его три раза по виску.

– О-о-ох! – взвизгнул Эйнштейн, – исправник продырявил ему плечо локтем.

– Слушай, мусье, осмотри панну. Панна говорит, что она больна. Панна врет, мусье.

Доктор, дрожа, приблизился к Бейле. Женщина, забилась, крича и воя. Потом она стала молотить себя руками в грудь. Ключья ваты поползли на пол, марля затрещала, судорожно раздираемая, из-под бинта высвободилось бледное, скошенное лицо.

Гай-Макан поднял доктора на аршин от земли и бросил его на постель. Маленький Эйнштейн свернулся еще больше, робко опривился и закопошился подле женщины. Бейла завизжала:

– Я не перенесу этого. Я хочу умереть.

Она забилась в истерике, голос ее сделался хриплым, потом крик ее стал тонуть и она затихла, лежа с выпученными глазами и стиснутыми зубами. На губах ее клокотала пена.

Доктор копошился, как вор – руки у него ходили ходуном, мучительный женский визг оплеснул расплавленным сургучом его ухо.

Гай-Макан уставился на него вопрошающим взглядом.

– Пан исправник, – сказал доктор, – она невинна.

Омелько весело хихикнул. Гай-Макан расцвел. Он сбросил с себя папаху и начал стаскивать сапоги. Бейла закрыла глаза.

* * *

– Как они возьтятся, – сказала подле меня старуха, – великий боже, как они возьтятся!

– Они сыты, – ответил я, – им торопиться нечего.

– О, проклятые!

Газовые фонари потухли и снова зажглись. Очередь подвигалась очень медленно. Я нарушил порядок хвоста и подошёл к Гай-Макану вплотную:

– Гай-Макан, – сказал я, – какими судьбами? На этот раз он повернул свою голову и оглядел меня сверху.

– Гай-Макан, – сказал я, – ты забыл город Киев и мадьярские попойки?

Он не отвечал.

– Но если ты забыл город Киев, – продолжал я, досадуя, – то ты не можешь не вспомнить город Фастов и Бейлу Прицкер?

Гай-Макан отодвинулся от стены и тихо пробормотал, оглядываясь:

– Постой, ты откуда знаешь? Она рассказала тебе? Ты ее видел? Где она?

– Она здесь, пан исправник. Она рассказала мне все. Она моя жена, пан вартовый.

Он боязливо посмотрел на меня.

– Ничего, пане, она вспоминает о вас с нежностью. Но откуда у пана околоточного генеральские лампы?

Он тяжело вздохнул.

– Многое было, дорогой. Было, да сплыло.

Очередь зашевелилась. Запаченный мукой приказчик вышел на улицу и крикнул:

– Хлеба нет больше, господа! Просим разойтись, господа!

Тревожный шум прокатился по толпе.

– На Морген-штрассе можно достать сухари, – сказал Гай-Макан.

– Что ж, пойдем.

И мы зашагали, досадуя и злясь, по направлению к Каменной площади, вниз по Любонер-штрассе.

Простой рассказ о мертвецах

Всегда случалось так: если фельдфебель Медведев назначался дежурным по роте, я попадал дневальным. Делалось это только потому, что я этого страшно не хотел. В этот вечер фельдфебель был угрюм и зол. Толстая жена взводного командира третьего взвода Сергея Галкина, находящегося в отпуску, не пустила его к себе. Медведев ревновал и расстроился окончательно. Ревновать ему было нечего – она любила его по-прежнему. Толстая жена взводного третьего взвода принимала сегодня ротного командира, адъютанта и дежурного по кухне. Она была утомлена и отсрочила ему любовь на сутки. Но он не знал этого и бесновался. Он даже не мог есть лишнего пайка хлеба, который каптер завернул ему в наряд.

В роте все спали. Трещали потные нары. Пахло кислой капустой и тухлыми яйцами.

– Вольга, – сказал фельдфебель, – принеси воды. – Я плюнул и закашлялся. С какой стати? Я ему вовсе не обязан таскать воду. – Для чего? – спросил я. Он выкатил на меня волчьи глаза и заговорил шепотом: – Ты, что? Возражать, сука?

Его кулак уперся в мой подбородок. Я не двигался с места. – Так что, если для мытья полов, я с удовольствием. По обязанности, то есть. А для ваших собственных нужд я не намерен вовсе, потому...

Я не окончил. Зубы мои стукнулись, ущемив губы. Во рту стало солоно и приятно.

– Эх, была не была, – подумал я, – терять нечего, – и ткнул его ногой в живот. Он откатился, но через минуту повис на моем плече и стал дергать меня за волосы. Я уцепился в его усы, тяжело сопя. Три взвода приподнялись на нарах, хохоча в кулак и не трогаясь с места.

Утром следующего дня я был оштрафован, как указывалось в рапорте, или наказан, как говорили мои товарищи. Я ждал гауптвахты, но меня не арестовывали. В числе двадцати четырех татар я был откомандирован в похоронное бюро на постоянную работу.

– Слушай, Медведев, фельдфебель. Братишка. Что делать будем, не знаешь, а? – спросил один из татар.

– Там тебе работа найдется, – ответил фельдфебель. – Мастаки жрать, сою хлестать, старух... – и он захохотал, глядя в мою сторону.

Похоронное бюро находилось на Малой Серпуховке рядом с Мытным двором и общественным водопоем. В похоронном бюро было два начальника и тридцать лошадей. Первого начальника звали Пан. У него были красные губы и волосатые уши. Второго звали Егерь, и был он весь, как лисица. Глядя на него, казалось, что у него под кавалерийскими галифе болтается пушистый хвостик. Клички лошадей были разнообразны и нелепы. Лучшую вороную кобылу прозывали «Фрейлина Икс», а худую и желтую клячу с кровавыми лишаями на шее – «Манька».

У «Маньки» чесотка выела спину, и малиновые рубцы пересекли голубые белки больших глаз. Она дрожала, выпив только полведра воды, и ноги ее спотыкались о щебень. Она не годилась никуда, и никто из татар не хотел ее брать. Мне выпало на долю стать ее заботливым хозяином.

– Слушай, братишка, – обратился, ко мне красногубый Пан, положив две жилистых руки на мои худощавые плечи, – смотри, береги, ты за нее отвечать будешь.

– Ладно, – сказал я, – чего там?

– Кормить ее сам буду. Твое дело – поить, чистить, скрести и работать с нею. Вот.

В похоронном бюро была своя канцелярия. Старший писарь уходил в пять часов на «маневры». Вечером я забрался в канцелярию и выпотрошил бумаги из ящика. Прочитав некоторые из них, я понял, какая работа мне предстоит. Вот что я прочел на розовом бланке:

«Наряд № 17. Ополченец Вольг.
Старо-Екатерининская больница
12 тифозных».

Я знал, что госпиталя и больницы были завалены мерзлыми покойниками и бюро не успевало вывозить их. Двенадцать так двенадцать. Можно и больше. Меня беспокоили не мертвецы – дело солдатское, но собственная моя Манька. Я никогда не запрягал кобылы, я не знал что к чему, куда девать хомут и куда чересседельник. Сказать об этом я не решался – меня сочли бы симулянтом и посадили бы на хлеб и на воду.

Когда же мне вручили наряд и сказали – «готовься», я обалдел. Манька стояла, раскорячив ноги, и жевала обглоданную вагу. Я пытался накинуть на нее хомут, но упрямая лошадь ворочала от меня морду. Я беспомощно оглядывался вокруг, пунцовый и вспотевший. Татары хохотали. Когда я стал натягивать супонь, у меня лопнул лапоть, а когда я привязывал дугу, сломалось дышло. Но – бог не выдаст, свинья не съест. Лапти я достал новые – «сосновые баретки, дырки да клетки, товар нередкий»; напялил огромный белый цилиндр и серый халат из нового джута с перламутровыми пуговицами.

Час спустя я уже подъезжал к Старо-Екатерининской больнице. Вид у меня и Маньки был аховый. Полок вонзился дышлом в чугунную ограду, Манька запуталась в собственной шлее, недоуздок висел у ней под подбородком и разматывавшаяся супонь отмечала следы нашего пути.

Меня встретили сторож и кладовщик. Приветствие их было мягким и ласковым: – Здравствуй, голубчик, здравствуй. Сколько возьмешь? Животная-то у тебя куца.

Я протянул кладовщику наряд. – «Двенадцать», – прочел он и улыбнулся. Он был доволен.

Огибая больничный флигель, мы подъехали к часовне. Зима была на исходе, но снег еще лежал плотными плитами и воздух был холоден. Покойники не пахли. Запах-то был, но какой! Легкая смесь кислой капусты и тухлых яиц, как в казарме ночью. На взгляд было двести или двести пятьдесят мертвецов. А может быть, и триста.

– Ого, – сказал я, прочищая ноздри. – Урожай, можно оказать.

– Это что, – ответил кладовщик, улыбаясь. – У нас и вдвое больше того бывало.

– Ого, – продолжал я, почесывая затылок. Сторож крестился мясистым кулаком – на правой руке у него были срезаны все пальцы. Кладовщик был доволен. Он похлопал меня по груди и сказал ласково:

– Возьми, братишка, пятнадцать. Обедом угощу.

– Пятнадцать? – протянул я, – а что у вас к обеду-то?

– Вобла, – ответил он обнадеженный, – астраханская.

– Вобла? – повторил я потухшим голосом, – не могу, товарищок, лошадь у меня дохлая.

Кладовщик спохватился. – Постой, братишка. У нас и мастака есть и каша есть.

– Каша? – это дело. А какая каша?

– Чечевичная, крутая – ножом режь.

– С маслом?

– С маслом конопляным. Настоящим.

– И с сахаром?

– И с сахаром, братишка, хе-хе...

– Ладно, – сказал я, – пойдем на кухню. Возьму пятнадцать.

Сторож продолжал креститься, улыбаясь. Кладовщик был доволен. Я тоже.

Среди пятнадцати сухих и голых покойников, которых я взвалил на полок, было шесть женщин. Сторож, глядя на них, отплевывался. Они были безобразны.

Полок был узкий, и мы никак не могли уложить всех пятнадцать. Они сваливались, ныряя в снег, и проскальзывали мимо наших рук. Пришлось перевязать их.

Кладовщик надписал на оборотной стороне моего наряда прописью и цифрами «пятнадцать». Я расписался. – Куда? – спросил я его, вытаскивая брезент.

– На Пятницкое кладбище.

И он ушел, оставив меня одного.

Накинув брезент, я стал перетягивать его длинным и толстым канатом. Это мне так же не удавалось, как и упряжка. Сколько я ни натягивал, задыхаясь и багровея, он плотно к брезенту не прилегал; и болтался, расхлестываясь, из стороны в сторону. Потом я вскарабкался на полок, хлестнул кнутом воздух (я жалел Маньку) и выехал из больницы. Сиденье у меня было неровное – должно быть, чья-либо голова. Я отодвинулся – опять голова. Мы так скверно уложили мертвецов, что для сиденья оказались одни головы – к тому же еще лицом вверх. Я выехал на Первую Мещанскую. Задние колеса вонзились в рельсовую стрелку – полок не мог тронуться. Я посмотрел на прохожих – они пучили на

меня глаза, издеваясь над моим одеянием. Но в моих глазах была назойливая просьба: «помоги», – и они стали медленно подходить. Мне помогли, и я двинулся дальше. Дети кидали в мой цилиндр мелкий кирпич и конские яблоки, бабы покачивали головами в платках, а парикмахеры кричали один за другим, покатываясь: «Без порток, а в шляпе».

Весна, еще не показывавшаяся на Первой Мещанской, грузно осела на Сухаревке и растопила грязные льдины Спасской улицы. Тяжелые дворники с медными бляхами на груди откалывали огромными ломami каменный лед, и мостовая зияла провалами. Полок скатывался, грохоча и разваливаясь. Я оглядывался на брезент и преисполнялся тревогой. Канат ослабевал и разматывался. Задом я чувствовал, как покойники разьезжаются. Сиденьем мне уже служила чья-то грудь. Вдруг Манька понеслась вскачь. Дуга соскользнула в грязь и шлея запуталась в моих обмотках. Встречный извозчик хлестнул меня кнутом по шее. Я соскочил. Подобрал халат, я стал нагонять взбешенную Маньку. Перламутровые пуговицы отскочили, и обширные полы халата закачались на ветру.

– Чертяка погребальная, – бросил мне вдогонку торговец каширской шепталой и поднял над моей головой палку. А торговка конопляным жмыхом, которую я сбил с ног, уцепилась за мой халат, стеноя и ругаясь.

Я догнал свою Маньку у Красных ворот. Она была свободна от всякой упряжи. Полок стоял в стороне. Я поднял хомут, лежавший в снегу, и, накинув его на нее, стал опять запрягать. О покойниках я в ту минуту забыл. Но когда все было готово и можно было ехать дальше, я заметил, что число моих мертвецов убавилось. Полок поредел. Не хватало двух.

Я побежал вверх по Спасской и увидел толпу. Пробравшись, сквозь нее, я увидел подле тумбы одного моего покойника. Это была молодая женщина. Толпа, была возмущена. Я оглянулся вокруг – не поможет ли кто. Но все стояли, не двигаясь с места и издеваясь надо мною:

- Перевозчик, прости господь!
 - Рабочая кровь видна. Рабочничек, как есть!
 - Ему бы клюквой торговать!
 - Яблоками мочеными!
 - Башмаки господам чистить!
- Старая дама в трауре повторяла, утирая слезы:
- Кошунство, батюшки мои! Кошунство-то какое!

Я пригнулся над тумбой и взвалил холодную ношу на плечо. Толпа расступилась.

За спиной я слышал сочувственные возгласы – толпа меняла гнев на милость:

- И то сказать, несчастный человек!
- Ремесло-то окаянное!
- Подлинно, что каторга!
- И слабосильный, поди. Сам, что покойник.

Старая дама уронила тихо: – кандидат.

Когда я сажился на полок, ко мне подошли трое баб из толпы. Первая протянула молча плитку желтого сахара; второй была торговка жмыхом – кусок конопляного жмыха был ее подарком; третья протянула большую морковь, приговаривая:

– Ешь, соколик, моркву. Она сладкая.

Но тут я вспомнил, что у меня всего-то четырнадцать. А пятнадцатый где?

Ни у Красных ворот, ни вдоль всей Спасской улицы я пятнадцатого не мог найти. Не хватало одного мужчины. Без него я не мог ехать на кладбище. Толпа помогала мне искать – ничего не вышло. Я боялся встретить кого-нибудь из наших и погнал Маньку мимо Басманной за город.

За городом я поплелся шагом. Тревожась о судьбе пятнадцатого, я вспоминал похоронное бюро и красногубого Пана. Красногубый Пан говорил вчера вечером следующее:

– Смотрите, ребята. Чтоб у мне в точности. Как в госпитале, так и на кладбище. Чтоб у меня никакой пропажи. А то у нас такие субчики попадались, покойников по оврагам раскидывали. Вроде балласта. Воздухопла-а-ватели тоже. Т-так я им дорогу нашел. Помни ребята – шутки плохи.

Хотя в бюро мне дали предписание вывезти двенадцать, но я согласился на добавочных и должен был их доставить. Бюро разрешало госпиталю давать добавочных – следовало только написать об этом на оборотной стороне наряда.

Деревянный мост был уже позади. Осталась одна рощица. За рощицей – Пятницкое кладбище.

– Эх, была не была, терять нечего, – подумал я и обогнул рощицу. Развеселившись, я взмахнул вожжами и свистнул. Манька понеслась рысью. На повороте она внезапно остановилась, недоумевая и фыркая.

Я поднял глаза и увидел широкую четырехугольную спину. Человек в шинели брал мою лошадь под уздцы и отводил в рощицу. Я вздрогнул – эта спина была мне знакома. Я закричал: «Эй», и свистнул опять. Он обернулся, и я увидел взводного командира третьего взвода Сергея Галкина. Так как я был с ним в приятельских отношениях, я хлопнул его кнутовищем по затылку и спросил:

– Давно из отпуска?

– Вчера вечером.

– Откуда?

– Из Можая.

– Эх, Можай – на баб урожай, – вздохнул я, – а здесь что делаешь?

Он выкатил на меня огромные зрачки, отливавшие хищным блеском. Помолчав, сказал, не глядя на меня.

– Подлюга ты, братишка, я вижу.

– С чего бы так?

– Не сказывал ты мне ничего. В позор вогнал.

Я начинал догадываться.

– Нюша-то у меня...

Нюшей звали его толстую жену.

– Нюша-то у меня – лярва. Вот.

– А мне почем знать, я к ней не ходил.

Он выдвинул нижнюю челюсть и захрипел.

– Молчи, сука. Убью. За ним пойдешь.

Я побледнел, начиная понимать в чем дело. Галкин яростно рванул Маньку. Взбешенная и перепуганная кляча запуталась в кустах и деревьях. Колючий дерн обжег ей икры, и она вставала на задние ноги, подергивая крупом. Глотая слюну и желчь, она добежала до огромной пихты, куда тащил ее Галкин. Выплювывая горячую пену, она понеслась дальше, но взводный остановил ее бешеным тпрр... и кулаком в зубы. Подле пихты лежало два выкорчеванных пня. Они раскинули вокруг свои земляные щупальца. На их корнях лежало ничком тело фельдфебеля Медведева. На шинели присохла кровь. Я оттянул его на два шага и перевернул лицом вверх. У него был прострелен кадык. В глазах застыл испуг, губы почернели и пальцы рук были выпячены костями.

– Галкин, – сказал я, – когда успел?

– Молчи, не разговаривай. С час всего.

– Да как-же ты знал, что я ехать буду?

– Подждал нарочно. Не ты, так другой.

– А если бы я не согласился, Сергей, а?

– Ты что, серьезно? Убил бы. В минуту, как есть. – Он поднял на меня свои глаза, я опустил свои.

Потом он заговорил, как командир.

– Ну нечего тут груши околачивать. Давай дело делать. От разговоров-то работа не спорится.

Мы стащили с Медведева шинель и сапоги и взвалили его на полук. Я покрыл брезентом. Галкин натянул канат – как ни в чем ни бывало.

Взобравшись на сиденье и довольный тем, что у меня есть пятнадцатый, я погнал Маньку рысью.

– Сергей, – спросил я на прощанье, – а как он попал сюда?

– Я его в тюфяке на каптерке привез. Вот она. Гляди.

В стороне стояла казенная двуколка.

– А знает кто, Сергей?

Он вздрогнул и заговорил шепотом: – Никто. Я его под Марьиной рощей самогоном поил. На казенный хлеб сменяли. Смотри – помалкивай, – добавил он вслух и вскочил на двуколку.

– Слушай, Вольта, – бросил он, – разболтаешь – убью.

Я кивнул головой. Да как я мог разболтать, когда сам сделался соучастником этого преступления.

На кладбище я сдал мертвецов по счету.

Мне подписали наряд, и я поехал, успокоенный, домой. Домой – это значит в похоронное бюро на Малой Серпуховке, рядом с Мытным двором и общественным водопоем. По дороге я совсем не думал о Медведеве. Мне было его жаль, но я совсем о нем не думал. Меня занимало другое.

– Что было бы, если б пятнадцатый не был так неожиданно найден?

– Ну, так что же? – сказал я себе, – что же из того, что случай.

Случай, всегда сопутствующий человеку, имеется и здесь. Случаем земля вертится. Вот и все.

Абрикосовый самогон

Десять лет длилась тяжба между Каховкой и Алешками. Десятым годом был двадцать первый. Хотелось бойкой Каховке быть днепровским центром, но этим центром были сонные, плавающие в дюнах Алешки.

Где-то переиначивались судьбы, перекраивались карты, честные люди теряли свой облик, свой цвет и запах, но здесь на пламенном правобережье – всегда разговор одинаковый, словно кто-то замариновал людей и мысли их, и их желания.

– Как это так! – кричали каховчане, – в Алешках пристань – не пристань, а бадья и речка то-о-же – паршивая Конка, одно удовольствие – голое солнце и песок по колена. В нашей Каховке – асфальт и Днепр, и кусты, и прохлада, в будни – базар, по воскресным дням – ярмарки, что хочешь выбирай: пшеница – на отбор и кони красавцы. Сам бог Каховку назначил быть столицей.

Хорошо говорили каховчане. Каховская кровь – таврическая кровь, кучегурами пылает, виноградом брызжет.

Но в Алешках народ хоть и не торгового звания, а себе на уме. Отвечали алешкинские огородники так:

– Вам сам бог завещал, да нам губисполком приказал.

Ездили обиженные каховчане в Алешки на съезды. Кричали на съездах со слезой, с надрывом.

– Наша программа такая. Пора обратить внимание, приложить данные усилия, добиться во что бы то ни стало собственного исполкома и комхоза.

Ничего не помогало. Из Алешек шли директивы, из Алешек летели приказы, и Каховка принимала их к сведению, к исполнению, безропотно подчинялась и съезживалась в зеленой зависти.

Но крепки пословицы и против них не попрешь. «Будет, – говорит одна, – и на нашей улице праздник». «Всякому овощу, – поддакивает другая, – свое время». Это значит, что каждому городу – будь он велик или мал – сужден свой час, знаменательный час, когда прокатившееся по его стогнам событие делает его местом историческим. Стоял в Каховке сивашский стрелковый полк. Врангеля поперли, о войне забыли, и занимался этот полк караульной службой и любовью. Был в этом полку адъютант, беловолосый латыш Дрн – сам, как крыса, и фамилия крысиная. Стрелки считали его своим, городские торговцы хаяли, но с лаской, огородники любили его весьма. А женщины – те ценили его манеры, но возмущались его речью. О всякой вещи, будь она самого прелестного назначения, он говорил в мужском роде.

Завелась у него в Каховке Оксана, а сердце у Дрна было такое же, как и волосы, и стал он яростным каховским патриотом.

– Чудной мой латыш, – говорила ему часто Оксана стеклянным голосом, голосом не допускающим возражений, – ты здесь власть, тебя у нас за начальника считают и почему бы тебе не осрамить этих алешкинцев. Зазнались они очень, гордые – не подходи.

Дрн слушал и мотал на ус. Но когда узнал, что в Алешках его называют не Дрн, а дрянь, его щеки вспыхнули, как плавни в засуху.

* * *

В то время в Таврическом уезде убирали урожай. Был двадцать первый год, невероятная засуха сожгла юг, урожай выдался худой и жалкий. Чахлая карликовая пшеница, сморщенная картошка и желтые водянистые огурцы. Хорошо только вышли абрикосы. Такие же, как и всегда, пухлые и ласковые, с ямочками и пылью. И что важнее всего – их было много. В Алешках их было невыносимое количество. Город задыхался от их клейкого аромата, их желтизна смешалась с белым

цветом мазанок и бурой массой песка – другого цвета город не видел. У каждого огородника было собрано не меньше двухсот пудов. Вывоз был запрещен, налог внесен, оставались целые возы, абрикосы от времени портятся и гниют, что прикажешь делать с ними.

В Алешках бывает так. Стоит одному сделать какое-либо дело, как все остальные делают тоже самое. Люди, как дети, и мозги их – воск, лепи, что попало – материал подходящий. Это обстоятельство быстро уразумел молодой огородник с Доброй Слободки Франц Самосуд. Никто не знал, откуда он родом и к какой нации принадлежит. Полагали, что либо еврей, либо немец, но женщины настаивали, что турок.

– У него глаза, – говорили они, – шелковые-шелковые, бархатные-бархатные, совсем турецкие.

Жил он в Алешках всего полгода и огород получил по ордеру, от колхоза. Хозяйство у него было плевое, но продуктов всегда горы стояли. Говорили алешкинцы робко, что он – жулик и жила, но любили его за балагурство и никому не удалось узнать, закупил он свое добро иди сам наработал.

В июльский день Самосуд вылез во двор и стал сушить абрикосы. С утра до вечера сидел он подле воза, бережно разламывал абрикосы пополам, выхватывал косточку и раскладывал все абрикосы отдельно и косточки отдельно на крыше своей мазанки.

– Абрикосу надо сушить, абрикосу, – кричал он сверху своим соседям, – если ее да не сушить, пропадет, как сирота пропадет.

И доверчивые алешкинцы на следующий день только и делали, что сушили абрикосы.

Но через два дня Самосуд сполз, кряхтя, с крыши, зло плюнул в корзину и сказал тем же соседям:

– Абрикосу сушить, что блох разводить. Дрянь дело, товарищи. Овчинка выделки не стоит. На рубль наработаешь, на копейку удовольствия, на копейку.

Вечером этого же дня все горожане прекратили вялую сушильную работу.

И вот тут-то начинается история с самогоном, печальная и неуклюжая история, переиначившая судьбу двух днепровских столиц.

– Надо варить самогон, надо, – сказал озабоченный Франц Самосуд. – Настоящий абрикосовый самогон. Без него пропадет абрикоса, как сирота пропадет. А в самогоне – крепость и сладость. Приятное с полезным, гони самогон, товарищи, гони.

И алешкинские огородники начали гнать самогон.

Но как он делается? Посмотрим, как его делал в данном случае Франц Самосуд.

Он разложил абрикосы на горящем песке под отвесными лучами солнца и ждал, пока они, абрикосы, густо перепреют. Потом он свалил их в гигантскую кадущку и долгие часы стоял над нею, мешая фруктовое тесто круглой тяжелой качалкой. Когда оно перебродило в кадке и превратилось в кислую огненную жижу, Франц установил блестящую жестяную змею, самодельный аппарат. Он разогревал чан, абрикосовая жижа уходила парами, пары переползали из трубы в трубу, медленно охлаждались и оседали уже на дне настоящим абрикосовым самогоном.

Так делал этот напиток Франц Самосуд и точно так делали его на другой день все огородники.

А рыбаки, у которых есть плоскодонные шаланды, но нет огородов с фруктовыми деревьями, которые имеют в изобилии карасей и хамсу, но совсем не имеют абрикос, эти рыбаки покупали их и варили самогон, варили с упоением, с злостью, с обидой.

Под знаком самогона кончился бешеный июль. И начинался уже август, когда Самосуд произнес одважды на рыночной площади, в шумный, базарный день, следующие слова:

– Граждане огородники, – сказал Самосуд, – много работы ждет нас впереди, много. Еще баштаны лежат необрунные и зеленые кавуны... – Хорошо говорил Самосуд. Недаром он был горожанин. И не напрасно прозвали его балагуром.

Он предлагал устроить трудовой праздник. Местом действия будет Добрая Слободка, материалом – абрикосовый самогон, а в программе – песни и танцы.

Он обещал пригласить почетных гостей – местную власть: комхоз и исполком, и духовное сословие.

– Ох, подведет, – думали те, что постарше, – куда немец гнет – не иначе, как политика.

Но люди в Алешках, как дети, и мозги их – воск, лепи что попало, материал подходящий.

И Самосуд лепил.

Что было потом, никто хорошенько не помнит. Видели только, как Франц разъезжал до самого вечера в крашеном шарабане, как он остановился у крыльца земской управы, где теперь находился комхоз, как выходил из калитки церкви Бориса и Глеба, видели еще, как он весело потирал руки, когда спускался с исполкомовской террасы.

А вечером... Но вот что произошло вечером на Добрай Слободке, в городе Алешках, уездном таврическом центре и первой днепроградской столице.

Среди гостей были Митяй-Митюха – заведующий комхозом, военмор Дырка – секретарь исполкома и батюшка Андрей. Столов и стульев не было. Станов также не было. И еще не было никакой закуски. Сидели группами, подле каждой кадучки по десять человек. Самогон черпали жестяными чумичками и пили его молча.

Глаза у всех были турецкие, а носы хуже турецких – багровые, огненные, казацкие. Огородники ползали, карабкались, плясали вокруг костров, вокруг кадучек, ковырялись руками в остывшей жиже, плевали в нее и снова запивали. Почетные гости были в ажиотаже. Военмор Дырка спал на груди у отца Андрея, а Митяй-Митюха лил обоим на головы по капле самогон.

В темноте Самосуд держал речь. Он говорил о том, что необходимо сделать общественный поступок для гражданской пользы. Огородники кричали – согласны, клянемся, и заставили отца Андрея читать анафему каховчанам.

– Пусть знают наших, гони анафему, поп!

И батюшка читал срамословную анафему.

Потом Самосуд опрокинул кадучку, темная жижа побежала по траве, и влез на нее.

– Рядовой Юла, отправляйся на колокольню. Да не жалей каната, не жалей.

Огородник, которого звали Юлой, был толст и неподвижен. И менее всего он был похож на Юлу. Он поплыл мелкими шажками вниз по Слободской, улице, к церкви Бориса и Глеба.

Десять минут спустя город содрогался от колокольного звона. Звон был неожиданным и необычайным и очень печальным. Юла вызвал на колоколах «Яблочко».

Пили, пели и снова пили. Шаландщик Давыдко, молодой цыган, кричал скользким фальцетом:

– Я имею предложение, – кричал он, размахивая руками, как веслами.

– Какое предложение, какое? – спросил Самосуд.

– Построить радиостанцию. На этом самом месте. В знак памяти.

– Хорошо. Ты говоришь радиостанцию, ты говоришь? А материал, Давыдко, материал где ты возьмешь?

– Какой же материал, – усмехнулся Давыдко. – Шпалы у нас есть, скажи, есть?

– Ну, есть, ну?

– И проволока есть?

– Есть.

– И песок есть, и камень есть, так?

– Так, – весело свистнул Самосуд и скомандовал:

– Айда, ребята, строить радиостанцию.

Шпал под рукой не оказалось. Выдергивали целиком загати и сваливали их в кучу. Проволоки также не нашлось. Вместо проволоки натаскали сухой камыш и конопляные палки.

Радиостанция была уже почти готова, то есть, была сооружена клеть из трех гнезд, расположенных ярусами и удлинявшимися кверху. Внизу поставили круглую корзину, а наверх забросили бечеву с флагом.

Флагом служила желтая юбка, на ней был мелом нарисован череп и написано большими буквами: «Смерть Каховке».

Итак, радиостанция была почти готова, когда Самосуд спросил:

– А кабель, Давыдко, кабель?

Давыдко вылупил глаза.

– Чорт, – буркнул он с досадой, – о кабеле-то я и не подумал.

Самосуд захохотал диким хохотом. Потом он схватил радиостанцию за фундамент и повалил ее.

– Отменяется, несостоятельно.

И, обратившись к обществу, он сказал:

– Граждане-огородники, предлагаю перебросить мост через Конку, мост. В лесопилке, за кучегурами, сложено десять тысяч срубов, сложено.

Эти слова были встречены веселым гулом и хохотом. Мост через Конку – да это ведь закадычная мечта всех алешкинцев, да тогда ведь Каховке похвастаться нечем будет, а кому не приятны успехи своей родины.

И Самосуд это обстоятельство также уразумел.

В веселое гуденье вмешался печальный и дикий колокольный звон – Юла вызванивал на колоколах танго.

Был второй час ночи – горланили уже петухи и пахло рассветом, когда желтая алешкинская луна была очевидицей следующего шествия:

По всем улицам, вниз по пути к плавням и камышовым зарослям медленно двигались телеги, фуры и шарабаны, запряженные лошадьми, волами, верблюдами и огородниками. На телегах были сложены свежие, пахучие сосновые срубы. Обоз, уже достигавший плавней, кончался за Доброй Слободкой.

Шествие напоминало похоронную процессию – его сопровождал тягучий, непонятный, мрачный колокольный звон.

Над зданием земской управы часы показывали четыре часа и тридцать минут, когда прелестная пунцовая алешкинская заря была свидетельницей следующего события.

Огородники бросали срубы в воду. Митяй-Митюха читал над ними благословение. Военмор Дырко тяжело спал, уткнувши голову в грязь. Отец Андрей скулил над ним отходную. Давыдко просовывал ему в ноздри сухие камышинки и зажигал их.

Видела еще алешкинская заря, как горожане водружали собственный флаг на Конке – этим флагом была разодранная на семь кусков ряса отца Андрея.

Флаг был прикреплен к носу плоскодонной шаланды.

Шаланда была опрокинута вверх дном. И был уже седьмой час, когда Дырка проснулся и спросил:

– Товарищи, где же Самосуд?

Тогда все обернулись и увидели, что Франц Самосуд мчался в крашеном шарабане, запряженном парюю вороных, вниз по городскому шоссе, держа направление на Каховку.

Беловолосый Дрн пришел из штаба рано вечером. В штабе нечего было делать – в то лето занятия Сивашского стрелкового полка были несложны: посменные караульные часы и бессменное любовное томление.

У калитки Дрна встретили Оксана и Самосуд. Самосуд был возбужден. Оксана щебетала.

– В чем дело? – спросил Дрн.

Самосуд выхватил из кармана газету и прочел:

– Общественное безобразие в уезде...

Дрн просиял.

– То-то, – вздохнул он, улыбаясь.

– Преступное попустительство алешкинских властей, – продолжал Самосуд.

– То-то, – опять вздохнул с радостью Дрн.

– Отчисление от должности, строжайшее порицание, судебное следствие.

– Вот то-то и оно-то, – сказали вместе Оксана и Дрн.

Позже, когда латыш немного успокоился, Самосуд ткнул ему газету. В ней траурной каймой были обведены следующие строки: «в губернии говорят о перенесении днепровского центра из Алешек в Каховку».

Дрн торжествующе затопал ногами:

– О, какой фокус, – закричал он, – какой перемен, какой событий! О, мой милый жен, поцелуй Самосуд за мой счет.

И он закрыл глаза от счастья. Самосуд наклонил голову и Оксана приблизила к его щеке горячие, потрескавшиеся, облупленные губы.

С. ГЕХТ

ШМАКОВ и ПРАНАЙТИС

РАССКАЗЫ



■ ■ ■

БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“

№ 286

АКЦ. ИЗД. О-ВО „ОГОНЕК“

МОСКВА — 1927

Шмаков и Пранайтис

Если хотите избежать скандала и побоев, садясь играть на толкучке в шашки, условливайтесь заранее. Скажите просто: «Я играю с фукой», или: «Я играю без фуки. Идет?».

И тогда начинайте кампанию. Выдвигайте боковые по диагонали или пускайте в ход все передние или освобождайте скорее дамочное поле, чтоб не закрыть себе ходу, потом – как хотите. Но условие прежде всего. А то вы подвинули шашку и ждете, чтобы противник ее побил, тогда вы съедите у него три штуки подряд и залезете в дамки прямо на косое поле – и вдруг окажется, что сосед не берет: я, мол, играю с фукой, и все ваши планы разбиты.

Федор Шмаков был таким ненадежным человеком. С фукой у него всегда дело обстояло неважно и на веку его бывало все – и скандалы, и побои. Садовническому надзирателю истории эти так надоели, что он однажды устроил облаву на толкучку и конфисковал все шашки. Пострадавшие подали кассацию районному. Районный сказал надзирателю, что конфисковать запрещено, надо бороться иначе, и сделал ему выговор по нисходящей линии. Надзиратель выслушал мораль с недоумением, но шашки вернул.

Засядут эти толкучники с утра, и конца не видно. Уже милиционер себе глотку отсвистел, пора разогнать рынок, а толкучники сверлят друг друга и сверлят. Потом унесут шашки в пивную, там продолжают, пока служащие не попросят освободить помещение.

– Три часа ночи, товарищи. Скоро опять откроем.

Перед пасхой много народу ходило на толкучку. Не то, что с Краснохолмской или Таганки – из-под Симонова монастыря приходили покупать одежду. Федор Шмаков торговал штанами, все были на один фасон: пуговицы сзади, как у матросов, и добротный клеш, разглаженный по последней довоенной моде. Пранайтис продавал сапоги на железных гвоздях, с короткими голенищами и резиновыми ушками. Настоящих фамилий этих двух толкучников никто не знал. Садовнические евреи – есть и такие – прозвали Федора Шмаковым, а Станислава – Пранайтисом. Первого за то, что не любил евреев и поляков, второго за ненависть к тем же евреям и русским. Толкучка не любит настоящих фамилий. Каждая кличка, будь она сто раз неудачна, прилипает к человеку на всю жизнь. Так и остался Федор Шмаковым, а Станислав – Пранайтисом.

На этот раз они сели играть в шашки в час дня. К этому времени Шмаков расторговался немного, и у него осталось всего девять пар штанов.

Пранайтису не везло, и все шесть пар сапог так и остались у него на плече. Пасхальные покупатели искали сапоги с длинными голенищами, чтобы повыше коленки загибались, а Пранайтисовы еле икры обтягивали.

– Как дела, пся крев? – спросил Шмаков.

– Фортуна, кацап, в отпуск ушла, – уныло ответил Пранайтис, показав на нетронутый товар.

– Играем сегодня?

– Финансы подгуляли, пан холира.

– По полтиннику. Идет?

– И полтинники долго жить приказали, – совсем в русском духе ответил Пранайтис. Он родился в России и о Польше знал только из газет да писем от какой-то краковской тетки. Друзья пикировались еще немного, потом решили играть на товары. Возник вопрос, как оценить каждую вещь. Шмаков предложил вещь против вещи. Он ставит штаны, Пранайтис – сапоги.

– Хитрый ты, кацап, – сказал Пранайтис, – только, что у поляка в пятке, то русская голова в себе не уместит. Клади три пары.

– Тебя, видно, тетка с Ротшильдом прижила, пся крев, – ответил Шмаков, – жила ты, любого Мошку перещеголяешь.

Остановились, наконец, на двух парах штанов за одну пару сапог. О фуке друзья не говорили вовсе. В этом году фука считалась старомодной и на толкучке была в загоне. Играть с фукой было все равно, что танцевать сейчас в обществе танго или читать Потапенко.

Уместились они играть в железном ряду. Приспособили для сидений два бака, а шашки положили на травку. Шмакову выпали белые, и кампанию открыл он. Толкучники окружили их со всех сторон, налезая друг на друга. Образовалось два этажа зрителей. Никто не вмешивался и не подсказывал, за непрошенные советы на рынке били морду и остракировали на долгий срок.

Шмаков выдвинул боковую шашку в левый угол. Пранайтис пошел соседней, угрожая съесть. Шмаков защитил. Пранайтис перешел на правый угол. Шмаков подставил, если Пранайтис возьмет, будет выигрыш на одну. Пранайтис взял, только другой шашкой – чистый обмен. Шмаков пустил в ход среднюю шашку. Пранайтис задумался.

Начало, как видите, самое обыкновенное, трудно еще сказать, на чьей стороне перевес. Публика была недовольна. Ни атака Шмакова, ни защита его противника не нравились ей. Досада выражалась молча, не надо расстраивать, опасно к тому же.

– Ну-с, шляхетська язва, – сказал Шмаков, – двигай. Долго думать будешь, голова усохнет.

- Сухой поляк лучше свежего кацапа, – сказал Пранайтис и сделал ход.
- Еще Польша не згинела, – сказал Шмаков и съел шашку.
- Да здравствует долой, – сказал Пранайтис и пошел левой.
- Пилсудска крив, – сказал Шмаков и освободил первое поле.

Это был ложный и неудачный шаг. Пранайтис подставил две шашки. Шмаков радостно побил их и, побив, ужаснулся. Пранайтис сразу срезал четыре и пролез в дамки.

– Ставь дамку, – торжественно сказал он, потер руки и посмотрел на толпу. Та сочувственно качала головой и бросала иронические взгляды в сторону Шмакова. Шмаков покраснел и опустил голову ниже. Он продумал минут пять. Поляк равнодушно курил цыгарку, вяло мял табак, медленно прикуривал и выпускал дым зигзагами.

– Наклали вам в Киеве, – сказал, наконец, Шмаков и поставил шашку так, что дамка оказалась съеденной.

– Били мы вас под Варшавой, – ответил Пранайтис и пролез еще раз в дамки.

Все шашки Шмакова оказались запертыми. Он смотрел и не верил. Пранайтис встал, давая этим понять, что игра окончена. Шмаков думал еще, стараясь на толпу не смотреть. Потом он с досадой смешал шашки и протянул Пранайтису две пары штанов.

- Бери, пся крив. Давай следующую.

Пранайтис бережно свернул штаны и впихнул их в голенища сапог, перекинутых через плечо.

Следующая партия была более значительной. К самому концу у Пранайтиса осталось две шашки. Шмаков имел четыре. Чувствуя близкую победу, он играл легко, стараясь меняться. Подставил одну черную (сейчас черными играл он) и взял белую. Противник выдыхался. Один необдуманный шаг и – пожалуйста парочку сапог с короткими голенищами, железными гвоздями и резиновыми ушками. Можно еще взять назад штаны.

Шмаков задумался, что взять: штаны или сапоги – и потерял одну шашку. От смущения он поспешил к дамочному полю и загубил остальные. Пранайтис протянул руку за новыми двумя парами штанов.

– Шляпа, – не удержался в толпе мальчуган и получил несколько тумачков. Возмущенные зрители изувечили его и вышвырнули из своей молчаливой беспристрастной среды.

- Продолжаем? – спросил Пранайтис.

– А ты думал, конечно, пся крив? – сердито сказал Шмаков. – Устал ан, что ли? Рученьки болят?

– Поляк никогда не устает, это кацапы ленивые, – ответил Пранайтис и начал расставлять шашки, себе белые и противнику черные.

– Я пошел.

Шмаков взялся за шашку справа, но сейчас же поставил ее на место и почесал затылок. Потом снова взял эту шашку и еще более решительно поставил на прежнее место.

– Давай в поддавки.

Шмакову пришлось сделать дамку, но одним легким маневром он избавился от нее, подсунув еще в придачу одну шашку. Положение его улучшилось. Стоило только освободить дамочное поле и поляк – хочешь не хочешь – проглотит все без остатка. Он разгорячился и предложил Пранайтису:

– Хочешь двойную ставку? Выиграешь – получишь четыре пары штанов. Идет?

Пранайтис подумал и согласился.

– Клади сюда, – сказал он.

Публика притащила еще один бак. Пранайтис бросил туда две пары сапог, а Шмаков четыре пары штанов. Игра продолжалась. Шмаков сейчас же испугался, когда заметил, что поляк сам лезет в дамки. Такое безумие в поддавках всегда опасно. И действительно, вышло нечто очень каверзное. Пранайтис подсунул дамку. Шмаков съел. Пранайтис подсунул оставшиеся шашки, и Шмаков побил все, кроме одной, которую Пранайтис в начале игры запер в уголок. Заставить ее двигаться нельзя было. Шмаков смешал свои шашки и выругался, пряча глаза от публики. Пранайтис сгрэб все, что было в баке.

Публика стала понемногу расходиться. У Шмакова осталась всего одна пара штанов. Азарту мало, да и торговлей надо подзаняться. К Шмакову подошел из толпы покупатель. Он потрогал штаны, осмотрел подкладку и спросил:

– Сколько?

Шмаков не ответил сразу, он не понял даже, чего хочет этот человек. С досадой одернул штаны и сказал:

– Отваливай.

– Я продам, – предложил Пранайтис, взмахнув восемью парами штанов, – приличные штаны, гражданин!

Шмаков схватил Пранайтиса за руку и стиснул ее.

– Не смей, пся крев. Игра не кончена. Давай еще одну партию.

– Капитала не вижу.

– Ставь штаны за штаны.

– Ладно, – сказал Пранайтис, – в поддавки опять?

– Нет, в шашки. Белые мои.

Удивленный покупатель ушел. Шмаков перевернул доску, поплевал на нее и что-то про себя шепнул.

– Колдуешь? – спросил Пранайтис, расставляя фигурки.

Шмаков ничего не ответил и выдвинул среднюю шашку. Пранайтис пошел встречной. Потом Шмаков подставил... Впрочем, начало это было похоже на все шашечные начала. Пранайтис не думал вовсе и передвигал фигурки бесшумно. Шмаков думал долго и стучал шашками, сотрясая доску. Он успел уже потерять две шашки впустую, а тут еще поляк подставил свою черную так, что если побить – будет полный разгром.

Шмаков сделал вид, что не замечает, и сделал посторонний ход. Пранайтис поставил его фигурку на прежнее место и сказал:

– Ты бери. Ослеп, что ли?

– А я не возьму.

– Как не возьмешь?

– Тебе же, холира, лучше. Фука достанется.

От удивления Пранайтис даже слегка приподнялся и посмотрел на противника в упор.

– Ты, что, кацап, мошенничать вздумал?

– Сам ты, пся крев, мошенник. Бери фуку, коли дают.

– Неумытая морда, – вскричал поляк, – кто же сейчас с фукой играет? С луны свалился?

– Так мы условились. Ей-богу, условились. Как сядились, я сказал: «С фукой, значит», а ты смолчал. Стало, согласен. Зачем молчал?

– Ничего ты, каторга, не сказал. Дурачком прикидываешься.

– Сказал, ей-богу, сказал. Что ж ты, польская колбаса, русскому человеку не веришь?

– Врешь, холира, – вскричал Пранайтис и отшвырнул доску с шашками, – я больше не играю.

Шмаков пронзительно взвыл и отпустил соседу оплеуху. Тот замахнулся доской. Шмаков ухватился за бак. Публика бросилась их разнимать.

– Он со мной неправильно играл, – кричал Шмаков, – он мне должен все вернуть. Я в милицию заявлю. Ограбил.

И заплакал даже. Пранайтис растерянно взглянул на публику. На многих лицах нельзя было прочесть ни возмущения, ни сочувствия. Шмаков бросился отбирать у поляка штаны. Тот стал уходить. Шмаков побежал за ним, схватил по дороге дикий камень, замахнулся, но публика удержала его и обступила со всех сторон. Пранайтис позвал на помощь. Толкучка загудела.

Этот галдеж услышал милиционер. Сам один он прискакать не решился и кликнул подмогу. Неистовый его свисток привлек еще двух

милицейских с соседних постов. Начался допрос. Шмаков, рыдая, жаловался, что поляк ограбил его. Пранайтис кричал, что кацап – мошенник и хочет его, Пранайтиса, убить. Милицейские арестовали обоих.

Надзиратель приказал запереть каждого в особую камеру и начал следствие. Дело грозило затянуться, весь Железный ряд рвался в свидетели. Все видели, все слышали и всем не терпелось поговорить об этом вдоволь. Надзиратель выбрал более скромных, всего десять человек. Пятеро из них защищало Шмакова и пятеро – Пранайтиса. Надзиратель назначал очные ставки. Ничего не получалось. Каждый говорил свое.

Порешили от них избавиться и передать дело в Садовнический народный суд.

В нарсуде дело откладывалось со дня на день. Свидетели постоянно оказывались пьяными. Их привозили на извозчиках и под конвоем. Кое-кто из них скрылся вовсе, опасаясь протоколов, и слушание продолжалось недолго. Остатки обвинения говорили свое, остатки защиты – свое, судья звонил в колокольчик и пил воду. Через два часа суд вынес такое решение:

– Приговорить обоих подсудимых, Федора Каменщикова и Станислава Белецкого, к штрафу в десять рублей.

Услышав свои настоящие фамилии, Шмаков и Пранайтис удивились. Поляка растрогало даже такое вежливое обращение.

Последнюю неделю поста надзиратель рапортовал районному о состоянии толкучки. «За истекшие дни произошло несколько схваток между Шмаковым и Пранайтисом».

Надзиратель убеждал районного конфисковать шашки. «Ничего с ними иначе не поделаешь. Народ тихий, а как до игры дойдет, забудет все на свете. Поножовщины бывают».

В это время курьерша принесла чай и связку свежих писем. Районный подсчитал сначала, сколько всего, записал в журнал, потом обрезал ножиком конверты и стал читать. Надзиратель перелистывал в ожидании уголовный кодекс. Гадая, он открывал каждый раз новую страницу. Все было в кодексе – и самогон, и спирт, и контрабанда, и дерзкий цинизм, и порча проводов, не было только шашек, и несчастные фуки нигде не упоминались.

– Петя, – сказал районный, – прочитай вот это письмо. Надзиратель посмотрел на подпись и улыбнулся.

– Канительная публика, товарищ начальник, – заметил он и принялся за чтение:

«Милиция дремлет, как в заметках пишется, и не знает, что Федор Шмаков (Каменщикова) с толкучего рынка есть большая опасность в

государстве. Это вредный элемент, вам подтвердят посудники, вот уже два года, как торгует краденным. Штаны у него только для отвода и те гражданам принадлежат, которые пострадали. А часы откуда? Есть и золотые, и с цепочками, и монограммами. У него своя малина на Зацепе в Стремянном переулке, где Институт Карла Маркса, бывших коммерческих наук. Предупреждаю, что складные ворота – на улице колодец, только воды нет. Вот примета: если поломанное ведро у колодца, значит, сегодня собрание. В достоверности расписываюсь, прошу имя держать в секрете. Станислав Белецкий (Пранайтис)».

Надзиратель радостно посмотрел на районного.

– Прикажете арестовать, товарищ начальник?

– Пришей к делу, – ответил районный.

– А распоряжение когда?

– Какое распоряжение?

– Насчет ареста.

Районный улыбнулся довольной улыбкой.

– погоди, Петя, горячий ты у меня.

И, порывшись в столе, районный вытащил большую толстую папку. Он протянул ее надзирателю.

– На вот папку, Петя. Загляни в документ за номером 17, входящий. Читай вслух.

«Желая оказать пользу государству (советскому) и милиции, доношу о безобразном поведении Станислава Пранайтиса (Белецкого), который, как всем известно, расспросите в обувном ряду, со всеми ворами заодно работает и фальшивые деньги распространяет, сапоги у него для отвода глаз и те краденые, хоть и на один фасон. Ворует он целыми пачками и случай на Даниловке с инвалидной кожаной мастерской к нему прямое отношение имеет»...

– Довольно, – сказал районный, – остальное неинтересно. Итого, Петя, приказываю тебе взять под строгое наблюдение данные факты. Распространяться не рекомендуется. И виду не показывай.

– Точно так, – ответил надзиратель и записал в блокнот какие-то адреса.

Здесь мы прекращаем историю о Шмакове и Пранайтисе. Скоро начнется судебная канитель. У Шмакова есть уже свои свидетели и у Пранайтиса – свои. Пусть возьмется с ними районный и нарсуд, они за это казенное жалованье получают. Мы только хотим сказать, что, садясь играть на толкучке в шашки, обязательно условливайтесь. Скажите просто: «Я играю с фукой», или: «Я играю без фуки. Идет?»

И тогда только открывайте кампанию.

Картина Рембрандта

Летом 1923 года я проживал в Кожевниках, за Павелецким вокзалом. Домой я ходил через Садовники. Книжная лавка Дениса Нефедова торчала на моем пути, и мне трудно было пройти мимо, не заглянув. Дверь была всегда открыта настежь, и хозяин виден был с улицы. Он стоял за прилавком, и глаза его, по-восточному распахнутые, смотрели в упор, никого не видя. На нем была неизменно тяжелая шуба на лисьем меху, правда, от шубы остались одни ключья. Сукно висело, а лисий мех был желтей крымских табаков. За эту шубу толкучка дала бы не больше рубля.

Над дверью была прибита вывеска: «Денис Иванович Нефедов». Вывеска была деревянная и шрифт на ней – славянский.

Постоянных покупателей у Нефедова не было. Он отпугивал их своим молчанием и нежеланием продавать требуемый товар. На Толкучке говорили, что он заламывает дикие цены, его прозвали «малыхольным» и «паразитом», а в Скобяном ряду о нем говорили шепотом. Одна торговка клялась крестом и богом, что Нефедов приставлен свыше, что он притворяется божьим человеком, а на самом деле служит в Чека и все подслушивает.

– Да он из лавки не выходит, – возражали ей, – где ему подслушивать?

– У него трубка есть, ей-богу есть, – убеждала торговка и снова клялась крестом и богом.

Нефедов из лавки не выходил никогда. Там он ночевал и ел, и делал все прочее. Что он ест, не знал никто – старообрядец на людях не закусывал. Удивительней всего то, что его не видели покупающим какую-либо снедь. Он ни с кем не был знаком и на все вопросы толкучников о жите-бытье, здоровье и прочем отвечал всегда одно:

– Бог подаст.

– Сам ты попрошайка, – вскрикивал обиженный толкучник, – я тебе добра желаю, а ты...

– Бог подаст, – отвечал и на эти слова Нефедов, глядя в пространство.

Меня на толкучем не любили за частые посещения книжной лавки. После я узнал, что в Скобяном ряду поговаривали о моих политических связях со старообрядцем, что Нефедов будто передает мне сведения. Раздражало толкучников еще то обстоятельство, что я от Нефедова уходил постоянно с пустыми руками.

– Ну, что купил? – злорадно спрашивали торговки,

– Начитаешься у него, в беспризорный университет поступишь, – издевались торговцы.

– Ты почаще книги-то покупай, доктором будешь, по сортирной специальности, – острили балагуры.

Мальчишки провожали меня лихим свистом и кричали все время вдогонку:

– Бог подаст! Бог подаст!

В первый раз я заглянул в лавку вечером. На набережной уже горели огни, на Садовнической предупредительно свистел милиционер, и толкучка разбрелась понемногу.

– Здравствуйте, – сказал я и посмотрел вокруг.

Хозяин на мое приветствие не ответил. Вид у него был такой, словно в лавке никого нет.

Я успел заметить, что за прилавком есть какой-то люк и вниз ведет лесенка в несколько ступеней. На подоконнике стояли различные чернильницы, баночки, бутылочки, разбитые пепельницы, солонки, пудреницы, коробки с перьями и другая мелочь, назначение которой определить было не легко. Стены были заклеены дешевыми лубками и олеографиями.

– Что надо? – спросил Нефедов только тогда, когда заметил, что я протягиваю руку к книгам.

– Покупать пришел, – ответил я, улыбаясь.

– Деньги у тебя есть? – повторил он свой вопрос.

– Конечно, есть, – ответил я с досадой, – без денег не пришел бы покупать.

– Покажи.

Я вынул рубль.

– Еще покажи.

Я вынул трешницу и вскинул ее на свет.

– Фальшивая, небось, – проворчал Нефедов и покачал головой.

Я протянул ему ассигнацию, посоветовав ему посмотреть на водяные знаки. Он не стал разглядывать и вернул мне ее. Смотрел с минуту, а потом спросил:

– Какую книгу хочешь?

– Мне бы Генриха Гейне, не имеется?

– Гейне нет.

– А это? – показал я на связку в углу.

– Эти проданы, – неохотно ответил Нефедов и протянул мне старую, поломанную чернильницу.

– Купи. Настоящая.

– Нет, – сказал я, – зачем она мне? А, впрочем, дайте, я посмотрю.

Нефедов нахмурился и положил чернильницу на место.

– Нечего смотреть, – пробурчал он, – не в театр пришел.

Хотя эту первую встречу нельзя было назвать приятной, на другой день я пришел опять. Мое приветствие и на этот раз прозвучало напрасно. Нефедов не ответил. Обстановка, однако, слегка изменилась. Перед прилавком было свалено довольно много книг, и Нефедов не возражал, когда я стал их рассматривать. Меня удивил подбор этих книг. Это был самый неходкий рыночный товар – сборники критических статей, «Сахалин» Чехова, специальные книги неучебного характера и весьма устаревшие учебники, вышедшие из употребления лет двадцать назад. Была даже одна советская брошюрка насчет продналога.

– Сколько? – спросил я, протянув ему чеховский «Сахалин». Он жадно схватил книгу и, свернув ее трубочкой, спрятал за пазуху.

– Дорогая, не купишь. Она рубль стоит.

– Что вы, – возмущился я, – да я на Кузнецком ее за полтинник новую куплю.

– На Кузнецком люди – мошенники, – ответил Нефедов и бросил Чехова под прилавок.

– Я не понимаю вас, – обратился я к нему, – вы как, вообще, продаете книги или музей содержите?

– Словоохотлив ты больно, – ответил Нефедов, – пришел покупать – покупай, не нравится – уходи. Бог подаст.

Любопытство, однако, терзало меня, и по прошествии недели я заглянул в лавку с улицы и заметил некоторую перемену обстановки. Лубок с крысами, хоронившими кота, исчез, и на его месте, правда, чуть повыше, висела старинная картина, живопись маслом на холсте. Появляло чем-то давно знакомым, и я вошел в лавку.

Это была отчаянная древность, запыленная и зацветшая. Она нуждалась в солидной реставрации. Я стал припоминать, где я видел снимки с этой картины.

– Мутер, Гнедич, Бенуа... – проносились у меня в голове фамилии авторов разных историй искусств. – Батюшки, не Рембрандт ли?

В тот же день я пошел к одному знакомому художнику, проживавшему в здании Вхутемаса на Мясницкой. От него я узнал, что такая картина у Рембрандта есть и что она находится в одном из музеев в Германии.

– Сколько стоит такая картина? – спросил я.

– Миллиона два, – ответил художник, – а что?

– Просто так. А копия его ученика?

– Копий нет. А что?

– Ничего особенного. Меня занимают пропорции. Во сколько оценивается копия Рембрандта того времени?

– Тысяч пятнадцать-двадцать, что ли.

Всю ночь я продумал о книжной лавке старообрядца. Как получить мне эту картину? И что можно сделать на такие деньги?

К Нефедову я пошел только через два дня. Начался учебный сезон и неопытные матери приходили с детьми за учебниками. Хозяин предлагал, вместо задачников, хрестоматии, баночки и солонки. Испуганные женщины убежали от него. На третий день в лавке было по-прежнему пусто.

– Здравствуйте, Денис Иванович, – обратился я к Нефедову, – я хочу у вас новую чернильницу купить.

– У меня не толкучка, – отрезал он, – а книжный магазин. В скобяной сходи, там чернильницами торгуют.

Я промолчал с минуту, потом сделал вид, что случайно заметил картинки на стене, и улыбнулся.

– У вас тут, Денис Иванович, картинки всякие появились. Почем штука?

Я стал пристально вглядываться в соседний с моей картиной лубок.

– Это продано, – указал он на лубок, – купи вон ту.

Я весь задрожал от счастья. Ленивым жестом Нефедов указал на мою картину.

– Больно грязная, – помялся я, – потрескалась вся. Пятиалтынный дам. Ладно?

– Два рубля, – сердито ответил Нефедов.

Мне было дьявольски трудно сдерживать себя. Ноги буквально подкашивались. Как дать этому маниаку два рубля, чтобы он сейчас же не отказался. Я набавлял по пятаку, чувствуя, что каждая моя прибавка отдаляет от меня мою картину. Когда я предложил два рубля. Нефедов отрицательно покачал головой:

– Пять рублей.

Я чуть не задушил его. Но он сделался вдруг добрее и, чего с ним никогда не бывало, стал уверять меня, что себе, мол, дороже стоит и что за пять рублей он ее отдаст.

– Честное слово? – спросил я.

– Отдам, – ответил он.

– Вот что, старик, – заговорил я с ним совсем в другой манере, чувствуя, что в нем пробуждается торговец, – я оставлю тебе задаток, два рубля, значит, а завтра принесу остальные. По рукам?

Рука моя, однако, повисла в воздухе. Денег он не взял, но сказал, что за пять отдаст. А покуда просил уходить:

– Запирать буду.

На другой день я пришел с пятью рублями, но Нефедов потребовал пятнадцать. Таких денег у меня не водилось вообще, и я решил посвятить в свою тайну моего знакомого художника из Вхутемаса. Мой рассказ очень взволновал его. Мы достали еще десять рублей и пошли к Нефедову вместе.

Мы задумали, действовать решительно. В лавку вошли быстрыми шагами и приблизились к хозяину вплотную. Я шнырнул на прилавок пятнадцать рублей, целую кучу ассигнаций, и сказал художнику:

– Тащи, поосторожнее только.

Художник закинул одну ногу на прилавок и собирался поднять другую. Хозяин наш растерялся и отступил на полшага к стене. Потом он сразу опомнился и вцепился обеими руками художнику в шею. Я поспешил на помощь, но Нефедов толкнул моего приятеля так, что бедный художник закружился сперва на месте и тогда только упал навзничь на груды книг.

– Караул! – закричал Нефедов. – Грабят!

Не прошло и минуты, как лавка наполнилась разными толкучниками, прибежавшими в чем попало, с рухлядью в руках и одежной рванью, перекинутой через плечо. Все были удивлены, до сих пор они не слышали, чтобы старообрядец возвышал голос.

– Чего орешь? – спросила торговка из скобяного ряда, – штрафу захотел?

– Бог подаст! – ответил Нефедов и указал всей толпе на двери. Художник успел уже встать, и мы собирались незаметно уйти, чтобы избежать протокола, когда Нефедов неожиданно встал на прилавок, жадно схватил нашу картину, скомкал ее, бросил на землю, и стал судорожно запихивать ее в люк. И тут мы увидели что это не холст, а бумага, обыкновенная олеография на хорошей глянцевой бумаге, пылью и плесенью приведенная в древнее состояние и цена которой – двадцать копеек.

С того дня я перестал ходить к Нефедову. Вскоре я переехал из Кожевников на Басманную, и Садовническая толкучка прекратила для меня свое существование. Только два года спустя, я узнал, что Нефедов убит. Какой-то вор с толкучки проник ночью в книжную лавку. Наслышавшись много о люке, вор полез туда, надеясь хорошо пожить. Старообрядец упорствовал и, не глядя на все угрозы, от люка не отходил. Вор ударил его по голове, и Нефедов от этого удара скончался.

Милицейский протокол свидетельствовал о том, что вор перерыл все подвальное помещение, но ничего ценного не нашел и ничем не попользовался. Помещение это было завалено наиболее ходкими и часто требуемыми на рынке романами, сказками и учебниками.

Дочь бакалейщика

Дочь бакалейщика все звали Кларой, Кларочкой, Кларусей, Кларусенькой. И только Чистов обращался к ней всегда – Клава. На вопрос, почему он ее так называет, он отвечал всегда уклончиво, нехотя, обманно.

Когда-то Чистов пытался исправить свою картавость и посещал даже театральную студию артистки императорских и народных театров Екатерины Алексеевны Фогель.

Но в студии было мучительно скучно, царил флирт, и пахло бездельем, кроме того, все сочувствовали ему и острили, что он годится для французских комедий, где может играть пижона и агента по страхованию жизни. Чистов отшучивался, но втайне он ругал студисток коровами, и дурами.

С ним занималась сама Фогель, актриса, забытая всеми и вышедшая в отставку еще до русско-японской войны.

– Откройте рот, мосье Чистов!

Чистов открывал, смущаясь и краснея.

– Говорите «р», только языком, а не гортанью, рrrrr...

– Ххрры, – неслось из гортани Чистова, – хрр...

– Не так, – вздыхала актриса, досадуя, – какой вы неуклюжий, мосье Чистов, чистое наказание с вами.

Она касалась пальцами его языка, поднимала его за кончик, дергала, мяла и стучала костяшками по деснам. Чистов багровел, задыхался, и слезы навертывались на глаза.

Ему было стыдно, что эта женщина разглядывает его зубы, среди которых было два гнилых и один вставной, фарфоровый, вечно шатавшийся и покрытый темным цинковым налетом.

Мелочи эти заставили Чистова покинуть студию и бросить все мечты об исправлении своего физического недостатка.

На людях он тщательно скрывал свою картавость. Это стоило ему больших усилий, он окончательно изгнал из своего обихода звук «р». Это сделало его речь дряблой, туманной и путаной. Было подлежащее, но не было сказуемого, или наоборот.

Надо было сказать:

– Вы, разумеется, правы. Французы выиграли сражение под Верденом, но Гинденбург еще покажет им, где раки зимуют!

А Чистов говорил так:

– Это, конечно, точно. Галлы победили под Лютенцией, но немецкий волк еще покажет им, чего стоит фунт лиха.

Приходилось обдумывать фразу, менять слова, искать синонимы, мысль бесплодно и тупо напрягалась, было тяжело и неприятно.

Чистов познакомился с Кларой в лавке ее отца.

Он представил себя, как Илья Алексеевич, несмотря на то, что отчество его было «Арсеньевич»,

Она спросила, сколько ему лет.

«Двадцать три», подумал он и ответил улыбаясь: – Между двадцатью и двадцатью пятью.

– Двадцать два?

– Нет.

– Двадцать четыре?

– Нет.

– Двадцать три, да?

– Вы угадали, – ответил Чистов, продолжая улыбаться.

Тогда же он стал ее звать Клавой. Клава звучало хуже, чем Клара, – имя, твердое и прекрасное, нежное и струнное, превратилось в липкое, ватное, но Чистов был облегчен: ненавистный и недосягаемый звук был изгнан навсегда.

Бакалейная лавка была пропитана пряными запахами. Вспомнились никогда не виданный, но ощущаемый ближний восток, острова архипелага и знойные колонии Австралии.

Товары, выглядывающие из бочек, тюков и ведер, придавали комнате вид азиатской харчевни, и казалось, что стены затянуты темно-красными тканями, а пол устлан цветными ковриками. За стойкой, где сидела и писала Клара, было всегда темно.

Эта темнота и благоухание ванили, изюма, рожков, душистого перца, чая, корицы, благоухание медленное и тягучее – клонили постоянно ко сну.

Клара делала несложное дело. Почти все покупатели брали в кредит, несмотря на то, что на двери висела табличка: «Кредит портит отношения. Тронутое руками, считается проданным».

Клара записывала долги в особую тетрадь, где каждому были отведены две страницы. Бакалейщик написал даже «дебет и кредит».

Ему нравилось, что все это похоже на настоящее конторское дело-производство. Чистов брал также товары в кредит. Частое безденежье сблизило его с бакалейщиком, которого он сперва, боялся.

– Видите ли, милый хозяин (бакалейщика звали Вагрампием Порфирьевичем, и этого имени Чистов избегал, как чумы), я должен получить на днях деньги и сейчас же я... Сколько с меня всего?

– Шесть рублей, – отвечала Клара, глядя на Чистова своими необычайно открытыми, твердыми, вылупленными глазами.

– Пожалуйста, господин студент, пожалуйста, – говорил бакалейщик. – И полно, что за счеты, лишь было бы охоты.

Он всегда говорил в рифму. Подавая нищему галет или сухарь, он выпроваживал его ласково:

– Возьми жечи на плечи, документы на извозчика и катись колбаской по Малой Спасской.

– Масло сливочное есть? – спрашивал покупатель.

– На нет и суда нет, – отвечал бакалейщик.

К Чистову он относился с ласковым пренебрежением.

Он заметил, что по утрам, когда покупателей много и лавка наполнена суетой, студент всегда оказывался подле Клары, он охотно уступал очередь, медленно покупал и долго не уходил,

– Кларочка, – кричал Вагрампий Порфирьевич, – запиши Калинихе восемьдесят, Рыжею – семнадцать, записала, Кларочка? А вы, господин студент, подождите, поболтайте с Кларочкой. Будьте кавалером, таким примером.

– Ну да, – отвечал, краснея, Чистов, – еще бы, это так, пожалуйста.

Один раз Чистов зашел вечером за восьмушкой чаю. Он получил за урок несколько рублей и хорошо чувствовал себя, можно было погасить затянувшийся кредит.

– Вам Клара скажет, рассчитайтесь с ней, – быстро проговорил Вагрампий Порфирьевич, который принимал сельди, сиги и кислые овощи.

Он хлопотливо бегал взад и вперед, люди вкатывали бочки, тюки и жестянки, грохотала пустая посуда, хозяин распоряжался.

– Керченские сюда, голландские туда, огурцы на стол, а рассол под стол.

Бакалейный Багдад потускнел. Его сразу не стало. Запахло морским прибором, водорослями, шаландой.

– Рассчитаемся завтра, – сказала Клара, – я отправляюсь на прогулку.

Она натягивала на себя старомодную пелерину и черную ковбойскую шляпу. Шляпа эта никак не ладилась, она прикрывала сбитые локоны, и Клара без конца подкалывала ее булавками.

– Куда вы, Клава?

– В Липки пойду. Потом в Мариинский парк и на Лысую гору. Хотите?

– С удовольствием.

Нанимая извозчика, Чистов сказал.

– Полтинник. Двое. На Лысый холм.

– Пятьдесят карбованцев? – переспросил извозчик, – на Лысую горку прикажете?

Чистов обнял Клару на почтительном расстоянии. По некоторым улицам езда была запрещена.



Иллюстрации ЛЕО к рассказу «Дочь бакалейщика».
«Шквал». 1926, № 50(8)

У Золотых ворот стоял немецкий караул. Украинские солдаты, новобранцы гетмана, шлялись по городу без дела и цели. Немцы старались навести на них лоск и придать им имперский блеск, но они оставались похожими на бандитов. Черные пиджаки были обвешены пулевыми лентами, к поясу привешены гранаты, карманы топорщились от громоздких наганов. На правом плече болтался винчестер, на левом — австрийская винтовка.

На Николаевской улице они встретили автомобиль гетмана. Шестеро всадников расчищали путь впереди, двое следовали по бокам, сзади волочилась целая кавалькада старых немецких машин.

Извозчик свернул в переулок, Клара стала говорить о гетмане, Чистов слушал ее с боязнью, ежеминутно оглядываясь по сторонам.

Когда они проезжали мимо арсенала, кто-то окликнул их. Чистов оглянулся, но никого не заметил. Минуту спустя, он явственно услышал далекий голос, повторявший:

— Илья Алексеевич! Клара! Илья Алексеевич!

Он приказал извозчику остановиться. Выбрасывая руки вперед, к ним бежал запыхавшийся бакалейщик. Он укоризненно качал головой.

— Молодость, молодость! Отец еле дышит, а дочка не слышит. Вызвали меня в Печерск. К Степану Омельченко немецкие купцы приехали, товару навезли, прицениваться буду... и вас не забуду. Вернусь я поздно, так вот тебе, Кларочка, ключ. Я в окно постучу, а вы, господин студент, берегите мою красавицу... как вам это понравится!

И Вагрампий Порфирьевич пошел назад. Извозчик стал сворачивать влево.

— Вход заборонено, — объяснил он.

Дорога вела в гору. Пролетка медленно потащилась, лошадь двигалась спокойно, переступая с ноги на ногу. Так они проехали минут десять.

В Мариинском парке отбивали время башенные часы. Чистов прислушался.

— Раз... Два... Три... Четыре... Пять...

И тут раздался такой чудовищный, непередаваемый, неповторимый удар, который заставил забыть о башенном бое.

Это не был артиллерийский гул.

Казалось, что упала планета и столкнулась с землей, что земля дала трещину и раскололась надвое.

За первым ударом последовал второй, за вторым — третий, за третьим — четвертый. Сила каждого удара возрастала, катастрофа обрисовывалась ярче и резче.

Восток потемнел. Столбы дыма встали от земли и заволокли горизонт.

Запахло крепчайшей гарью. И только потом стали видны желтые и белые огни.

Тогда, всем стало ясно, что киевские артиллерийские склады взлетели на воздух.

– Гамазеи горят, – вскричал извозчик, – смерть пришла, лихо мое.

Он оцепенел и выпустил вожжи из рук, Клара прижалась к своему спутнику и тихо прошептала.

– Я боюсь, миленький! Бежим домой, боженька!

– Давай назад, – закричал Чистов и ударил извозчика.

Тот приподнялся, стянул вожжи. Лошадь не поворачивалась. Она помчалась вперед, испуганно прядая ушами и припадая к земле.

Извозчик еще туже натянул вожжи и хлестнул ее кнутом по шее. Она не слушалась и, отбрыкиваясь задними ногами, рвалась вперед.

Чистов схватил Клару и хотел уже выпрыгнуть из пролетки, но в это время раздался пятый удар, который был страшнее всех остальных, и лошадь понеслась.

Она мчалась на гору с дикой быстротой. Извозчик натягивал вожжи до отказа. Раздираемая уздой, лошадь закрывала глаза. Она была обложена потом и пеной. Каждый удар возбуждал ее снова. Она напрягала последние усилия и рвалась истерически навстречу взлетающим огням. Извозчик встал.

– Господи Иисусе, тпру... – зачистил он. – Господи Иисусе, тпру, тпру, тпру, тпру, тпру...

Тяжелый занавес дыма закрыл горизонт. От земли вздымались темные облака, имевшие природную форму, только толщина их и тяжесть были неестественны.

Казалось, что их выковали из чугуна в гигантской плавильне и окрасили их в темно-серый цвет. На высоте ста метров они давали трещину, потом медленно раздваивались, и оттуда выползали желтые быстрые языки огня. Вслед за этим раскатывался гул. Гул этот также разламывался и рассыпался барабанной дробью. Дробь эта была глухая и путаная.

На повороте извозчик выскочил и ударил лошадь в зубы. Она неистово засопела и упала на бок, задев оглоблю. Оглобля треснула и разлетелась. Пролетка покатила вниз, влача за собой бездыханную лошадиную тушу.

На складах взрывались крупнокалиберные снаряды. Шестидюймовки и восьмидюймовки взлетали вместе с ящиками. Многие снаряды падали, не взрываясь.

Чистов схватил Клару под руку и потащил ее назад.

Они бежали не останавливаясь и не оглядываясь, прищуриив глаза и в полном молчании. Клара запуталась в пелерине, которая трепалась по ветру.

Она выдвинула руку и стала поспешно отстегивать воротник, Завязка туго стянулась, давя горло. Клара застонала.

– Бросьте, – крикнул Чистов, продолжая бежать, рванул пелерину за полу. Нижняя часть надорвалась, в воздухе повисли ключья. Чистов рванул еще раз, нижняя часть отлетела. Осталась верхняя часть, которая сделалась похожей на жабо. Завязка стянулась еще туже. Клара заплакала.

– Пустите, – воскликнул испуганный Чистов, – я сейчас оторву, сейчас... пустите.

Кларе его голос показался чужим, незнакомым. Он звучал резче и тверже. Сам Чистов заметил, что говорит не так, как прежде. Он не заменял уже слов, и рот его был полон гортанными «р».

Он запустил руку за Кларин воротник. Пальцы его ощутили нежную горячую шею. Воротник треснул и повис, Клара споткнулась и упала.

Она увидела над головой разноцветные огни ракет и дымовую завесу гаубичных снарядов, и широкие сплошные огни пироксилиновых ящиков, и закрыла глаза. Уши засорились мелким и крупным гулом, грохот был неумолкаем, он разворачивался и крепчал.

Желтые, белые, бело-голубые, розовые и синие огни сигнальных ракет испещрили небо.

Похоже было, что это воздушная реклама американской фирмы.

Некоторые огни вытягивались хвостами, раздроблялись веерами, другие повисли яркими точками. Они молниеносно взрывались и медленно потухали.

Чистов поднял Клару на руки и пошел быстрым шагом. Бежать он не мог, тело женщины отяжелело.

Клара пригибала его голову к земле, ноги ее повисли, колени вонзились Чистову в грудь и Чистов узнал, что у нее острые, худые колени.

Она сжала губы, с которых струилась помада, зубы ее беспрерывно стучали.

– Что с вами? – спросил Чистов.

Клара не отвечала. Он приподнял ее кофту, содрал бюстгалтер, обнажились маленькие твердые груди, потом дохнул он ей в лицо. Она зашевелилась.

– Вам дурно, Клабочка?

– Я хочу домой, – еле проговорила она, – спасите меня, я хочу домой.

Они приближались к Печерску.

Оттуда бежали беспорядочные толпы жителей. Многие держали в руках узлы и корзины, некоторые волокли за собой тележки с мебелью и просто мебель, они сталкивались, перегоняя друг друга и забегая вперед, падая и поднимаясь. Они бежали в полном молчании. Даже дети не плакали.

И только одна старая женщина нарушала изредка это молчание рыдающими возгласами.

– Отдайте мне мою Ривочку, мою Ривочку, мою Ривочку!

Она ни к кому не обращалась, и ее никто не слушал.

Чистов поравнялся с ними и врзался в толпу. Он мчался вместе с ними, сам не зная, куда.

Надвигалась напрасная ночь. Ее никто не заметил. Дорога была ярко освещена, небо играло огнями, сигнальные ракеты продолжали взрываться.

На пятом проезде их настиг самый сильный взрыв.

На воздух взлетел склад № 3, где хранились ружейные патроны, дистанционные трубки и капсули.

Этот удар нарушил паническое молчание бежавших. Сначала заплакали дети, за ними последовало тяжелое рыдание женщин. Они крестились, посылая небу молитвы, кричали, выли, стонали.

Мужчины также упали духом. Они покинули свои тележки и корзины и ускорили бег.

– Отдайте мне мою Ривочку, мою Ривочку, мою Ривочку! – надрывалась старуха.

– Ма-ма, ма-ма, – плакала девочка, брошенная матерью.

Она от всех отстала, и мужчины старались на нее не смотреть.

На одну минуту толпа остановилась. Ослепительный огонь заставил всех сощурить глаза. Сейчас же раздался удар, и три человека упало навзничь. Они были убиты австрийской гранатой. Две лимонки и одна русская бутылка легли рядом, не разорвавшись.

Клара забилась в эпилептическом припадке и завизжала неприятным визгом, как гимназистка, поймавшая у себя под юбкой мышонка. Испуг захлестнул ее всю. Она стала шепелявить.

– Я хосу домой, спасите, я хосу домой!

Чистов запыхался. Тяжесть ноши становилась совершенно непереносимой. Он чувствовал, что отстают, ослабевают, теряет волю и что через несколько минут упадет вместе с ней.

Снаряды продолжали взрываться. Сейчас это был беспорядочный рокот, артиллерийская какофония, словно убежал дирижер, управлявший взрывами и все пошло самотеком. Вместе с ракетами, взлетали ручные

гранаты. Барабанная дробь смешалась с резкими, отрывистыми ударами. Все огни слились в одно плавающее пламя, гигантское и бесформенное.

У царского дворца дежурили немецкие грузовики. Они подбирали беженцев. Чистов не успел опомниться, как его подхватили и бросили в грузовик. Клара сидела уже там. Как это произошло, Чистов не помнил.

Она съезжилась, платье на ней было разодрано, жабо лохмато повисло, глаза, необычайно открытые, глядели в одну точку. Чистов посмотрел туда.

На мраморных ступенях дворца сидел немецкий офицер. На коленях его лежал блокнот, в который он записывал какие-то фамилии, выкрикиваемые двумя гетмановскими солдатами.

Чистов вздрогнул, побледнел, зашатался. Он посмотрел искоса на Клару, но та уже рвалась к выходу. Грузовик был полон, и она продиралась сквозь человеческие тела. Она колотила себя руками в грудь, царапала лицо и кричала:

– Па-па, папочка! Папусенька! Па-па!

У ног немецкого офицера лежал, лицом вверх, мертвый Вагрампий Порфирьевич. Ноги его повисли, челюсть была разодрана и волосы опалены. Он был обезображен до неузнаваемости.

– Пустите меня, – кричала Клара, – пустите меня, а-а-а! – Никто не замечал ее воплей и криков. Тогда она дико рванулась, взмахнула руками и выбросилась из грузовика.

Гетмановский солдат поймал ее на лету. Она впилась руками ему в лицо и стала его царапать. Он выпустил ее.

На губах ее заклокотала пена. Она качнулась и упала на труп Вагрампия Порфирьевича.

Чистов хотел выскочить вслед за ней из грузовика, но офицер командовал:

– Давай!

И машина помчалась.

– Остановите! – вскричал Чистов и свалился. Шофер ударил его кулаком по шее.

Ягве

– У меня здесь на каждом острове особая жена.

Так хвастался всегда Стефан Лелмеж, когда приходилось плавать с ним по Финскому заливу. Он служил помощником капитана на ледокольном судне. Этот моряк, с припухшим лицом и узкими японскими глазами всегда нравился женщинам. Рыбачки ревновали его друг к другу, и когда Лелмеж рассказывал о своих победах, он не врал.

– Где только хочешь. И в Саммерсе, и в Суойках, и в Гогланде, и в Стеншаре, и в Кокшаре, на выбор, где только хочешь.

Историю его любви с Ягве знает вся команда. Он встретил эту финку с деревянным лицом и отвесным носом в открытом море. На траверсе Гогланда, вдоль южного фарватера, рыбаки-финны разбили деревушку на льду. Суойкинские спиртовозы привозили сюда водку и меняли ее на рыбу.

Среди прочих была на льду избушка рыбака Ольсена. Ягве была его дочерью. Она помогала отцу и часто продавала спирт матросам.

Пароходу предстояла двухчасовая стоянка. Замерзла машина и пришлось сделать перекачку. Лелмеж спустился по трапу на лед и увидел Ягве. Он сказал себе:

– Хороший бабец. Была не была – будет моя.

Она подошла к нему с бидоном.

– Моряк, купи водки.

Он купил у нее бидон спирту на 100 марок и пригласил к себе в каюту. Он предложил ей прокатиться до Ревеля и обратно.

Никто не будет знать, он спрячет ее в своей каюте.

Ягве понравился этот моряк и она согласилась. До Ревеля он овладел ею, и она полюбила его сумасшедшей любовью. Он обещал увезти ее с собою и жениться на ней. У него есть свой дом, она будет хозяйкой, его месячное жалованье больше, чем восемьдесят тысяч марок. Ягве была счастлива. А на обратном пути он высадил ее в Гогланде, сказав:

– Адью, мадам, у меня на родине особая жена. Я не турок, и одной жены мне хватит.

Вот и вся история его любви с Ягве. Ему нужно было много таких, как она, а ей достаточно было одной половины его, одной четверти, восьмушки.

Когда Лелмеж расставался с Ягве, она сказала ему, что убьет себя, что зарежет его, что она не сумеет жить, что она потопит его пароход. Он слушал и думал:

– Успокойся. Другого найдет. Все они одинаковые.

Мы привыкли обобщать во всем. По ворчливой хозяйке мы судим о людском злонравии и общую кличку «лошадь» мы даем коню, жеребцу и кобыле.

Через два месяца Ягве потопила пароход и причинила государству шестьдесят тысяч рублей убытку.

* * *

Утром Ягве встретила Лудвига, который был смотрителем маяка в Гогланде.

– Девочка, – сказал шамкающий Лудвиг, – сегодня пароход придет.

– Какой? – спросила Ягве и покраснела.

Лудвиг сказал название парохода и посмотрел на нее. Весь Гогланд знал об ее позоре. Лудвиг не напрасно сообщил ей эту весть. Он хотел ее устыдить, посмеяться над ней.

– Будь здоров, – сказала Ягве и пошла.

Лудвиг посмотрел ей вслед с удивлением, обычно она даже не раскланивалась с ним.

Лудвиг был хорошим работником. Десять лет Лудвиг пробыл на маяке смотрителем и с честью делал свое маленькое, но важное дело. Он никогда не уходил с маяка и полюбил всем сердцем своим этот чугунный ад с множеством дыр и стекол, эти вспыхивающие и гаснущие огни.

Подле Гогланда, подле этого проклятого морского кладбища, качаются в воде два бакана. И когда погода ненастна и черными валами скатывается со скал норд-ост, баканы гудят непрерывным тяжелым жалобным гуденьем.

Одно время Лудвиг был и баканщиком, но потом о баканах забыли, их не заряжали больше, и гуденье прекратилось, и свет их погас.

Лудвиг был прекрасным смотрителем. Но Лудвигу уже сорок лет и никогда еще не слышал он от женщины ласкового слова. Это мучило его страшно. Женщины бегали от него. У Лудвига лицо было в прыщах и тело некрепкое, несколоченное. Похоже было, что он растягивается резиной, что ноги его и руки наворожены на пружины.

У Лудвига во рту не было ни одного зуба. И голос его казался также резиновым, клейким, касторным. Голова его была лишена волос, а на лбу торчала шестигранная шишка, всегда воспаленная и светящаяся. Эта шишка была похожа на оттиск фонаря. Что говорить, таких, как Лудвиг, женщины не любят. И женщины сторонились Лудвига, обходя его и даже не разговаривая с ним.

Два года прошло с тех пор, как Лудвиг просил у рыбака Ольсена руку его дочери Ягве. Ольсен отказал, а Ягве хохотала. Лудвиг немало страдал тогда. Ягве спуталась с помощником капитана какого-то корабля, Стефаном Лелмеж. Лудвиг был бы счастлив провести все свои дни подле Ягве, а Лелмеж поспал с ней и бросил ее. У него в каждом городе своя Ягве. У него столько Ягве, сколько портов в Балтийском море. А Лудвигу было бы достаточно даже одной половины Ягве, даже четверти, даже восьмушки.

И вечером, когда Лудвиг даже не мечтал о Ягве, она пришла к нему сама, она прокралась на маяк, туда, где ни разу не ступала женская нога, она наговорила ему много ласковых слов и села к нему на колени, и напоила его водкой, и отдалась ему.

Когда Лудвиг заметил ее, он прошамкал испуганно:

– Девوشка, девوشка... девوشка.

Больше он ничего сказать не мог.

Она улыбнулась ему своей деревянной улыбкой. Лицо ее совсем не складывалось, ни одна жила не шевелилась на нем. И улыбка ее была прямой, как и тело ее, и локти, и нос, и глаза.

– Мне стало скучно, Лудвиг, – сказала она, – отец лежит больной, а брат на море. Мне стало скучно. – Он взял ее за руки и испугался. Но Ягве молчала. Она не вырвала их, а глаза ее говорили:

– Это не мои руки, они твои, трогай их, сколько хочешь.

Если огонь может быть деревянным, то в глазах у Ягве блестели деревянные огни. Они были похожи на огни маяка. Целый ряд огней. Впереди больше, за ними меньше, а еще за ними совсем коротенькие и быстрые.

– Мне кажется, Лудвиг, – сказала Ягве, – что ты хороший человек. Если бы я знала, что ты не станешь меня бить, я бы за тебя замуж вышла.

И Ягве села к нему на колени. Она была вся жесткая и четырехугольная. Лудвигу казалось, что на коленях его лежит ящик. Приятный и хороший ящик, ящик, в который бог упрятал счастье.

– Если ты, – начал Лудвиг, – говоришь правду, девوشка... – Но он мысли своей не докончил. Лудвиг никогда не кончал своих мыслей.

– У тебя здесь жарко, – сказала Ягве, и она сняла шаль, сняла пиджак и расстегнула кофту.

Лудвиг покраснел, и у него загорелись и задрожали ноги, и в паху он почувствовал колотье и боль. А Ягве развязала башмаки и стащила с себя гетры.

– Мне скучно, Лудвиг. Давай выпьем за мое здоровье.

Она достала большую бутылку, в которой плескался зеленый спирт.

Лудвиг замахал своими пружинистыми руками.

– Мне нельзя, девوشка. Я здесь один. Сторож ушел. Скоро надо зажигать фонарь.

Тогда Ягве глотнула спирту, сколько могла. Щеки ее набухли. Она схватилась за грудь, спирт обжег ее всю.

Она протянула свои губы Лудвигу. Обвила его шею руками, прижалась к его груди своею грудью и положила свою голову ему под мышку.

Уже пора было зажигать фонарь, где-то уныло и моляще гудела пароходная труба, но чугунная пасть маяка была черна, как могила, и круглые оконца смотрели в пространство ночью и мраком.

Ягве отдавалась Лудвигу, дразня его и беснуя. Она разбудила дьявола в шамкающем урде. Когда бутылка была допита, она достала

другую и дарила себя понемногу, по глоткам спирта. Когда он взял ее, он был уже пьян и бессилён. И улыбаясь резиновой улыбкой, он заснул у нее на груди.

Тогда Ягве встала и улыбнулась. Она отшвырнула от себя с гадливостью это мертвое тело и ушла с маяка так же воровато, как и пришла сюда.

А где-то уныло и моляще гудела пароходная труба. Стефан Лелмеж стоял на мостике и ждал, пока покажутся огни Гогландского маяка и послышится его гуденье. Он посмотрел на компас и пожал плечами. Потом пошел в каюту и разбудил капитана.

– Капитан, – сказал он, – мы на траверсе Гогланда, а маяка не видно и не слышно.

Капитан выглянул из иллюминатора и недоумевающим взглядом посмотрел на Лелмежа. Они вышли на корму, проверили лаг, а лаг показывал 90 миль.

Вахтенный у руля ждал приказаний. Стефан Лелмеж взошел на мостик и взял бинокль. Туман опускался, приближаясь к самому носу.

– Три румба круче, – сказал Лелмеж и повернул ручку телеграфа.

Он посмотрел на компас и побледнел.

– Право на борт, – закричал он, – право на борт, право на борт!

Все услышали глухой треск, неясный звон и несильный грохот.

Упала и рассыпалась пианола, стоявшая в кают-компании. Разламываясь, она играла Шумановский марш, который звучал так, словно его сварили всмятку. Потом музыка оборвалась, ее сменило стеклянное дребезжание посуды.

И только тогда послышались резкие пронзительные звуки пилы, словно кто-то перепиливал огромной пилой днище парохода и сдирал пластами железную обшивку.

– Риф! Мы сели на риф.

Судно слегка качнулось, потом его зашатало штормовым шата-нием. Тяжелой, быстро-бегущей лавиной ворвалась вода.

Все сразу очутились наверху. Машинисты и вахтенные кочегары ринулись с криками из топок. Спящая команда выбежала на палубу в одном белье. Две единственных пассажирки, толстые старые немки, спрятались в капитанскую каюту. Их оглушил мгновенный обморок.

Стефан Лелмеж побежал в радиорубку.

– Дали? – спросил он.

– Готово, – ответил слухач, бросаясь к выходу.

– Постой, – скомандовал Лелмеж, – отдельно в Ревель. Пусть пришлют помощь.

– Шлюпки спускайте, – надрывался на палубе капитан.

Сообщая о тревоге, заревела труба.

Потом наступило полное спокойствие. Команда покинула паром, уселась в шлюпки и поплыла к берегу. Стефан Лелмеж схватил немок под мышку и бросил их в шлюпку.

Пароход врезался в береговые камни Гогланда. Через несколько минут все поняли это, и тревога сменилась беспокойством.

Когда Стефан Лелмеж сошел на берег, он встретил Ягве Ольсен. Прежде чем он успел поднять руки, острая жидкость брызнула ему в лицо. Он почувствовал режущую боль и пронзительно застонал. Потом он закачался и упал на землю.

Когда Ягве Ольсен связывали руки, она кричала, хохоча:

– Он думал, что спасется. Не спасется! Я, говорит, не турок... не турок... а теперь похож на турка... красный, будешь... настоящий турок.

Юзеф Шостак

В левой руке Шостака вяло дымилась папироса. Правая держала газету. Он приблизил ее к самому носу, и свежая краска ударила в лицо. Когда глаза плохо видят, надо терпеть и вдыхать в себя эти удушливые химикалии, как в шутку называл этот запах Юзеф. Он сидел спиной к двери и читал отчет сейма. Томаш Приступа выступил снова против Цехновского. Он обвинял его в провокации. Жаль, что у депутата было так мало документов.

Юзеф Шостак вынул из жилетного кармана часы и неожиданно обернулся. Часы щелкнули.

– Опять механизм испортился, – сказал он вслух и рассмеялся.

В коридоре послышался шорох. Человек сделал три легких шага и потерялся. Шостак встал и подошел к двери. Замочная скважина достаточно велика и без углубления, но схвачен ли фокус? Впрочем, линия света была подходящая.

– Еще один, – подумал он и спрятал часы в боковой карман. – Ей-богу, Цехновский талантливый человек. Только помощники его, пожалуй, дураки.

За последний месяц он снял своим аппаратом восемь человек. Это все милые соседи; даже дворник попал в объектив. Бабу, приносившую молоко, он запечатлел, когда заметил, что та стащила с его стола использованную промокательную бумагу. Он грубо вырвал у нерасторопной сыщицы украденное и щелкнул часами. Больше она в этом доме не показывалась. Сосед слева – железнодорожный чиновник. Этот

пришел за спичками и унес с ними клочок письма, который нечаянно, словно испугавшись, уронил Юзеф.

– Воображаю, – вспомнил Шостак, – какое у него было лицо.

На клочке было выведено каллиграфическими буквами несколько раз: «Кланяйтесь Цехновскому».

За бабой, чиновником и дворником шли прачки, возвращавшие ему белье с пометками на воротничках. Какая-то абракадабра, непонятная даже Шостаку. Но он возвращал им это белье со словами:

– Вы испортили мне белье. Вы не умеете стирать. Я не заплачу вам ни копейки.

И заставлял прачек в его присутствии стирать эту пакость.

Одной из них он стал угрожать, что пожалуется на нее за плохую работу ее хозяйину.

– Нет у меня хозяйина, – сказала прачка.

– Ну как это нет? – улыбнулся Шостак. – А пан Цехновский, что в дефензиве?

Прачка смутилась, покраснела, но скоро нашлась и сделала глупейшее лицо.

– Не понимаю вас, пан. Что-то вы такое умственное говорите.

– Сейчас поймешь. Дай-ка я тебя сниму, чтоб показать пану Цехновскому, какое глупое у тебя лицо.

Прачка отскочила в угол, но часы уже щелкнули. Скучная сыскная канитель! Но нервы должны быть натянуты, как цирковой канат. Не очень любя спорт, Юзеф Шостак сделался по этой причине спортсменом. Полотенце, вымоченное в соленой воде, прекрасно успокаивает организм и регулирует бег мыслей. Он купил на базаре пояс с пятью кольцами. Сперва он выжимал только три кольца, сейчас он легко берет все пять. Если сыщики не оставят его в покое, он сделается лучшим спортсменом Львова.

– Спасибочки, пан, – подумал Шостак, зажигая потухшую папиросу, – спасибочки, пан.

Так говорила баба, приносящая молоко.

Доклад Приступы не был окончен. Председатель сейма просил депутата воздержаться от выводов до окончательного разъяснения. Центр упрекнул оратора в подтасовке фактов. Если б у Приступы было больше доказательств на руках, больше улики, мог разыграться крупный скандал.

Шостак перевернул страницу и прочел.

«Пан Корфанта одобряет заем. Беседа нашего сотрудника с паном Корфантой».

– Ладно, – сказал Шостак, – подождешь, пан Корфанта. Прочту после.

И тщательно сложив газету, он спрятал ее в ящик стола. Потом закрыл ставни, затыкая шерстью щели и створки. В комнате стало совсем темно.

Юзеф вынул небольшой фонарик, укутал его красным платком и нажал. Брызнул крохотный будуарный свет.

Он подошел к рукомойнику и налил воды в таз. Всыпал выраженный порошок и, открыв часы, вытащил оттуда свернутый целлулоид, трехдюймовый отрезок пленки. Он развернул ленту и бросил ее на дно таза. Она всплыла на поверхность.

Шостак постоял над тазом десять минут. Потом вытащил пленку, приблизил ее к фонарю и начал сушить. Струился легкий дымок. Он открыл ставни и бросил шерсть в угол.

Скинув пленку на свет, он увидел узкий глаз и рыхлый отроческий нос. Аппарат схватил еще часть губы без признаков растительности.

Это келецкий гимназист, который гостит здесь у своей тетки, женщины немолодой, полуглухой и подагрической. Ему всего двенадцать лет. Ленивец и сластена. Вероятно, обещали дать коробку цукатов за сведения о соседях. Противный мальчуган, до чего же любит он засахаренные фрукты!

– Коллекция глаз та носов увеличивается, – подумал Шостак, – не угодно ли почтенному сейму ознакомиться с этим оригинальным архивом? Вы скажете, что вы не физиономисты? Тогда я приготовлю вам кое-что почище. Томаш Приступа должен окончить свой доклад.

Дом, в котором проживал Юзеф Шостак, был выстроен недавно, на американский лад с тонкими и пропускающими звук переборками. Слышно было, как железнодорожник-чиновник хлебал горячий кофе. Жена его возилась у плиты. Стучал и шипел утюг. Она тянула свою легкомысленную песню.

Панна Эва потеряла туфель,
Пан туфель, пан туфель, пан туфель.
Панна Эва потеряла туфель.
Панна Эва стала пани Эвой.

Дворник вышел на улицу с метлой и совком. Поскрипывали сухие ветки метлы, и совок прятал следы вчерашней жизни. Подметая, дворник старался смотреть мимо окна Шостака. Конфуз пойманного с поличным мучил его. Он чувствовал раскаяние и все собирался принести жильцу свое извинение.

По мостовой пробежал келецкий гимназист. Ранец болтался у него на одном плече. Он плевал вперед себя, ловя ногой свои плевки. Шостак усмехнулся.

Все они получают деньги. Дорого же обходится дефензиве его существование. Недаром Приступа кричал в сейме, что 77 процентов бюджета министерства внутренних дел уходит на содержание полиции. И Юзеф вспомнил бурю, разыгравшуюся в сейме. Летели книги и стулья, кто-то швырялся горячими пирожками, председатель вяло звонил и много хохотал.

– Пану Шостаку письмо.

В дверь стучался почтальон. Этого старика с украинскими усами и густыми баками Юзеф видел в первый раз. Он взял у него толстый пакет, весь в штемпелях и пометках, и расписался в книге. Старик тяжело дышал.

– Отдохните, – сказал Шостак и придвинул ему стул. Почтальон сел. Он закашлялся и вынул платок.

– Плохие времена настали, – пожаловался он, – просил о пенсии – не дают. Говорят, здоров еще. А у меня чахотка.

– Да... – промывчал Шостак, который успел уже вскрыть письмо и пробежать его глазами.

– Пану из дома пишут?

– Нет. Письмо от товарища. Из Вронки.

– Из Вронки?

– Да, из тамошней тюрьмы. Плохо, старик. Десять дней длится голодовка. Прокурор еще не явился. Курить хотите?

Почтальон отказался с печальной улыбкой,

– Я и без дыма задыхаюсь, пан. Спасибо, пан. Я пойду. – Он направился к двери, забыв свою разносную книгу.

У выхода он вспомнил о ней и, хлопнув себя по лбу, поплелся назад; Шостак отвернулся. Почтальон взял книгу, снова закашлялся и уронил эту книгу так, что она покатилась под стол. Он нагнулся и достал ее оттуда. И медленно пошел к выходу.

Пальцы его перебирали уже ручку, когда Шостак, выбросив правую руку, как на митинге, схватил старика за шиворот и бросил его на кровать. Почтальон зашамкал:

– Что с вами, пан? Или пан нездоров?

– Вы забыли здесь у меня еще одну вещицу, – ответил Шостак и, нагнувшись, поднял изящный шелковый кисет для табака, – возьмите, пан почтальон. Это ваш кисетик.

– Безделушка какая, – усмехнулся почтальон, – спасибо, пан.

Он протянул руку за кисетом, но Шостак отдернул свою и сказал:

– Я готов поручиться, пан, что в этом кисете все, что угодно, только не табак. Мы исследуем с вами содержимое в присутствии полицейского комиссара.

И, потащив за собой старика в коридор, Шостак позвонил по телефону полицейскому комиссару.

– Вы говорите, что пан комиссар спит еще? Разбудите его, пани. Скажите ему, что есть очень интересная для него находка. Хорошо, пани.

Полицейский комиссар, Генрих Хенский, приехал через пятнадцать минут на извозце. Шостак вышел ему навстречу, волоча за собой слабо упиравшегося почтальона. На лице полицейского комиссара можно было прочесть самое горькое разочарование. Когда его вызвали на Брестскую улицу к Юзефу Шостаку, он очень обрадовался, но когда узнал, что вызывает сам Шостак, почувствовал, что вместо праздника бог послал ему маленькую будничную неприятность.

Шостак был лакомым куском. От него тянулись нити к Гибнеру, Киевскому и Рутковскому, ко всем их главарям. Две-три улики против Шостака, и – прощай, Львов. Генрих Хенский может переехать со своей женой в Варшаву и поселиться там, где Хенские никогда не жилали. У Хенского есть прелестный бутуз, коричневый мальчуган Ваця, которого надо отдать в гимназию.

Направляясь к Шостаку, Генрих Хенский думал о том, как обрадует Вацю: «Собирай, бутуз, книжки и тетрадки. Едем в Варшаву».

Он немного помучает его, пусть трещит от любопытства. Зато как просияет он потом.

Сейчас полицейский комиссар старался о Ваце не думать. Ваця останется с папой и мамой во Львове. Варшава мелькнула и канула.

– Что угодно пану Шостаку? – спросил лениво комиссар.

– Я хочу передать в ваше распоряжение этого человека, который принес мне еще один подарок от пана Цехновского.

Полицейский комиссар выпятил нижнюю губу, недоумевая: чего пан Шостак хочет?

– Пан комиссар не откажется составить протокол. Вот по поводу этой вещицы.

– Кисет?

– Да, кисет. Но пан комиссар не откажется исследовать содержимое? Прошу, пан.

Генрих Хенский сел к столу. Шостак поймал случайно его взгляд, устремленный на почтальона. Во взгляде полицейского комиссара была досада и жалость.

– Я утверждаю, что этот человек, – начал Шостак, – пишете, пан комиссар... что этот человек подослан ко мне Цехновским и что в кисете, подброшенном им, находится либо фальшивый документ, либо взрывчатое вещество. Осмотрите кисет, пан комиссар.

Хенский раздвинул края кисета, заглянул одним глазом и сейчас же снова стянул его.

– Пироксилиновые шашки, – строго сказал он и гневно посмотрел на почтальона, который перестал уже упираться и виновато склонил голову.

– Простите, пан комиссар.

– Бог простит, старина. Вы ответите за ваш поступок тюрьмой и позором. Стыдно, старина.

Почтальон закашлялся и заплакал.

– Жена и детки? – иронически спросил полицейский комиссар. – Старая песня, старина.

– Грамотный?

– Да, – ответил, всхлипывая, старик.

– Подпишись вот тут и пойдем, голубчик. Разрешите откланяться, пан Шостак.

И полицейский комиссар вышел, ведя с собой арестованного злоумышленника. Джозеф Шостак весело улыбнулся.

– Томаш Приступа, – подумал он, – ты получишь отличный документ. Ты можешь окончить свой доклад в сейме. Посмотрим, что скажет сейчас почтенный председатель.

Шостак выглянул в окно. Почтальон плелся впереди. Голова его была низко опущена, словно тяжесть ее не соответствовала телу. Он подпирал ее обеими руками, образуя слиянием пальцев десятилучье.

Лицо полицейского комиссара смотрело победно неудовлетворенно, словно вылеплено было из философского синтеза Гегеля: существует, значит, должно так. Это был прекрасный полицейский комиссар, и малолетнему Ваце рано было отчаиваться – он уедет в Варшаву раньше, чем думает.

Шостак возлег взглядом на старике и Хенском и, заметив, что они завернули за угол, поспешно накинул на себя резиновый макинтош и вышел на улицу.

На третьем повороте, шагая на почтительной дистанции, он увидел:

Старик отвернул жилет и поднял голову. Полицейский комиссар устал улыbnулся и, пожав ему руку, вскочил с передней площадки в трамвай.

В руках Шостака щелкнули часы. Он сердито швырнул их в карман и быстрыми шагами направился домой.

С. ГЕХТ
ПОЛЕТ ЗА 15 РУБЛЕЙ



■ ■ ■
БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“
№ 398
АКЦ. ИЗД. О-ВО „ОГОНЕК“
МОСКВА—1928

Детство Танкова

Все свои годы до смерти мужа Антонина Павловна прожила в Змиеве. Это уездный городишко Харьковской губернии, расположенный на гнилом притоке Донца, немощеный, с населением в пять тысяч. На одном балу, устроенном пожарной командой, она познакомилась с доктором Танковым, Василием Яковлевичем. Он пригласил ее на прогулку в Чугуев, показал военные лагеря и сделал предложение. Через месяц она переехала к нему в зеленый домик с огородом на базарной площади. Через год у них родился сын Яков, светловолосый мальчуган с блестящими глазами.

Поведение ребенка беспокоило родителей. Он ничем особенно не интересовался и развеселить его было невозможно. С четырех лет он запирался в детской, не впуская туда своих сверстников. Прислуга часто прибегала с криком:

– Паныч нашкодил!

Он собирал все вещи в одну кучу, громоздил одну на другую, а сам влезал наверх. Стулья, коляски и коробки разваливались, и Яша падал с грохотом на пол. Потирая ушибленное место, он тихо стонал, но никогда не плакал. Это ставило родителей в тупик.

– Василий, – спрашивала мать, – может, он болен?

– Деменция прекокс, – смеялся отец, – или мания величия.

Мать подсмотрела в щелку, как Яша колот булавками свое тело. Шла кровь, но он продолжал колоть. Его связывали, мазали йодом, но мальчуган, уловив свободную минуту, опять поражал больные места. Вскоре его тело покрылось волдырями.

Один раз мать повела его на ярмарку. Играли гармошки и кобзы, трещали бубны и барабаны, качались лодки, но Яша ни на что не обратил внимания. У одного торговца игрушками мальчик остановился. Он разглядывал крашеного паяца, худого и длинного. Руки его торчали над головой, и он казался еще длиннее. Мать обрадовалась и купила Яше этого паяца. Мальчик сжал его в кулак и потащил, как корзину. На мосту он спросил:

– Мама, а он будет расти?

– Кто? Ах, паяц? Не будет, он ведь не живой.

– Не живой! – обиженно сказал Яша и замолчал.

На базарной площади мать заметила пропажу игрушки.

– Где человек, Яшенька? – спросила она.

– Выбросил, – ответил он угрюмо.

– Зачем выбросил, дурак этакий! – рассердилась мать.

– Он не растет, – разочарованно ответил он, – я думал, он будет длинный-длинный.

Из знакомых мальчуган любил больше всего дворника, потому что он был выше всех ростом. За этот рост его прозвали Дылдой. Яша взбирался к дворнику на плечи и значительно говорил:

– А я выше тебя, Дылда.

Но дворник спускал его на землю, издеваясь:

– Вот как ты выше меня, паныч. Ну-ка, достань до кармана.

Яша обиженно уходил, запираясь в детской и стонал. У этого же дворника он узнал, что если стоять под дождем, можно вырасти до неба.

– Гарный будешь хлопчик, – лукаво улыбался Дылда, – сам до неба, а дурень, як треба.

Стоя под дождем, Яша простуживался и кашлял. Как только небо покрывалось тучами, мальчика запирали и приказывали прислуге следить за ним. Но он ухитрялся обливать себя водой. Когда его лишили воды, он плевал на ладонь и мазал себе слюной голову.

– Хотя немножко вырасту, – утешал он себя.

В десять лет он сам смастерил себе ходули. И шагал на них по всему дому, часто падая. Доктор, переставший интересоваться воспитанием сына, на этот раз поколотил его. Он наказал сына не за то, что тот шагал на ходулях, а за то, что падал...

– Это несчастье, Тоня, – сказал он жене, – мало того, что дурак, он еще и неудачник.

Все эти Яшины поступки были пустяковыми в сравнении с тем, что он совершил на двенадцатый год своей жизни. Собрав банду из четырех школьников и дворницкого сына, Яша решил ограбить богатого человека и добычу раздать бедным. Мальчуганы совещались на огороде, и выбор пал на Шмуклера, хозяина обувного магазина, шестидесятилетнего еврея. Они подкараулили его в четверг вечером, когда старик запер лавку и пошел в баню. Яша украл из отцовской аптечки хлороформу и надушил им полотенце. В пустынном переулке, за мостом, мальчуганы окружили Шмуклера, навалились на него и завязали глаза. Яша достал из его кармана ключи и открыл магазин. Они нагрузили в чувал десять пар мужских сапог и спрятали его на огороде, в капустной бочке, потом решили сейчас же найти бедных и раздать им добычу.

– Старик будет спать долго, до самого утра, – объяснил товарищам Яша, – от хлороформа человек раньше встать не может, как через десять часов.

Но Шмуклер явился к доктору через 20 минут. Он рассказал про нападение и требовал, чтобы Яшу высекли на его глазах.

– Ну и сыночка вы себе вырастили, господин доктор. Это не мальчик, это бандист. Если я скажу околоточному, его засадят в исправительный дом.

Антонина Павловна умоляла его не разглашать. Ему вернули сапоги и подарили, чтобы задобрить его, баночку иода и целую кружку чесоточной мази.

На семейном совете родители решили Яшу в гимназию не отдавать. Они боялись скандалов и были уверены, что он натворит там бед. Наняли учителя, занимавшегося с мальчиком каждый день. Учитель доносил родителям каждую неделю об успехах сына. По всем предметам, кроме географии и всеобщей истории, ужасно. И никаких видов на исправление. Хуже всего – языки.

– Я думаю, что на него угрозами не подействуешь, – заявил учитель, – надо его как-нибудь заинтересовать.

– Попробуйте, – ядовито сказал отец, – я отчаялся. Чем заинтересуешь этакого бандита?

Через Яшиных товарищей учитель узнал о заветных мечтах своего ученика.

– Обещайте ему, – посоветовал он, – треуголку и шпагу.

Отец возмутился, но треуголку и шпагу купил. Он спрятал их в ящик своего стола, показав сначала Яше, и обещал подарить ему их навсегда, если он в течение целого месяца покажет по всем предметам пятерки, а по языкам не меньше, чем четыре с двумя минусами. С того дня пошли успехи. Учитель был доволен, но кончился месяц, Яша напаялил на себя треуголку и шпагу и снова перестал заниматься. Тогда ему обещали каску и широкий плащ из красного шелка.

А с четырнадцати лет пошли «самоубийственные» записки. Чуть ли не каждый месяц доктор находил на своем столе или в столовой на полу клочок бумаги, где дрожащей рукой было написано: «В моей смерти прошу никого не винить», «Жизнь без подвигов бесцельна», «Прощайте, живые, не поминайте лихом» и другие в этом роде.

Доктор свирепел, но каждый раз боялся.

– А вдруг этот балбес сегодня не шутит?

Но балбес, к счастью, шутил, то есть записку он писал всерьез, но в последнюю минуту, стоя на мосту или намыливая веревку, всегда раздумывал.

С паническим страхом ждали родители, когда у Яши наступит половая зрелость. И не напрасно страшились... Как только Яша

почувствовал первую дрожь, он отправился к дочери Шмуклера, девице двадцати семи лет, и сказал ей, что он ее спаситель. Он поджег ночью деревянный домик еврея, чтоб вынести из огня на своих плечах суженую. Но хозяин обувного магазина был цепким человеком. Он не заснул тогда от хлороформа, а сейчас потушил пожар сам. Как только Яша подложил ему в сарай горящую тряпку, Шмуклер эту тряпку схватил и, затоптав огонь ногами, понес ее к доктору.

– Ваш паныч сведет меня в могилу, господин доктор!

Василий Яковлевич извинился и заказал старику большие сапоги с ботфортами.

После этого доктор перестал подавать сыну руку и старался его не замечать. Мать утешалась геройскими замыслами Яши. Она отвела его на кухню и спросила:

– А если бы дом загорелся со всех сторон, Яшенька, ты пошел бы в огонь, рискуя жизнью, да?

– Нет, мама, – неожиданно ответил он, – я думал так сначала, а потом расхотелось. Совсем неинтересно, ей-богу.

– Это подло, Яша.

– Что ж делать, мама, если мне все надоело?

С той поры он стал таким же угрюмым и равнодушным, как в самом раннем детстве. Он стал возиться на огороде, вскапывал грядки, полон, поливал, сажал. Бесплодные мечты преследовали его и здесь, но родителей он ими не беспокоил.

– Хорошо бы, – говорил он себе, – вырастить черную картошку или красную репу.

Мужики с базарной площади не понимали его вопросов и испуганно смотрели.

– Може, в городе такая бывает, – усомнился один, – в городе, там все техническое.

Медвежье лукавство

В нашем поезде было 72 вагона. Эшелон состоял из 600 штыков при двух пулеметах. Длинный состав плелся по котловине, защищенной железнодорожными насыпями, ничего по сторонам нельзя было увидеть, кроме созревших хлебов и густо-зеленой картофельной ботвы.

Весь эшелон состоял из новобранцев, частью мобилизованных, частью добровольцев. Это была слабая воинская сила, обученная в две недели, не привыкшая к военной обстановке и дисциплине. На станции Грязи такой полк разбежался, встретив мамонтовский

разъезд, а воронежский гарнизон, скатанный из подобного теста, не оказал никакого сопротивления малочисленным частям противника. В нашем эшелоне было много украинцев; он редел в пути, его покинули пятьдесят дезертиров. В штабе южной армии это знали и приказали загнать его в тыл. Но милостью Мамонтова и железнодорожного саботажа мы врезались в самый фронт. А саботаж был чудовищный. Длинные составы, везшие отличные части, застревали на запасных путях, случайные же отряды или новички, неспособные оказать настоящее сопротивление, не встречали на своем пути препятствий и с идеальной скоростью гнались на передовую линию, прямо в пасть к генералу Мамонтову и Шкуро.

В Кочетовку мы приехали рано утром. Должен вам напомнить, что Кочетовок целых три. И вот, попав в третью Кочетовку, мы узнали, что первая уже занята отрядом Мамонтова в 1000 сабель.

На рассвете мы вышли из вагонов и пошли вслед за поездом. С винтовками наизготовку двигались мы медленно, поглядывая на невысокую железнодорожную насыпь, откуда ждали врага. Мы были уверены – и предчувствия наши не обманули нас, – что враг покажется на холме, вырастет неожиданно над нашими головами, в нескольких десятках шагов от нас.

Мы завидели мамонтовцев, когда они были в полуверсте от нас. Под прикрытием пулеметного огня мчалась на нас лихая конница, пестрая, богатая и яркая. Меткой пулей казака машинист был ранен в шею. Мы заметили закрытый семафор и увидели, как остановился поезд. Помощник машиниста был изменник. Он дернул тормоз и, выпрыгнув из паровоза, бросился бежать навстречу казакам. Пуля нашего ротного командира уложила его на месте. С бескровным лицом смотрел батальонный на третий взвод нашей роты, бросившейся в свой вагон за вещами. Одного из них он снял шашкой, когда тот лег брюхом на нары.

Неравный бой плохо обученной и невысокой по качеству пехоты с прекрасно вымуштрованной и первоклассной конницей кончился для нас неудачно. Наше отступление было паническим.

Отстреливаясь, я очутился на другой стороне насыпи. По левую руку я заметил несколько одиноких деревьев – то были дикie яблони. Продолжая отстреливаться, я бросился туда и скрылся за тощим стволом брошенной яблони. Вскоре я заметил, что наша часть отступила в другую сторону и стал пробираться к ней, но в пути был застигнут мамонтовским казаком, тоже отставшим от своих. Позже я понял, что отстал он нарочно, гоняясь за мной. Мы остались одни на пустом участке. Все на нем сидело прочно и тяжело – и папаха, и полушубок, и сапоги, они

казались выточенными и облицованными, словно составляли одно целое с его телом, словно оторвать их от его тела нельзя было. Я же был одет в неуверенную шинель, нелепые башмаки, из которых я выползал, и на моей голове болталась (подлинно болталась) заезженная фуражка. Он был красный, упитанный, доделанный, законченный, запечатанный, я – бледный, худосочный, сырой, недожаренный, начатый. Его глаза смотрели в одно место, видели только одну точку и об этой точке имели определенное мнение, а зрачки не поворачивались, не меняли положения; мои глаза видели впереди себя сотни, тысячи, десятки тысяч точек, и каждая точка менялась и передвигалась, а зрачки бегали так, словно вращались вокруг своей оси. Он был увешан оружием: через плечо висела у него русская винтовка, к поясу привешена сабля и из кобуры выглядывал наган. Моя рука сжимала, и не сжимала даже, просто держала старенький, давно нечищенный с облупленной магазинкой винчестер.

– Здорово, Мошка, – сказал он твердым, как кулак, голосом и блестящим жестом, жестом Роберта Адельгейма, вытащил из ножен сияющую саблю.

– Здорово, казак, – слабо произнес я и вскинул винтовку. Я стал пятиться задом, быстро откидывая ноги, точно сказать, я не пятился задом, а бежал задом. Патрон был выброшен впустую, американская пуля пролетела мимо него, и удар его не коснулся меня. Вторым ударом, беспощадным и окончательным, как смерть матери, он разрубил дикую яблоню. Вторая пуля прострелила ему папаху, а третий удар сабли заставил зазвенеть воздух и задрожать судорожной дрожью напрасно прозвучавшую сталь. Он захрипел и бросил саблю в ножны. Потом выстрелил три раза из нагана, и ни одна пуля не долетела до меня. Я отбежал далеко, и нас отделяли друг от друга двести шагов.

Убегая, я думал о том, что часто мечтал увидеть битву, поле сражения, а бой у меня всегда был связан с музыкой, оглушительным грохотом, ослепляющим огнем. Ни музыки, ни грохота, ни огня здесь не было. Два человека встретились лицом к лицу в полной тишине, и вокруг – никого. Два врага вышли на единоборство решать исход войны. Казалось, то есть не тогда казалось, а потом, что с последним дыханием одного из противников угаснет и армия побежденного, и тыл, и все, что за спиной дерущегося целая государственная машина.

Четвертая пуля задела мое ухо, но не свалила с ног. Она опалила лицо, разрушила мочку и заставила меня только покачнуться и ухватиться ногой за яблоню. С радостной приятностью узнал я, что эта боль не страшна, что ее можно перенести, она не поколебала весь

организм, а от зубной боли все тело у меня свертывается в мучительный сгусток страдания, Еще я узнал в эту минуту, что последний миг пришел, что казак приближается ко мне, и пятая пуля будет окончательной. Пятая пуля вычеркнет меня из жизни – это я знал. Надо было, как говорят, взять в свои руки инициативу, надо было итти напролом. Надо было, и я взял, и я пошел.

Он почувствовал перемену, это видно было по его неповоротливым зрачкам, они впервые повернулись, быстро-быстро, туда и назад, и тревожно, как тревожные сигнальные огни. Я подошел к нему близко и поставил себя под взмах его сабли, как ставят чучело под удар новобранца. Он не схватился за ножны, а стал быстро заряжать наган. Я взял винтовку за ствол и косым ударом выбил у него из рук наган. Потом повторил удар, но не косой уже, а снизу вверх. Падая, он схватился за саблю, но было уже поздно. Его наган оказался в моих руках. Он поднялся и стал уходить, пятясь задом, как я двумя минутами раньше. Я шел за ним, как палач, со взведенным курком, палец мой неожиданно спокойно лег на собачку и не стрелял. В эту минуту я понял, что он в моих руках, что я могу убить, и медлил. Мне хотелось оттянуть эту минуту, я мечтал даже, сам не веря ни себе, ни мечтам своим, взять его в плен. Нет, неправда, был один миг, секунда, какая-то терция или часть терции, когда я верил не только своим мечтам, но и себе.

Я слышал, как охотник гонится за бобром. Он ходит за ним день и ночь, день и ночь, сначала легко ранив его. Бобер не может убежать, бобер чувствует свою смерть и сидит, сидит. А охотнику эта седина нужна, за нее хорошо платят.

Я стал этим охотником. Многие минуты я ходил за ним, и оба мы не говорили ни слова, только хрипели. Он – широко и зычно, яростно раздирая рот, я – узко и неполно, с полусомкнутыми губами. Наконец, он не выдержал и сердито крикнул:

– Ну, стреляй, сука. Стреляй...

– Успею, – не выдержал и я и продвинулся вперед на полшага левой ногой. Он тоже двинулся вперед, то есть назад, ведь наши лица были обращены друг к другу, и тоже на полшага, и тоже левой ногой. Мы пошли в ногу, словно обрели до сих пор неведанный ритм смерти, ритм убийства и ужаса.

Мы шли по вспаханному полю, дикие яблони остались позади, мягкая земля уплывала под моими ногами, будто вместо земли там колыхалось масло, не слышно было даже стука наших шагов. Мы шли, пока он не остановился.

– Мучитель, – захрипел он, – гад! Стреляй!

Я прострелил ему щеку, я целился в то же самое место, то есть в то место, которое было поражено у меня, в мочку левого уха, но попал ниже и окровавил ему щеку. И тут произошло следующее...

Так как я уже начал сравнивать этот кошмарный эпизод с охотничьим промыслом, то я расскажу еще про один странный обычай. Старые охотники говорят: – Не заключайте мировой с медведем, притворяющимся человеком. В самую последнюю минуту у медведя делаются жалобные, как у женщины, глаза, и охотник опускает ружье. Тогда медведь набрасывается на него и съедает.

– Иди, – сказал я казаку и сделал полшага правой ногой.

– Не пойду, – ответил он, но тоже сделал полшага правой ногой.

– Как тебя зовут? – спросил я, перегорая в собственной злобе, и голос мой ослабел.

– Афанасий, – ответил он.

– А по батюшке?

– Степан.

– Прости меня, Афанасий свет Степанович, – сказал я, – сейчас я тебя убью и виноват буду не я, а ты. Прощаешь?

– Прощаю, Мошка, – ответил он.

Он посмотрел на меня жалобными глазами женщины и сказал еще раз.

– Прощаю, Мошка.

Потом я увидел на его лице восхищенную улыбку и услышал роковые для меня слова:

– А ты не трус, Мошка. Тебя, жид, в офицеры произвести надо.

Сладость этого мгновения я не забуду никогда. Я получил признание из уст казака. Но казак лукавил, как медведь, и остальное я вспомнил уже через неделю, в госпитале, когда проснулся и увидел себя с перевязанной головой.

От сладкой его лести, от дивного сознания, что я не трус, дрогнула моя рука, дрогнул палец, сползший с курка, и не успел я опомниться снова, как сабля его сверкнула над моей головой и лишила меня сознания.

Полет за 15 рублей

– Скажите, пожалуйста, – медленно выговаривал Анатолий, делая паузу после каждого слова, – где вы получаете жалованье?

– На службе, – отвечал случайный собеседник.

– На службе, ага! – удовлетворенно повторял Анатолий, – а на какой службе?

– В синдикате.

– Ага, в синдикате, – повторял он еще с большим удовлетворением, – а в каком синдикате?

– Химсоль.

– Химсоль? А сколько, скажите, пожалуйста?

– Сто двадцать.

– Сто двадцать! И на пиво хватает?

– Хватает, – отвечал собеседник, садясь в автобус.

– Завидую, – махал рукой Анатолий и сворачивал на тротуар.

Сам он нигде и никогда не получал жалованья. До революции он учился в университете, потом года два получал паек. Когда же пайки отменили, оказался за бортом учреждения. Надо было спешно устраиваться, но он зазевался, так как делал все медленно, и никто о нем не заботился. Его неповоротливость и неуклюжесть были удивительны – он не был толст, наоборот, он был худ, очень худ, с ненормальным для тридцатилетнего мужчины весом. У него было такое узкое лицо, что в студенческом общежитии на Москалевке, где он жил у приятеля, его прозвали Махатма Ганди.

Весы на аэродроме показали два пуда тридцать фунтов.

– Вы без багажа? – удивился приемщик.

– Без ба-га-жа, – ответил Анатолий.

– Выгодный пассажир, – улыбнулся приемщик, – пройдите к вон той площадке, где бега.

– Против трибун? – задал ненужный вопрос Анатолий, так как другой площадки, кроме как против трибун, не было.

Приемщик прощально улыбнулся и, открыв дверцу автомобиля, впустил туда двух пассажиров и одного провожающего, заплативших по рублю за доставку к аэроплану. Анатолий пошел пешком. Богатые пассажиры приехали на пункт десятью минутами раньше его. Анатолий не спешил и даже остановился, чтоб закурить папиросу. Ему было приятно, что те ждут его, хотя они ждали вовсе не его, а отправки аэроплана. Против трибун стояла коричневая, цвета дамских перчаток, «Дорнье-Комета». Анатолий прочел сжатую надпись «аппарат NN» и увидел, как пилот поцеловал пассажирке ручку. Он стал думать (про него нельзя было сказать, что он подумал, сразу он не делал ничего), что извозчик не целует дамам ручки, а ведь пилот не более, как извозчик. «И шофер, – думал он через пять минут, – не целует дамам ручки. Но, пожалуй, лет двадцать назад, – закончил некоторое время спустя свою мысль

Анатолий, – когда автомобили были новинкой, шоферы тоже целовали ручки».

Аппарат NN был готов к отлету, Пилот сидел уже за рулем, механик, сидевший рядом с ним, безразлично смотрел на компас, стрелочник взмахнул флажком, захлопнул дверцу, – и мотор заработал.

Он не заметил, как аппарат отделился от земли. Он взглянул в окно, думая увидеть воздушный провал, но оказалось, что они все еще кружились по аэродрому. Взглянув во второй раз и надеясь увидеть то же самое, он испуганно и радостно удивился. Земли не было, вдалеке качались заводские трубы, и двести метров отделили аппарат от аэродрома.

– Когда же произошло «это», отделение от земли? – стал думать Анатолий и посмотрел на двух пассажиров, уверенный, что они про то же думают, но, посмотрев, понял, что они этого не думают. Ему казалось, что самое интересное в полете, это – отделение от земли, и вдруг – оно не замечается. Все равно, что пить непьяное вино.

И Анатолий ощупал свои карманы. В одном лежала банка с простоквашей, в другом – бутылка с сельтерской водой. Когда он думал о вине или спрашивал про пиво, он делал это неискренно. Вино ему пить не приходилось, а к пиву он чувствовал отвращение. Из жидких веществ он любил больше всего кефир, простоквашу и сельтерскую воду. Вчера, после того, как он загубил пятнадцать рублей на билет, он истратил еще полтинник на любимые напитки. Кроме них, у него был еще с собой старый фотографический аппарат, купленный за два рубля на аукционе. Его полет носил золотоискательский характер.

– Почему ты не снимаешь? – спросили его в общежитии, – за хороший снимок дают в журналах десять рублей.

Весь май он работал по погрузке угля для электрической станции. В начале июня ему уплатили сорок один рубль. «С этими деньгами, – решил он, – я должен начать какое-нибудь дело. Это необходимо».

Это было, действительно, необходимо, так как это был его единственный заработок за последние полгода. И вдруг он летит на эти деньги куда-то, в неизвестный ему город. Конечно, он может много на этом заработать, если сделает хотя бы десять снимков. А можно и двадцать сделать.

Аппарат заработал упорней и шибче. В кабину вошел механик. Взяв ладонями ухо Анатолия, он сказал ему, чтобы тот пересел. На его место он положил большой чемодан. Второго пассажира, молодого

немца с подробнейшей, навороченной на валик картой, механик посадил на правую сторону. Даму-пассажирку он перевел влево и ее спина оказалась впереди Анатолия. От нее пахло раствором духов, одеколona и ванили, как пахнет от женщин, которые душатся в меру и каждый день и которые опрыскивают не себя, но свои одежды.

Если бы Анатолий не купил свой фотографический аппарат, столь неуклюжий и огромный, что в нем можно было упрятать чайник, с трещиной на объективе и покоробленной крышкой, и если бы он был настоящим фотографом, фотографом-профессионалом, он знал бы, что нельзя сделать двадцать снимков, когда аппарат заряжен всего на шесть кассет, и пластинки повернуты внутрь своей матовой стороной. Кроме всего, он знал бы еще, что в воздухе вообще снимать нечего.

Анатолий знал, что аппарат делает 150 километров в час. Но он никак не мог заставить себя почувствовать быстроту. Словно это теплушечный вагон. Он глядел в окно – крылья не двигались, еле качались стальные брусья и медленно уплывала панорама. Только позже он увидел быстроту, когда мимо него примчался встречный аппарат из Ростова на Харьков.

Воздух был нагрет, слегка покачивало, и качка напоминала качели – вниз и вверх, вниз и вверх, легкое, приятное, как от сильной затяжки натошак, головокружение. Голова, видно, кружилась только у него, зеленого новичка. Остальные пассажиры не замечали качки. Немец не застегнулся даже поясом. Он открыл окно и нередко высовывал голову. Он повесил пиджак на крючок, вытянул ноги, и когда не глядел в окно, позевывал и посвистывал. Дама, толстоногая и большегрудая москвичка, полулежала. На коленях ее валялась шелковая сумка с серебряными краями. Она вытаскивала оттуда мятные леденцы и нехотя сосала их. За Змиевым она уснула. Немца тоже клонило ко сну. Он уснул под Изюмом.

До Славянска Анатолий ничего не снял. Завидев Святогорск и купальщиц на берегу, он поднял аппарат на руки и щелкнул, быстро высвободив правую руку. Потом он поставил аппарат на пол и стал думать о смерти и потерянных деньгах. В кармане у него лежал билет от станции Харьков до станции Артемовск-Бахмут. Он купил его случайно. Шел вчера по Сумской и заметил афишу Укрвоздухпути. Он читал ее долго, около часа, вода пальцем по воздушной карте и высчитывая километры. До Минеральных Вод полет стоил 35 рублей, до Ростова – 25. Блуждая пальцем по афише, он неожиданно наткнулся на Полтаву. Полет до Полтавы стоил десять рублей.

– Полечу, – сразу решил Анатолий.

Он решил на этот раз сразу потому, что, во-первых, можно было раздумать, а во-вторых, надо было произнести в уме только одно слово. Потом он стал думать, высчитывать, вздыхать и, наконец, махнул рукой – будь, что будет. Вечером у него лежал уже билет до Бахмута. В воздушном обществе сказали, что рейс на Полтаву отменен и убедили взять билет за 15 рублей до Бахмута. Билет очень хорошо подействовал на него. Не убогий осколок картона, какие выдаются на железной дороге, а пышный тройной лист, емкий и складочный.

– Нельзя курить, – крикнул со сна немец, когда Анатолий достал из кармана пачку папирос.

Дама завозилась в кресле, но глаз не открыла. Шелковая сумочка бесшумно скатилась на пол. Немец снова спал уже. Анатолий нагнулся было за сумкой, но раздумал и стал опять припоминать приготовления к полету.

На аэродром он пришел пешком. Было еще очень рано и он свернул с Москалевки на Екатеринославскую. Он никогда не замечал здесь такого количества кофеен и молочных. И всюду пьют сельтерскую воду, кефир, простоквашу. Как хороши эти напитки... Значит, тогда он не будет пить, как они, сельтерскую воду, кефир и простоквашу. И через час (почему через час?), когда он будет лежать где-то в поле с разбитым черепом, они будут как ни в чем не бывало пить сельтерскую воду, кефир, простоквашу.

«Но я лечу, и как чудесно летать!» – думал для других Анатолий.

«Полет так хорош, – продолжал он думать для других, – что мне жаль всех людей, которые еще не летали».

– Я думаю о них с высокомерием и грустью, – готовил он слова на завтра, когда он вернется в Харьков и станет рассказывать в общечитии, – я сейчас отношусь к ним, как к земноводным, как стопроцентный американец к зеленому пришельцу.

– Надо начать так... нет, не так, – и он вспомнил, как месяц тому назад погиб на харьковском аэродроме киноработник Марцелл. Он хорошо знал этого жизнерадостного вертуна, полнокровного, плотного, словоохотливого, вспомнил еще кровавую кашу на посмертном снимке и вздрогнул.

«Земля сверху очаровательна, – вот как надо начинать. – Горизонты открываются широчайшие, леса собраны в кучу, железная дорога похожа на игрушечную, и деревня кажется моделью. Даже заводы выглядят приземистыми, маленькими, нарочными. И все

необычайно спланировано, чисто, живописно». – Однако, гладко получается.

Он посмотрел, на землю, чтобы закрепить впечатления, чтоб составить еще несколько фраз, посмотрел так, как смотрит на сцену театральный рецензент.

– «Шахматные доски полей» – нет не годится. Про шахматные доски говорят, когда едут в поезде...

И Анатолий, сам не зная для чего, наступил ногой на сумку. Дама легко и не противно храпела. Немец то открывал, то закрывал глаза.

– Лиман, – услышал Анатолий сквозь шум громкий голос механика.

Дама была буржуазная, какая-то смесь выскочки-нэпачихи и старой буржуазии. Это достойно удивления. Он раньше думал, что летать должны женщины исключительно современные, шизоидные, то есть плоские, стриженные, гарсонистые, короткоюбочные, в вязаных костюмах и шелковых шляпах, наползающих на глаза и с жемчужной (можно поддельной) булавкой в виде эмблемы. Эта дама была сплошным противоречием. Круглая, с длинными и некрашеными волосами, в кофте, плотно обхватывавшей тело и точно корсет выпячивавшей грудь, в юбке на три вершка ниже колена и соломенной шляпе, покрытой блистающим лаком. Это была типичная старомодная москвичка, одна из тех, что боятся ездить по Военно-Грузинской дороге, которых тошнит в тихую погоду на море и в трамвай садятся с опаской. И вот такая дама обращается с аэропланом, как с извозчиком. Она почитала немного, пососала леденцов и спать. Немец тоже уснул, но это неудивительно, на то он и немец, чтобы демонстративно спать в воздухе. Впрочем, немец спал далеко не демонстративно. Он перестал открывать сонные глаза и спустил штору.

Она, пожалуй, богата. У мужа, провожавшего ее, был вид высококого специалиста, а то и подрядчика. Может быть, он один из тех пятнадцати нынешних русских миллионеров, о которых писали в газетах. Она летит в Минеральные Воды, оттуда едет в Кисловодск. Прощаясь, она сказала мужу, что пошлет ему две телеграммы, одну из Минеральных Вод, другую – из Кисловодска. У нее, вероятно, в сумке не меньше тысячи рублей. За тысячу рублей...

Анатолий не заметил, как он совсем перестал думать о смерти и простокваше, – все мысли его сошлись на шелковой сумке, лежавшей у его ног. Сумка была набита всякими вещами; пальцами ног он

нащупал зеркальце, пудреницу, жестяную коробочку с леденцами и много разных бумажек. Он перевернул левой ногой сумку и нащупал в углу сумки маленький кошелек. Что-то четырехугольное, оттопыривающееся и с кнопкой посредине. Да, это кошелек. Он здорово набит, если это только десятирублевые банкноты, то и то там не меньше пятидесяти штук – пятьсот рублей!

В Бахмуте аппарат стоит три минуты. Он слышал, что там аэродрома нет, и машина спускается на поле, против вокзала. Ему сказали, что вокзал тут же, несколько десятков шагов. Если она даже проснетса на остановке, то может не заметить пропажу сумки.

– О нет, мой друг, cher enfant, – сказал себе мысленно Анатолий, – она заметит. Это бе-зу-слов-но.

Надо вынуть кошелек и положить ей сумку на колени. Если она заметит через три минуты, уже будет поздно. Аэроплан не извозчик. Сразу его не остановишь. А если и через минуту – он будет на вокзале. Ему представилось, что на вокзале можно хорошо спрятаться, он вообразил себе на миг шахты, которые начинаются тут же, за вокзалом, и в эти шахты он сейчас же спустится на вагонетке. Ведь это Донбасс!

Нет, шахты далеко, пожалуй, они ведь не в самом городе и на вагонетке не спускаются, на ней уголь возят. Три месяца, если не шесть, если не год. Ну, какой там год, – год не дадут за такую кражу, тем более что это первая его судимость.

И Анатолий провел рукой по губам, точно боялся, что они сами собой скажут слово «кража». Неожиданно ему очень, до боли захотелось произнести вслух «кража». «Ну, я тихо скажу, – решил он, – по частям скажу». И шопотом пробормотал три слова «кр», «а» и «жа». После этого он почувствовал необходимость еще раз сказать это слово полностью и громче. «Ну, через “фа” скажу», – решил он опять и быстро, чего с ним никогда не бывало, выпалил «крафажафа».

– Досадно, что нельзя курить, – сказал он громко, стараясь прекратить шумное жужжание мотора и посмотрел на своих соседей. Оба крепко спали. У немца был спокойный и музыкальный сон, он дышал диафрагмой, как на кровати или во время гимнастики, даме мешал свет, неравномерно поднималась грудь, она досадливо жмурила лицо, пряча его от скупых лучей солнца, проникавших в кабину.

Анатолий достал сельтерскую воду. Он долго откупоривал пробку, потом залпом выпил и, приоткрыв окошко, выбросил бутылку.

Круглый ветер (нельзя было понять северный он или южный, западный или восточный, он дул отовсюду) рванул посуду и растворил ее в воздухе.

Анатолий достал простоквашу и, проткнув пальцем бумагу, стал высасывать из банки сгустки пахнувшей погребом простокваши. Кислое молоко освежило рот, как освежает его зубная паста.

Делая вид, что он все еще ест простоквашу, – банка была давно пуста, – он несколько раз нагнулся и на пятый или шестой раз поднял с пола сумку и, бросив к себе на стул, сел на нее, не расставаясь с банкой, он положил сумку на прежнее место и через минуту снова поднял ее.

– Ты вино пей, а не простоквашу, тогда смелее будешь, – сказал механик и дернул его за ухо, как школьника.

Анатолий вздрогнул. Он опять сбросил сумку на пол, схватился за ухо и оглянулся. Пассажиры попрежнему спали. Механик сидел рядом с пилотом, спиной к пассажирам и ничего не говорил.

«Неужели померещилось? – испугался Анатолий, делая, как Лев Толстой, ударение на «у».

Мотор стал затихать. Трубы Бахмута были совсем близко. Через минуту «Дорнье-Комета» кружилась уже над городом.

– Надо сейчас, – решил он сразу, – иначе будет поздно. – И три раза нагнувшись, схватил сумку, двумя пальцами достал оттуда кошелек, впихнул его в фотографический аппарат и бросил сумку к ногам пассажира. Город сверху показался интересным, похожим на крепость. Он нашел глазами вокзал, увидел круглые площадки с выполотой в виде прямых и острых углов травой и огромное белое полотно, прибитое к невысоким кольям. В отличие от подъема Анатолий чувствительно и резко ощутил спуск. На живот легла тяжесть, точно он съел очень много черного хлеба и вареной картошки. Ноги ослабели.

Поднявшись с места, он невольно выглянул в окно и удивился. Колеса стояли на месте, то-есть они двигались вместе с аэропланом, но не вращались, а он был убежден, что колеса в воздухе вертятся. Да, спуск давал себя чувствовать. Машина круто врезалась в землю, слегка подпрыгнув и помчалась по полю. Анатолий быстро и неожиданно для самого себя поставил на левую руку, навел на даму объектив и щелкнул.

Немец проснулся и почесал затылок. Он снял с крючка свой пиджак и стал лениво натягивать на себя. Дама сделала ворчливую гримасу и повернулась на другой бок.

Ее разбудили, чтобы проверить билет. Человек с авиационным значком в петлице пропустил вперед Анатолия.

– Город направо, – сказал он, вежливо улыбаясь, – вы уж пешком пройдитеесь, у нас аэродрома нету. Да тут недалеко.

Но Анатолий видел, что до вокзала далеко, не менее версты. Он пошел сперва быстро, потом замедлил ход.

Колючие гарбузики впивались ему в башмаки, пыльный дерн царапал и пачкал штаны. Он снял шапку и вытер рукавом пот. На земле было очень жарко.

– Извините, ради бога, – услышал он за собой голос контролера, – можно вас на минуточку.

– Некогда, – выпалил в один прием Анатолий, нажал кнопку аппарата и, вытащив из-за пружины кошелек, бросил через голову на землю. Потом он пустился бегом. Вокруг никого не было.

– Держите! – крикнул контролер.

– Вора держите! – услышал Анатолий несколько голосов. От испуга он упал на траву. Его подняли и упирающегося, запыленного и усеянного гарбузиками потащили к аэроплану.

– Интересный номер, – сказал механик, довольнo улыбаясь пассажирке.

– Сволочь! Хитрованец! – кричала дама, бросаясь на Анатолия.

Пилот держал ее за руки.

– Успокойтесь, Анна Васильевна, ради бога успокойтесь! – просил пилот.

«Вот почему он целовал ей ручки, – думал Анатолий, – она его знакомая».

Все, кроме Анатолия, стали говорить сразу, что это интересный случай – первый воздушный вор. Это можно пропечатать в газетах.

– Однако, пора, – поторопил пилот, – десять минут стоим здесь. Отвезем его в Ростов. Там час стоянка, успеем составить протокол.

– И сдать его на поруки, – закончил, усмехаясь, механик.

– Вам придется поехать с нами, – сказал пилот, обращаясь к контролеру.

Тот весело потер руки.

– С удовольствием, – сказал он и нырнул в кабину.

Все были уверены, особенно пилот, что они везут в Ростов очень интересного преступника, знаменитого рецидивиста, которого там сейчас же опознают. И ужасно было их разочарование, когда они узнали потом, что это совсем случайный человек, безработный из

студентов, и кража в воздухе – его первая судимость. Пилот был огорчен более всех. Ему обидно стало за себя, за свою коричневую «Дорнье-Комету», за пятьсот метров высоты. А первый воздушный вор, Анатолий Шинкарев, просидел в ростовском допре шесть недель и потом вернулся в Харьков, на Москалевку, в студенческое общежитие. Часто, когда в обществе заходил разговор о полетах, он рассказывал свои впечатления, как он летал из Харькова до Бахмута. Про дорогу от Бахмута до Ростова он не говорил. В ней не было ничего любопытного. До Бахмута он видел леса, реки, лиманы, города, деревни, хутора, а от Бахмута только свирепое лицо пассажирки, счастливые губы контролера и смеющиеся глаза немца.

Семен Техт

Рассказы

1923 – 1939

Случайная жертва (из ангорских воспоминаний)

В одном из грязных переулков грязной Галаты есть грязный кабачок. В стенах этого кабачка собирается веселая компания. Эта веселая компания – штаб заговорщиков и среди них я. Я покинул тихий хутор в двадцати пяти километрах от Назарета, я оставил неразрешенным вопрос о планомерной сушке фиников и об увеличении рогатого скота. Я окунулся весь в организацию повстанческого движения. Только недавно перебрался я в Константинополь, а уже приходится временно перекочевать в Египет, так как местная полиция ищет нас, не зная нас.

Сидели мы на днях в угловой комнате нашего кабачка и вели спешную беседу. Чтобы не подать какого-либо виду, мы расплескали английские виски по скатерти, накидали пробок и расположив на самом видном месте тонкие палочки гашиша, мы время от времени отламывали их, якобы набивая им трубки. Но головы наши были трезвы, хотя сердца были разгорячены и слова были, как угли.

Икая, как пьяница, и ругаясь, как галатский забулдыга, я читал прокламацию, составленную мною на турецком языке.

Мои товарищи хихикали и взвизгивали, передергиваясь от смеха, и посетители оглядывали нас, как заядлых циников и безнадежных прощелыг. Для нас не осталось незаметным, как в комнату вошел продолговатый субъект в изношенной английской куртке и, усевшись за соседний с нами столик, потребовал дешевого пива и засушенных сосисок.

Мы учуяли мигом, что это английская ищейка. Продолжая поглядывать в клочок бумаги, лежавший передо мной, я стал напевать похабную солдатскую песенку, популярную в рядах колониальных солдат.

Он пытливо, но искоса оглядывал нас, внимательно настрожив уши и стараясь показать, что он действительно пьет то отвратительное пиво, которое он требовал бутылка за бутылкой, посвистывая в такт моей песенке.

Это продолжалось очень долго. Все посетители разошлись, и в кабачке остались только мы. В гавани тоскливо визжали пароходные гудки, где-то раздавались полицейские свистки и громко и непрестанно лаяли собаки и собачонки, шнырявшие из угла в угол по грязненным и вонючим переулкам обширной Галаты.

Хозяин кабачка, бежавший с Афрона монах, по происхождению мещанин города Козлова Тамбовской губернии, стал нас поторапливать. Он не успел выйти, как долговязый сыщик очутился рядом с нами и, вытянувшись во весь рост, устремил на нас поблескивающий браунинг.

Мы не испугались, как он этого ожидал, не оцепенели, и только застыли в напряженном обдумывании предстоящих действий. Я знал, что браунинг его заряжен и что палец его спокойно лег на холодную собачку, и если рука его дрогнет, то раздастся выстрел. Но в нашем движении, которое, по существу своему, дело риска, нельзя не рисковать и рисковать приходится каждую минуту.

Не думая долго, я хлопнул кулаком по браунингу. Он выскочил из его рук.

Раздался слабый звук револьверного выстрела и пуля, ударившись о плотный досчатый пол, отскочила и легла безвредно в огромном глиняном газоне, обсыпанном землей, из которого торчал вьющийся кактус. Дальнейшее происходило с кинематографической быстротой. Мы понимали друг друга без слов. Скрутив ему руки, мы разодрали скатерть и перевязали их. В рот ему мы воткнули платок и перетянули ему челюсть так, как перетягивают бешеной собаке. Мы затащили перепуганного насмерть монаха, заставили его спустить шторы и замкнуть все двери. Мы вытаскали из-под обширной стойки большой кованный сундук, окрашенный в зеленый цвет, и впихнули туда упиравшегося и бесновавшегося, но беспомощного сыщика.

– Что с ним делать? – спросил Ибн-Сехаки, но так как он был арабом, он не любил думать. Араб любит действовать.

– Да, что с ним делать? – повторил Касьян Семали, который был турком, и мог загораться как кремь, из которого высекают искры, но тоже не любивший холодного расчета, – пусть говорит европеец, – добавил Касьян и взглянул на Секахи.

– Да, пусть говорит европеец, – сказал Сехаки и взглянул на меня.

Я уже привык к этому. Мне всегда в подобных случаях приходилось быть головой.

– Его нужно прикончить, – сказал я. – Но не сейчас, – спохватился я, когда заметил, что в руке Касьяна зашевелился английский браунинг, принадлежавший ищейке, – не сейчас и не здесь. Мы подождем до утра. А утром мы вынесем его за Глухие ворота, в предместье. Мне там знаком один овраг. Туда мы его опустим и закопаем. В сундук мы набрасаем бутылок, пусть они стучат и звенят, и полиция будет думать, что это вино. Тем более, что за нами будет следовать хозяин кабака, которого здесь все хорошо знают.

Монах задрожал, замигал и затрепыхался.

– Тем более, что за нами будет следовать кабатчик, – повторил я. В руках Касьяна зашевелился браунинг и монах смиренно потупил глаза.

Дождаться рассвета пришлось недолго. А так как нас, без хозяина, было пять человек, то работа так же не заставила себя ожидать. Когда пять человек берутся за дело, любо смотреть. Приоткрыв сундук, мы набросали кучу бутылок, несколько разбили, расплескали вино по дну и плотно закрыли его.

Четыре человека подставили свои плечи и взвалили на себя тяжеловесный и режущий кожу сундук, и среди этих четверых был я. А пятый, Касьян Семали, взял под руку монаха и последовал за нами.

Мы полосовали улицы, а Касьян и монах отчаянно ругали нас за то, что мы разбили посуду и разлили вино.

Из Галаты в предместье ведет длинный мост. У моста дежурит удвоенная стража. Это место было самым опасным для нас. Мы неуклюже затормошили сундук. Раздался звон стекла и послышалось плесканье вина. Касьян ткнул монаха в бок.

– Эй, вы олухи, – закричал монах, – вы мне все бутылки разобьете. Я вам ничего не заплачу. Не умеешь – не берись. Каждая сволочь лезет тяжести таскать.

Мы виновато склонили головы. Стража покатывалась от хохота.

Мы уже почти окончили счет цепным столбам моста, мы уже должны были ступить на немощеную мостовую загаженного квартала предместья, как пронесся заглушенный крик и послышался слабый стук.

Ищейке удалось выплюнуть платок изо рта и освободить руки. Я оглянулся. Стража гналась за нами.

– Бросай! – крикнул я.

И, пригнув головы, мы ловким движением смахнули с себя сундук через невысокие перила моста в воду.

И бросились бежать.

Мы слышали, как зашумела вода.

Как защелкали легкие затворы винчестеров.

Как раздался ряд выстрелов.

И сейчас же за этим кто-то из нас шлепнул о землю.

Это был монах, который не пытался бежать и который был продырявлен несколькими пулями.

Мир праху твоему, честный мещанин города Козлова губернии Тамбовской, павший случайной жертвой освободительного движения.

С того момента прошло уже двое суток. Полиция ищет нас, не зная нас.

И в то время, когда предместье объявлено на военном положении и интернациональные ищейки шныряют по всему Константинополю, мы сидим в том же кабачке, где имеется уже другой хозяин и читаем в газете о загадочном убийстве сыщика, утопленного в заливе, о застигнутом на месте преступления монахе и о злоумышленниках, успевших скрыться.

Сидя здесь, мы кидаем жребий, кому остаться, чтобы поддерживать тайную связь с нами, так как мы сегодня ночью перекочевываем в Египет.

Имя женщины

Хуже нет караульной службы. В холодную ночь, когда страхи ходят, ноги стынут и спать хочется – похаживай и жди рассвета. Незавидная это доля.

Я голодал уже два года. В городе никто ничего не делал, и работы не было никакой. Я был вынужден покинуть его и наняться караульщиком к болгарину-огороднику. Весна в этом году была ранняя, в марте земля распухла зеленью. Уже по косым участкам тянулись бороны, из-под оттаявшей земли пробивался молодой щавель.

От окраины до лимана взлегли песчаные холмы. Они топорщились буграми, их темная поверхность походила на кожу прокаженного. По склонам этих холмов расположились хутора, когда-то гремевшие довольством. Невиданная засуха сожгла их урожай и сделала их нищими.

Жители воровали друг у друга лошадиные потроха, ребуху считали роскошью, выклянчивали у болгар макуху, ловили кошек и собак.

Многие из них перекочевали в сытую Подолию, другие просились к болгарам в батраки. Но те брали их неохотно, предпочитая дальних. Наш огород огорожен не был. Неудивительно, что с появлением весны возникла щавелевая опасность.

Вечера были холодные. Закутываясь в полушубок и перекинув через плечо винтовку, я выходил на вал, примыкавший к огородам, и усаживался под акацией. Посижу немного, отсчитаю нараспев три тысячи шестьсот секунд и поплетусь вязнуть в рыхлых бороздах, потом снова назад и опять за счет.

Под валом текли зловонные ручейки, город перекачивал к нам свою нечисть по трубам, она спускалась по деревянным желобам, жирно унавоживая грядки. Корчась от холода и морщась от вони, я коротал мучительное время, ожидая блаженного рассвета. Услыхав шорох,

я вскакивал в тревоге, но всегда попадался мне либо еж, пыхтевший как паровоз, либо случайный заяц, торопливо глодавший кислую зелень.

Впрочем, винтовки были у нас, казенных караульчиков, аховые и носили мы их только для важности. Дуло обыкновенно было заткнуто шомполом, а для того чтобы открыть ржавый и прелый затвор, надо было долго колотить по нему каблуком сапога.

Участок, остерегаемый мной, тянулся на двенадцать десятин. Время от времени приходилось его обходить, спотыкаясь о грядки, путаясь в межах и увязая в бороздах.

В одну из таких ночей, когда луна совсем не появляется на небе и нельзя отличить пня от человека, сидел я по обыкновению на каменной глыбе под сухой и голой акацией. Всю ночь меня сбивали с толку ежи, мои уши гудели болью. С дежурной тоской поглядывая на звезды я пытался узнать по ним: который час? Еще петухов не слышно, петухи начинают визжать в два часа ночи, задолго до рассвета. Значит, нет еще двух, значит, вся ночь еще впереди – о тоска!

Одинокому любо думать о женщине. В холодную ночь, когда стынут ноги и страхи ходят вокруг, хочется тишайшей ласки, сердце скатывается галушкой, в горле застревают песни. Кстати, для меня все песни одинаковы. В Бессарабии я слышал «Дойну», в Мемеле – «Ольде Мари», в Можайске – «Златые горы» – все они казались мне перепелом, раненым на суку; березой, сгорающей в пламени; стаканом, брошенным о землю.

В эту ночь я думал о Лиде, Лидии Полесской, случайной девушке, которую я встретил в городе Киеве на Лютеранской улице, утыканной плоскими и глазастыми небоскребами. Меня познакомил с нею ее отец, седовласый приват-доцент, знавший меня студентом. Наши всегдашние встречи были скучны и нелепы. Я целовал ее руку и гремел каблуками. Она кашляла и улыбалась.

Я думал тогда о ней с молодым задором, с хвастовством безусого скептика. Помню, я говорил тогда приятелю:

– Понимаешь, она некрасива. Она не отвечает требованиям красоты на все сто процентов. Ноги толстые, руки длинные, глазами косит, голос хриплый...

– Но?

– Но неотразима. Понимаешь – неотразима!

Потом я понял, что этим «но» была величавая ласка, пронизывающая ее глаза, неопишуемая ласка, от которой сердце сворачивалось галушкой.

Каждый человек бывает однажды в фокусе. Фокусом моей молодой жизни был жестокий, пыльный июльский день. Гористая Лютеранская

улица убегала от нас кирпичными зданиями и фруктовыми садами. Я был одет, как экстерн, она была накрашена, как трагическая актриса. Торговки подсолнухами тыкали в нас пальцами – торговки не любят капризных мезальянсов. В тот день я вспомнил слова восточной песни. Любовь, – говорит она, – идет странными путями, путями стихии. Она подобна косуле, прыгающей по откосам; дельфину, шагающему через собственную голову. Тот день запечатал благоуханным клеймом все дыры в моей душе, я не забуду его никогда, потому что согласием совершенства оглушил меня тогда бешеный аромат июля.

В эту глухую мартовскую ночь я думал о Лидии Полесской. Я выписывал шомполом ее имя на пашне и твердил его без конца, как сладкий урок.

Но часы уходят, а петухи не поют – ба, легки на помине! На хуторе прокричал первый петух, ему с быстротой стихии ответили все остальные, и петушиным визгом ночь была перерезана пополам.

– Ну, теперь дело идет к концу, – сказал я, вздохнул и насторожился. Явственно слышались легкие человеческие шаги.

Я начал пытливо вглядываться в темень. Ничего разобрать не мог. Я двинулся вперед. Шаги затихли. Я остановился и услышал стук падающего тела.

– Чорт! – прошептал я, покрываясь потом.

Я не сомневался в том, что кто-то спрятался под валом. Задержал дыхание и, напрягаясь до боли, чтобы казаться спокойным, я крикнул:

– Кто там?

Ответом мне была звенящая тишина. Я крикнул снова:

– Кто тут, отвечайте!

Могила. Густая тьма легла на глаза повязкой. Я протянул руку и не увидел собственной руки – последнее дело. Вдруг я услышал мелкий кашель. Я закачался.

– Чорт знает что такое!

Медленно и бесшумно я стал пробиваться к перекрестному валу, стараясь не помять молодого щавеля. На повороте я пошатнулся и вздрогнул. Кто-то схватил меня за ногу. Я рванулся назад, но чья-то рука потянула меня к себе и я, растянувшись, лег ничком на склоне канавы.

Падая, я цепко держал винтовку. Ее холодная сталь сладко успокаивала меня. Я ожидал удара, возни, ничего не понимая в происходящем. Но этого не последовало.

Я вскочил и кинулся бежать вперед. Вор убегал, спотыкаясь и падая. Это место было ему мало знакомо. Я кинулся по прямой линии за ним, он еще больше ускорил бег.

Его шаги отдалялись, расстояние между нами становилось длиннее. Я схватил затвор, попробовал провернуть – безнадежно. Я стукнул сапогом – ни с места. Затвор был испорчен.

Винтовку я держал все время на прицеле. Машинально я ухватился за курок и ахнул.

Острый огонь брызнул в глаза, полый стук грохнул о темень. Винтовка неожиданно выстрелила. Запахло тяжелой гарью – выстрел чуть не разорвал ствол.

В ту же минуту я услышал легкий, нежный женский стон. Я побежал туда. Должно быть, мгла рассеивалась понемногу, так как я ясно видел перед собой женщину, немолодую, тяжелую, толстую. Пуля задела ее плечо. Она упала на грядку и кровавая лента зигзагом оросила щавель. На ней было платье, шитое из мешка и вязаная косынка пепельного цвета. По всем признакам – воровка.

Она тихо стонала. Я пронзительно свистнул. Ответа не последовало. Я свистнул еще раз. На хуторе ответили мне троекратным сигналом. Это означало, что старик-болгарин одевается и спешит навстречу.

Я склонился над женщиной. Она делала губами какие-то движения. – Лидия Полесская, – сказала она медленным голосом.

Я отшатнулся, ошеломленный. Моему изумлению не было предела.

– Лидия Полесская, Лида, – повторила женщина и взглянула на меня в упор.

– Ты ее знаешь? – спросил я, дрожа.

– Да, – ответила она, не отворачивая глаз.

– Где ты ... где вы видели ее?

Она молчала. Два длинных свистка и один короткий пронзили воздух. Болгарин не находил пути. Я ответил одним отрывистым. Женщина еще больше открыла глаза и прошептала:

– Она просила передать тебе...

Внезапная боль исказила ее лицо. Она сложила его в мелкие морщинки и закрыла глаза. Но мне казалось, что она видит меня с закрытыми глазами.

Я объяснил болгарину, в чем дело, мы взвалили женщину на плечи и понесли в хату. Ее тяжелая голова лежала на моем левом плече. Ее кровь испачкала мне щеку.

– Как вас зовут? – спросил я.

Она молчала.

– Вы говорите неправду, – сказал я мягко, – где вы видели ее?

Она открыла глаза, прищурила их и еле протянула:

– Лида просила передать тебе... А-ах! А-а!

Она резко взвизгнула. Боль подтачивала ее сознание. Я слушал, улыбаясь и не веря. Думать не хотелось, да я и не мог. Мысли сбивались в кучу, сталкиваясь и перескакивая друг через друга. Каменистые ухабы и фруктовые сады Лютеранской улицы магнием вспыхивали в моей голове. Величавая ласка косых глаз заливала все голубым фосфорическим светом.

Хорошо было в холодную ночь мечтать о женщине, о возлюбленной, о Лидии Полесской, Лиде.

В хате мы перевязали женщине плечо. Рана оказалась пустяковой, пуля внутрь не пошла, коснувшись слегка. Хозяин мой, хлопотавший вокруг нее, все же глядел на нее с нескрываемым презрением.

– Чужое добро впрок не пойдет, – шептал он, – воровка!

– Она не может быть воровкой! – остановил я его, – эта женщина не воровка! Я уверен, что она вовсе не воровка.

Когда она уснула, мы отправились в поле посмотреть. Борозды были исковерканы, грядки истоптаны, и щавель был выщипан в огромном количестве.

– Нну-с, – сказал болгарин.

Я был раздавлен. Эта женщина – воровка. Но откуда... боже мой, откуда она знает Лидию Полесскую?

Мы вернулись в хату и я продежурил у постели раненой остаток ночи.

2

Я ходил к ней в больницу ежедневно. Но всегда мне мешали врачи и сиделки. Глазами я просил ее рассказать, она притворялась непонимающей и была нема, как рыба. И только через две недели я застал ее, наконец, одну.

– Расскажите мне о Лиде, – сказал я шепотом и покраснел.

Женщина улыбнулась.

– Я прошу вас. Я умоляю. Вы обязаны.

– Да не знаю я твоей Лиды, – ответила она вдруг, – и чего ты пристал, как банный лист?

– Вы лжете! – вскричал я, – ты лжешь, дура!

– Знать не знаю и знать не желаю, – ответила женщина озлобленно, – со своей кралей к чужим пристаёт, тоже молодчик нашелся.

– Но откуда же вы узнали, что Лидия Полесская... вообще... что Лидя...

– Но ты же сам ходил как дурак, по полю и как молитву читал: Лидия Полесская, да Лидия Полесская, тьфу, слушать тошно было. Вспоминать противно.

– Значит, вы этим покупали мою милость?

– А ты как думал.

Я выбежал из палаты пунцовый, как закат.

Пятница

Вспомнил я равви Акиву случайно.

Возвращался я на той неделе, в пятницу утром, из общественной школы. Как вам известно, у главного уполномоченного Кожтреста, Сендера Квак, – дочь на выданье. Об этом я слышал от него не однажды, но в этот вечер Сендер взял меня под руку и сказал:

– Ицхок-Лейб, ради нашей старой дружбы, пойдем со мной. Мы подпишем с тобой договор.

– Какой договор, дорогой Квак?

– Я жертвую свиток Торы для ремесленной синагоги и прошу тебя написать его в шесть недель. Я хотел еще переговорить с тобой в понедельник, но раздумал начинать в плохой день.

Потом он усмехнулся и спросил:

– Идет?

– Идет, – сказал я и сейчас же спохватился: – Постой, Квак, какой у нас сегодня день?

Он рассмеялся и покачал головой:

– Ты возвращаешься из общественной школы и не знаешь, какой день? Что это с тобой, Ицхок-Лейб?

Тогда я вспомнил о пятнице и сказал ему:

– Нет, Сендер, сегодня я никаких сделок не заключаю. Для тебя понедельник плох, а для меня пятница горчицы горше.

И мне пришла на память короткая зимняя пятница прошлого года, когда большое несчастье обрушилось на наш милосердный Хмельник.

Об этой истории узнал тогда главный уполномоченный Кожтреста, Сендер Квак, и эту самую историю вы услышите от меня сейчас.

– Равви Акива был человеком необыкновенным. Напрасно вы морщитесь – я не собираюсь рассказывать вам легенды. Но скажите на милость – разве не от вас мне приходится слышать каждый день о ваших чудотворцах. Вот уже несколько лет, как от вас только и слышно: Ленин, Ленин и Ленин. Вы говорите: один на сотни миллионов. Но разве у него рога на голове или, извините, сияние на затылке? У него такая же лысина, как у бывшего земского начальника, такие же кривые глаза, как у богатого огородника, и такой же живот, как у учителя гимназии. Вы говорите: а внутри-то что у него творится. Ум-то какой, душа-то какая! Напрасно вы кипятитесь –

я с вами согласен. Вместе с вами я не верю в чудеса, но равви Акива был человеком необыкновенным и ученым, каких мало.

Казалось бы, если еврей горбат и сед, чем же он может отличаться от других евреев.

Но равви Акиву можно было узнать с другого берега Буга в весеннее половодье. Причина: он был разноцветным и похож на потускневшую радугу. Судите сами: белый китель, лаковые калоши, синие чулки, седая голова и желтая борода.

Дом для равви Акивы строили плотники из Проскурова: одиннадцать комнат, не считая кухни и амбара. Равви жил в них с женой Малкой и сыном Михоэлем. И еще были с ними одиннадцать слуг по числу комнат.

В то утро, когда убили полицмейстера и в водосточную трубу на крыше земской управы воткнули струганую палку, обтянутую шелком, равви Акива говорил так:

– Мы видим мертвое тело и бледнеем, мы слышим безумные крики и дрожим. Работа нарушена, и отдых помрачен.

День перестал быть днем и ночь отказалась быть ночью. Я вижу кровь над ковчегом и рубцы на скрижалях. Но я говорю вам – дети мои, и это к лучшему.

Вот его слова, сказанные осенним полуднем на рыночной площади, потемневшей от желтых польских солдат в зеленых шинелях.

– Каждый благочестивый человек, укладываясь спать, вручает душу свою богу. Подымаясь на заре, он благодарит его за ее возвращение установленной молитвой. Новые времена сулят нам новые испытания. Выходя из дому, мы думаем: несчастье подстерегает нас за углом; возвращаясь домой, тревожимся: смерть ждет нас на дверях.

– Но тот, кто убоится холодного ножа или горячей пули, собаки гаже и плоть его псам на потребу.

Уходили годы – над восточной трубой менялись шелка, но жизнь в доме равви Акивы не изменилась. Так думал равви:

– Спокойствие и благодать в моем доме: Михоэль идет по моей стезе. Он не ходит никуда и не читает газет, и не садится без шапки за обеденный стол.

Говорят: один раз свойственно ошибаться праведникам. И равви Акива познал горечь обмана. Так начиналась короткая зимняя пятница.

Старая Малка раскатывала тесто и растирала мак. Десять слуг окружили чугунную дверь в передней и вели спор: что значит 180? Ибо в имени «Ленин» было 180 единиц. Одиннадцатый слуга стоял на дверях у равви и пропускал бедняков – в утренние часы равви принимал

просителей. Их было много и жалобы их были велики, но ответы равви были короче времени. Прошел час и комната была пуста.

– Все? – спросил равви и услышал крики.

– Женщина, – ответил слуга из передней и захлопнул дверь. Акива слышал, как он отмахивался от кого-то и говорил шепотом:

– Нельзя, женщина. Равви Акива женщин не принимает. – Она не уходила.

Равви постучал палкой о пол и сказал:

– Уойна,пусти.

Потом он поднял голову – у женщины был распахнут теплый халат и спущена кофта. Он увидел ее сосцы и отвел глаза.

– Запахни халат, дитя.

Она застонала, как ревнующий голубь, и слезы ее закапали на новый ковер из красного бархата.

– Так капает воск от свечи на изголовье мертвеца, – подумал равви и спросил:

– Имя твое, дитя?

– Нехама, – ответила она и плечи ее заходили.

– Кто твой отец?

– Иццок-Лейб из Литина.

– Сойфер?

– Да, – ответила она и сжала ресницы.

Может быть, ей в ту минуту стало стыдно за своего отца, может быть, она вспомнила его лицо в морщинах и голову в серебре.

Равви встал и прошелся по комнате. Он почувствовал, что недобрые вести ползут в его дом.

Он посмотрел ей в глаза:

– Дитя, я видел твои сосцы. Ты – женщина? – И не дождавшись ответа, он спросил еще:

– Но ты явилась ко мне с расплетенной косой и распущенными волосами, ты пришла ко мне без косынки. Ты – девственница?

Но слезы девушки были горше ответа:

– Кто же твой муж, Нехама?

Если каждое слово смерти подобно, губы не шевелятся. Акива понял:

– Назови срамное имя недостойного пса, обманувшего тебя.

И равви задумался.

Над земской управой флаги менялись часто. В те дни в городе были красные. Каменный замок убитого пана Ксило Владовского был занят круглыми сибирскими солдатами и проскуровской молодежью в

кожаных куртках и больших папах из кошачьей шерсти. Эти не признавали закона и таскали с собой пятикнижие на гнусную потребу. Если это один из них сотворил глумление над девушкой, то... Но равви понял, что не может этого быть – если бы это был один из тех, эта женщина не пришла бы к нему.

– Кто же он? – спросил Акива. – Твой... я знаю его?

– Да, – ответила Нехама, ибо слез у нее больше не было и губы открылись для речи.

Акива достал из кармана красный платок. В печную трубу задувал ветер, но у него лоб был в поту.

– Женщина, скажи мне его имя. Запахни халат.

Тогда она встала и, хрипя, прошептала.

– Михоэль.

Он услышал, но показалось ему, что ничего не сказала женщина, и он подошел к ней.

– Повтори.

Он услышал то же самое, и лицо его стало, как субботняя скатерть, закапанная воском.

В эту минуту равви Акива уже не был похож на потускневшую радугу. Он был весь желтым.

Казалось даже, что его белый китель и отливавшие лаком галоши пожелтели тоже.

– Женщина, – закричал равви, но голос его был слаб, – скажи мне имя его отца.

И так как она молчала, он повторил и голос его был еще слабее:

– Я понимаю твоё молчание, женщина, но я должен услышать это от тебя.

– Это твой сын, равви.

На ресницах ее опять повисли слезы, и она перестала говорить.

Тогда Акива постучал палкой о пол, но стук был слаб и слуга не вошел. Он бросил ее к дверям, и перепуганный слуга показался на пороге.

– Позови Михоэля, – сказал равви и возвысил голос, когда увидел, что Нехама собиралась уходить. – Сядь, я хочу, чтобы он видел тебя.

Одиннадцать слуг шептались в передней. Молодой Михоэль был на кухне и говорил с матерью, раскатывавшей тесто и растиравшей мак. Он прошел сквозь десять комнат и не видел стен. В одиннадцатой он поднял глаза и покачнулся. Но лицо его стало не желтым, как у отца, а синим и теплым.

– Михоэль, – закричал равви, но сам не услышал своего голоса. Потом он повалился на стол и соскользнул на пол. Падал он медленно,

как подсекаемое дерево. Нехама выбежала на улицу с распахнутым халатом и распущенными волосами.

Равви Акива лежал десять минут, и дыхание его стало хриплым. Михоэль закричал, как женщина.

Сколько суеты было в доме, когда весь город узнал об этом, рассказывать не стоит. Но когда пришел доктор и сказал, что равви осталось жить десять часов, суета сменилась тревогой и народ решил спешно созвать совет.

– Равви не должен умирать, – сказал старший габай, и все с ним согласились.

– Равви должен жить, и мы дадим ему жизнь. Мы пойдем по еврейским домам. Пусть каждый оторвет от своей жизни часть для равви.

И на этот раз все с ним согласились.

Три габая главной синагоги, старший, помощник его и младший, взяли с собой счетоводную книгу, стальное перо и складную чернильницу и пошли из дома в дом. Говорят люди: больше всех любят жизнь старики и калеки. Вспоминаешь прежние времена – спокойствие и сытость. Дана тебе, человеку, жизнь – радуйся и веселись.

Но бывало, когда умирал великий человек, не проходило часа, как десятки лет были собраны на одной улице. Люди дарили месяцы и годы так же легко, как нищему ломоть хлеба. В те же дни, когда не было дома без потери и семьи без жертвы, люди хотели жить и жажда к этой жизни была у них буйная.

Едва только замечали на улице трех габаев из главной синагоги, как во всех домах замыкались двери и захлопывались ставни. Но старший габай сказал:

– Святая обязанность возложена на нас.

И они находили людей в амбарах и на задворках. Тупое отчаяние было в глазах у хозяев. Скупость их была безмерна и подаяния – жалки.

– Эля, – сказал старший габай своему помощнику, – подведи итог. Скоро вечер, и придется идти назад.

– Четыре дня, – ответил помощник, и они переглянулись. – Что делать?

Но младший габай указал им на дом Иццок-Лейба, литинского софера.

– В этом доме двери не заколочены и окна не задернуты занавесями. Здесь есть милосердие.

И они вошли. Но, кроме девушки и старухи-матери, в доме не было никого.

– Девушка, – спросил старший габай, – где твой отец?

– Он уехал в Проскуров.

Потом она сказала:

– Отец повелел мне говорить за него с домохозяевами. Что вам нужно?

– Девушка, – обратился к ней старший габай, – равви Акива умирает. Вот наш список. Мы зываем к твоему милосердно...

Он хотел еще говорить, но она поняла.

– Господа, – сказала она. – Я...

Они отвели глаза, потому что она разодрала на себе кофту.

– Господа, – сказала девушка. – Я отдаю всю свою жизнь.

Видя, что они молчат, она возвысила голос.

– Она не нужна мне. Но вам-то ведь все равно. Запишите сто один год – мне всего девятнадцать лет.

– Евреи, – закричал старший габай, – в этом доме обитает горе.

Но младший габай схватил его за рукав, и слова его были, как ледяные глыбы.

– В этом доме есть милосердие. Будь благословенна, женщина.

И он сделал росчерк в книге и захлопнул ее.

В наши дни никто не верит в чудеса. Наше поколение говорит – нет чудес и убеждает нас в том, что когда евреи проходили через Чермное море, был большой отлив. Случай создает молву о чуде. Пусть так. Значит, в ту пятницу суждено было быть неожиданной случайности. К вечеру равви встал, как будто бы ничего и не было.

Голова его была свежа и шаг спокоен.

Старая Малка перестала раскатывать тесто и растирать мак – она обтянула голову шелковой косынкой и зажгла субботние свечи.

Равви Акива пошел в синагогу. Десять слуг ступали впереди. Одиннадцатый слуга вел равви под руку.

Было на улице светло – от выпавшего снега, молодой луны и ясных мыслей в голове.

И все видели равви Акиву, и каждый думал о себе: «Я исполнил свой долг. Я сделал все, что мог».

И все радовались, ибо равви был опять похож на потускневшую радугу.

Равви шел в синагогу, и шаг его был спокоен.

Но в переулке, где баня, он услышал женский плач и остановился. Он прижался к стене и послал слугу.

– Уойна, пойди узнай – в чьем доме плачут над изголовьем мертвеца. – Ибо он знал, что так плачут только по усопшим.

Уойна не возвращался десять минут, и равви понял, что не освящать ему эту субботу в синагоге.

Когда же он пришел, и на лице его была тревога, равви уже не сомневался в том, что быть большому несчастью.

– Равви, – сказал Уойна, – умерла девушка, отдавшая тебе свою жизнь. И он закусил зубами бороду, ибо спохватился – он сказал то, что говорить не надо было.

– Имя этой девушки? – закричал Акива.

Уойна молчал.

Акива ударил его по руке и захрипел.

– Имя этой девушки, Уойна?

– Нехама, дочь Ицхок-Лейба, сойфера из Литина.

Равви неслышно упал в снег.

Последние слова его были:

– Господи, за что? Ты продлил мне жизнь за грех моего сына. Она не нужна мне.

Теперь вы понимаете, почему пятница для меня горчицы горше.

В этот зимний день прошлого года милосердный Хмельник потерял своего равви, а я – свою дочь.

Обо всем я узнал у Уойны неделю спустя, когда я вернулся из Прокурова.

Вы не удивлены, и я вижу по вам, что вы успели догадаться, кто был Ицхок-Лейба, сойфер из Литина.

Соня Тулупник

I

Яков Моисеевич Тулупник жил за городом в поселке Самопомощь, в прекрасном каменном коттедже с широким балконом и узкими окнами, занавешенными лимонно-желтыми японскими циновками. Улица, где стоял коттедж, называлась Каштановой, она была вся усыпана гравием, а тротуары – вымощены мозаичным камнем. У подворотен дремали сторожа, в крашенных конурах лежали, вытянув морды, рыжие овчарки. Редкие прохожие видели только кухни, они были доступны глазу, можно было любоваться белыми фартуками и кружевными чепчиками горничных, медным блеском тазов и молочной белизной кафельных плит. Из-за японских циновок можно было также услышать звуки рояля. В каждом доме играл рояль. В доме Тулупника клавиши перебирала его дочь Соня.

Когда мне было пятнадцать лет, в Петербурге убили Распутина. Я работал тогда в экспедиции одной крупной либеральной газеты. Она приносила большой доход. В городе любили острые статьи

известного социал-демократа Якова Тулупника. Дивиденды получали семь акционеров. Одним из них была известная певица Иза Кремер, жадная и злая женщина. Я очень любил Тулупника и всегда вертелся около него. Он был секретарем редакции. Мы все его любили, нас было двадцать подростков-фальцовщиков.

На другой день после убийства Распутина я попался на глаза Тулупнику.

– Мальчик, – сказал Яков Моисеевич, – Сбегай на телеграф с этой штукой и подожди ответа.

Он дал мне такую телеграмму. «Петроград, Хенскому. Шлите большие информации убийстве старца».

Я ждал ответа на телеграфе. Через два часа мне протянули бланк. «Тело извлечено проруби вблизи Охты», – читал я, полный гордости.

Я почувствовал себя вовлеченным в большие события. Когда Тулупник, ознакомившись с телеграммой, сел писать статью, я заглядывал к нему в окно. Посредине работы он вышел в библиотеку, где достал том энциклопедии. Он внимательно читал и, уходя, оставил том открытым. Я проследил его мысль.

«Сто третья статья, – гласило место, которое читал Тулупник, – предусматривает оскорбление имени его императорского величества...»

Как приятен воздух больших событий! Все читали статьи Якова Тулупника, и газета приносила большой доход, но она, жаловались акционеры, могла давать еще больше. Газета не выходила по понедельникам, а каждый понедельник – жаловались акционеры – похищал у них пять тысяч рублей. И я не знал, и не знал мой товарищ Макс Скотобойня, и не знали остальные восемнадцать фальцовщиков, что на банкете, устроенном хозяевами для рабочих, был и Яков Тулупник. На этом банкете взрослые рабочие пропили свой выходной день. Хозяева запросто пили с ними водку, седьмой акционер Иза Кремер пела для них итальянские песенки. Нас не позвали.

– Вы получите прибавку, – обещал нам один акционер на ходу, – с ближайшей получки каждому будет начисляться пять лишних рублей.

Но пришло жалованье, и мы не увидели прибавки. И мы подумали, что нам отдадут в следующий раз. Через две недели нам опять выдали прежнее жалованье. И еще прошел месяц, и мы все возроптали.

– Пойдем к Тулупнику, – сказал Макс Скотобойня.

Мы отправились в кабинет к нашему социал-демократу. Он произнес:

– Да, это с их стороны нехорошо. Вы должны протестовать.

Мы вернулись к нашим товарищам и сообщили, что сам Тулупник советует протестовать; мы собрались вечером на квартире у Макса

Скотобойни и решили устроить забастовку. Ночью никто из нас не пришел на работу. Пароходы ушли без газет, и поезда ушли без газет, и подписчики напрасно ждали почтальонов. Какой переполох поднялся среди акционеров! От старших рабочих мы узнали, что днем будет экстренное совещание и Яков Тулупник там будет. Мы его подкараулили.

– Яков Моисеевич, – сказал Макс Скотобойня, – мы вас послушались.

– Что такое? – удивился Тулупник. – Вы меня послушались? А разве я мог вам посоветовать? Вы причинили обществу большой убыток.

Он увидел наши испуганные лица и сказал:

– Ничего, ребята, вы не беспокойтесь, я за вас похлопочу.

На совещании было решено выкинуть нас всех вон и никого не принимать, даже на прежнее жалованье, и поставить у ворот экспедиции городских, а Иза Кремер кричала:

– Мы возьмем других и будем платить им вместо пятнадцати рублей двадцать пять, но эти негодяи будут наказаны!

И нас вышвырнули вон, и пришли штрейкбрехеры, и им назначили по двенадцать рублей, и у ворот экспедиции стояли городовые, и отец Макса Скотобойни, ночной сторож, избил своего сына до полусмерти. Но мы пошли с Максом – нас избрали делегатами – к Якову Тулупнику домой. Под ногами рассыпался гравий, вся улица была в каштанах, звучали рояли:

– Ой, – воскликнул Макс, – играют Ойру!

– Дурак, – сказал я Макс, – это не Ойра, это Шопен.

Мы увидели чепчики и фартуки, и чистоту кафлей, и блеск меди.

– Снимайте калоши, – сказала горничная.

У нас не было калош, и мы долго топтались на половичке. На кухню выбежала дочь Тулупника, Соня. Макс думал, что он влюбился в нее раньше меня, я же потерял голову еще тогда, когда она играла за циновками Шопена, которого глупый Макс принял за Ойру.

– Вы к папе? – спросила она. – Он занят. Посидите пока у меня.

Мы пошли за ней и в первый раз в жизни увидели чехлы на креслах, подсвечники на рояле, ковры на полу и золотые рамы на стенах. Она предложила нам по бутерброду с ветчиной, но мы помнили, что мы делегаты, и отказались от бутербродов и от кофе, и от яичницы, и от редиски с маслом.

– Какие странные мальчики, – сказала Соня и ласково попросила:

– Скажите мне, какое у вас дело к папе?

Макс Скотобойня рассказал все по порядку.

– Это ужасно, – воскликнула Соня, – какие плохие люди! А я думала, что Иза Кремер добрый человек. Фу, какая жадюга!

– Мы остались без работы, – сказал Макс, – он нам сам обещал.

– Ничего, – успокоила нас Соня, – папа все сделает. Папа социалист.

Она произнесла это с гордостью. Потом она раскрыла большой альбом и показала один снимок. Там был изображен бородатый человек в арестантском халате.

– Это папа, – сказала Соня, – он написал статью против самого царя и сидел полгода в тюрьме.

Нас позвали к Тулупнику. Он сидел в кожаном кресле, над его головой висели портреты Герцена, Чернышевского, Маркса и Каутского. Его комната представляла собой четыре книжных шкафа. Любитель книг, я заходил глазами по корешкам. Тут были Туган-Барановский, Бернштейн, Либкнехт, Лафарг. Некоторых я знал. Я знал Маркса, Энгельса, Каутского, Дарвина, Блосса, Плеханова. На столе лежали иностранные газеты. Их поля были запачканы красным карандашом. Всюду стояли длинные вопросительные знаки.

– Ах, ребятаки, – сказал Тулупник, – что вы наделали! Вы знаете, я хлопотал за вас, но они не хотят. Они сказали, что если бы вы не забастовали, они бы дали вам вдвое больше. Все акционеры возмутились вашим недоверием.

– Что же делать, Яков Моисеевич?

– Вы думаете, – сказал он, – что наши конкуренты не воспользовались вашей забастовкой? Мне сегодня сообщили, что контрагенты из Николаева сократили свои заявки наполовину.

– Яков Моисеевич, что же нам все-таки делать?

– Ребятаки, – сказал Тулупник, – вы должны проситься назад без прибавки. Этим вы заслужите расположение акционеров. А я обещаю вам все устроить. Хорошо, ребятаки?

– Нет, – сказал Макс Скотобойня, – без прибавки мы назад не вернемся.

– Но вас же никто не просит, – удивленно воскликнул Тулупник, – это же неравный бой, у вас нет никаких шансов!

– Мы рассчитываем на вашу помощь, Яков Моисеевич, – сказал Макс Скотобойня,

– На мою помощь, – скорбно засмеялся Тулупник, – на мою помощь! Что я могу сделать со своими двумя десятками акций против шестисот штук господина Полякова? Что я могу сделать?!

А мы не знали с Максом, что он тоже был акционером общества.

– Разве они меня послушаются? – продолжал Тулупник. – Разве я могу им приказать?

– Но вы же социал-демократ, – сказал Макс Скотобойня.

– Что ж из этого?

– Мы думали, что вы за рабочих.

– Что такое?! – вскричал Тулупник. – Что вы сказали, молодой человек? Вы намерены мне грубить? Я попрошу вас отвечать за свои слова.

– Вы покидаете нас в трудную минуту нашей жизни, – сказал Макс Скотобойня.

– Я не могу рисковать своим общественным положением ради каких-то мальчуганов. Почему старшие не забастовали? Почему?

– Они получили прибавку, Яков Моисеевич.

– Ребятки, – сказал Тулупник ласково, – вы меня немножко расстроили. Я вам еще раз предлагаю, проситесь назад без прибавки, потом все успокоится, господин Поляков уедет за границу, вы и прибавку получите.

– Нас уже один раз обманули, – сказал Макс Скотобойня.

– Ну, знайте, ребятки, – развел руками Тулупник, – я вас в последний раз спрашиваю: вы будете проситься назад без прибавки?

– Нет, – ответили мы оба.

– Нет? – повторил Тулупник.

– Нет, – еще раз ответили мы с Максом.

– Ну, тогда я вам ничем помочь не могу, – сердито сказал Тулупник и достал с полки одну из толстых книг.

Это был Маркс. Яков Моисеевич уселся в кресло, раскрыл книгу и стал читать Маркса. Мы с Максом в отчаянии посмотрели вокруг. Восемнадцать фальцовщиков ждали нас на Каштановой улице. В эту минуту открылась дверь и вошла Соня.

– Папа, – сказала она, – я все слышала.

– И что же? – сердито спросил, не отрываясь от Маркса, Тулупник.

– Неужели ты не можешь помочь бедным мальчишкам?

– Они не такие уж бедные, – ответил Тулупник, – у них, должно быть, есть деньги.

– Есть, – сказал Макс Скотобойня, – двадцать два миллиона с полтинником, только миллионы, Яков Моисеевич, мы проиграли в очко, а полтинник есть. Вот он! Извиняюсь, нету.

– Уходите, мальчики, – проворчал Тулупник, – мне нужно заниматься.

– Попрошу прощения за нахальство, – сказал Макс Скотобойня, показывая на том Маркса, – там про рабочих ничего не сказано?

На столе Тулупника зашевелился телефон. Он медленно протянул руку и склонил к трубке голову.

– Откуда? – заговорил он. – Из редакции? А, из редакции! А, Михальчук. Неужели? В самом деле? Не может быть! Дума? Ну, что дума! Говори скорее, Михальчук! Не может быть! Решила не расхотиться? Говори скорее, Михальчук!

Он бросил трубку и побежал одеваться.

– Соня, – воскликнул он, целуя ее на ходу, – великие события! Сегодня исторический день. Соня, ты ничего не понимаешь, Соня!

Он убежал, весь сияя от радости.

– Мальчики, – сказала Соня, – пойдете ко мне.

И мы снова очутились в комнате с чехлами и подсвечниками.

– Вы должны позавтракать, мальчики.

– Мы не будем завтракать, – ответил Макс Скотобойня.

– Но почему? Разве вы не голодны?

– Мы, да, голодны, – ответил Макс, – но мы не можем у вас кушать, потому что мы делегаты.

– Жалко, – сказала Соня. – Знаете, мальчики, я недовольна своим отцом. Папа неправильно с вами поступил. Я ему устрою скандал.

– Устройте, барышня, – попросил Макс Скотобойня, – совсем неважный отец.

Соня испуганно на него посмотрела.

– Я бы хотела вам помочь, – сказала она, – я вам дам денег.

– Нет, мы денег не возьмем.

– Что же вы возьмете?

– Мы ничего не возьмем. Мы делегаты.

– Какая досада, – сказала с огорчением Соня, – значит я ничего не могу для вас сделать.

– Эх, барышня, все равно пропадать, – сказал Макс Скотобойня, – сыграйте нам пожалуйста Ойру.

Соня села за рояль и исполнила его просьбу. На этот раз это была настоящая Ойра, а не Шопен.

II

Счастливой оказалась наша забастовка! Мы устроили ее за несколько дней до февральской революции. Разумеется, нас всех приняли обратно в экспедицию и вернули украденную прибавку. Тулупник сидел с утра до вечера в своем кабинете и писал статьи. Он писал еще воззвания и тезисы докладов, на всех афишах я читал его фамилию, он выступал

на собраниях партии, в войсках, в университете, в доках, на заводах и фабриках. В первые дни его встречали с восторгом: народ видел в его лице революцию, и все его речи начинались с тюремных воспоминаний. К нам в экспедицию он ни разу не зашел, но как-то встретил меня на дворе и сильно потряс мою руку.

– Поздравляю, – сказал он, – поздравляю вас с победой!

Признаюсь, я был растроган. Но когда началось разложение армии и солдаты побежали с фронтов, слава Тулупника стала меркнуть. Его шумно встречали, но молча провожали. Еще не остыло упоение крахом самодержавия, и когда он начинал с воспоминаний о тюрьмах, о Распутине, о бездарных министрах правительств Горемыкина и Штюрмера, рабочие и солдаты слушали его с горячими и растрепанными в своей радости лицами. Но к концу речи возникала знаменитая формула этих слишком известных нам вестингаузов революции.

– Рабочие – к станкам, солдаты – в окопы! – вещала формула.

И всегда наступало молчание, полное тревоги. За молчанием следовали насмешки, злобные выпады. Тулупник кричал о германском шпионе Ленине, о гибели России, и его с негодованием выпроваживали, так что круг его слушателей суживался и в казармы он более не решался заглядывать, и на фабрики стал ходить все реже и реже, а со временем его рабочая аудитория свелась к одной нашей типографии. Наши наборщики были меньшевиками. Призыв в армию им не угрожал, они считались работающими на оборону, кроме того, наши наборщики думали, что они носители культуры в рабочей среде, и с ужасом смотрели на своих братьев, видя в них могильщиков революции. А Тулупник кричал на собраниях, когда его прогоняли:

– Ладно, я не боюсь царских жандармов, не убоюсь и вас!

Однако, он боялся. Увидев разгоряченные лица, он сейчас же выкрикивал свою заученную фразу, и это происходило раньше, чем появлялась в ней надобность.

Мы стали встречать на своем дворе Соню Тулупник. Отец мало бывал дома, и она приносила ему пакеты с закуской. Макс Скотобойня брал мою руку и махал ею из окна.

– Здравствуйте, мальчики, – говорила Соня. Однажды она пришла к нам в гости. Ей очень понравилась наша работа, как мы фальцовали и вязали пачки, как становились коленом на тюки и туго скручивали узлы, как сшивали мешки и лихо взваливали их на холку. Она пробовала делать нашу работу своими белыми ручками.

– Я хочу к вам поступить, – сказала она.

Макс Скотобойня очень просил ее об этом. Она будет клеить адреса и резать шпагат.

Он еще сказал кое-что про ее отца, но она обиделась.

– Вы моего папу не трогайте, – сказала Соня, – он отдает все силы революции.

– А что толку? – ответил Макс. – Пускай он сам идет на позиции, а я не пойду.

– Вы разве не хотите на фронт? – ужаснулась Соня.

– Нет, гражданин, представьте себе!

– Но ведь немцы убьют революцию. Вы не хотите защищать революцию?

– Не революцию, а Изу Кремер, – сказав Макс, – пусть Пушкин защищает вашу Изочку, а я не хочу.

– Вы большевик, Макс? – спросила Соня.

– Все рабочие – большевики, – ответил Макс.

– Рабочие не понимают, что они делают, – сказала Соня. – А почему Ленин приехал в запломбированном вагоне?

И она ушла, недовольная нашим разговором. Вскоре у нее забрали коттедж. Первая советская власть нашего города превратила поселок Самопомощь в Детский городок. Коттедж Тулупника отвели под школу. Соне предложили быть в этой школе учительницей музыки. Комиссаром города был рабочий доков Слободзюк. Соня согласилась. У нее начались ссоры с отцом.

– Соня, – ужасался он, – ты пошла на работу к этим бандитам! Моя дочь связалась с уголовным элементом!

– Папа, – ответила Соня, – Слободзюк вовсе не похож на бандита. Он так заботится о детях!

– Твой Слободзюк – вор! – вскричал Тулупник.

– Но ты же сам знаешь, что он рабочий с доков! Зачем ты говоришь неправду?

– Твой Слободзюк – вор и провокатор! – продолжал Тулупник.

Она видела, что он не терпит никаких возражений.

Иногда ему хотелось проклясть дочь, но это было неудобное время для проклятий. Как учительнице музыки, ей отвели комнату в их бывшем доме, и он жил у нее. Тулупник ничего не делал. Газету закрыли, и мы фальцевали уже «Известия Губисполкома». Он целый день бегал по комнате и ругал большевиков. Дочь возвращалась домой усталая.

– Моя дочь, – встречал ее Тулупник, – работает под начальством хама!

– Папа, ты так говоришь о рабочих!

– Под начальством неграмотного хама! – кричал Тулупник.

– Папа, во-первых, он грамотный, потом он все время читает и учится. Он даже берет у меня уроки музыки.

– Хам учится музыке! – не унимался Тулупник. – А за титьки он еще тебя не хватал?

В своей ярости он неслыханно огрубел. Куда исчезли его идеалы! Соне иногда казалась, что их забрали у него вместе с домом на Каштановой улице.

– Цвет революции, – вскричал он однажды, – цвет революции растоптан солдафонскими подошвами! Какой-то Бронштейн и Нахамкес...

– Папа, – прервала его Соня, – антисемитизм явно тебе не к лицу.

– Ничего, скоро придут немцы. Они им покажут, что такое свобода.

Макс Скотобойня записался в Красную гвардию. Он ночевал в казармах Кадетского корпуса, рядом с поселком Самопомощь. Он зашел в один вечер к Соне Тулупник и заговорил с ней о политике.

– Почему у вас так беспокойно? – пожаловалась ему Соня. – Почему бы не помириться с другими социалистами?

– С вашим папашей? – сказал Макс. – Чтобы помириться с вашим папашей, надо отдать господину Полякову его акции, а помещикам землю. Наши рабочие этого немножко не хотят.

По городу ходили бандиты. Ночью слышались жалобные возгласы прохожих. С них снимали пальто. Красная гвардия устроила облаву на воров. Их окружили в театре, куда они проникли, чтобы увезти на грузовике всю вешалку. Бандиты пустили в ход пулеметы. Красногвардейцы расстреляли все свои патроны. Трупы бандитов покрыли всю площадь у театра. В этом бою пало много красногвардейцев. Бандитские пулеметы скосили и Макса Скотобойню.

На другой день состоялись похороны. Я зашел за Соней Тулупник. Она шла за процессией и рыдала, и пела с нами революционные песни. Прохожие, знавшие Тулупника, удивлялись, встречая в большевистской процессии его дочь. Они не простили ей этого потом, когда немцы действительно вступили в город и большевики ушли в подполье. Как часто устраивались тогда балы! Но ее не звали ни в один дом, где немецкие лейтенанты танцовали танго и вальс. Яков Моисеевич был к своей дочери милосерд. Он сказал:

– Глупая романтика! Девочка образумилась.

Он получил назад свой дом на Каштановой улице, но дети испортили все циновки, оборвали чехлы и прожгли ковер. Прежнего благополучия уже в коттедже не было. Снова стала выходить газета «Эхо

юга», и в ней Тулупник ругал большевиков. Однажды он даже выступил против немецкого начальства, против самого фон-Бельца, разогнавшего профессиональные союзы. Его вызвали к генералу.

– Вы автор этой статьи? – спросил фон-Бельц.

Еще ночью Тулупник обдумал весь свой будущий разговор и отвечал точно, не позволяя себе запинаться.

– Я, – сказал Тулупник.

– Вы осуждаете действия германского командования?

– В то время, когда представитель беззакония и анархии, – сказал Тулупник, – кровавый чекист Бек живет свободно под эгидой германского командования на правах советского консула, вы применяете репрессии против законных представителей свободной России...

– Вы свободны, – сказал генерал.

Газету «Эхо юга» закрыли. Тулупник стал ходить по приемным германского командования. Однажды фон-Бельц встретился у банкира Эфрусси с господином Поляковым, главным акционером газеты. Поляков сам попросил фон-Бельца.

– Согласен, – сказал генерал, – только уберите этого петуха.

И «Эхо юга» стало выходить без статей Тулупника. Когда же немцы подарили украинскому населению гетмана, Тулупник закричал на Соню:

– Девчонка, что я говорил, девчонка! Кто утверждал, что большевики приведут Россию к монархии?

Соня молчала. Манифест гетмана, где никому неизвестный офицер объявлял себя самодержцем всея Украины, на нее очень тяжело подействовал. Ей казалось, что революция кончилась и большевики, давшие немцам возможность сожрать Россию, – не более как прекрасные неудачники.

– Твои большевики! – ворчал целые дни отец.

Соня поступила в университет, на медицинское отделение. Она отдала свое время учению. Так продолжалось два месяца. Через два месяца немцы очистили город. По их следам пришли французы. Их воззвания ничем не отличались от немецких, только вместо подписи генерала фон-Бельца стояла фамилия генерала д'Ансельма. Вот когда Тулупник ожил! Читатели потребовали от газеты возвращения Тулупника, и гражданин Поляков, всегда презиравший этого худого и черного человечка с его двадцатью жалкими акциями, вынужден был согласиться.

В кабинете социал-демократа сидел сионист Александр Канторович. Он писал изо дня в день статьи о декларации Бальфура.

«Наша великая союзница Англия...» – начинал он почти все свои статьи.

Тулупник занял свой прежний стол. Он перешел на военные обзоры. Красная армия была в ста верстах от города.

«Пьяные банды большевиков...» – писал Тулупник.

Красная армия подошла к городу еще на пятьдесят верст.

«Пьяные банды большевиков...» – писал Тулупник.

Добровольцы ходили по городу, распевая царский гимн. Однажды они ворвались в меньшевистский клуб и разогнали собрание, избивая бегущих. Тогда меньшевики нашего города вынесли свое знаменитое постановление о моральной поддержке Красной армии. Это постановление было вынесено в стенах редакции. Яков Тулупник воздержался от голосования. Он сказал:

– Разумеется, я против черной реакции монархической армии добровольцев. Но, как социал-демократ, я не могу поддерживать людей, опозоривших знамя социализма.

Во время заседания вбежал бледный Канторович.

– Граждане, – крикнул он, – французы покидают город! Большевики у заставы. Поляков уже на пароходе, и Иза Кремер на пароходе. Они заплатили по сорок тысяч долларов.

Все сотрудники бросились к телефонам и стали звонить знакомым генералам и писарям из французского штаба. Никто в штабе не подходил к аппарату. Пока они звонили, в комнату вбежал социал-демократ Никитин.

– Граждане, – крикнул он, – большевики вошли в город, – они на нашей улице! Я сам видел красноармейцев в шлемах.

И после тревожного молчания Никитин сказал:

– Граждане, нам надо сейчас решить вопрос о признании советской власти. Кто имеет слово?

– Я, – отозвался Тулупник.

Он вышел на середину комнаты и сказал:

– Граждане, я предлагаю следующий выход: я предлагаю, – он показал на окно, – поскольку советская власть на улице, признать ее де-факто.

И все подняли руки. Все же Тулупнику удалось бежать. Признав советскую власть, он помчался на извозчике домой и погрузил на него все ценные вещи.

– Садись, – крикнул он Соне, – садись, будет погром!

Он примчался в порт ко второму гудку французского торгового парохода. Повар забрал у него все ценности и устроил для Тулупника

и его дочери место в трюме. Они пролежали на ящике с галетами всю дорогу до Константинополя. А через месяц стало в нашем городе известно, что обедневший Тулупник перебрался в Ревель, где поступил учителем русской словесности в еврейскую гимназию.

III

Со времени неудачной экспедиции дирижабля «Италия» на северный полюс ледоколы стали в нашей стране очень известны. Не только Союз советов, весь мир знает о полярном походе Красина, спасшем жертв катастрофы. Но немногие слышали о прекрасном ледоколе «Ленин», участнике карских экспедиций, вожде зимней навигации по льдам Финского залива. Ледокол назывался раньше «Александр Невский». Он снабжен двумя машинами, его винты сделаны из никелевой стали, он обошелся в три миллиона рублей, строился в Англии и был закончен в 1918 году. Англичане забрали его себе и пустили в плаванье как торговое судно. Но потом Красин, не ледокол, а человек, Леонид Борисович Красин, добился возвращения советам ледокола. Все это я узнал из судового альбома, когда находился на «Ленине» в навигационную зимнюю кампанию 1924 года. И, скажу кстати, наше путешествие тоже богато было приключениями. Чего стоит, например, столкновение парохода с извозчиком! Обоз ехал по льду из Кронштадта в Ораниенбаум. Навстречу им шел, подминая под себя лед, – «Ленин». Извозчики торопились скорей проскочить, им грозила двухчасовая стоянка, пока мороз не стянет разрушенный нами лед. Ледокол приближался, а они проскакивали мимо нашего носа, то есть мимо носа нашего корабля, и один из них задел кузовом форштевень. Еще мы встречали финские рыбачьи деревушки на льду, суойкинских спиртовозов, беглецов в белых балахонах и тюленей, выползших на лед. Но самым значительным было происшествие у маяка Кокшар. В торосах лежал эстонский аэроплан, он был совершенно новый, испортился маслопровод. Люди, летевшие из Таллина в Гельсингфорс, испугались бурана и ушли. Их следы вели к Кокшарскому маяку. Кокшар – в семи милях от Нарген а Нарген находится на траверсе Таллина, столицы Эстонии.

Мы не успели подойти к аэроплану, как радист прибежал к капитану с радиограммой из Таллина:

«Возьмите на борт наш аэроплан и доставьте в Таллин. Акционерное общество Аэронавт».

Капитан высчитал, сколько мы прожжем лишнего угля, и ответил:

– Хорошо. Уплатите семнадцать тысяч эстонских марок или тысячу рублей.

Эстонцы начали торговаться по радио, но торгуясь, очень просили доставить аэроплан. Мы спустили трап, и я слез с тремя механиками на лед, мы отцепили крылья, и лебедка подняла самолет на нашу палубу. Так мы въехали в желтые льды Сурожского залива. Хозяйева Аэронавта пришли нас благодарить, они заплатили деньги, правда, кое-что утаив, и ледокол остановился в Таллине грузить уголь.

«Таллин, – подумал я, – Таллин – столица Эстонской республики, а прежде уездный город Российской империи – Ревель! Здесь живет со своим отцом Соня Тулупник. Неужели я не встречу ее в этой тихой столице с населением, равным по количеству Подольску или Коломне?»

Я встретил ее раньше, чем ожидал. Она стояла в попорченной меховой шубе и вязаной шапке у самых сходен нашего корабля. Увидев меня, она пораженно отпрянула и стала уходить, поднимаясь к бульвару. Она уходила и оглядывалась, уходила и оглядывалась, и когда я, наконец, ее окликнул, она радостно ко мне приблизилась.

Я спросил:

– Почему вы от меня убегаете, Соня?

Она ответила:

– Я очень хотела с вами поговорить, но боялась за вас. Ведь мы эмигранты.

Она собиралась ко мне подойти, когда команда ледокола потеряет меня из виду.

– Как вы попали в Ревель?

– Отвезли аэроплан и зашли за углем. Но вы-то как попали на пристань?

– Я выхожу встречать каждый советский пароход, – ответила Соня, – тут многие ходят. Вы не заметили, там на пристани было очень много русских. Но они ходят из любопытства.

Я предложил ей зайти в кафе. Она повела меня на Нарвскую улицу. Мы сели в автокарету, бегущую по рельсам. Она доставила нас в ресторан «Олимпия». Там было полно народу и шумно. Звучала русская речь, разносили пиво и сосиски, оркестр играл «Аллилуйю».

– Я хожу туда не из любопытства, – сказала Соня, – мне очень хочется домой. Я несколько раз была у советского посла, он любезно со мной разговаривал, но визы не дает. Все из-за отца...

– Почему вы живете вместе с отцом? Вы уже не девочка.

– Не хватает мужества расстаться. Я его совсем не уважаю, особенно теперь... Голубчик, похлопочите за меня в советском посольстве. Расскажите им о тех годах, о моих взглядах. О Максе Скотобойне...

– Еще раз «Аллилуйю!» – закричали в публике.

– Если бы Макс Скотобойня был здесь, – грустно сказала Соня, – он заказал бы Ойру.

– Что с вашим отцом?

Я узнал, что Яков Тулупник не сдал ни одной позиции. От него трудно добиться, чего он хочет, но целые дни он кричит о том, чего не хочет. Он не хочет советской власти, не хочет этого «искаженного» социализма, он говорит, говорит...

– Боже мой, сколько он говорит! Здесь есть еще несколько меньшевиков и эсеров, они собираются в русском клубе, там бывают и бывшие кадеты, те упрекают их, а они кадетов, что каждая сторона проморгала Россию. Он со всеми поссорился, он шлет письма в Москву к бывшим друзьям, но не получает ответа. «Мои товарищи по партии, – кричит он, – расстреляны большевиками». А сам знает, что они живы.

Когда Ленин объявил нэп, Тулупник оживился в последний раз.

– Я еду в Россию, – кричал он в клубе, – сначала они проведут нашу политику, потом позовут нас.

Он перестал читать книги, опустил плечи, его надо силой гнать в баню. Нервный тик трясет его лицо, когда он начинает говорить о политике. Его уволили из гимназии, так как он пугал своим видом детей.

– Он живет на мой заработок, – сказала Соня.

– Уроки музыки?

– Да. Я еле собираю пятьсот марок в месяц. Это рублей тридцать, тридцать пять. Слушайте, вы можете подумать, что я из-за этого прошусь в Советскую Россию? Ради бога, не думайте так. Или вам кажется, что я сентиментальная барышня? Каштановая улица, коттедж, степи, море – и я мечтаю снова это увидеть? Ерунда! Я хочу жить настоящим. Они ведь собираются и говорят только о том, что было. Я чувствую себя с ними старухой. Недавно пришла одна толстая еврейка в бриллиантах, она задумала пригласить меня тапершей на именины, ну, я, конечно, отказалась, и она разговорилась с отцом, что евреи напрасно роптали и что бог их за это наказал и что при Николае было лучше, и отец до того дошел, что с ней соглашался. Она сказала ему: «Сознайтесь, господин Тулупник, вы тоже виноваты. Все социалисты виноваты». Тогда с отцом случилась истерика, и он выгнал ее вон. А через несколько дней он опять соглашался с этой спекулянткой.

Тулупник давно мечтает поехать в Берлин, но у него нет денег. Он посылал туда письма, но ему не выслали ни копейки. В Берлине, надеется Тулупник, он сам еще станет видной политической фигурой.

Еще есть страны, где народ прислушивается к голосу социал-демократов. Нет, берлинский рабочий не позволит закабалить себя кучке узурпаторов.

– Ну, как вы проводите свой день в России? Вы живете в Москве? Только не рассказывайте, пожалуйста, чем вы питаетесь. Вы знаете, когда к нам приезжает кто-нибудь – из Советской России, его все спрашивают, что он там ел. Начнем с утра. Ну, вот вы встали...

– Ну, вот я встал, – ответил я со смехом, – и вставши, пошел в редакцию. Я ведь сейчас пишу статьи вместо вашего отца...

– Там бывает молодежь? – перебила меня Соня.

– И там бывает молодежь...

– Веселая молодежь, которая работает на заводах и учится в университетах, и ходит на собрания и в театры, и смеется, и никто не говорит о том, что жизнь прошла, что жизнь остановилась в таком-то году... Так?

– Вы с успехом можете отвечать вместо меня, Соня.

– У вас много товарищей?

– Много.

Она вздохнула.

– А у меня нет ни одного друга. Кроме этих живых покойников, я знаю еще несколько веселящихся молодых людей и девушек. Эти еще хуже. Никаких интересов. «Аллилуйя», флирт, новые моды. Вы понимаете меня, у вас, вероятно, тоже есть такие компании?

– Есть, – ответил я.

– Но их мало, и общество на них плюет? Так?..

– Вы отвечаете за меня прежде, чем я успею открыть рот, Соня. А как ваша медицина?

– Забросила, – ответила она, – в России я была бы сейчас врачом, а здесь можно жить только спекуляциями... Почему я тогда уехала? Ведь он меня обманул. Он сказал, что будет еврейский погром и меня изнасилуют.

– «Новую деревню!» – закричали в публике. На подмостки лучшего ресторана Таллина вышли старые цыгане и цыганки, в знакомых малиновых кафтанах и широких браслетах, и запели:

– Прощай ты, новая деревня!..

Соня сказала, преодолевая музыку:

– Если бы посол знал, как я живу Советской Россией! Однажды был такой случай. К нам часто приезжают немецкие и польские пароходы, были даже англичане, команда расходится по кабакам, пьют

водку, иногда затевают драки с полицией и пьяного матроса отводят в участок. Никому и в голову не придет обвинять Германию или Польшу, или Англию: смотрите, какие они варвары!.. Но если бы это был советский матрос! И однажды я увидела советского матроса пьяным. Он был в кабаке «Черная кошка» у базара. Я утром встретила его в порту, я ведь выхожу ко всем пароходам. Вы знаете, я ужаснулась. Это напечатают все газеты, отец будет мне тыкать заметкой в лицо... А матрос шел прямо на полицейского. Было ясно, будет драка. Тогда я быстро подошла к нему и сказала:

– Товарищ, вы спрашивали меня, как пройти в порт. Давайте я вас провожу.

Он очень удивился и выпучил на меня свои пустые пьяные глаза, но пошел за мной. Я сдала его помощнику капитана. Эта история мне дорого стоила. Очень дорого! Вы понимаете?

Нет? Тут любовь! Когда Соня шла с матросом к порту, тот подумал, что она проститутка, и все пытался ее обнимать. Она вырывалась от него, но шла все же рядом. Это заметила одна ее знакомая. На другой день, все узнали: Соня Тулупник гуляла с матросом. – Вы понимаете, в каком смысле гуляла? Слухи дошли до человека, которому я нравились. Его отец – мелкий держатель акций. Кстати, он состоит членом того самого «Аэронавта», которому вы спасли аэроплан. Но сын был очень передовым человеком, он даже отказался от отцовской поддержки, он презирал, как и я, золотую молодежь нашего города. Он мне тоже нравился. Тогда я его, пожалуй, любила. Он был единственным человеком, с кем мне было приятно встречаться. Мы очень мало знали друг друга, наше знакомство длилось два месяца. До и после этого моя здешняя жизнь – одна темнота и серость. Когда ему сообщили обо мне этот лживый слух, он перестал со мной встречаться. Я его недавно встретила на улице. Он прошел мимо меня, не поклонившись.

– Но вы могли ему объяснить.

– Вы это говорите! – сказала огорченным голосом Соня. – Я слышу такие слова от человека, приехавшего из Советской России! А какое право он имел так обо мне подумать? Как он посмел поверить грязному слуху? Он сам должен был придти ко мне и спросить, в чем дело.

Конечно, я с ней согласился.

На другой день мы опять встретились с Соней в «Олимпии». А к вечеру наш ледокол кончил погрузку, и она пошла нас провожать. Ломая желтые льды Сурожского залива, корабль стал поворачивать к морю. Уходили в темноту красные крыши и острые улицы города

Таллина. Но Соня долго стояла у самых сходен. Она стояла в своей вязаной шапке и попорченной меховой шубке и грустно махала платочком.

IV

В 1928 году с Белорусско-Балтийского вокзала приехал из Берлина в Москву представитель германской торговой фирмы «Люкс» Адольф Бадер. В руках у него был небольшой круглый чемодан, заклеенный таможенными знаками нескольких государств. Адольф Бадер подошел к телефону-автомату, снял трубку и закрыл дверцу. Он говорил пять минут. Когда он покинул будку и стал направляться к площади, к нему подошел высокого роста военный в длинной шинели с малиновыми нашивками.

– Покажите ваши документы, – сказал военный.

– Пожалуйста, – ответил тот на ломаном русском языке. – Я Адольф Бадер, родился город Мюнхен, представитель фирмы «Люкс». Я коммерсант.

– Вы – Яков Моисеевич Тулупник, – ответил военный, – меньшевик и эмигрант, бежавший в Константинополь в 1919 году. Следуйте за мной.

– Товарищ, это ошибка. Вы делаете глубокая ошибка. Я очень прошу вас, телефонируйте сейчас Берлин, господин Бамель, хозяин фирма «Люкс»...

Яков Тулупник упорствовал два дня. На третий он сознался.

Кончилась, наконец, его вялая ревельская жизнь. Ему удалось достать деньги для поездки в Берлин. Он встретился там со всеми главарями берлинского центра. Он ходил к ним и требовал работы. Он написал две статьи для «Социалистического вестника».

– Нет, – ответили ему берлинские меньшевики, – ваши статьи не могут быть напечатаны. Вы очень отстали, Яков Моисеевич. Что это за диктатура хама, разгул анархии и прочая ерунда! Похоже, что вы проспали много лет. Ситуация изменилась.

– Что же мне делать? – спросил Тулупник. Ему разрешили бывать на собраниях и знакомиться с материалами центра. Со временем Тулупник стал выходить из своего запущенного состояния: он сбрил колючую и седую бороду, приоделся, ожил. Его даже пригласили на доклад Каутского, состоявшийся на дому у одного из работников центра. Каутский говорил о новом этапе русской социал-демократии и пророчил близкую гибель большевиков. Тулупник почувствовал в тот вечер свое воскресение. Он перестал жить прошлым. И стали наглядно различимы контуры будущего. Его допустили к выступлениям, и главари

берлинского центра с удивлением увидели, что этот жалкий человек на многое способен. Они обнаружили в нем большую начитанность и теоретическую осведомленность. В первые же дни они приняли его за недоучку.

– Вы пошлете вашей дочери письмо, что встретили здесь знакомого купца, – сказал Тулупнику один центрист, – и купец назначил вас главным юрисконсультom своей фирмы. Там не должны знать о нашей связи. Через некоторое время вы узнаете, для чего это делается. Вот вам бланк фирмы. И пошлите ей какой-нибудь подарок. Фирма «Люкс» торгует трикотажными изделиями. Завтра же купите несколько пар трико и отправьте в Таллин.

Ему выдали двести марок на трико. Тулупник очень огорчился, что ему не удалось похвастаться перед дочерью своей шумной политической жизнью. Он поселился на Врангельштрассе, снял две комнаты и стал снова заводить библиотеку. После восьмилетнего провала началась его вторая жизнь. Центр поставил над ним опеку известного ростовского меньшевика Павлова. Это он посоветовал ему послать дочери трико. В одном разговоре Павлов намекнул, что центр собирается послать в Москву эмиссара. Тот приветствовал эту идею.

– Прекрасно, – сказал он, – сейчас как раз подходящее время для концентрации сил.

– Вы имеете в виду интервенцию? – спросил Павлов.

– Да.

– Вы на правильном пути. Скоро ожидается вооруженное вмешательство некоторых держав. Большевики падут. Если мы не подготовим почву в России, их падением могут воспользоваться правые элементы. Наши друзья в Москве должны быть подготовлены. Однако, встретились затруднения.

– Какие? – спросил Тулупник.

– Есть одно главное затруднение, – ответил Павлов, – мы не можем послать туда ни одного центрального работника.

– Разумеется, – сказала Тулупник, – мы рискуем их жизнью.

– Не в этом дело, Яков Моисеевич. Каждый из нас охотно жертвует собой для спасения русской свободы. Но мы там слишком популярны, и в этом недостаток. Каждый может нас легко узнать на улице – и провалено историческое дело! Нам нужна глухая фигура, вы понимаете, нам нужен непопулярный работник, вроде вас...

Тулупник проглотил обиду и ответил, побледнев: – Что ж, я готов ехать в Россию. – Очень хорошо, – сказал Павлов, – я сообщу о вашем

желании. Мы обсудим вашу кандидатуру. – Разумеется, гражданин Тулупник, – спросил через несколько дней Павлов, – вам понятна суть вашего предприятия? Я хочу сказать, что даже в самом удачном деле можно ждать плохого конца.

– Я отклоняю разговор о риске, – ответил Тулупник, – моя жизнь поставлена на карту.

– И если бы вы даже попались в лапы Гепеу...

– Советский следователь, – ответил Тулупник, – не услышит от меня ни одной фамилии...

– Даже тех, – добавил Павлов, – которые находятся вне охвата этих грязных лап. Вы понимаете, нам не нужна гласность. Вы попались, как Тулупник, поехавший на свой риск и страх. О берлинском центре...

– Я уже сказал вам, – заносчиво ответил Тулупник, – что им не удастся разжать мой рот! Даже после трех суток непрерывного конвейера. Когда я дал вам свое согласие, я обдумал все, и тюрьму, и расстрел, и пытки.

Был назначен день. В ближайшее воскресенье Тулупник должен был явиться на Фридрихс-бангоф, 17 за деньгами и последними инструкциями. Он почувствовал себя жертвой. Берлин оделся для него в тревожный туман, он стал бродить по кабакам и постоянно ловил себя на мысли, что жизнь отдает ему свои последние часы. Что говорить о раскаянии! Он почувствовал его еще в ту минуту, когда дал свое согласие. В ту же минуту он начал проникаться презрением к главарям центра.

«Им нужна непопулярная фигура! Требуется глухое имя! А не скрываете ли вы под этим, господа, свою трусость? Я понимаю вас, граждане, трудно променять Фридрихс-бангоф на Лубянку и надменные разговоры с глухой фигурой на ответы советскому следователю. Шкура дорога, вот что!»

Так думал, бродя по туманному Берлину, Тулупник. В первые дни ему очень хотелось отказаться, у него даже возник план бегства в Таллин, но стоило Тулупнику вспомнить высокомерие главарей, как отказываться уже не хотелось, наоборот, являлось желание сейчас же ехать в Москву. Однако он привык уже к своему кабинету на Врангельштрассе и, ведя непрерывный контроль, снова ловил себя на мысли, на черной мысли о возможности отступления.

«Нет, нет, Тулупник, не трус. Может быть, он непопулярная фигура, возможно, возможно... Но он не трус...»

Он уже давно стал о себе думать в третьем лице. Но из непрерывного контроля выпадали кое-какие звенья, и Тулупник не замечал

за собой двух вещей. Он не замечал того сомнамбулического образа жизни, который он стал вести в последние дни. Например, он спустился без всякой цели в станцию Унтергрунда, сел в поезд и вылез на конечной станции. Он выходил на окраине, разглядывал незнакомые кварталы Берлина, присаживался на садовую скамейку, слушал уличное пение, наблюдал за мальчиками, игравшими в чехарду, за инвалидом, катившим по тротуару свою тележку, пил у разносчиков квас и минеральные воды, потом он стал курить.

Однажды он сидел в Королевском парке. К нему подошел инвалид.

– Купите сигареты, – сказал инвалид.

– Не надо, – ответил Тулупник, – я не курящий.

– Турецкие, – сказал тот, уходя, – с опиумом. Тулупник вернул его и купил всю пачку. Он стал курить сигареты и бродить с утра до ночи. Он ничего не ел. И еще не замечал Тулупник, что когда думал о своей поездке, то ни разу не приходили ему в голову прежние мысли о России и о русской свободе, а он ведь ехал ее спасать, но зато постоянно кружилась в голове, и не кружилась, а топталась мысль о глухой фигуре, о непопулярном имени. Наслаивались обиды. Иногда ему хотелось придти в центр и закатить истерику, и обвинить их в трусости...

«Нет, они подумают, что я сам струсил. Я скажу им это потом... когда вернусь из Москвы».

В назначенный день он явился на Фридрихс-бангоф, 17 и получил от Павлова тысячу долларов и пять тысяч советскими деньгами. Павлов сам зашил ему в пиджак список людей, с которыми он должен увидеться в Москве. Около каждой фамилии и каждого адреса стоял вопросительный знак. Это означало, что центру неизвестно, в Москве ли данное лицо, и не умерло ли оно и не отошло ли оно от партии. Вместе со списком Павлов зашил еще в пиджак Тулупника специальную инструкцию берлинского центра для московских работников.

В предпоследний раз Тулупник задумал отступление на вокзале. Он пришел за час до отхода поезда, долго блуждал по комнатам и часто, часто останавливался у телефонной будки. Он совал себе руку под мышки, изучал температуру, трогал беспокойный пульс. Его колотил озноб. «Я заболел», – подумал Тулупник. В одну минуту ему чрезвычайно хотелось потерять сознание. Он прошел в санитарную комнату и попросил термометр. Он вынул его раз, вынул другой раз – нормальная температура! Когда же до отхода поезда осталось всего три минуты, Тулупник ворвался в телефонную будку, назвал номер и бросил трубку, не дожидаясь соединения. Потом он написал, стоя, письмо

в Таллин: «Моя дорогая дочь Соня. Помни об отце...» Больше он ничего не смог написать. И он забыл впопыхах наклеить марку, и стало противно от досады, что такое письмо придет, как обуза, с доплатой. И поехали назад высокие дома и виадуки, и зеленые огни световых столбов, и Тулупник заказал себе стакан варшавского кофе, но не в силах был его выпить, а закурил турецкую сигаретку с опиумом.

И в последний раз Тулупник отступил на советско-польской границе. Он поехал назад, на запад. Он остановился в Варшаве и прожил там десять дней. Ни один житель города не был ему знаком. Он заходил в кафешки и цукерни, много ездил в трамвае, а вечера проводил в своем плохом номере, полный ужасных мыслей. В эти дни в Берлин приехала его дочь. Ее испугало письмо отца. Он покончил самоубийством, – решила Соня. Она заехала прямо с вокзала на Врангельштрассе, нашла на дверях замок и разговорилась с хозяйкой. Та была полна догадок о неизвестной ей тайне.

– Кто у него бывал? – спросила Соня.

Хозяйка назвала ей Павлова. Соня пошла на Фридрихс-бангоф, 17.

– Ваш отец уехал в Варшаву по делам фирмы «Люкс», – сказал Павлов. Соня отправилась к управляющему фирмой «Люкс».

– Господин Тулупник? – удивился управляющий, – Нет, у нас такого нет.

Прошло еще три дни тревожных поисков. Соня начала понимать, что отец уехал в Москву. Она снова пошла к Павлову, увидела его живые глаза, услышала неясные ответы и пустилась на хитрость. Вернувшись к хозяйке квартиры на Врангельштрассе, она пожаловалась, что ей негде жить, и попросилась в комнату отца. Та впустила ее. Соня рылась целый день в книгах и бумагах отца и, когда нашла план Москвы с отцовскими отметками, еще более убедилась в своей правоте. Это была высиженная, как яйцо, мысль. Она появилась в тот день, когда отец прислал ей несколько пар трико.

И в дни, когда Тулупник бродил по Варшаве, Соня решила написать в Россию. Она вспомнила Слободзюка и сообщила ему о своих тревогах.

«Я выдаю своего отца, – написала Соня, – так как я боюсь, что он может причинить вред Советской России. Товарищ Слободзюк, обещайте мне не убивать его. Мне будет слишком тяжело жить на свете...»

В городе, где жила прежде Соня, Слободзюка уже не было. Но письмо пришло в учреждение, и на конверте была пометка: «Очень важно», и его вскрыли и в тот же день переслали в ГПУ. И в тот же

день Яков Тулупник выехал из Варшавы. Тридцать часов спустя, он был арестован на Белорусско-Балтийском вокзале в Москве.

Но это были тревожные дни в жизни Сони, черные дни сомнамбулического состояния. Давно забытый разговор Достоевского с Сувориным занял сейчас ее мозг.

– Представьте себе, – сказал Достоевский, – что мы подслушали беседу двух террористов, готовящих покушение на царя. Мы с вами любим царя. Вы пошли бы донести?

– Нет, – ответил Суворин.

– И я не пошел бы, – огорченно воскликнул Достоевский, – но почему?

Чужой разговор навис, как болезнь. В те дни, когда Тулупник ходил по Берлину и Варшаве, Соня кружилась вокруг советского посольства. Она не решалась туда заглянуть.

«Достоевский! – кричала Соня в сомнамбулическую пустоту, – что же вы сказали бы, если бы один из террористов был вашим отцом?»

Разумеется, она не кричала. Но когда мысль превращается в кровь и кровь эта склеротически ритмично стучится в голову, твои затаенные думы кажутся тебе воплями. Сколько таких бесплотных воплей носится в воздухе! Мне, например, кажется, что я очень много накричал за свою жизнь, а между тем эти крики схоронены чорт знает где, в глубине глубин, если хотите.

Я узнал о душевной неразберихе Сони от Слободзюка. Я отыскал его следы по просьбе Сони. Через два месяца после ареста Тулупника я получил от нее письмо. Соня в этом письме просила:

«Найдите Слободзюка и узнайте, исполнил ли он мою просьбу?»

Я пустил в ход весь неповоротливый аппарат наших справочных бюро, и в штольнях Кузбасса отыскались следы Слободзюка. Он был начальником железнодорожного цеха. Слободзюк разыскал адресованное ему письмо, и из него я узнал о всех страданиях Сони Тулупник, этой неосуществленной моей любви. Чувствуете ли вы сладость в любви голодной, как бродячая собака? Утешает ли вас любовь, никогда не знавшая сытости?

В юности такая любовь – обуза. Неудачный роман воспринимается, как пощечина. Отвергнутый чувствует себя оскорбленным. Но пожив немного на земле, видишь сладость и в любви неосуществленной. Пассив становится активом. Графа, некогда вычеркнутая из книги жизни, снова в ней восстанавливается. Надо только пожить на земле и убить в себе уродца мелкого самолюбия.

– Она все-таки мало понимает в нашем деле, – сказал Слободзюк, – как я мог ей такое обещать? Вы читали эти строки?

Конечно, я читал.

«Обещайте мне, – писала Соня, – не убивать его. Мне будет слишком тяжело жить на свете...»

Его не убили. На Урале есть село Благовещенское. В этом селе живет сейчас Яков Тулупник. Он просидел несколько лет в Бутырьках. Дважды в неделю Тулупник писал своему следователю письма. Он признавался в них в своих ошибках, в своем долголетнем заблуждении и просил о работе, о возможности загладить свою вину перед русским рабочим классом. В селе Благовещенском он занимается переводами. Яков Тулупник переводит с немецкого языка на русский учебник для начинающего слесаря.

Случай на консервной фабрике

Когда мне было двенадцать лет, мой отец устроился на работу в общество «Капля молока». Он назывался главным бухгалтером, хотя кроме него в конторе не было ни одного служащего. Мы занимали квартиру из трех небольших комнат в глубине длинного двора на Цыганской улице.

В тот вечер мать ушла в гости. В двух комнатах было темно, и только в третьей, боковой, горела на столе керосиновая лампа. Отец щелкал на счетах, а я читал рассказы Эдгара По. В одну секунду мы оба перестали читать и щелкать.

– Мишук, – шепнул отец, – ты слышишь?

В квартире стало очень тихо, будто была глубокая ночь.

– Мишук! – еще раз шепнул отец, на носках подкрадываясь ко мне.

Мы схватили друг друга за руки.

Наружная дверь продолжала поскрипывать: кто-то чуть открывал ее, на мгновение замирая, затем опять осторожно толкая ее дальше.

Побледнев, мы оба молча посмотрели друг на друга.

Кто-то прокрался в наш дом. Вот он сделал один шаг, другой – остановился. Еще два шага – и человек прошел во вторую комнату.

– Папа! Папа! – прошептал я дрожа.

Отец приложил палец к губам. В доме стало еще тише. Так тихо не бывало даже глубокой ночью. Человек открыл дверцу гардероба. Потом на несколько секунд замер, будто прислушивался. Вдруг осмелел и шумно снял с вешалки пальто. Папино пальто, потому что

мамино было в ломбарде, а мое висело на гвоздике сбоку. Отец продолжал сидеть, низко склонившись, на стуле, и его указательный палец по-прежнему крестом пересекал губы: он боялся, что я вдруг закричу.

Человек повернул назад. Он шел так же медленно, но его походка теперь была более смелой. Он уже был близок к выходу.

– Мишук! – шепнул отец. – Идем!

Он привстал, взял в руки лампу и протянул мне руку. Мы двинулись на носках вперед, мелкими шагами, не дыша. Лампа колебалась в руках отца. Мы шли долго и оба слышали, как стоит без движений тот, неизвестный. Он выжидал. Я думал, что сейчас раздастся выстрел. И внезапно вор возник из темноты.

– Извините, – сказал он, испуганно глядя на отца.

Он стоял перед нами, чуть откинувшись назад, длинный, волосатый. Через его руку было переброшено черное папино пальто. До наружной двери было не более двух шагов, но он не двигался с места.

– Вы к кому? – спросил дрожа отец.

– Я хотел видеть... – сказал испуганно вор. – Господин Терebenников не здесь живет?

– Ах, нет, – охотно и подобострастно ответил отец, – господин Терebenников живет совсем в другом доме.

На самом деле он не знал никакого Терebenникова. Я увидел, как вор спокойно положил пальто на стул и, пробормотав благодарным голосом: «Извините, я так ошибся...», – направился к выходу. Он сделал два маленьких шага, но, очутившись во дворе, бросился бежать. И тогда отец выпустил мою руку и истерически закричал на весь дом:

– Караул! Воры! Караул!

Я не помню, что было в следующую минуту. Немного погодя я выбежал во двор и увидел большую толпу. Избитый вор валялся на земле. Раздавались свистки. Из глубины приближался усатый городской. Подойдя к толпе, он растолкал круг и, схватив вора за шиворот, поволок его на улицу. Народ стал расходиться. Городовой уже свернул за угол, когда его нагнал отец. Тронув богатыря за рукав, отец попросил его отпустить вора. Но городской сердито отмахнулся, и тогда отец сунул ему в руку трешку.

– Ну, проваливай! – проворчал на вора городской и дал ему такого пинка, что тот отлетел на тротуар. Отец склонился над вором и вдруг стал просить прощения, он протянул ему пять серебряных рублей, предложил носовой платок и проводил до фонаря. Там они стояли долгое время.

Дома отец рассказал историю вора.

– Это честный человек, – сообщил он собравшимся соседям, – честный и несчастный человек. Случайная кража, неразумный поступок!

Вор служил бухгалтером на конфетной фабрике Крахмальникова. Его фамилия была Терebenников. Однажды во время занятий он повалился на пол, на его губах забурлила пена. Он долго скрывал от хозяина свою болезнь, и ему везло, так как припадки случались большей частью дома или на улице. Но в тот день хозяин был в конторе, он увидел ужасную сцену и приказал сторожу убрать припадного в караулку. На другой день Терebenникова рассчитали.

– Вот с тех пор он и бедствует, – сказал отец.

Терebenников стал ходить в наш дом, и отец был постоянно озабочен его судьбой. Мы узнали причину болезни нашего нового знакомого. Он ехал с молодой женой в родильный дом. Навстречу карете мчался автомобиль, который в ту пору был еще новинкой. Лошадь испугалась и понесла, выбросив седоков из кареты. Муж и жена очутились в больнице. Жена вскоре умерла, а Терebenников выздоровел, но ранение черепа не прошло без последствий, и он заболел на всю жизнь падучей.

Среди знакомых отца был один конторщик с консервной фабрики, Ландо-Безверхий, известный остряк, потешавший своих знакомых анекдотами из офицерской жизни. На пирушках он читал рассказы Горбунова, исполнял десятки оперных арий, хрюкал, как свинья, и пел, как соловей. В нашем веселом городе почти в каждой конторе и мастерской, почти на каждой фабрике был такой добрый и беззаботный весельчак. Как и Ландо-Безверхий, были они универсальными артистами и от игры на гребешках, от фокусов и трансформаторных кунштуков легко переходили к исполнению драматических монологов, и люди, отзывавшиеся о них с некоторым пренебрежением, все же нежно любили их, как детей.

Конторщик Ландо-Безверхий хаживал в гости к тенору из городской оперы и был знаком с Ниной Самокатовой, дочерью хозяина консервной фабрики. Об этой девушке часто спорили у нас дома. Конторщик говорил, что она похожа на фею Раутенделейн из «Потонувшего колокола». Она была членом Общества покровительства животным, и нередко можно было видеть, как она разговаривает с дворниками, как проверяет, есть ли в привязанных к уличным деревьям мисках вода для бродячих собак. Она всегда и всем улыбалась и по булыжным тротуарам шагала неслышно, как по траве, белолицая,

шуршащая и праздничная, словно ей суждено всю жизнь быть юной невестой.

Ландо-Безверхий, этот беспардонный весельчак, насмехавшийся над всем, что он видел вокруг, странно краснел, когда, мой отец говорил о Нине Самокатовой с недоверием, называя ее доброту показной.

– Она просто хочет нравиться всем... даже женщинам и детям... и дворникам и нищим. Ее чрезмерное желание нравиться – проявление высшего эгоизма, – осуждал красавицу отец.

Однажды он сказал матери:

– Приготовь кныши. К нам придет Ландо-Безверхий.

И мать приготовила кныши, представляющие собой румяный спиралевидный, начиненный творогом пирог. Конторщик очень любил кныши. Наевшись, он дал слово поговорить с красавицей об устройстве Терebenникова в контору консервной фабрики.

– Никто никогда не узнает о его болезни, – сказал отец.

Он придавал своим словам совсем другой смысл: все на фабрике должны знать о болезни Терebenникова для того, чтобы о ней не знали только два человека в городе: Федот Иванович Самокатов и его дочь Нина.

Ландо-Безверхий исполнил обещание. Нина Самокатова поговорила с отцом, и Терebenников был принят в контору консервной фабрики на должность бухгалтера с недурным по тем временам окладом.

Посвящение в тайну происходило медленно. Отец работал с ловкостью Фуше. Так как от каждого в конторе требовалось участие в сокрытии тайны, люди шли на это неохотно, и отец сказал помощнику главного бухгалтера, что главный бухгалтер об этом знает, и он согласился молчать, а с главным бухгалтером отец говорил якобы от имени его помощника. Переговоры происходили в Обществе взаимного кредита, где отец по должности бывал часто и где обычно встречались бухгалтеры и кассиры города.

Потом началось посвящение в тайну рабочих, кладовщиков и сторожей, так как соучастники начали бояться, что очередной припадок может случиться не в конторе, а на дворе или в каком-нибудь цехе, Ландо-Безверхий назвал это посвящение фламандской цепью: он сказал старшему кладовщику, тот – младшему, младший – весовщику, а весовщик – одному из мастеров, и так далее. Терebenников был счастлив и, сидя часто с отцом под лампой, он восторгался солидарностью такого множества людей: ведь о тайне знало около двух тысяч человек.

Первое испытание прошло очень хорошо. В три часа дня в контору пришла Нина Самокатова. Она бывала на фабрике чаще чем ее отец. Всякий раз она приводила с собой какого-нибудь артиста и, входя в контору, произносила одно и то же:

– Ландо! Принимайте экскурсию!

Она заходила во все закоулки, без конца вскрикивая: «Привет! Алло! А вот и мы!» – и люди радостно улыбались, видя, как она зажимает платочком нос. Фабричный двор был насквозь пропитан острыми, головокружительными запахами прелых овощей, и всех умиляло, что легкая и чистая Нина Самокатова спокойно ходит среди этой вони. Она постоянно чем-то размахивала – то стеклом, то зонтиком, – вмешиваясь во все разговоры, и останавливала всех встречаемых, панически боявшихся их замарать.

Она-то и была причиной очередного припадка Тербенникова. Конторщики полагали, что его взволновала ее красота. Ошеломленный, раздавленный, смотрел он прямо ей в глаза; она заметила его необыкновенный для подчиненного взгляд и, надменно улыбнувшись, чуть дернула плечом. Потом подошла к нему, протянула руку. Он продолжал смотреть ей в глаза, и она еще раз надменно дернула плечом и, повернувшись, ушла. Сидевшие против Тербенникова конторщики заметили, как судорожно стала сгибаться его левая рука. Ее тянуло назад, за спину, все дальше и дальше, она повлекла за собой все туловище, и, качавшись, Тербенников грохнулся на землю.

Конторщик Ландо-Безверхий закрыл дверь, и посыльный побежал за сторожем. Тербенников бился головой о пол, на губах его появилась пена. Его накрыли листом промокательной бумаги, затем сторож и посыльный унесли бьющееся тело в подвал. Там уже стояла наготове самодельная кровать, сооруженная из ящиков и бочек.

Служивцы по очереди дежурили у изголовья Тербенникова, а главный бухгалтер сторожил у окна, с ужасом ожидая возможного появления на заводе Федота Самокатова. Но все кончилось благополучно: пролежав в подвале четыре часа, Тербенников пришел в себя. Он не помнил, как упал на пол, жаловался на головную боль и, узнав, что так долго пролежал в подвале, стал смущенно рассказывать о своей покойной жене, которую напomniaла ему Нина Самокатова.

Тербенников проработал на заводе три года, и за это время с ним случилось несколько припадков – и в конторе и на дворе; все три года вся фабрика тщательно скрывала его тайну и ухаживала за ним. На четвертом году – это было в конце февраля – тайна чуть не раскрылась.

Теребенников упал в ту минуту, когда в конторе зазвонил телефон.

– Добрый день, Федот Иваныч! – крикнул расстроенным голосом главный бухгалтер, наблюдая, как его сослуживцы возятся с бьющимся телом Теребенникова. – Хорошо, Федот Иванович, сейчас...

Он бережно положил трубку на счеты и грузно, страдальчески опустил на стул.

– Несчастье, господа! Федот Иванович требует Теребенникова к телефону, – прошептал он, накрыв обеими ладонями трубку.

– Скажите, что он во дворе, – сказал из угла Ландо-Безверхий.

Главный бухгалтер снова взял трубку и очень громким голосом, чтобы скрыть свой испуг, стал извиняться перед хозяином, долго и путано объясняя насчет каких-то естественных слабостей, свойственных каждому человеку. Конторщики поняли, что Самокатов шутит на другом краю провода, так как главный бухгалтер улыбался.

– Он сказал... передайте Теребенникову, пусть сейчас же возьмет извозчика и едет в Лионский кредит, – произнес главный бухгалтер, положив трубку на вилку.

Все семь работников конторы со страхом посмотрели друг на друга. Случилось именно то, чего они боялись. Гнев хозяина обещал быть страшным, так как Самокатов очень дорожил репутацией фабрики и всякий, пустячный даже слух о нарушении норм на его предприятии обрушивался на него как сильный удар. У него был конкурент, известный в городе либерал, уже много лет ждавший его провала. Известие о том, что на фабрике Самокатова работают эпилептики, было бы с торжеством подхвачено конкурентом.

– Труба! – сказал главный бухгалтер, озирая грустные лица сослуживцев и робко поглядывая на Ландо-Безвершого.

От страха перед грядущим неизбежным звонком у него дергалась левая щека.

– Пустите меня, – вдруг сказал конторщик.

На него посмотрели с надеждой, так как его лицо, еще секунду назад выражавшее грусть, сделалось лукавым. Конторщики верили в его выдумку, им всегда казалось, что он сумеет найти выход из любого положения. И потому, как только Ландо-Безверхий прошел к телефону и назвал номер Лионского кредита, конторщики уже почувствовали себя как бы спасенными.

– Господина Самокатова, – притворным басом произнес Ландо-Безверхий, и в конторе наступила та грозная торжественная тишина, какая бывает в цирке при исполнении опасного для жизни акробатического номера.

– Это Федот Иваныч? – почтительно спросил Ландо-Безверхий. – Федот Иваныч! Случилось неприятное происшествие. Мы не решались вам об этом сказать... при посторонних. Я звоню из закрытой комнаты... Дело в том, Федот Иванович, что Терebenников не может к вам приехать. Он отравился! – вдруг выпалил Ландо-Безверхий, и лукавое выражение его лица внезапно сменилось траурным.

Потом он таинственно понизил голос и произнес почти шепотом:

– Консервами отравился, Федот Иваныч. Да, к сожалению, наши-ми. Он купил в заводском киоске... баклажаны в томате. Канечно, ни одна собака!.. Мы его унесли в подвал... Сделали промывание...

Когда закончился напряженный разговор с Самокатовым, Ландо-Безверхий сообщил, что хозяин через час придет на фабрику. Посоветовавшись, конторщики решили увезти Терebenникова домой. Надо было подготовить соседей, а главное, самого больного, как только он очнется от припадка. Ландо-Безверхий взял на себя разговор с хозяином.

– Это просто поразительно, что все так легко согласились! – восхищался солидарностью такого множества людей мой отец.

Особенно удивило его согласие мастеров, на которых мог обрушиться гнев управляющего. К счастью для мастеров, Самокатов приказал ничего не говорить об отравлении управляющему. Хозяин ему с некоторых пор не доверял: он был уверен, что тот способен выдать фабричную тайну конкуренту.

Когда Самокатов подъехал к воротам фабрики, ему навстречу вышел Ландо-Безверхий. Зная его веселый нрав и способность к выдумкам, хозяин смотрел на него с тем же ожиданием помощи, с каким еще недавно глядели на него конторщики.

– Если вам будет угодно... – голосом заговорщика начал Ландо-Безверхий.

Он почтительно и в то же время таинственно приутился.

– Ты придумал! – обрадованно сказал Самокатов. И Ландо-Безверхий взялся убедить Терebenникова скрыть причину своей болезни и выдать себя за больного эпилепсией.

– Падучая! – восторженно засмеялся Самокатов. – Очень похоже! Молодец!

Он обещал Терebenникову за обман двадцать пять рублей и поехал, успокоенный, домой. Сейчас, когда фабрике грозили страшные слухи об отравлении консервами, разговоры конкурента о бухгалтер-эпилептике казались уже пустяком.

На другой день мой отец устроил по этому случаю пирушку. Была вся контора, а для Ландо-Безвершого мать приготовила румяные

кныши. Вместе с Терebenниковым Ландо веселился больше всех конторщиков, не зная, что их обоим ждет утром несчастье.

– Не приказано пускать, – сказал каждому из них в отдельности сторож, – Федот Иванович записку прислали.

– Когда?

– Ночью, – ответил сторож.

Виновато глядя в сторону, он дал понять, что Самокатову стало известно о проделке конторщика.

Отец пришел в неурочное время домой. Он бегал по квартире, без устали ругая Ландо-Безверхого. Оказалось, что тот давным-давно разболтал Нине Самокатовой о болезни Терebenникова. Весельчак был уверен, что она ничего не скажет отцу, и она в самом деле молчала, но когда Самокатов расхвастался в семейном кругу, как ловко он вышел из дела с отравлением, красавица возмутилась и рассказала Федоту Ивановичу о том, что мнимобольной вовсе не был мнимым больным. Сознание, что его одурачили, привело Самокатова в бешенство. Он собирался звонить к полицмейстеру и даже к губернатору, затем раздумал, так как боялся насмешек со стороны конкурента, и ограничился тем, что рассчитал Терebenникова и Ландо-Безверхого.

Им не пришлось бедствовать: все это произошло накануне того дня, когда солдаты в Петрограде свергли царя. В страхе перед конкурентом-либералом Самокатов вернул на работу уволенных.

– Раугенделейн! – обратился к Ландо-Безверхому мой отец, когда конторщик пришел к нам в начале марта в гости.

В этот вечер он не пел и не хрюкал. Похоже было, что он пришел к нам только для того, чтобы поскорей выслушать все упреки, поскорей перешагнуть через свои поверженные иллюзии. И в этот вечер мать не угостила его кнышами.

Письмо

Через двадцать лет после забастовки почтово-телеграфных служащих заместитель директора Московского почтамта пожелал узнать то, что так и не удалось ему узнать за эти годы. Была у него в жизни случайная и печальная, но значительная встреча: в памяти жил человек в черной суконной шубе с огромным бобровым воротником, на бобре лежал снег, он так и сыпался с него вниз, а борода человека была в снегу, и с усов свисали голубоватые сосульки. Когда-то он очень хотел с ним встретиться и даже расспрашивал о нем, но все отвечали,

что не знают такого. И когда он описывал черную суконную шубу и повисшее на ниточке пенсне и вспоминал при этом, что у человека правое плечо значительно выше левого, а голова тянется к высокому правому плечу, люди смеялись:

– Шуба-то поизносилась. Да и вряд ли она сохранилась у него после революции!

Через много лет, очутившись в Музее революции, заместитель директора снова о нем вспомнил. Кто он, этот человек, назвавшийся профессором, где он сейчас? Жив ли он, умер ли?

– Значит, вас интересует забастовка почтово-телеграфных служащих Москвы? К сожалению, у нас по этому вопросу почти нет никаких материалов.

Оба были удивлены – и заместитель директора, и работник Музея, – что нашелся всего один документ, и документ этот оказался вырезкой из французского журнала. Несколько буржуазных дам разбирают почту. Кроме них нет никого на заколоченном почтамте. Дамы нарядно одеты, они сидят за столом, как в театре, и чуть улыбаются. Видно, им очень нравится их неожиданная роль.

– Профессор Фирсов? – переспросил работник Музея. – Нет, мы ничего о нем не слышали. Пожалуй, умер в эмиграции...

Заместитель директора долго стоял у стены, на которой висела окантованная и вправленная в стекло вырезка из французского журнала. Как и все люди зрелых лет, он часто обращался мыслями назад, к прожитым годам. Но бывают мгновения, когда воспоминание выходит из прошлого с такой резкостью и становится таким явственным, таким ощутимым, что далекое вчера просит потесниться полноправное сегодня.

* * *

Двадцать семь лет назад в Москве бастовали почтовики. Был декабрь, стоял жестокий мороз, городские грелись у костров. На Немецкой улице жил в большом кирпичном – с балконами – доме молодой почтальон Алексей Смушкин. Жил на самой вышке, рядом с чердаком, в бывшем чуланчике, где стояла железная кровать с отвинченными шишками, табурет-инвалид да огромный зеленый сундук, заклеенный черногорскими царевнами. В подвесной колыбели качался годовалый младенец, и у колыбели сидела молодая жена. К вышке вела черная лестница, такая узкая и кривая, что если встречались на ней два нервных человека, то обязательно ссорились. Дом находился в историческом месте. Против него стоял белый флигелек, о котором было

известно, что в нем либо родился, либо не родился Пушкин. Жители Немецкой улицы видели, как к домику прибывали каждую весну памятную табличку, потом сдирали, переносили на фасад соседнего дома и через некоторое время вновь прибывали на старое место.

– Бастуем, – сказал вчера жене Смушкин, – завтра ни один почтальон не выйдет на работу.

– Алексей! – вскрикнула жена и замолчала, преданно глядя на мужа.

Она не ворчала, подобно некоторым женам, не плакалась, что померет с младенцем с голоду: она была молода, и муж ее был молод, и ей не верилось, что они будут бедствовать. Она старалась не выпытывать, а только слушала, раскрыв глаза, когда муж говорил ей о забастовке, что тут политика – один за всех, и все за одного – и что в других передовых государствах тоже бывают забастовки.

– Называется солидарность! – сказал он, радуясь, что жена не горюет.

– Да, Алеша, – покорно и ласково ответила жена, раскачивая колыбель.

Морозное утро, ведьмы воют в трубе, и слышно, как от вьюги колотится белье на чердаке, сухое, оледенелое. Почтальон сидит дома. Никто не поднимается по кривой и узкой лестнице, не бегают кошки. Тихо, совсем тихо. Из-за Казанской дороги ползет голубоватый туман. Уже полдень, и попрежнему сидит дома почтальон. Радостно и тревожно от этой необычности, а день идет к вечеру; Смушкин от скуки открывает сундук и переклеивает картинки с черногорскими царевнами. Они красивые, холеные, большеглазые. Смушкин отпаривает их теплой водой, осторожно отковыривает края.

– Так лучше? – спрашивает он.

– Конечно, лучше! – весело отвечает жена.

На улице тускло, и кажется, что тусклость эта идет от окутанных паром керосиновых фонарей и извозчичьих армяков. У монопольки лежит среди груды пробок пьяница, и мальчишки обходят его, собирая самые маленькие пробки, потому что большие уже давно не имеют никакой цены на Немецкой улице. Медленно падают ленивые снежинки, похожие на орден Святого Станислава. Жена собирается купать ребенка; словно предчувствуя что-то немилое, захлебывается в рыданиях малыш.

Почтальон думает о том, что никто сегодня не подходит к желтым ящикам, никто не вынимает письма, что почтамт заколочен. За окошками не суетятся престарелые девицы, и люди зря справляются о почте: все почтальоны сидят дома, гордые своей силой.

– Сегодня рано лягу спать, – говорит Смушкин.

– Вот хорошо, выспишься на славу, – по-прежнему ласково отвечает жена, но глаза ее смотрят беспокойно, так как она уж не так уверена в своем счастье, как вчера.

Почтовики бастуют второй день. Жена с утра ждет мужа. Он ушел на рассвете в комитет. Он возвращается оттуда в полдень, веселый, и с удовольствием рассказывает ей, какая в городе суматоха. В комитете очень довольны: ни одного штрейкбрехера. Жена уже знает, что такое штрейкбрехер, она понимающе кивает головой и только потом спрашивает, как бы невзначай:

– А, может, они других возьмут, Леша?

– Никто не пойдет, – гордо отвечает он. – Давай чай пить.

За чаем она рассказывает, как встретила на дворе с зубным врачом из парадного хода, как тот прошептал ей: «Ваш муж – молодец», – потом предложил серебряный рубль, но она отказалась, и он побежал к себе, как она заговорила у колодца с бабами и одна из них проворчала: «Помрете вы с голодухи», – но другие на нее набросились, стали ругать.

– А сказали вам, сколько дней-то бастовать? – спрашивает, дуя на блюдечко, жена.

– До полной победы! – отвечает почтальон.

– Начальство что говорит... в комитете?

– Мы сами начальство, – неожиданно отвечает муж, и эти слова ее пугают, она уже не на шутку встревожена.

– Что ты? – удивляется жена.

Ей непонятен его веселый, продолжительный смех. Он вскакивает, надевает полушубок и выбегает из комнаты. Через десять минут он возвращается с листком почтовой бумаги и конвертом в руках. Он вынимает из кармана почтовую марку с отороченными, как кружево, краями.

– В лавочке достал, – говорит он весело, – у бакалейщика.

– Что ты затеял, Леша?

– Письмо буду писать, – отвечает он с озорством.

– Кому?

– А это увидишь.

Он ложится животом на сундук и пишет большими, как фасоль, буквами. Его веселит каждое слово, все более озорным делается взгляд, он хохочет. Ничего не понимая, смеется и жена. Глядя на них, вдруг начинает хохотать и младенец.

«Милостивый государь, – пишет Смушкин, – мое вам почтение...»

Он зачеркивает «почтение» и долго выписывает «нижайшее почтение». Перо скрипит. Смушкин то и дело вытирает его о волосы. Он старается писать красиво, с нажимами, с кренделевидными завитушками. Жена все ближе придвигает к нему чернильницу, которая стоит на поломанном табурете рядом с сундуком.

«Как поживаете, многоуважаемый Алексей Степанович? – продолжает писать Смушкин. – Отчего на работу не ходите? Бастуете, что ли? Или как? Директор, небось, по головке не погладит...»

– Леша! – хохочет жена.

– Чего тебе? Почему смеешься? – лукаво спрашивает Смушкин.

– Поцелуй Павлика, – отвечает она смущенно.

Он целует Павлика и снова берется за письмо.

«Имею вам сказать, – продолжает он выводить крупные, как фасоль, буквы, – вы настоящее письмо не получите. Потому, мы бастуем, и, стало быть, некому разносить всякие ваши любезности. Задаром на вас пятачок трачу. И еще кланяются вам Маша и Павлик. Будьте здоровы, не забывайте. С нижайшим к вам почтением...» Прицелившись, он расписывается, опутывая свою фамилию закорючками. Затем вкладывает листок в конверт, приклеивает марку и пишет адрес.

– Иди сюда, читай! – зовет он жену.

Она склоняется над ним, следит за его рукой. «Здесь. В Лефортово», – читает она по складам. – Кому же это, Леша?

– Зазноба есть, вот что! – отвечает он с ударением на последнем слове и смотрит на нее лукаво.

– «Немецкая улица» – читает дальше с удивлением жена. – Это же наша!

– Зачем далеко ходить? – важничает Смушкин.

– «Дом номер двенадцать»... Это же наш дом! «Квартира номер восемьдесят девять. Алексею Степановичу Смушкину». Дурень! Зачем себе самому письма пишешь?

– Нет, не дурень! – качает он головой, весьма довольный собою. – Вот отправлю письмо, а его никто не принесет – забастовка! У нас штрейкбрехеров нету, Пускай кто доставит! Дудки! Не жалко пятачка...

Жена тоже довольна: ей нравится выдумка мужа. Она еще раз подставляет ему для поцелуя Павлика, затем провожает Смушкина до двери. Она слышит, как он бежит по ступеням. Смушкин торопится к почтовому ящику с письмом в руках.

Четвертый день бастуют почтовики. Скучая, Смушкин просит у жены какой-нибудь работы по хозяйству. Он раздул в угюге угли,

гладит пеленки Павлика. Под завывание ветра хорошо вспоминается его приезд в Москву.

На Арбате жил его родич из села Зыбина Чернского уезда Тульской губернии. Родич служил на почте и туда же пристроил приезжего из деревни. Смушкин вспоминает с улыбкой, как он испугался Москвы, как переполошил его шумный Арбат с путаными переулками, уходящими к Поварской и Никитской. А теперь это его район: Мерзляковский, Хлебный, Скатертный, Столовый, Ножовый, Ржевский, Скарятинский. Теперь он знает всех обитателей: врачей, адвокатов, ученых и купцов. Ему известны их удачи и неудачи, их семейные неурядицы; у него есть в этих переулках друзья и враги. Например, ученый из дома номер семь, по Столовому, – друг. Он часто спрашивает Смушкина о деревне, здоровается за руку, предлагает чай. Адвокат из квартиры одиннадцать того же дома – враг. «Закройте дверь!» – злобно кричит он, как только появляется Смушкин. Адвокат шумно выбегает из кабинета, он смотрит волком и на Смушкина и на принимающую у него почту прислугу. В доме номер пять, по Хлебному переулку, живут рядом монархист и революционер. У монархиста висят портреты царя, Пуришкевича и Крушевана, а в передней у революционера – картина Репина «Не ждали». У монархиста сбежал сын, но Смушкин никогда не имеет для него писем, а приносит газеты «Новое время» и «Земщину». Революционер открывает дверь сам, в глазах тревога; Смушкин знает, что звонки его нервную: он ждет ареста. Оба врача – монархист и революционер. Монархист лечит ухо, горло и нос, а революционер – доктор по детским болезням. Монархист обращается к Смушкину: «Послушай, братец», – а революционер называет его гражданином и говорит «вы».

Когда Смушкин появляется со своей сумкой в этих переулках, мальчуганы устремляются за ним, ему кланяются дворники, он знает, в каких квартирах собаки и какие из них злые, какие ласковые. Иные люди читают письма при нем, другие выхватывают их у него из рук и убегают в дальние комнаты. Есть квартиры, которые всегда для него закрыты: он опускает письма в ящик у дверей, когда же приносит заказную корреспонденцию, к нему выходят навстречу и держат его на холоду. Смушкин не любит такие квартиры и называет их подозрительными. И верно: в таких квартирах всегда ссорятся, жены изменяют мужьям и мужья – женам; о них иногда рассказывают дворники: приезжала карета скорой помощи, кто-то отравился, кто-то в кого-то стрелял.

– О чем задумался, Алексей? – спрашивает жена.

– Где письмо? Нету письма! – обрадованно откликается Смушкин. – Тютенька съела...

– Нету письма, тютенька съела, – весело повторяет жена.

И тут раздается стук в дверь. Оба вздрагивают.

Смушкин настораживает ухо, вопросительно смотрит на жену.

– Кто там? – спрашивает он, наконец, и не слышит ответа. – По какому делу?

И, решившись, сразу распахивает дверь. Перед ним стоит злая соседка. Смушкин смотрит на нее с улыбкой.

– По какому делу, соседка? – любезничает он, беря ее за локоть.

– Это ваше одеяло на чердаке? – кричит грозная соседка.

– Наше.

– Уберите ваше одеяло с моей веревки! – продолжает кричать соседка. – Я не для вас ее вешала. Надо свою веревку иметь.

– Ладно, в сей минут! – улыбается Смушкин.

– Достаньте себе веревку и вешайте! – не унимается соседка.

– Правильно, соседка, – отвечает Смушкин и с готовностью бежит снимать свое одеяло.

И дверь опять безмолвна.

– Письмо-то не пришло, – говорит, засыпая, Смушкин.

– Кто же принесет? – наставительно произносит жена.

– Я и не жду, это я для смеха... так!

Почтовики бастуют пятый день.

Утром Смушкин смастерил из кусочков длинную веревку для белья. Он идет с ней на чердак. Выходя из комнаты, он сталкивается с богато одетым мужчиной в пенсне на черной ниточке, в черной суконной шубе с большим бобровым воротником. На бобре лежит снег, и борода в снегу, а с усов свисают голубые сосульки.

– Вам чего? – с удивлением спрашивает Смушкин.

– Скажите, пожалуйста, – говорит, запинаясь, человек в шубе, – как мне найти квартиру номер восемьдесят девять? Я не вижу таблички.

Смушкин замечает в его руках портфель, он оглядывает человека с головы до ног и недружелюбно спрашивает:

– Вам по какому делу?

– Мне нужен господин Смушкин, – любезно отвечает человек в шубе, платочком смахивая с усов тающие сосульки.

– Господин Смушкин – я. А вы что, письмо принесли?

– Вот именно, – обрадованно отвечает человек в шубе, – вот именно! Видите ли, в городе забастовали почтальоны. Они оставили Москву

без связи. Вот мы, группа профессоров, решили заменить их... конечно, добровольно... Считаюсь с неотложными нуждами населения...

– Вы профессор? – спрашивает Смушкин. – Профессор, значит. А фамилия какая?

– Профессор Фирсов, я читаю римское право, – отвечает уже с некоторым чувством тревоги человек в шубе, хватаясь левой рукой за черную нитку пенсне.

– Профессор Фирсов, – повторяет Смушкин и вдруг грубо кричит: – Дай-ка сюда письмо!

Он берет из рук профессора письмо и, не раскрывая его, рвет на мелкие части. Профессор тупо смотрит на него, он пятится к чердаку, потом несколько раз произносит: «Ничего не понимаю!» – и бросается к лестнице. Сначала он делает несколько робких шагов, потом ускоряет ход, чуть не бежит.

На площадку выходит жена. Она с недоумением осматривает мужа, стоящего у дверей с веревкой через плечо, потом замечает клочки бумаги на полу.

– Кто приходил, Алексей?

– Ошибка! – отвечает он, возвращаясь с веревкой в комнату.

И то, что он идет домой, а не на чердак, наполняет жену еще большим беспокойством. Она видит, что он бледен, и, тихо крестясь, молчит. Вдруг громко заплакал Павлик.

* * *

Заместитель директора выходит из Музея на улицу Горького, он спускается к Охотному ряду, поднимается на площадь Дзержинского, поворачивает к Маросейке и шагает прямо, прямо, к Земляному валу. Приятная задумчивость по-весеннему согревает его одряхлевшее тело. Он вступает на Маркову улицу, и на всем его дальнем пути непрерывно зажигаются красные, желтые и зеленые огни. Его обгоняют автомобили, трамваи, автобусы, мотоциклы, троллейбусы, грузовики, но он углублен в себя и не слышит, как беспокойно шумит вокруг него город. Маркова улица переходит в Разгуляй, и заместитель директора шагает дальше, и только на углу Немецкой он в нерешительности останавливается. Затем поворачивает направо, шагает прямо, уверенно и около дома номер двенадцать опять останавливается, смущенно улыбается.

Ему становится неловко, стыдно, что он проделал такой длинный путь, чтоб мысленно на минуту вернуться к далекому, давно ушедшему прошлому.

The book cover features a central black rectangle with white text. This rectangle is flanked by vertical borders with a repeating wavy pattern. The top and bottom borders consist of alternating black and white vertical stripes with white wavy lines. The right border is a solid grey band with a white wavy line. The left side of the book is bound in a plain grey material.

С. Г Е Х Т

**ЧЕЛОВЕК
КОТОРЫЙ
ЗАБЫЛ
СВОЮ
ЖИЗНЬ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПРОЛЕТАРИИ

С. Г Е Х Т

1927

Человек, который забыл свою жизнь

I

– Много жидов в Марьину Рощу понаехало. На Шереметьевской от хаек отбою нет. Ихнее царство, говорю, настало.

В трамвае стало тихо. Пятьдесят человек, стоявших, сидевших и висевших, повернули головы. Сто глаз с любопытством посмотрели на чернобородого цыгана в кожаной куртке и сапогах.

– Как жить, товарищи? – продолжал цыган, довольный всеобщим вниманием. – Нынче русскому человеку зарез. Окаянная нация, спокою, говорю, не дает.

Он смотрел на всех веселыми глазами и театрально жестикулировал, задевая локтями соседей. Кондуктор растерянно оглядывался, не зная, как поступить. Трамвай медленно полз вверх по Третьей Мещанской улице. Цыган привстал даже и, поскребывая заросший подбородок, обратился к слушателям:

– Их теперь – жидов этих – несметные тыщи. Все масло съели, чесночная нация. Слыхал я, вчера весь сахар скупили. Праздник у них какой-то готовится, пироги в пять пуд печь будут.

Эти слова немного разрядили атмосферу. Мужчины переглянулись, кое-кто тихо засмеялся, а женщины сердобольно закивали головами.

– Чердак не в порядке, – сказала в пространство торговка и хихикнула. Брызнула слюна, и сосед ее, красный командир в кавалерийской шинели с нашивками, брезгливо отодвинулся. Торговка вытаскила из корзинки толстый платок и, конфузясь, стала вытирать губы.

– Экземпляр, – медленно произнес кондуктор и посмотрел, улыбаясь, на крашеную даму в каракулевой шубке.

Дама в ответ не улыбнулась, и кондуктор смутился. Он полез в сумку, загреб серебряной мелочи и занялся счетом. Не сосчитав, бросил монету назад и заговорил без запятых.

– Угол Самарского переулка, граждане. Кто с Лубянки, билеты кончились. Вагон трогается, граждане!

Цыган с недовольным видом опустился на скамейку и шумно сорвал с головы папаху. Оказалось, что у него седая голова. Лохматая куча волос, годами нечесанная, почернела от пыли и грязи. Посыпалась темная перхоть. Цыган сдул ее с куртки и сказал:

Использованы иллюстрации М. Горшмана к книге С. Гехта «Сын сапожника» (1932).

– В живого человека голова гниет. Последнюю рубашку жида забрали, мало им, христопродавцам, что кровь нашу пьют. Останнее барахлишко узяли, по миру пустили, комиссары сукины.

– Ты потише, – сказал человек в железнодорожной фуражке. – Здесь тебе не Сербия.

– Мы не сербияне, голубчик, мы русский человек, крещеные, товаришок.

– Русский, то-оже, – вмешалась торговка, – язык-то у тебя, конокрад, чудной больно.

– Русский я, – вскрикнул цыган и шумно надел папаху, – а жидов резать буду до последней капли.

Трамвай зашумел. Красный командир гневно посмотрел на кондуктора. Человек с портфелем и в очках сердито буркнул: «чорт знает что такое», а железнодорожник дернул провод.

– Остановите вагон, – приказал он кондуктору, – и милиционера позовите.

Трамвай остановился. Кондуктор свистнул, и толпа раздалась, прощипывая дорогу – милицейскому.

– Ты что ж это, – морща лицо, сказал цыган, обращаясь к железнодорожнику, – за жидов вступаешься? Вместе с ними гешефты делаешь? Шахер-махер, шурум-бурум.

Милицейский взял цыгана за локоть и потащил к выходу. Цыган упирался. Он присел на корточки, заскрипел зубами и заплакал.

– Ты не трожь его, – вступилась торговка, – он сапожник. Он на Шереметьевской живет, с холодными промышляет.

– Ладно, – ответил милицейский и с помощью кондуктора поставил цыгана на ноги. Железнодорожник пихнул его сзади, и цыган с шумом выкатился из вагона. Трамвай пошел полным ходом, наверстывая потерянное время.

– Он мне вчера набойки прибил, – обратилась торговка к краскому – он мастер хороший, но пьет. Его женить надо, с холостой-то жизни бесится. На той неделе струмент пропил, чужим работает. Много ли чужим струментом наработаешь?

– Да, – сказал краском, глядя в замерзшее окно.

– Он против рынка стоит, у кладбища Лазаревского. Холодно на воздухе-то целый день стоять. Вот и пьет. Мастеровые все пьют. Которые женатые, и те пьют. У меня муж в армии тоже служил, теперь на Люксембурге работает – по специальности валяльщик он...

Краском вытащил газету, развернул обе ее половинки и зарылся в них носом. Торговка повернулась к железнодорожнику.

– Валяльщик он, – продолжала она свой рассказ, – а пятьдесят рублей получает. У нас дворник больше получает, и работы у него на два часа...

– Кондуктор, – крикнул через ее голову железнодорожник, – оставьте, пожалуйста, по требованию.

II

Город Винница находится на Украине в самом центре Подольской губернии, в 220 верстах от Киева. Многие думают, что Винница – городок заштатный, один из тех, которые, по выражению поэта, на карте генеральной не всегда отмечаются кружком. Словно это глухая провинция вроде Луги или Шуи.

Это не так. В Виннице есть одна улица, бывшая Николаевская, которая не уступит столичной. По ней ходит трамвай, есть кинематографы и редакция, много ресторанов с румынскими цимбалистами и венгерскими домбристами, с холодным и теплым пивом. Вы можете заказать даже кружку портера, и черная горечь его напомнит вам столицу.

Кроме того, в Виннице есть великолепный парк, где растут столетние дубы и где проложены роскошные аллеи. Он тянется на две версты, от железнодорожной станции до моста. А под мостом течет река, которую поляки хотели бы иметь целиком, и называется она Западный Буг.

Винница находилась всегда в черте оседлости, и евреи могли поселиться там, где угодно – хоть строй домик у самого вокзала или рядом с женской гимназией на базарном спуске. Но евреи собрались здесь на правой стороне Буга и выстроили маленький грязный городок, мрачное гетто. Оно называется Ерусалимка. Жилища хрупкие, на куриных ножках, все равно зальет в половодье, а если разыграется Буг – и снесет совсем. Жители Ерусалимки славятся своей старообрядческой жизнью; это все закостенелые староверы, презирующие светские науки, не признающие современных веяний. Может быть, они и изменились сейчас, но еще в 1921 году был царил там патриархальный.

Случился весной пожар. У селедочного торговца в субботний день загорелся дом. А в субботу тушить нельзя. Суббота – день отдыха, и нельзя осквернять его никакой работой. Вздохнул торговец и плакал, рвала на себе волосы его жена и голосили дети, но никто не ударил палец о палец, чтоб залить огонь. Надобно было только опрокинуть два ведра воды. Огонь пошел дальше, вспыхнул сарай, потом пламя лизнуло соседнюю крышу. Так загорелось пять домов. Ерусалимцы молились, распевали восемнадцать славословий на разные лады – по-литовски и по-хасидски, – они кружились вокруг своих домов, охваченных огнем, и жаловались богу.

– Почему обязательно в субботу, когда ты повелел нам отдыхать? Разве нельзя было устроить пожар в понедельник или пятницу?

Так выгорело пятнадцать домов. Киевские евреи устроили сбор, и погорельцам помогли отстроиться заново.

Если бы русские догадались и потушили сами! Но нанять нельзя и нельзя просить. Когда ерусалимец ложится спать в пятницу вечером, он ведет хитрую и сложную игру с богом. Свечи горят, и с воском их тают гроши нищего. Он ходит по комнате и сладостно вздыхает. Может, поколеблется от вздоха воздух и погасит свечу. Но воздух не хочет, и вздох слаб. Тогда ерусалимец ложится спать.

– Накрой меня одеялом, жена, – говорит он, – да потеплее.

Она распрямляет одеяло и, смотря одним глазом на свечи, бросает его. Свечи, однако, не тухнут. Они горят, коварные, словно в них вселился дьявол или бог подсмотрел и понял игру нищего.

В субботу нельзя ходить много, ибо ходьба утомляет человека и нарушает законный отдых. Для этого ерусалимцы поставили столбы с проволокой в разных местах города. Еврей прошел положенное число локтей, и вот он у столбов.

– Это мой дом, – говорит он, – и я могу сделать еще 1600 локтей,

Так говорит он у всех столбов и потихоньку делает несколько верст.

Были в Виннице в гражданскую войну петлюровцы. Они снесли эти столбы. Но ерусалимцы снова поставили их.

– Жиды беспроволочный телеграф устраивают, – сказали петлюровцы и снова снесли столбы. Для устрашения они расстреляли из пулемета десять человек. На другой день после расстрела столбы появились на старых местах.

Ерусалимцы занимаются ремеслами и торговлей. Сейчас многие из них сели на землю и забыли о мрачном безвременьи, унесшем много молодых жизней и веру в бога. Тогда они сапожничали, портняжили, занимались извозом, ткали, штукатурили, клали печи, кололи дрова, торговали пуговицами, битой птицей, яйцами, гусиными перьями, глиняной посудой и бутылками от молока и керосина. По вечерам ходили в синагогу, где по знакам букв и по сумме их единиц судили о гибели династий, владычестве Англии, германском флоте и позорной смерти худшего из псов – Нестора Махно; ссорились с детьми, ибо в такое время сын никогда не пойдет по стопам отца, даже если отец прав.

Летом Западный Буг покрыт зеленой плесенью, и воздух тяжел от него, словно все утопленники всплыли на поверхность. Ерусалимцы ходили на реку купаться, отправляясь подальше, за город, чтобы никто не видел срамоты человеческой. Ерусалимец презирает свое тело.

– Бог, – говорит он, – создал человека до половины, до пупа. Отдыхая, он положил эту половину сохнуть на солнце. Тогда пришел сатана

и приклеил нижнюю половину. Нижняя половина – от дьявола, – говорит ерусалимец.

– Если верхняя половина – от бога, – спрашивает модный молодой человек из нынешних, – то почему же он всадил туда такую грязную штуку, как пищевод?

– Бездельник! – возмущается ерусалимец, – ты контролируешь бога? Типун тебе на язык!

Но бывает, что он сам, этот старовер, подшучивает над своим богом. Собирая семью в кружок, он рассказывает:

– Вы знаете, дети мои, почему мы такие нищие? Откуда вам знать, если вы еще глупые и неразумные? Однажды у бога было очень хорошее настроение. Он выпил рюмку вишневки и закусил праздничным пирогом с маком и изюмом и... словом, у него было хорошее настроение. «Ангелы мои, – сказал он, – я хочу дать всем евреям немало денег, пусть радуются». И он приказал главному ангелу принести книгу, где все записано. «Читай», – сказал он. И ангел начал читать. «Ротшильд», – говорит ангел. «Сколько у него?» – спрашивает бог. «Сто миллионов», – отвечает ангел. «Запиши ему еще пятьдесят. Дальше. «Ашкенази», – говорит ангел. «Сколько у него?» «Десять миллионов», – отвечает ангел. «Дай ему еще пять. Дальше». «Блюмберг, – три миллиона». «Еще три». Так бог набавил всем богачам. Когда же ангел дошел до нас, бедняков, бог устал, и ему захотелось спать. Вот почему мы и остались нищими, да святится имя его.

Ерусалимцы плодили детей, но о любви не думали. Любовь! Это занятие для лодырей, для студентов, для экстернов. По пятницам они читали «Песнь песней», где мужчина восторгается животом и грудями, бедрами и зубами женщины.

– Что это значит? – спрашивали озадаченные мальчики.

– Это бог, сын мой, объясняется в любви израильскому народу.

Иногда они пели хасидские песни с дурманящими юные головы словами, но пели их там столь уныло, что слова растворялись в этом похоронном звоне. В одной песне рассказывается, как один ерусалимец поехал в город Тальное, к великому равви за мудростью. Ехал он долго, спал в лесу и в поле, ел траву и дикие злаки. Ехал и не мог доехать. Разные мысли приходили ему в голову.

Кончается песня следующими словами:

Ув середу Настя,
Ув субботу Любка.
Ув середу ты моя,
Сизая голубка.

Над самым Бугом, словно на сваях, стояла халупа Исака Зельца. Этот дом можно было узнать издали, – всегда слонялась по соломенной крыше заблудшая коза. Она упорно поедала убогое строение, но хозяин не прогонял ее, как мужик не прогонит аиста. Он верил, что коза приносит счастье. Когда она очень уж шумела, и свод грозил обвалом, Зельц выходил на улицу и начинал просить животное.

– Цип-цип, козочка, глупая скотинка!

Коза редко слушалась, и Зельцу приходилось чуть ли не каждый день чинить расшатанную крышу. Пять поколений Зельцев родились и умерли на Буге и прожили дни свои в Ерусалимке. Сапожное ремесло переходило из рода в род. Прадед шил еще для обедневших польских панов. Польские собаки оставляли следы на шелковом его сюртуке, на единственном праздничном одеянии, в которое старик наряжался для панов.

И все же это было самое богатое время в родословной Зельцев. За панами пошли такие отчаянные бедняки, что они никогда не заказывали новой обуви, а всю жизнь клали заплаты.

Исаак Зельц забыл уже, как нужно кроить кожу, примерять сапог, высчитывать объем голенища. Новую обувь ерусалимцы заказывали на Николаевской улице или получали от своих американских родственников. На третий год обнажался задок, распарывались носки, лопались ушки. Тогда шли к Зельцу. С ним торговались неделю. Он назначал золотый, а в Виннице золотым называют пятиалтынный. Изумленный ерусалимец уходил молча.

– Какая же ваша цена? – спрашивал Зельц, догоняя клиента.

– О чем мы будем говорить с вами, – пожимал плечами клиент, – когда вы зазнались, Исаак. Моя цена – три копейки.

Работал он на улице, лицом к Бугу. Сам он сидел на камне, покрытом куском старой кожи, на табуретке лежал весь инструмент, и рядом стояло ведро, в котором мокла обувь. Был он весь острый, с бородкой, суживающейся книзу, и в мохнатой шапке с куполом. Ерусалимские ученики говорили, что он похож на царя Ивана Грозного. Сапожник отплевывался, хоть это и льстило ему. Жена возилась на кухне, а единственный сын, Нахман, мальчик тринадцати лет, разносил обувь и выклянчивал долги. У Зельца был еще один сынишка, но тот умер восьми месяцев от роду. Это случилось, когда Зельц был еще молодым и маловерным, – через два года после женитьбы.

Двадцать лет тому назад Винницу посетил святой человек, равви

из Умани. Он обошел все дома, поговорил с родителями и благословил детей. Он был не гордый человек и не погнушался маленьким Соломоном Зельцом.

— Этот пискун, — сказал равви, лаская младенца, — будет большим человеком. Не плачь, Соломончик. Ты вырастешь на радость своим родителям и сделаешься коммивояжером варшавской фирмы.

Зельц недоверчиво покачал головой.

— Ах, равви, боюсь я, что он будет таким же нищим сапожником, как и все наши.

Присутствующие сердито посмотрели на молодого маловера. Но Зельц недавно женился, и борода у него была еще маленькая, черная и курчавая. Равви упрекнул его за модные мысли и уехал к себе в Умань.

А на другой день маленький Соломон заболел. Он визжал так; что все соседи вышли на улицу и собрались у дома сапожника. Хромая Рейзя напоила его крепким чаем, но чай не помог. Младенец ревел и бился, как отступник, преданный анафеме.

— Это наказание, — сказали старики Зельцу, — за то, что ты усомнился в святости равви.

Позвали ветеринара, Ивана Павловича, но тот сказал, что ребенок болен русской болезнью — кликушеством — и вылечить его нельзя. Доктор Айзенштадт, из экстернов, тоже не помог. Младенец выпил все лекарство и продолжал кричать. Тогда испуганный Зельц поехал за равви и упросил его спасти ребенка. Равви согласился. Он приласкал маленького Соломона, сказал ему два слова по-арамейски, и младенец перестал плакать.

В Виннице много говорили о новом чуде и к равви поехали на другой день все бесплодные женщины, чтоб помог им родить, и все беременные, чтобы вымолил у бога легких родов, и именно — мальчика. Однако маленький Соломон умер через три месяца, но умер оттого, что братишка его,



Нахман, ошпарил его горячей водой. Через много лет Зельц понял чудо, совершенное святым человеком из Умани. В первый свой приезд равви всунул маленькому Соломону в задний проход горчичное зернышко, во второй приезд он извлек его, и этим вылечил ребенка. Понял это Зельц много лет спустя, но тогда он верил с остальными, что равви совершил чудо, и раскаялся в своем маловерии.

Русские говорят: жизнь – копейка, жизнь – сон, и многое другое. Исак Зельц знал, что жизнь – это только лотерея, такая самая, какие устраивает полковница Нечаева в пользу инвалидов в помещении женской гимназии. Конь на четырех ногах, и то спотыкается. Зельц споткнулся на почете. Он думал выиграть счастливую жизнь и доброе имя, но женщина, которая попала ему в спутницы, не сделала его счастливым, а имя оказалось побрякушкой, не способной даже утешить. Все это к тому, что Зельц женился на рябой и коротконогой девушке Мане. И взял он ее потому, что она была дочерью казенного раввина. Раввин согласился выдать ее за сапожника, так как она перезрела и Винница потеряла многих мужчин. Девушки ждали очереди, теряли последнюю свежесть, покрывались веснушками и нездоровой зеленью.

Великая штука – почет! У ерусалимцев не было голубой крови, родовых замков и дворянских книг, но общественная лестница по количеству ступеней не уступала английской. На самом верху, упираясь головой в солнце, стояли потомки Балшемтова, великого хасида из Меджибожа, ниже шли потомки того же Балшемтова по женской линии, за ними – правнуки и внуки равви из Тального, из Белой Церкви, из Радзивилова. Потом слуги их, раввины, сыновья раввинов, внуки откупщиков и шинкарей, члены синагогального совета, члены погребального братства, зубные врачи, фармацевты. В самом низу этой лестницы, униженные и забытые, валялись во прахе мастеровые.

Исак Зельц был последним. Вот почему он возликовал, когда женился на дочери казенного раввина – рябой и коротконогой Мане.

Казенный раввин умер за неделю до свадьбы от воспаления легких. В этот год Россия начала войну с Японией; несчастье ходило из дома в дом, забирая сыновей и умерщвляя оставшихся. Сначала заболел Кучернюк, железнодорожный стрелочник. За ним слегла его жена, и смерть унесла обоих. Потом эпидемия пошла гулять по Ерусалимке, оттуда перекочевала на Николаевскую улицу и Дворянскую. Умиряли евреи, украинские рабочие и польские паны, хозяева зеленых особняков, и русские чиновники, служившие в банке, в суде и в полиции. Больше всего косила смерть на богатых улицах. В Ерусалимке умер

только один мальчик. Жена кузнеца пролежала две недели и выздоровела. Русские служили молебны, евреи собирались в синагоге, объявляли траур, постились, но эпидемия не убывала.

На другой день после смерти отца невесты Исак Зельц пришел в синагогу сообщить, что он откладывает свадьбу.

– Не надо откладывать, – сказали все, – ты спасешь братьев своих от смерти.

Когда Зельц услышал эти слова, он ужаснулся, но ничего не сказал. Он знал, что они понимали под этими словами. В городе говорили уже о черной свадьбе. Искали нищих, но нищие бежали за город. Черная свадьба – это свадьба на кладбище. Винницкие евреи верили, что свадьба эта будет искупительной жертвой, и после того, как уста новобрачных сольются в поцелуе, эпидемия перестанет буйствовать. Такая свадьба устраивается на общественный счет, весь город стекается на кладбище, пьют и веселятся.

Зельц сопротивлялся, несмотря на то, что все почетные люди города умоляли его, заклинали господним именем. Он бросился бежать, но его поймали и пригрозили анафемой. Члены погребального братства обещали устроить пышную свадьбу и знатно наградить жениха и невесту. Они поклялись, что дадут ему двести рублей и откроют ему обувный магазин в торговых рядах. И Зельц согласился.

Жениха и невесту одели во все черное. Плачущих и скорбных, повели их на кладбище, где пристроили балдахин. Все певцы и музыканты были здесь. Община не пожалела денег, и всякий, кто хотел, мог есть и пить. Бочки с крепким литовским медом стояли на земле. Пузатые бутылки с вишневым соком и лимонной водкой опустошались в несколько минут. Закуска была, как у графа Потоцкого. Праздничные копчености и соленья, жареные гуси и индюшки, золотистый бульон с клецками, сахарные пряники с орехами, желтые калачи с изюмом, финиковые плоды и рогатые, скрюченные, как болезнь, рожки.

Стояла ясная осенняя погода, но траурная, как месяц Элул, месяц рыданий по усопшим. В этот день город был мокрый от слез. И заливистей всех голосили деревенские бабы, приведшие сыновей к воинскому начальнику. Через несколько дней их должны были отправить на войну. Новобранцы слонялись по городу с безумевшими лицами, оставливали извозчиков, били стекла и пели дикие песни, пахнувшие убийством. Конная полиция сопровождала их сзади.

В последнюю минуту сбежала невеста. В шелковом кринолине и черной фате спряталась она за мусорным ящиком, с другой стороны кладбищенской ограды. Она вырвала из своей головы клоки волос,

нанизала его на указательный палец и стала грызть. Лицо ее пламенело от тяжелой обиды, глаза округлились, и эта коротышка, шагавшая всегда по улице с таким видом, словно у нее от судорог сведен живот, была в этот день хороша и соблазнительна.

Ее нашли в обморочном состоянии. Женщины сделали ей массаж, окатили холодной водой и привели ее в чувство. Они рассказали ей, что дядя ее, старый резник, слег утром в постель. Он сухо кашляет и сгорает от собственного жара. Они ползали перед ней на коленях, царапали себе щеки и ломали руки так, что кости трещали, как угли в печи. Рябая Маня согласилась, но в пути бросилась бежать и упала в канаву. Сонные собаки набросились на нее и лениво изодрали ей кринолин и фату. Тогда женщины привели своих детей, многие приволокли больных младенцев, ввавших в забытье. Они тыкали ребят ей в лицо, и дети пищали нечеловеческим писком, словно они подражали отчаявшимся новобранцам. Невеста опустила голову и в измызганном своем тряпье пошла под балдахин. Она двигалась легким шагом, шагом газели или сомнамбулы. Увидев жениха, она замахала на него руками, как полоумная.

Благословение состоялось вечером на могилах самоубийц, заросших дерном. Это было удобное место – ни памятников, ни курганов. Желтая площадка топорщилась буграми, и ничто не указывало здесь чьи-то могилы. Община запретила высекать имена грешников.

Синагогальные служки притащили большие столы, их накрыли скатертями из черного сукна, поставили четыре медных подсвечника и зажгли похоронные свечи. Музыканты исполнили траурный гимн, все наплакались вдоволь и сели ужинать. Здесь кончилась не-веселая часть свадьбы.

Синагогальные служки откупорили бочки с литовским медом, бутылки с наливкой и водкой, и первые пустились в пляс. Женщины сбросили с себя платки и, потрясая накладными волосами, сцепились в сатанинский хоровод. Мужчины качались на ногах, били посуду, строили циничные гримасы и чокались с женихом. Они кричали «горько» и толкали жениха к невесте. Рябая Маня отодвигалась, но женщины толкали ее с другой стороны.

Исак Зельц ничего не пил и не ел. Он чокался и выливал содержимое под стол. Он прикасался синими губами к снеди, обнюхивал ее и бросал кладбищенским псам. Псы выли, как нанятые. Часто вой их заглушал постыдную дробь барабана и льстивую жалобу кларнета. Исак Зельц не смотрел на невесту; в этот час он забыл ее лицо, ему казалось,

что рядом с ним сидит Лилит, красивая и безобразная родоначальница бесов, владычица ада, наглая любовница Вельзевула.

Зельц видел впереди себя мрак, но в мраке этом просвечивала светлая полоска. Он будет торговать мужицкими сапогами, гвоздями, дегтем и смальцем. Он закажет маляру большую вывеску голубого цвета. Громадными буквами будет написано: «Исак Зельц, торговля обужей». Каждая буква будет изображать какой-нибудь предмет: то голенище, то ушко, то дратву или банку с густым дегтем. Сам он оденется в белый пиджак и белые штаны, а жену нарядит в розовое. Он начал считать, во сколько обойдется ему его костюм и женино платье. В это время его прижали к невесте.

Забывшись, он посмотрел на нее. Она опустила глаза и подвернула под скамейку свои короткие ноги. Похоже было, что сидит калека.

– Меня толкают, – сказал Зельц и спрятал от нее свои глаза.

– Да, – сказала Маня.

– Большая беда, – сказал, вздыхая, Зельц.

– Лучше смерть, чем такая жизнь, – ответила Маня.

– Бог за такие мысли наказывает, – сказал Зельц.

Гости сжали их и, сомкнувшись, они узнали друг о друге, что каждый нагрет, как резиновый пузырь, в котором переливается кипяток. Исаку казалось, что он болен и ему прикладывают к голове согревающий компресс. Они видели оба, как один член погребального братства обходил именитых гостей с подписным листом. Гости торговались с ним, член погребального братства говорил «десять», гости отвечали: «Три. Честное слово». Это собирали деньги на обувный магазин для новобрачных.

Когда свадебный шут встал, чтоб побалагурить насчет виновников торжества, все гости были уже пьяны. Они полулежали на скамейках со слипшимися глазами и тяжело дышали. Осоловевшие музыканты совали им в нос соломинки и поджигали их. Сонные гости чихали, и барабанщик, крича «будьте здоровы», отбивал дробь. Свадебный шут, рослый, как хохол, еврей, снял с себя сюртук, закатал рукава рубахи и начал весело балагурить. Вся Винница знала этого весельчака, о котором говорили, что он старше Мафусаила, и которого прозвали за его талант «Рифма-Пифма, сшей мне кафтан». Он начал нараспев:

– Наша невеста – сладкое тесто, она мнется и гнется и никому не дается; наш жених – спокоен и тих, он любит ее, как псих, счастье для них, а для нас – жидкий квас с кислыми огурцами, маринованными кукишами и крысиными пирогами. Лейте в глотку крепкую водку, закусывайте кренделечком...

Тут свадебный шут пустился в пляс. Плясал он, как хохол, приседая и притоптывая. Он не переставал балагурить, распевая свои шутки на синагогальный манер, тонким голосом с завитушками на верхних нотах. Приподнявшись, он посмотрел на всех высокомерным шутовским взглядом и осторожно, чтобы не задеть ермолки, снял фуражку и направился к столам за мздой. Он сделал два шага, весело оглянулся и, поблуднев, как самоубийца, уронил фуражку. Живот его испуганно и гулко забурчал, как у чревоушателя, изо рта его выполз притушенный крик, он быстро схватил свой сюртук и побежал к ограде. Сонные гости добродушно засмеялись, привстали и, опрокинув скамейки, понеслись за шутком. Женщины закричали, спотыкаясь и роняя детей.

Из-за деревьев двигалась партия новобранцев. Они шли сомкнутым строем, забегая вперед по одному, хмельные, красные, лохматые, с белыми глазами, столь белыми, что они казались слепыми. Впереди шел коновод, широкий и пестрый хохол, яркий, как русская картинка. Он играл губами на маленькой гармонике, слюнявя ее и жуя.

Гости, служки и музыканты толпились у ограды. Цепляясь друг за друга, они взбирались по невысокой, но голой стене, воровато оглядываясь. Пиршество было покинуто, словно гнездо прокаженных. Только жених и невеста не вставали с места. Они не отодвинулись даже друг от друга, хоть никто их сейчас не толкал.

Новобранцы набросились на напитки и снедь с такой яростью, словно этот вечер был кануном светопреставления.

— Хватай до купы, — сказал коновод гнусавым голосом, так как гармоника закрывала ему рот.

Пятеро ребят сгребли жениха и потащили вглубь кладбища, к могилам третьего класса. Зельц не сопротивлялся. Коновод выплюнул гармонику и подсел к невесте. Он сжал ее, как деревенскую девку, и сказал, гарцуя:

— Чем не жених, паненко?

Не понимая его языка, Маня уставилась на него дурашливым и невинным взглядом. Она притворилась еще более дурашливой и невинной, чем была. Невинность — защита женщины, и коротышка выпустила ее вперед, как еж выпускает иглы, кошка — свои когти, сосна — липкие соки.

Но новобранец, которого не пугали ни иглы, ни когти, ни липкие соки, посадил Маню на колени и стал щипать ее, как гулящую. Девушка немощно застонала; она защищала кулаками свои губы, к которым тянулся мужик, хмельной и махорочный, пропахший всеми запахами конюшни.

— Послужи на пользу отечества, — убеждал девушку новобранец.

Он подбросил ее и схватил на лету. Потом опустил на землю и, встав из-за стола, потащил вглубь кладбища. Неожиданно она обратила к нему свое лицо и, покрывшись фиолетовой краской, краской гнева, спросила на ломаном языке:

– Как тебя зовут, солдат?

– Павло, – ответил он добродушно.

– Так будь же ты, Павло, проклят. И родные твои, и дети твои, и мать твоя, и отец твой... – вскричала она на родном своем языке.

Новобранец сперва смотрел на нее с веселым любопытством, потом понял, что девушка проклинает его и злорадно показал ей язык.

– Мабуть, ти, дівко, лаещя? Солдатскую честь позоришь? Ах, ти, жидівка!

И Павло, раскипятившись, свистнул команде.

– Хватай до купи, хлопці!

И веселая команда пришла на помощь.

* * *

На другой день винницкие жители выразили молодоженам свое сочувствие, утешили стихами из священного писания, но о подписанном листе забыли.

– Черная свадьба, – говорили в синагоге горожане, – была устроенная напрасно. Прелести новобрачной достались солдату. Видно, господь не захотел принять искушительной жертвы.

И Зельц остался бедняком, черным мастеровым, что кладет заплаты и с лихом запанибрата. Он не получил своих двухсот рублей и обувного магазина в Торговых рядах. Вместо почета – позор, и гнить ему до конца дней своих на последней ступени высокой лестницы, на самом верху которой, головой упираясь в солнце, стоят потомки великого Балшемтова из Меджибожа.

IV

Зимой Маня сказала мужу, что ее мутит, голова кружится, одолевает усталость. Прошли сроки нечистых кровей, луна состарилась и снова помолодела. Зельц угрюмо посмотрел на ее живот, еще обыкновенный, еще не округлившийся, на живот, спрятавший в своих темных лабиринтах загадочное существо. Загадочное потому, что Зельц не знал, чья кровь дала жизнь этому существу. Будущий младенец часто снился ему. Иногда у него было лицо солдата, белое, прыщеватое, со спущенными усами. Чаще всего он видел его мертвым, вокруг него суетились равнины и священники; они спорили,

на каком кладбище похоронить преставившегося. Священники крепко держали маленькую головку, раввины таскали за ноги, угрожая и крича. Просыпаясь в полночь для полуночных молитв, Зельц вздыхал и смотрел опасливо на спящую Маню. Сроки истекали, скоро бог покажет лицо нового человека. Игра вслепую.

«Да, – думал Зельц, – жизнь это только лотерея. Рука, опущенная в урну, дрожит и сердце трепещет, словно его отделили от тела, и лежит оно на ладони хирурга. Кто знает, что написано на билете? Может быть «пан», а может и «пропал». Плоть от плоти твоей или семя чужого?»

Судьба нижег беды, как жемчужины. Она сплетает один клубок и вешает человеку на шею. Чтобы человек не задохнулся, она дает ему передохнуть и отпускает изредка порцию земного отдыха, порцию земной радости. Роды были легкими, мать улыбалась, она не знала забытья и судорог. Повивальная бабка открыла дверь в кухню, где спрятался Зельц и сказала.

– Поздравляю, Исак. Вы получили мальчика, и он похож на вас, как фотография. С вас магарыч.

Только тогда вошел Зельц в комнату и увидел розового человечка с острым лицом. Он узнал свою плоть в этом сморщенном несмышленьише, и слезно засмеялся. Маню успокоила радость мужа. Она знала его мысли, хоть они не разговаривали об этом, и часто смотрела на свой живот, стараясь угадать, что спрятано там. Лотерея жизни не без выигрыща. На этот раз Зельц вытащил не пустой билетик, а купон с печатью и номером.

Ребенка назвали Нахманом, что значит – утешитель. Он утешил своих родителей и себя. Он мог родиться врагом и палачом, но выполз другом и утешителем. И заслужил большую любовь родителей, которые смотрели ему в глаза, как псы. Зельц совал ему свою курчавую бородку, и маленький деспот мог выщипывать оттуда какое угодно количество волос.

Маленький деспот, маленький ангел, маленький наследник, пусть жизнь твоя будет густая и сладкая, как литовский мед!

Но пожелания родителей не добрались до седьмого неба, где сидит сам всевышний. Они застряли где-то между третьим и четвертым небом, среди ленивых праведников, положивших слова Зельцев под спуд и забывших о них, как чиновник забывает о прощении инвалида. Нахман дышал плохим воздухом, носил рвань и питался хлебом нищих. В десять лет он понял, что отец его бедняк, что есть хорошая жизнь, что люди живут лучше. Он понял это из книжек. До книжек он видел еще замок пана Ксидо Владовского в Хмельнике. Мать поехала с ним

на праздник кушей к родственникам, и отпустила его погулять. Над речкой, огражденный каменной стеной, стоял высокий польский замок. От замка к мосту тянулся липовый сад, на лужайках сада веселились дети; один мальчик был одет в атласный камзол с серебряными побрякушками. Он играл на скрипке, и девочки хлопали руками. В замке всегда звучала музыка, радостная, пасхальная. Маленький Нахман вспоминал эту музыку и грустил, как взрослый.

С русскими книжками он познакомился в десять лет, когда у него образовался собственный капитал.

– Нахман, – говорила мать, – сбегай в лавку за сахаром.

Она давала ему четырнадцать копеек, и Нахман, вместо того, чтобы купить сахар в Ерусалимке, отправлялся на Николаевскую улицу, в Офицерский Экономический Магазин, где сахар стоил тринадцать копеек. Сахар Зельцы покупали каждую пятницу, и каждую пятницу Нахман зарабатывал копейку. Тогда он уходил на толкучку, к сумасшедшему Айзику Шацу.

Теперь толкучки этой нет уже. На огромной площади, вымощенной диким камнем, расположился зверинец и деревянный балаган с китайскими фокусниками и индийскими престижджитаторами. Но тогда толкучка шумела, как машина. Она помещалась за церковью св. Михаила, у лестниц которой старые дамы в трауре дарили ребятишкам поцелуи и леденцы. Площадь пахла дегтем, романовскими полушубками и субботним соусом. Нахман не знал, сколько было там лотков с шашлыком и шинкованной капустой, сколько магазинов с готовой обувью и румяными приказчиками и сколько карманщиков (так называют в Виннице воров) слонялось по рынку. Он знал, что на левой стороне, возле торговли старым бельем, было пять книжных лавчонок. Из них одна научная, две – религиозные и две – литературные. О, чего только не было у Айзика Шаца, старого чудака и мечтателя! Он дневал и ночевал в своей лавчонке; в синагоге появлялся редко. За мечты его и пустопорожние разговоры винницкие жители прозвали его Сновидением.

– Сновидение покрасил крышу.

– Сновидение внес пять золотых в пользу бесприданниц.

– Честь и слава! Сновидение идет.

Шац брал за прочет копейку. Читатели сидели возле лавчонки, подвернув под себя ноги, как турки. Изредка Шац выходил на улицу и спрашивал Нахмана.

– Интересно?

– Страшно. Он на ней женится, господин Айзик?

– Кто он?

– Герцог Колонна.

– А! Женится, только не скоро. После того, как Гарибальди выйдет из тюрьмы, и...

– Ах, не рассказывайте, господин Айзик, – вскрикивал Нахман, – вы мне все удовольствие испортите.

– Зачем же ты, щенок, спрашиваешь? – улыбался Шац, – смотрите-ка, он раскричался, этот молодой человек. Еще молоко на губах не обсохло, а спрашивает. Мне один убыток. Знаю я вас, воришек, шарлатанов, карманщиков...

Нахман пропадал на толкучке целые дни. Отец догадывался, что делает сын и прощал. Мать пилила, проклинала, плакала, но все же он был единственным. Единственному сыну родители все прощают. Мальчик сдружился с Шацом, торговец рассказывал ему бесплатно разные истории и хвастался.

– У меня, молодой человек, как в Офицерском Экономическом Обществе. Все, что угодно для души и для глаз. От «Пещеры Лехтвейса» и до «Ник Картера». А Вальтер Скотт, а Пушкин, а графиня нищая, а Шайкевич...



С толкучим рынком связана была у Нахмана первая и единственная любовь. Он полюбил русскую женщину. Этот грех простится ему, ибо женщина эта была мертва.

— Шарлатан, — говорил Нахману Шац, — что ты нашел в этой книжке? Где это видано, чтобы каждый день читать одно и то же. Что это, песнь песней или пирожок с маком?

Перед тем, как приниматься за чтение большого романа в 74 выпусках «Палач города Берлина», Нахман спрашивал «Старосветских помещиков» Гоголя. Это была маленькая книжка издания Павленкова, с предисловием, примечанием и двадцатью пятью иллюстрациями. На двадцати четырех Пульхерия Ивановна, русская помещица, гуляла, спала и умирала. Двадцать пятая изображала молодую жену игрока, лежащую на смертном одре, как ангел. Так было написано под рисунком.

Нахман знал женщин, ходивших с ним и его мать в баню, знал офицерских жен, покупавших в магазине, и акушеров, проживавших на Николаевской улице. Все они были простые, толстые и крикливые. И вот он в первый раз увидел бледную и молчаливую женщину с печальным лицом и большими черными косами. Она была в белом платье, гибкая, как скрипка. такой он воображал себе герцогиню Колонну. Нахману захотелось любить. Прячась от Шаца, он убежал с книжкой за ветошный ряд. Там он открывал шестнадцатую страницу, впивался в нее глазами, целовал и плакал. Потом бережно вытирал рукавом следы от поцелуев и слез и принимался за сорок восьмой выпуск романа «Палач города Берлина».

Когда Нахман дома заговаривался, отец бросал на него косою взгляд, упрекая сына, но в душе он был доволен. Мать негодовала.

— Новый Шац на мою голову.

Но мальчик выучился читать по-русски, как чиновник, он сказывал стихи наизусть, быстро и не останавливаясь, как адвокат. Родители вспомнили о святом человеке из Умани и его предсказании. Получается, что мальчик будет коммивояжером. В одном только ошибся равви. Он обещал счастье другому сыну, пребывающему в небесах. Кроме того, мальчик не может быть коммивояжером варшавской фирмы, если Варшава вот уже второй год, как занята немцами. Войны наступили на земле. Еще совсем недавно дрались с японцами, нынче новая беда. Немцы и австрийцы, и турки, и болгары, весь мир ополчился на Винницу. Правда, газеты пишут, что немцев скоро прогонят, и русские возьмут Берлин, от немцев останется один колбасный запах и продырявленная каска, которую казаки залатают и станут варить в ней гречневую кашу. И тогда Нахман поедет в Варшаву. Он поступит мальчиком к какому-

нибудь знаменитому коммерсанту. Коммерсант удивится, что он, такой способный мальчик – не мальчик, а золото, – бегаёт по поручениям. Он позовет его к себе в кабинет, закроет дверь и скажет ему:

– Садитесь, пожалуйста, господин Нахман. Я вижу, что ошибся...

Бедный мальчик побледнеет, и коммерсант возьмет его за руку.

– Я ошибся, господин Нахман, в другую сторону. Не мальчиком вы должны у меня быть, а приказчиком. Я вижу, что вы из очень порядочной семьи. И я сделаю вас, господин Нахман Зельц, своим коммивояжером. Какое жалование вы хотите?

Мальчик захочет открыть рот, но коммерсант остановит его:

– Хотите пока пятьдесят рублей? И куртажные, разумеется. Я доверяю вам, как собственному сыну. Я ошибся, и как ошибся! Думал, что взял голодранца какого-то, а оказалось, что из порядочной, из очень порядочной семьи.

И Нахман отпустит себе коммивояжерские усы, он будет закручивать их и мазать фиксатуаром. Когда имеешь дело с купцами, надо выглядеть, как купец. Пусть думают, сукины дети, что ты в Варшаве свой человек, в паспорт они ведь смотреть не станут. Нахман купит себе серебряный портсигар и золотые часы и закажет шелковый зонтик. Все будут завидовать и говорить: «Счастливы родители, имеющие такого сына. Это порядочные люди».

Исаак Зельц бросит свои колодки в Буг и купит на десять лет точное место в синагоге, он прибудет к парте медную табличку «Исаак Зельц сын Натана Зельца», и нищие будут ходить вокруг него и лстыть ему, как проклятые.

Но Варшава все еще была у немцев, а двенадцатилетний Нахман о коммивояжерстве не думал вовсе. Он познакомился в Офицерском Экономическом Обществе с девочкой Катей, дочерью городского. Однажды, получив свой фунт сахара, Нахман бросился бежать и свалил с ног Катю. Она держала в руках пакет с рисом и десяток яиц. Рис рассыпался, яйца разбились. Катя отошла в угол, как наказанная, и заплакала. Нахман не двигался с места. Девочка опомнилась, приблизилась к нему и ударила его по лицу.

– Жиденок, – вскричала она, заливаясь слезами, – ты понарошну пихнул меня.

– Не, ей богу, – стал Нахман оправдываться, – я нечаянно, барышня, ей богу, барышня!

Нахман купил ей рису и яиц на свои тайные деньги. Он давно прочел все книги Шаца и теперь ходил в народную читальню общества трезвости. Деньги он копил для покупки ружья Монте-Кристо.

Собралось тридцать копеек, которые сейчас ушли на Катю. Девочка стала ласковой и добрей. Первое – мама не будет бить, второе – мальчик назвал ее барышней и очень этим угодил. Барышней ее не называл никто, несмотря на то, что она училась в гимназии, носила синий сарафан и весной ей исполнилось тринадцать лет.

– Проводи меня, потом я тебя провожу, – предложил ей Нахман.

– Нет, ты меня сначала, потом я тебя, – ответила Катя.

– Я не могу. Дома чай стынет. Мама ждет сахара.

– Ну, тогда я подожду здесь.

Нахман отнес домой сахар и вернулся в магазин. Она жила на Литинском шоссе. Он шел сзади и хвастал.

– Пусть кто-нибудь тронет тебя, я ему тогда морду набью.

– Не набьешь, – сомневалась Катя.

– Набью. Ей богу, набью.

– А он из тебя лепешку сделает.

– Духу мало, – сказал Нахман и свистнул, как гимназист.

Катя потащила его к себе домой и познакомила с двумя сестрами, Зиной и Шурой. Зине шел тринадцатый год, Шуре – пятнадцатый. Они мечтали уже о женихах и на каждого знакомого мужчину, от десяти до пятидесяти лет, смотрели как на суженого.

– Симпатичный, – шепнула Шуре Зина, – большие глаза и жгучий брюнет.

– Жиденок, – поморщилась Шура.

– Как тебе не стыдно! – шепнула Зина, – какая же ты после этого толстовка.

Девочки поговорили с Нахманом, спросили его, какие у него убеждения, и Нахман ответил, что хочет быть итальянским революционером. Последняя книжка, прочитанная им, была «Жизнеописание Гарибальди». Девочки склонили его записаться в толстовский кружок, в котором пока, кроме трех сестер, никого не было еще. Нахман охотно согласился.

Скоро пришел отец, городской, понимавший по-еврейски (в его присутствии евреи



разговаривали по древнееврейски), георгиевский кавалер. Он схватил Нахмана за шиворот и выбросил его, сказав:

– Ишь ты, сопляк! Мутить пришел.

Нахман, однако, продолжал ходить. Он являлся в утренние часы, когда городской стоял на посту. Шура читала вслух Толстого и Вербицкую. Потом каждый высказывал свое мнение, а Катя все записывала. Мать скрывала от мужа приход мальчика. Отец угрожал поубивать всех на месте, если застанет в своем доме жиденка. Он догадывался, что мальчик приходит, но никак не мог его изловить. В последний день февраля городского вызвал к себе околоточный надзиратель. Он запер дверь и ткнул ему бумагу в нос.

– Вот тебе! Читай, прохвост.

– Малограмотный, – пожаловался городской и стал разбирать написанное по складам: «все-лю-ди-бра-ть-я, нет ни-бед-ных, ни бо-га-тых...»

Городовой покраснел и опустил глаза. Он узнал почерк своей средней дочери, Кати.

– Понял, прохвост? – спросил околоточный.

– Понял, ваше благородие, – ответил городской.

– Не прекратишь – приставу доложу. Жиденка искорени, чтоб духу его не было.

– Искореню, ваше благородие.

Вернувшись домой, городской разгромил весь дом. Он побил жену, а она, валяясь у его ног, просила прощения. Потом высек всех дочерей, которые обещали ему, что больше не будут, и украдкой показывали язык. Он оплевал Катину тетрадку, изорвал ее в клочья и сжег. На другой день он не пошел на пост, а спрятался за дверь и стал подкарауливать Нахмана. Девочек он запер в чулан.

Городовой был сердит и мрачен. Если околоточный пожалуется приставу, его лишат службы и отправят на позиции. Надо же было так случиться, что писарь послал жену к Зельцу за деревянными гвоздями. Зельц завернул эти гвозди в бумажку. Будучи хорошо грамотным, писарь читал все, что попадалось ему на глаза: вывески, афиши, клозетную бумагу, обертки. Он прочел и эту бумажку, прочел, изумился и пошел с ней к околоточному. Околоточный прочел, вознегодовал и поручил это дело своему помощнику. Помощник добрался до сути, и тогда околоточный вызвал городского.

Нахман постучал в дверь. Городовой открыл ее, пряча свое лицо. Нахман бросился назад, но повис в тяжелой руке городского. Георгиевский кавалер избил его в кровь, сгреб под мышки и понес домой

к родителям. Околоточный разрешил ему оштрафовать Исака Зельца и сделать выговор с предупреждением.

Он был так взволнован и сердит, что не заметил даже беспорядков на улице. Какие-то гимназисты пели во весь голос, люди поздравляли друг друга и говорили громче, чем всегда. Кто-то бросил в спину ему снежный ком и закричал;

– Фараон!

На Николаевской улице его окружила толпа. Он продрался сквозь нее, не желая упустить мальчика и стараясь запомнить отдельные лица. Он предчувствовал хорошую жатву. Околоточный простит его и будет еще благодарен.

В Ерусалимке евреи насмешливо смотрели на него. Никто не кланялся, только юродивый Герц замахал руками и бросился бежать, крича:

– Городовой идет! Пожар идет! Вода идет!

Зельц не встал со своей кожаной табуретки, когда городовой вошел.

– Что надо, пане? – спросил он, – отпустите мальчика, пане. Человек не игрушка. С ним нельзя так обращаться.

– Вот ты как! – вскричал, бледнея, городовой, – за такие слова я тебя в участок посажу. Барахло твое все в реку поскидаю.

– Потихе, – сказал Зельц, улыбаясь, и, подойдя к нему поближе, посмотрел ему в глаза и спросил. – А знаете ли вы, пане, что в России нет больше царя?

V

Кучка зевак собралась в самом центре Екатерининской площади, у фонарного столба. Собственно говоря, не просто зеваки, но любопытные люди. Один, например, был наборщиком типографии «Мысль Революции», квалифицированным машинистом, работавшим десять лет на линолите, другой – кассиром кинематографа «Циклон», третий – безработным конторщиком, состоявшим три года на учете биржи труда. Кроме них были еще моссельпромщицы, торговки яблоками, два газетчика, худощавые мальчики, укутанные ватной рванью. Они перекрикивали друг друга, и голос одного из них задыхался в гортанных звуках.

– Вечерняя Крхасная газета! Вечерняя Крхасная газета!

Зарывшись носом в сугроб, лежал человек в кожаной куртке и сапогах. Рядом с ним валялась большая папаха с наушниками. Над ним стоял смущенный милиционер. Он дергал его, отрывал от сугроба, но тот плюхался в него с новой силой и зарывался еще глубже.

– Вставай, голубчик, – убеждал милиционер, – некогда мне с тобой канителиться. Вставай.

– Пьяный, что ли? – спросила моссельпромщица.

– Бог его знает, – ответило несколько человек сразу.

– Монополька хорошо работает, – сказал конторщик, – почему не пить, если сама власть в рот сует. На, пей, советский гражданин, не обопьешься. А обопьешься – на губу пожалуйте.

– Власть то тут не при чем, – сказал наборщик, – рази его заставляет кто? Нравится тебе напиток, ну и выпей за обедом. Меру знать надо, от лишней рюмки все зло на свете происходит. Сами мы, как свиньи. Скажем, пригласил ты меня к себе в дом, – обратился он к конторщику, – накормил, напоил, а я вместо того, чтоб спасибо хозяину сказать и домой пойти, обрыгал все простыни и насвинил, как последняя. Кто тут виноват, скажи мне. Я буду виноват, а не хозяин, он мне добра хотел. Вот как я думаю, понимать надо.

Милиционер сокрушенно качал головой.

– Мне скоро сменяться, вот еще. Ты вставай, дружок, чего в самом деле канителишься?

Он свистнул, но в ответ не услышал ничего. Соседнего милиционера не было на посту.

– На Селезневку пошел, видно. Как мороз, так пьяных видимо невидимо. В отделении ругаются. Дежурный кричит: «Ну вот, привел, а куда я его ткну, если у меня все камеры, как бочки набиты?». И мне дела нет. Я привел, а ты возьми его у меня. Мне опять на пост идти надо.

Он сердито вцепился в лежащего человека и дернул изо всей силы. Тот забился, выбросив руки вперед и дрыгая ногами в сапогах. Толпа рассмотрела его.

– Армяшка, что ли? – спросила моссельпромщица.

– Цыган, – ответил конторщик, – у нас теперь их целый табор стоит. «Цыгане шумною толпой по Марьиной Роще кочуют», – пропел он и рассмеялся.

Мимо сугроба проехал извозчик. Заметив, что милиционер возится с пьяным, извозчик натянул вожжи и погнал лошадь вовсю. Эту сцену заметили два извозчика, сонно дремавшие на углу Селезневки. Они чмокнули и, не оборачиваясь, быстро поехали вниз по Селезневке.

– Сукины дети, – выругался милиционер, – знают, где собака зарыта.

– Никому даром работать не хочется, – улыбнулся кассир.

В это время цыган быстро вскочил и схватился за кобуру милиционера. Толпа вздохнула и испуганно отпрянула. Милиционер запустил свою руку цыгану за спину и сжал шею приемом джи-джитсу. Потом он подставил ему ногу и цыган снова упал.

– Помогите, граждане, – обратился к публике милиционер, – платишься ты у меня, голубчик, за сопротивление.

Публика стала пятиться назад и незаметно расходиться. Милиционер повторил еще раз свою просьбу, и оставшиеся смущенно выступили вперед. Он выбрал передних мужчин – наборщика, кассира и конторщика – и стал распоряжаться. Волоча упирающегося цыгана, они пересекли площадь и потащились по Селезневке. Встречные извозчики поворачивали оглобли и скрывались в переулки.

– Бунтовал? – спросил милиционера кассир.

– Беспокойный, – устало ответил милиционер, – евреев ругал: «резать, – кричит, – буду». Вояка нашелся!

– Что же, пожалуйста, – ехидно сказал конторщик, – уж и еврея выругать нельзя?

– То еврея, – сказал наборщик, – а то он всю нацию трогает. На одном обжегся, и всех чистит. Это от необразованности. Скажем, пришел я к тебе в гости, вот ты русский человек, и вместо того, чтобы меня принять, накормить, напоить, – в лицо плюнул и пальто забрал, да собаку с цепи спустил. Должен я тебя ругать последними словами и матерно, и так, и как хочешь? Должен. А должен ли кричать, что кацапов всех вырезать надо и сволочи все? Не должен. При чем тут, товаришок, нация? Не при чем.

– А по моему мнению и глубокому убеждению, – сказал конторщик, – от евреев очень много вреда. Понаехали в Москву со своими тателемамеле, все должности заняли, всех родственников понасажали, куда ни ткнешься, не беруг. Своих выписывают из местечек. В местечках этих напугали их, вот они и прут сюда, и прут, и прут, и прут...

– Местечки, местечки, – заговорил все время молчавший цыган и перестал брыкаться.

– Нужда гонит, – убедительно произнес наборщик.

– Поехали бы себе в Палестину, вот как я думаю, – сказал конторщик, – чужая страна их ни за что не примет. В Польше их тоже, небось, по головке не гладят.

– О Польше разговор короткий, – вмешался милиционер, – подлая страна.

Кассир стал закуривать на ветру. Все остановились. Он зажигал по две спички сразу, они вспыхивали и гасли. Милиционер предложил зажигалку. Ветер зашвырял всех пятерых снежной пылью. На просторное селезневское небо выкатилась молодая луна.

– Их и в Палестину не пускают, – сказал кассир, – там арабы. Вот где царство ихнее, в Америке. Там, говорят, шестьдесят миллионов евреев. И президент – сродственник их.

– Это вы, гражданин, ошибаетесь, – сказал конторщик, – их всего двенадцать миллионов. Если б шестьдесят было, то всех бы нас давно с потрохами съели.

– Напрасно вы так, товарищи, – огорченно произнес наборщик, – это все от царизма осталось. Еврей – трудящийся человек, как и наш брат.

– Трудя-ящийся! – иронически протянул конторщик, – на той неделе один профессор в консерватории доказывал, что еврей работать не любит. Видали вы где, чтоб еврей работал?

– У нас в типографии есть, – сказал наборщик.

– Директор, небось, или табельщик?

– Стереотиперами работают, и на линотипах есть. И вручную три человека в акциденции.

– Это у вас напоказ, чтоб очки втереть. Еврей по натуре своей паразит, еще профессор доказывал.

– Какой профессор? – недоверчиво спросил милиционер.

– Стрючников Алексей, министр бывший, не простой человек. «Русская девушка, – говорит, – на морозе стынет, а еврей в ларьке сидит и лампу себе зажег, греется».

– Не погладят его за это по головке, профессора-то, – сказал милиционер.

– Да, – промывчал кассир, не знавший с кем соглашаться, – контра вроде. Травить тоже не следует. Колесо назад крутить не годится, один конфуз выйдет.

– Сейчас и евреи крестьяне есть, что на земле работают.

– Им, говорят, лучшую землю отдали, – робко сказал кассир.

– Напрасно вы так, товарищи, – спокойно произнес наборщик, – я ту землю знаю, проклятущая земля, одна соль да песок. Все хохлы от нее поотказывались. Сухая она, как полено, хоть огонь высекай.

– Поневоле поедешь, – сказал конторщик, – если в местечках их так напугали, что хоть к чорту на рога полетишь.

Цыган радостно закивал головой. Наборщик неожиданно покраснел, раздул ноздри и, сердито посмотрев на конторщика, сказал:

– А ты-то сам много земли запахал, хлебопашец!

Кассир сочувственно улыбнулся. Смущенный конторщик собрался ответить, но в это время милиционер открыл дверь и, подтолкнув цыгана, весело сказал.

– Пришли.

И все пятеро поплелись гуськом в дежурную комнату восемнадцатого краснопресненского отделения милиции.

Исак Зельц стоял на мосту и смотрел.

Грохоча и разваливаясь, проезжали фуры, тачанки и немецкие шарабаны. Кузова тяжело подпрыгивали и еще тяжелей падали на колеса. Деревянный настил трещал и в некоторых местах шпалы лопались вдоль, словно в них вбивали клинья. Молодые парни лежали на досках и в ящиках одноколок, спустив ноги. Они были укрыты овечьими полушубками и дремали. Бабы, возлежавшие рядом, копались в мешках, наводили порядок и что-то считали. По бокам неслись рысью сборные кавалеристы. Лошади были самые разнообразные. Один проскакал вперед, догоняя передовых, на сером беговом коне. У других были пегие и черные лошади, низкорослые, деревенские с опухшими туловищами, упавшими на тонкие и перевязанные ноги. Сзади показались немецкие жеребцы с коротко остриженными хвостами и упругими, туго обхваченными кожей ногами. Петлюровские войска въезжали в город.

Победители вели себя так, словно они мчались не по завоеванному городу, а вернулись в давно надоевшее место. Жители напрасно посылали свои покорные улыбки и восхищение. Один только парень, совсем молодой, стал разряжать по дороге винтовку. Он поставил приклад на колено и щелкнул затвором. Матери спешно оттащили своих детей и спрятались в подворотни. Мужчины отступили, продолжая улыбаться и нагнув головы. Парень рассмеялся и закрыл затвор. Обойма с пятью патронами мелькнула в воздухе и упала на землю. Парень почесал за ухом, жалобно поглядел и махнул рукой. Следующие фуры проехали по обойме и сплющили патроны. Из одной гильзы выкатилась пуля и высыпался порох. Пуля покатила назад и упала в реку.

«Смерть утонула», – подумал Исак Зельц и вздрогнул.

Ему представилось на минуту, что эта пуля предназначалась для него. Каждому человеку суждена своя пуля. Это хорошая примета, что свинцовая смерть утонула на его глазах.

Мелкий дождь, светлый и пушистый, похожий на росу, ложился на землю. Он сейчас же высыхал, оставляя только черные крапинки, редко разбросанные.

Один всадник снял с головы цилиндр и вытер его краем полушубка. Он вытащил из-под седла папаху и спрятал цилиндр за пазуху.

– Помнешь, – сказал голос из тачанки. Всадник растерялся, потом снова надел цилиндр и поверх него папаху.

– Вот так лучше будет, – сказал тот же голос.

– Вова приспособился, – ответил всадник и дернул повод. Он отстал на три сажени от передних товарищей.



Войска входили в город так, словно это был сплошной обоз. Все смешалось в кучу. За фурой с мешками муки, самоваром, кучей сапог и мясными тушами тащилось орудие, которое волокли три пары рослых лошадей. За орудием – одноколка с печеным хлебом, за одноколкой – тачанка с пулеметом. Почти на каждой повозке лежала гармоника. Никто не играл на них, но время от времени они попискивали. Толчки подбрасывали их, они падали в общую утварь, и мехи сжимались сами собой. Раздавался резкий аккорд, словно играющий нажал все клапаны сразу.

Всадник с цилиндром проехал мимо Зельца. Сапожник отступил, но всадник двинулся прямо на него.

– Чего смеешься? – спросил он и взмахнул нагайкой.

Зельц остановился, где стоял, и благосклонно улыбнулся.

– Ты не колдуй, – сказал всадник, – ты знаешь, что за колдовство полагается?

– Разве я, пане, колдую? – сказал Зельц. – Я смотрю, какой хлопец гарный да красивый, статный хлопец. Сам бы за такого замуж побежал.

– Какой я пан? – добродушно сказал всадник. – Панов мы вон куда погнали, – и показал на горизонт.

Зельц участливо посмотрел туда и восхищенно чмокнул губами. Развеселившийся всадник поехал дальше.

Смешанный обоз растянулся на три версты. Передовые были уже на Литинском шоссе, а задние ждали своей очереди в парке. За обозом промчались казаки; эти все были бородатые и пожилые, пики болтались из стороны в сторону, качаясь в воздухе, как колосья, колеблемые ветром. Впереди сидел на белом скакуне маленький пузатый человек в синем жупане. Папаху он держал в левой руке. Голова его была наголо выбрита, посередине торчал длинный чуб, болтавшийся, как коса. Широкое лицо его было сплошь покрыто мелкими прыщами, ноздри густо заросли волосами и глаза виделись узкими и плоскими. Он часто открывал рот, в котором были только нижние зубы. Верхняя губа провалилась внутрь, ее закрывали маленькие усики, стриженные по-американски.

– Атаман Заремба, – сказал кто-то в толпе. Зельц приподнялся на носки и осмотрел атамана с головы до шпор. Он разглядывал его так, как разглядывают человека, надевшего в первый раз новый костюм. Об этом атамане в городе говорили уже два месяца.

Гетман выпустил приказ, подписанный немецким генералом, сообщавший, что каждый, кто поймает Зарембу, получит награду, а знающий его местопребывание и скрывающий это от властей будет наказан по законам военного времени. На приказе был круглый портрет атамана. Там он был в черкеске и бородатый и выглядел страшной и воинственной. И лицо было гладкое, как у повара.

Атаман Заремба сделал налет на проскуровский цейхгауз и убил всех часовых. Он поджег продуктовые склады в Жмеринке и спустил под откос эшелон под Вапняркой. Немцы рыскали в лесах Подолии, выловили и расстреляли много дезертиров, но Зарембу и его помощников не нашли. Когда его искали в Вапнярке, он напал на Александрию, когда же туда были посланы два батальона австрийцев, он разгромил Помощную.

– Если немцы осрамились, значит весь мир ходором пошел, – говорили в городе.

Они отступали, как люди потерявшие рассудок, оставляя все по пути, прячась и кончая жизнь самоубийством. Солдаты распродавали свои зеленые френчи с желтыми пуговицами и штаны с завязками.

Крестьяне гнались за ними с вилами в руках, заманивали их в хаты и истребляли. В Одессе застрелился тогда генерал Бельц. Он не мог вынести, что у них в Германии заварилась такая же каша. Кто его просил сюда? Сватов, кажется, не посылали и в гости не просили. Зельц улыбнулся, вспоминая. Ему было приятно, что немцы опозорились. Такие немцы, такие немцы, а простой хохол всыпал им так, что штаны до сих пор просвечивают. Пришла управа на царей тоже. Забыли земные цари, что есть царь небесный. И вот он напомнил им, чтоб не забывали. Возьми свою корону и езжай себе в Сибирь, как вольноопределяющийся.

– Исак! Исак! Исак! Что у тебя, уши заложены?

– Не шуми на улице. Мало тебе места в доме? Заказчик пришел? Он может подождать, твой заказчик, до зимы еще далеко, – ответил Зельц жене, которая прибежала к нему, растрепанная и перепуганная.

– Ты стоишь здесь, как будто весь свет для тебя – грош. Хорошее занятие для человека, – сказала ворчливым голосом Маня, ломая пальцы.

– Ну, скажи, в чем дело. Выложи свои девять коробов. Не ломай пальцы, если ты не хочешь, чтоб у тебя руки тряслись, как у сумасшедшего.

– О пальцах он говорит, бездельник этакий, – крикнула Маня обиженным голосом, – когда мальчик с утра пропал и ничего еще во рту не имел.

– Как это пропал? Он слоняется там с этими девочками, – сказал Зельц.

– Знаешь, что я тебе скажу, Исак? Мне снились черствые булки. Ничего доброго из этого не выйдет, что он ходит к ним и цацкается, как с родными сестрами. Не верю я, что они ему товарищи, они еще маленькие и глупенькие, и скоро покажут ему дорогу. Надо его взять от них, Исак.

– Ты мать, ты и возьми. Я в такие дела не вмешиваюсь.

– Ты должен вмешаться, Исак. Я ему на той неделе сказала: «Нахман, – говорю, – ты мальчик умный, и ты меня слушаешься. Эти девочки, – говорю, – чужие тебе». Он не дал мне говорить и кричит: «Как это чужие? Они мои товарищи». «Какие, – говорю, – товарищи, если они русские, а ты еврейский ребенок». Он побледнел, Исак, побледнел, как полотно, и говорит: «Мама, сейчас нет русских и евреев. Все одинаковые люди. Это вы, – говорит, – выдумали». – «Не мы, – говорю, – выдумали, горе наше выдумало...»

– Хорошо, я пойду, – сказал Зельц, – если придет заказчик, задержи. Никто не заглядывал, Маня?

– Коваль приходил, Исак. Он жалуется, что гвозди деревянные.

– Пусть жалуется. В такое время люди говорят спасибо и за деревянные.

Зельц покинул мост и стал продираться сквозь толпу, высыпающую из домов, гостиниц, заезжих дворов и халуп. Народ шел густой цепью, изучая своих, победителей и владык. По лицам солдат, количеству орудий, пулеметов и носильных вещей судили о долговечности новой власти. Прежние власти выпускали афишки, и можно было знать, что они хотят. Эти вошли в город без всяких афиш. Говорили, что атаман Заремба скажет речь с балкона гостиницы «Вена».

Рядом с Зельцем шел старый чиновник из банка. Он говорил в пространство:

– Евреям теперь не поздоровится.

– Почему, пане? – спросил Зельц.

– Нянчились с немцами, вот покажут им теперь немца.

– Кто нянчился, пане? Я нянчился?

– Все вы одним миром мазаны, – мрачно ответил чиновник.

Зельц отодвинулся от него со вздохом, и толпа сжала его со всех сторон. Не видя ничего впереди, он понял, что толпа бежит, и усердно впихивал себя в самую гущу. Передние ряды налегли на него, и он оказался притиснутым к коммерческому банку. Не делая никаких усилий, чтобы пятиться и бежать, он очутился на мраморной лестнице, и проезжавший обоз оказался внизу, в долине. Там, на мостовой, произошла следующая сцена. Безусый новобранец мчался в одноколке мимо торговых рядов. На тротуаре стояла торговка с бубликами. Новобранец высунул винтовку и воткнул штык в связку бубликов. Торговка закричала, заругалась, заплакала. Новобранец рассмеялся и поднял связку бубликов, как знамя. Потом вывинтил штык и прямо с него, как с дерева, стал есть бублики. Торговка побежала за ним, умоляя вернуть остатки. Новобранец оттолкнул ее прикладом, и женщина упала на мостовую. Корзина с бубликами отлетела на тротуар. Торговка быстро вскочила, схватила помятую корзину и ворвалась в казацкий отряд, где впереди был сам Заремба.

– Атаман, голубчик, – закричала она и упала ему в ноги.

– Чего тебе? – спросил атаман и остановил коня.

– Останнее забрали, атаман, – заголосила торговка. – У меня сын на войне был, больной лежит, и другой призываться пошел. Родненький мой, ограбили бедную, атаман, голубчик!

– Щекоток! – крикнул атаман Заремба. Отряд разомкнулся, пики качнулись влево и вправо и из самой середины выехал худой казак,

бородатый и огромный. Это был знаменитый Щекоток, адъютант Зарембы, его верный слуга и помощник.

Когда Щекоток поравнялся с атаманом, Заремба сказал, не оборачиваясь.

– Выслушай бабу и распорядись. – Щекоток дернул лошадь вправо и остановился в Банном переулке. Женщина рассказала ему про бублики, и адъютант посадил ее к себе на седло. Женщина растерялась; она поняла по лицу адъютанта, что он затеял недоброе и хотела соскочить.

– Сиди, – сказал Щекоток и погнал коня.

У коммерческого банка они нагнали отряд одноколок. Женщина отвернула лицо.

– Этот? – спросил Щекоток, показывая на первого попавшегося.

– Нет, – ответила торговка, – забыла, родненький, его лицо.

– Ты не вилай, – крикнул на нее адъютант, – покажи, не то душа из тебя вон. Этот?

Бледная торговка кивнула головой.

Адъютант слез с коня, отдал его обознику и подошел к одноколке, на которой, спустив ноги вниз, лежал и жевал бублики безусый новобранец. Щекоток бросил под колесо камень и остановил лошадь. Торговка скрылась в толпе, где на нее злобно посматривали и тихо ругали. Новобранец перестал жевать и ткнул связку с бубликами в угол. Щекоток сердито посмотрел на него и выхватил у него револьвер. Он проверил барабан, сквырнул предохранитель и вскинул руку.

– Как зовут? – спросил адъютант.

– Семен, – ответил новобранец.

– Фамилия?

– Слободенюк.

– Сколько лет?

– Девятнадцать.

– Из Чернигова?

– Полтавский.

– В расход, – крикнул Щекоток и выстрелил прямо в лоб новобранцу.



Зельц закрыл глаза, но и с закрытыми глазами видел так, словно они были распахнуты, как ворота. Он видел смерть, которая мелькнула и пропала. Через три минуты обоз двигался дальше, как будто ничего не произошло. Адъютант вскочил на своего коня и поехал назад, к казацкому отряду. Проезжая мимо Зарембы, он отрапортовал на ходу. Атаман не стал его слушать и только спросил:

– Распорядился?

Щекоток утвердительно кивнул головой.

Зельц покинул банковскую лестницу и, обогнув женскую гимназию, вышел на Литинское шоссе. Нахмана он не видел в толпе и решил заглянуть к осиротевшим девочкам. Городовой бежал с немцами и пропал где-то в Галиции.

Семья обнищала и жила с заработков старшей дочери. Она занималась с детьми, учила грамматике и таблице умножения.

– Эти не устроят погрома, – подумал Зельц про победителей, – у них дисциплина. Они воюют, а не грабят. Иностранцы считают таких людей честными. Убей меня бог, если я вижу, где тут разница.

Зельц постучался в дом городского. Катя открыла ему дверь.

– Моего сыночка нет у вас, паночка? – спросил Зельц.

Катя смутилась и тихо сказала:

– Мы поругались, и он ушел.

– Давно? – спросил Зельц.

– Два часа назад, – ответила, краснея, Катя и ушла в другую комнату.

Когда Зельц проходил мимо кухни, он услышал, как его кто-то зовет. Он всмотрелся в темноту и увидел жену городского, Ксению Кузьминишну. Она попросила его сесть, закрыла дверь и шепнула:

– Исак, я хочу вам сказать, что так не годится. Ваш мальчик сидит у нас целыми днями, а нынче такие времена, сами понимаете. С нас все соседи смеются, проходу мне не дают.

– Что же я могу сделать? – сказал жалобным голосом Зельц. – Он не слушается меня. Гордый мальчик, не в отца пошел.

– Объясните ему, Исак, что девочки мои могут из-за него пострадать. И так уж их на улице жидовками называют. Я боюсь ему сказать, девочки мои съедят меня.

– Вы боитесь девочек, Ксения Кузьминишна, а я мальчика, – сказал, улыбаясь, Зельц и печально поплелся к выходу. Ксения Кузьминишна поспешно закрыла дверь и углубилась в кастрюли, чтоб никто не заметил их свидания.

Зельц заглянул во все сборища и нигде не нашел Нахмана. Людей на улицах стало меньше, близился вечер. Говорили, что атаман

Заремба рассказывает речь с балкона гостиницы «Вена». Народ повалил на Николаевскую, к гостинице.

Весь участок был оцеплен конными петлюровцами. Мостовая пахла, как мужицкий сарай. Всюду валялось сухое сено, перемешанное с клевером. Оркестр, расположившийся у входа в гостиницу, играл «Интернационал».

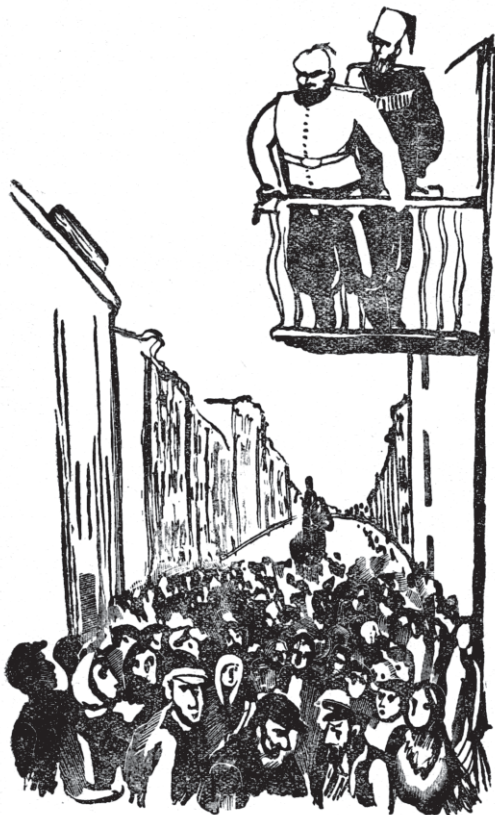
– Шо це таке играють? – спросил один всадник другого.

– Жидивский марш, – ответил тот.

При полном молчании толпы на балкон вышел атаман Заремба. Он положил папаху на перила, расстегнул жупан и похлопал себя по брюшку. Стоявший рядом с ним Щекоток шепнул ему что-то на ухо. Заремба улыбнулся. Щекоток посмотрел вниз и длинно засмеялся. Атаман поднял левую руку над головой, правую заложил за пазуху и начал говорить на смешанном русско-украинском наречии.

– Я розумию так, – сказал Заремба, кругло и вкусно выговаривая слова, – что оружия у частных не должно быть. На шо вони потребляют оружие? Голубей стрелять? У нас охотников своих хватит, от охотников цих дышать невозможно, палят и палят, только воздух копят и патроны истребляют. Патрон, он, може, дороже твоих бубликов. Бублик за два гроша купишь, а за патрон отдашь пивкарбованца.

Атаман отбросил чуб, закрывший ему глаз, опустил левую руку и прошелся ею по прыщеватому лицу. Потом он положил папаху на другое место и продолжал речь.



– Мы немцев погнали и австрияков погнали, чтоб не пили кровь с чужой земли. Они миллионы пудов сахара увезли, а где вин, этот сахар? Сами как щи хлебаем, без соли-перцу. Воевать еще много осталось, врагов у нас видимо-невидимо, а амуниция пообносилась. Без доброй амуниции солдат не солдат, а баба. Где ее, эту амуницию возьмешь? Попрятана она в магазинах, я и сапоги видал, и жупаны, и папахи, и сподники, полный комплект. Вот я, громадяне, вижу среди вас много еврейского населения. Городок ваш еврейский, а где бедные, там и богатых много. Без богатых и бедных не бывает. Правильно говорю?

Атаман замолчал на минуту – и оркестр заиграл туш. Атаман поморщился и шепнул что-то своему адъютанту. Щекоток крикнул музыкантам вниз, чтоб прекратили.

– Хочу я, громадяне, – продолжал атаман, – чтоб представители еврейского населения пришли ко мне сегодня вечером. Поговорю с ними, растолкую, чего от них требует народная армия и атаман Заремба. Скажите там раввину вашему, чтоб оповестил всех, да не медлил. В нашем военном деле волынка – первая опасность. От волынки бог знает, что может произойти. Правильно говорю?

Зельц не стал дальше слушать. Он отправился к дяде своей жены, городскому резнику, у которого всегда происходили собрания. По дороге он встретил Шаца.

– Айзик, – спросил Зельц, – вы не видели моего мальчика?

– Он ко мне уже не ходит, – обиженно ответил Шац, – говорит, что весь магазин вычитал.

В доме резника Зельц застал всех членов погребального братства, членов общества помощи бедным и общества по снабжению больных молоком.

VII

Слова матери больно задевали Нахмана. Она сыпала ему соль на раны, которые он хотел зализать забвением. Он чувствовал в последнее время, что отношение Кати к нему переменилось. Она передразнивала его, запрещала ему махать руками и растягивать слова. Она предложила ему называться Пахомом, но мальчик воспротивился и заявил, что у него хорошее имя и что он никогда не будет отступником.

– Отступников, – сказал он, – надо сжигать на костре. Они хуже шпионов.

Катя два раза прогоняла его и запрещала приходить к ним в дом. В тот же день они встречались в читальне и помирились. Толстовский

кружок давно распался, но идеи этого кружка продолжали еще занимать их и волновать. Коновод кружка, Шура, имела жениха, банковского чиновника. В свободные часы она бегала по урокам, мечтала о больших деньгах и переезде в Киев.

Зина все время болела, читала увлекательные романы и помогала матери на кухне. Они по-прежнему дружили с Нахманом, но говорили с ним мало. Только знакомство с Катей укрепились и пустило корни. Они ходили всюду вместе – правда, в последние месяцы Катя избегала появляться с Нахманом на главной улице. Ее бывшие подруги по гимназии, встречая их, снисходительно улыбались и уходили прочь. Были такие, что за глаза называли ее жидовкой. Ночью Катя плакала, утром дулась на Нахмана, но сердце у нее было доброе и сама она была привязчивая, так что не могла порвать с Нахманом.

Мальчик чувствовал перемену и страдал. Однажды он узнал, что враждебное отношение к евреям называется антисемитизмом. Он достал книжку об антисемитизме, прочел ее, и пустота проникла в его душу. Значит, это тянется сотни лет, и не видно конца. В книжке была статья одного еврейского писателя, жившего в Германии – Генриха Гейне. Он объяснял этот антисемитизм так: в Германии есть очень богатые люди, банкиры и магнаты. Бедный народ, немецкие простолюдины, ненавидят их. Грабить немецких магнатов нельзя, за это закон сулит тюрьму и виселицу. И простолюдины обрушивают весь свой гнев на еврейских богачей. Эта ненависть нравится всем. Немецкие магнаты довольны, что уничтожают их конкурентов, и напевают беднякам песни о чужой вере, враждебной христианству, и пришельцах. Люди злы, как шакалы, – вот что понял Нахман из книжки о вражде народов.

Когда петлюровцы входили в город, Нахман сидел с Катей у окна ее дома на Литинском шоссе. Они смотрели на проезжавший обоз, на всадников, мчавшихся мимо окна, на фуры, груженные винтовками, и тяжелые орудия, напоминавшие древние колесницы.

Катя показала Нахману одного ротного командира, элегантно одетого, гарцовавшего на немецком жеребце. Мальчик видел, что девочка приятно удивлена и спросил ее:

– Тебе нравятся офицеры, Катя?

– Нет, – ответила девочка, – но они такие храбрые, воинственные. Они не боятся смерти.

– Я тоже не боюсь смерти, – презрительно сказал Нахман.

Катя рассмеялась. Она недоверчиво и свысока посмотрела на своего товарища.

– Ну ты, – сказала она, – ты у мамы под юбкой спрячешься.

– Ерунда, – горячо воскликнул Нахман, – чистая ерунда!

– Ты не виноват, – ласково сказала Катя, – евреи все трусливые.

– Страшная ерунда, – еще горячее воскликнул Нахман, – я ненавижу только, как толстовец, войну и военных. Но я храбрее их всех.

Катя погладила его по голове, как взрослая женщина, и этот жест оскорбил Нахмана. Он покраснел, задрожал, как в лихорадке, и сказал, заикаясь:

– Я докажу тебе, докажу, докажу!

И, не попрощавшись, выбежал на улицу. По главной улице трудно было ходить, и Нахман обогнул весь город переулками. Он дрожал приятной дрожью, рисуя себе картины будущего, как он проедет мимо окна Кати, как он придет к ней после всего и пристыдит ее.

– Ерунда, – скажет он, – страшная ерунда!

Он прошел в парк и не мог дальше бежать.

Глиняная земля размокла, дорожки расплзлись. Пришлось шагать медленно, с трудом вытаскивать ноги и очищать башмаки от облепившей их грязи. Медленная ходьба успокоила его, расхолодила, и где-то внутри закопошилась мысль: «не вернуться ли назад?».

Нахман остановился, оглянулся, но вспомнил ротного командира в зеленом френче и синих галифе и быстро зашагал, задыхаясь от усталости.

На другой стороне железнодорожного полотна, рядом с вокзалом узкоколейной дороги и водонапорной башней, он прочел вывеску «Штаб» и вошел туда.

Часовой обнажил саблю, но, заметив вошедшего, вложил саблю в ножны и лениво спросил:

– Чего тебе?

– Мне к начальнику надо, – ответил Нахман, оглядывая вестибюль.

На площадке стоял большой черный рояль, на котором спало в одежде и оружии несколько человек. Под роялем стояла соломенная корзина, какая служит в канцеляриях для ненужных бумаг. В корзину были свалены бутылки из синего стекла, пахнувшие алкоголем.

– По какому делу? – спросил, зевая, часовой.

– Записаться хочу, – ответил Нахман, чувствуя желание убежать отсюда, вернуться домой.

– Куда записаться?

Нахман выпрямился, заложил руки в карманы и громко произнес:

– В добровольцы хочу, к вам желаю записаться.

Часовой лениво улыбнулся и внимательно осмотрел Нахмана, про-
сверливая его взглядом насквозь. Нахман покраснел: так смотрела на
него иногда Катя, словно взвешивала без весов и примеряла без арши-
на. Мальчик уставился на часового, рассеянно глядя на него, как смот-
рят в лотерейную урну. Солдат крикнул, не оборачиваясь:

– Павло!

На рояли заворочался человек, обвешанный пулеметными лента-
ми. Он показал свое лицо, белое, как у женщины, и со спущенными
усами и небольшой бородой.

– Беспokoишь, Иван, – заворчал он и, повернувшись на другой
бок, спросил, – по какому делу?

– Тут еврейчик просится, – ответил часовой, – в добровольцы хо-
чет. Пропустишь?

– Пропусти, – ответил с досадой Павло и спрятал лицо.

Нахман взбежал по лестнице, пошел по коридору, в угол к двери с
табличкой «канцелярия» и присел на скамейку. Люди, входившие и
выходившие из канцелярии не обращали на него внимания. Он всу-
нул голову в дверную щель и повторил свою просьбу. Ему приказали
ждать, пока придет писарь. Нахман снова сел на скамейку и начал
раздумывать. Теперь ему очень хотелось уйти отсюда, но он не знал
уже, как это сделать.

Собрание почетных представителей города в доме резника затя-
нулось до полуночи. Делегаты общины были у Зарембы и сообщили
остальным условия атамана.

Это был длинный список. Заремба требовал доставить через два
дня тысячу пар новых сапог, пятьсот полушубков, пять тысяч пар
белья, несколько сот одеял и папах. Он не забыл о самых мелких
вещах, как кожа для подсумков, нитки, пуговицы и бинты для ло-
шадей. К этому комплекту надо добавить еще две тысячи золотых
пятерок.

– Прошу не волынить, – напомнил атаман, – волынка первая опас-
ность.

Винницкие жители не волынили, они знали, что дело пахнет по-
громом, и размышлять нечего.

Спорили лишь о том, как разверстать контрибуцию. Среди пред-
ставителей сидел Иосиф Шпак, первый богач, владелец трех камен-
ных домов и большого ювелирного магазина в Торговых рядах.
У него была клиентура в Киеве и восточное место в синагоге. Резник
предложил наложить на него две трети всех денег. Шпак клялся чест-
ным словом, что его переоценили, что о нем бог знает что думают.

– Разбойники, – кричал он, – откуда у меня такие деньги? Вы заглядывали в мои сундуки или считали мое белье?

– Вы забыли о спасении человеческой души, – сказал казенный раввин, – или деньги ваши, господин Шпак, дороже вам вашей жизни?

– Лучше убейте меня, – кричал Шпак, – убейте, вы лучше сделаете.

– Не накликайте беду, – сказал с укоризной казенный раввин, – станем думать, господин Шпак, что бог не слышал ваших слов.

Казенного раввина поддержали все члены погребального братства и общества по снабжению больных молоком. Он стал торговаться, умолял сделать ему скидку, и ему сбавили сто пятерок. Резник сидел на секретарском месте и записывал постановления собрания. Список был еще неполным, а богатых людей перебрали до последнего. Один член погребального братства вздумал пошутить, но его за это выругали.

– Исак, – сказал он, обращаясь к Зельцу, – почему вы ничего не внесете?

В другой раз он рассмешил бы этими словами все общество, но сейчас никто не смеялся, все сердито посмотрели на него. Один Зельц печально улыбнулся.

– Если сказать правду, – ответил он, – то я хотел бы быть на положении Шпака и внести семь тысяч рублей. Думаю, что мне осталось бы еще на субботний соус.

– Люди сошли с ума, – сказал казенный раввин, – они бросают пустые слова, когда смерть стучится в окно, как дождь.

Среди собравшихся был ветеринар Иван Павлович. Он считался другом евреев и защитником их. В русско-японскую войну, когда после падения Порт-Артура в городе начались беспорядки, Иван Павлович прятал у себя евреев и спас многих от ножа и нагайки погромщиков. Черносотенцы добились того, что его лишили службы и сожгли его дом. В грозные дни евреи ходили к нему советоваться; он уговаривал их креститься, бросить свою религию и покончить с этой рознью.

– Я бы на вашем месте хоть мусульманство принял, – говорил Иван Павлович, – один чорт.

Он был атеистом и читал какие-то безбожные книги. Он доказывал, что наука подметет все религии под одну



метелку и выбросит в сорный ящик. Евреи не соглашались с ним, но любили его за доброе сердце, полное любви к людям.

Сейчас он сидел в углу и играл сам с собой в шахматы. На коленях лежала у него записная книжка. Он передвигал фигуру и записывал. Лицо его выражало то удивление, то досаду, то радость.

Он играл за двоих. И радовался, если его противник (он же) проигрывал или делал глупости. Но противник был так же хитер, как он, и игра тянулась бесконечно, без всякого перевеса на чьем-либо поле.

Зельц подошел к нему и стал заглядывать в его шахматные комбинации.

– Шах, – деловито сказал Иван Павлович и выдвинул черного коня.

– Нельзя шаховать, любезный, – ответил он сам себе и спросил удивленно: – Почему? – Съем фигуру, дружок, – спокойно ответил он, – понятно?

Зельц улыбнулся и сказал, вздыхая:

– Ах, Иван Павлович, Иван Павлович, золото мое. Если бы все русские были такие, как вы, какая хорошая жизнь была бы! Незачем было бы умирать, Иван Павлович.

– Ничего, Исак, – ласково сказал Иван Павлович, – будут и другие времена, любезный. Дети наши этого знать не будут. Шах!

– Люди любят вражду, – сказал Зельц, вздыхая, – даже вы, Иван Павлович, не можете обойтись без войны. У вас нет противника, и вы воюете сами с собой.

– Тише, – сказал казенный раввин. Он встал из-за стола, закатил глаза и возвысил голос. – Мы должны объявить пост. И надо поспешить – судный день на носу.

– Для женщин тоже? – спросил один из членов погребального братства.

– И для женщин, и для мальчиков, достигших совершеннолетия, – ответил казенный раввин и оглянулся.

За его спиной кто-то постучал в окно. Он отдернул занавеску, всмотрелся в темноту и обратился к Зельцу.

– Кажется, ваша жена, Исак. Идите, откройте дверь.

Маня вбежала в комнату общинного собрания, встала посредине и заломила руки.

– Люди, – вскричала она, – спасите моего мальчика. Он арестован, мальчик мой, ангел мой, наследник мой!

Зельц отвел ее в угол и расспросил ее о судьбе Нахмана. Она плакала и задыхалась. Потом он накинул на себя свой полушубок и рванулся к двери.



– Пойдите, Исак, – остановил его Иван Павлович, – я пойду с вами. Он наскоро записал свою партию, сложил фигуры и, взяв под руку дрожавшего Зельца, вышел с ним на улицу.

VIII

Ночью в штабе никто не спал, кроме сменившихся с караула. Все сидели на полу и играли в подкидного дурака. Каждую минуту кто-нибудь проигрывал, и его заставляли отбывать наказание: ругать самого себя по матери, стоять на руках в течение минуты, скакать на одной ноге, высунув язык, и кричать, пока не остановят: «я дурень! я дурень!». Все смеялись, закрывая ладонями рты, чтоб не разбудить спящих, и боязливо поглядывая на канцелярию. Там, на красном, крытом коврами турецком диване спал адъютант Щекоток.

Когда игра прерывалась, караульный Павло, тридцатипятилетний дядько, пропускал арестованных. Их приводили в одном белье, поверх которого были накинуты пальто. Павло записывал имя, фамилию и возраст и сдавал одному из игроков. Тот уводил арестованного во двор. В конце двора находилась лестница, спускавшаяся в подвал. В арестантскую надо было пройти через две двери. Первая называлась предварилкой. Там отбирали деньги, пояса, перочинные ножи

и бумаги. Подвал служил раньше погребом для кислых овощей, вина и картофеля. Пол был земляной и тянулся в длину, съживаясь к концу. Вдоль стены были устроены нары; они были испачканы и замазаны (погреб этот служил еще немцам). Сейчас в подвал было загнано сорок восемь человек. Аресты начались днем, и первый арестованный, попав сюда, подумал, что его упрятали в каменный мешок, в одиночку. Но сейчас же, вслед за ним пошли другие. Он с радостью увидел, что общество увеличивается, разнообразится, на нарах стало тесно, люди укладывались вдоль и поперек. Рассказывали друг другу, как попали сюда и за что, тихо советовались, лоя зрачок часового, упершийся в дверную скважину. К ночи развеселились, и каждого новичка встречали веселым гулом.

В подвале было человек двадцать, когда привели худого еврейского мальчика. Он шел свободно и раскланивался, сдерживая слезы. Лежавшие на нарах слышали биение его сердца и видели (в подвале горела свеча), как колыхалась его туберкулезная грудь. Его стали расспрашивать, и он рассказал, что зовут его Нахман, фамилия Зельц, отец его сапожничает в Ерусалимке, а дядя городской резник. Когда он начал говорить о Щекотке, все окружили его и с интересом слушали его историю.



Нахман ждал писаря несколько часов. Он попытался уйти, но дядько Павло остановил его на пороге и спросил:

– Пропуск?

– Вы сами пропустили меня, – сказал Нахман, – не помните разве?

– Не помню, – ответил Павло.

Нахман сделал отчаянный жест и показал часовому на рояль.

– Я хотел войти, – сказал Нахман, – и вы спали на этом ящике и сказали, чтоб пропустили. Я завтра приду, сегодня поздно. Не помните, дядько?

– Не помню, – ответил Петро и прекратил разговор.

Нахман вернулся в коридор, заглянул в канцелярию и увидел за столом писаря. Он постучался, как в приличный дом.

– Кто? – крикнул писарь. – По какому делу? – Нахман вошел и снял шапку.

– Дайте пропуск, товарищ писарь, – обратился к нему Нахман и, заметив грозный взгляд писаря, добавил: – выйти хочу отсюда, пане писарь.

– Ты как сюда попал? – спросил писарь и вытащил чистый лист бумаги.

– Поздно сейчас, – сказал Нахман, – я, пане, завтра приду.

– По какому делу? – вскричал писарь, пробуя красные чернила.

Нахман съезжился так, что сам почувствовал, как уменьшается в весе. Привыкший к тишине и раздумью, он больше всего на свете боялся крика. В детские годы его испугал юродивый Герц, который выскочил на него из-за угла и закричал:

– Городовой идет! Пожар идет! Вода идет! – Нахман свалился тогда, как в падучей. Мать разжимала ему схваченные челюсти и ревела над ним. Соседи откачивали его, как утопленника. Человеческий окрик действовал на него, как удар по телу. Он чувствовал боль в спине и в паху, у него повышалась температура, немели обескровленные ноги.

– По какому делу? – мягче повторил свой вопрос писарь, видя, что мальчуган близок к обмороку.

Нахман собрался сразу ответить, но не смог. У него заморгали глаза и задвигался подбородок, как у больного тиком. Он увидел на столе стакан с водой, схватил его и жадно глотнул.

– Ты что? Очумел? – вскочил писарь и вырвал у него стакан.

Нахман закрыл рукой рот, он закашлялся и захрипел, лицо его так мучительно скривилось, словно он выпил всю горечь жизни в один глоток.

– Самогону хлебнул, – сказал, улыбаясь писарь.

Он выдвинул ящик письменного стола, достал оттуда половину огурца и дотянул Нахману.

– На, закуси.

Огурец остановил кашель и хрипоту, Нахман выпрямился и сказал:

– Я добровольцем пришел. Записаться хотел.

– На какое жалованье? – иронически спросил писарь.

Нахман почувствовал чудное тепло. Оно зародилось в животе и оттуда побежало вниз и вверх. В ногах это тепло расплзлось, в голове оно собралось в одном месте и приняло шарообразный вид; оно уперлось в лоб, обдавая своим дыханием нос, щеки и подбородок. Нахман почувствовал еще, как проходит испуг. Прежняя боязнь прошла, в этой комнате не было ничего страшного, даже сам писарь казался старым знакомым. Нахману захотелось шутить, он стал придумывать смешные слова и хотел уже преподнести их писарю, как открылась дверь и в канцелярию вошел адъютант Щекоток.

Он устало оглянулся и спросил Нахмана мимоходом.

– Чей?

– Записаться пришел, – ответил за Нахмана писарь, – добровольцем хочет.

– Добровольцем? – заинтересовался Щекоток и подошел вплотную к Нахману. Он щелкнул его по лбу и сказал:

– Нет, голубчик, не надо нам тебя. Ты у мамы под юбкой спрячешься.

– Неправда! – вскричал Нахман, краснея, – вы говорите неправду!

Если бы Щекоток обидел его другими словами, он не стал бы кричать, но адъютант повторил Катины слова. И это оскорбило его, как оскорбил Катин жест, жест взрослой женщины.

– Вот как! – сказал Щекоток и лениво ткнул Нахмана ногой, выметая его из комнаты, как сор.

– Вы не смеете! – кричал Нахман, упираясь и чувствуя необыкновенный, неведомый прилив смелости.

Писарь встал, подошел к двери, выбросил Нахмана и закрыл дверь.

– Негодяй! – крикнул оттуда Нахман, сгорая от желания попасть в беду.

Щекоток высунул голову в дверь и, кликнув коридорного часового, молча показал ему на Нахмана. Часовой не стал спрашивать и сгреб Нахмана. Внизу, в предварилке записали его фамилию и забрали карманную мелочь; булавки, ножик и две немецкие марки.

Подвал слушал с интересом рассказ Нахмана. Никто не спал, приговор арестованных продолжался. Новые истории разворачивались, как пергаментные свитки. Один полтавский парень предложил Нахману махорку. С помощью этого парня Нахман свернул сигарку и в первый раз в жизни закурил.

Махорка успокоила его, приятно было окутывать себя синим дымом и тонуть в нем, захлебываться и задыхаться.

В штабе петлюровцы продолжали играть в карты, Все наказания были перепробованы, играли впустую, без всякого интереса, только

для того, чтоб не заснуть. Павло, стоявший на лестнице, размечтался. Атаман Заремба обещал всем новые полушубки, папахи и белье. Утром в цейнгаузе будет выдача табаку. Каптер сказал, что каждый получит по два фунта сухого, крымского. Павло посмотрел сквозь стекло двери и заметил двух человек. Они бежали к водонапорной башне. Один мчался впереди, другой удерживал его. Они обогнули башню, пробежали мимо вокзала узкоколейной дороги и очутились у штаба.

– Исак, не волнуйтесь, – сказал второй и, отстранив первого, выступил вперед.

– Нам к атаману, – обратился он к Павло и назвал себя, – ветеринарный врач Иван Павлович Белкин.

– Атамана нет, – ответил Павло.

– Тогда нам нужно видеть адъютанта, – сказал Иван Павлович, держа в своей руке руку Зельца.

– Адъютант спит.

– Разбудите его, – сказал умоляющим голосом Зельц и ласково посмотрел на Павло.

– Утром придете, – ответил Павло, – писаря могу позвать, если срочное дело...

– Очень срочное, голубчик, – сказал Иван Павлович.

– Мищенко, – крикнул Павло, – позови-ка сюда писаря.

Один из играющих встал и прошел в коридор. Зельц смотрел на часового и находил в его лице знакомые черты. Эти белые глаза и спущенные усы он видел не раз, но не мог вспомнить, где. Может быть, на параде днем, когда войска въезжали в город. Зельц стал припоминать все, что видел днем. Нет, этого часового днем в городе не было. Когда чей-то голос сверху сказал «сейчас, Павло», Зельц спохватился, словно вспомнил, но мысль пролетела так быстро, что он не успел удержать ее и разобраться в ней.

Писарь пропустил просителей и прошел с ними в соседнюю с канцелярией комнату. С помощью Ивана Павловича Зельц рассказал, как его жена встретила на улице одного солдата и спросила про мальчика, он с утра пропал и ничего не имел во рту, и солдат ответил, что видел его в штабе, будто мальчика арестовали.

Писарь достал папку с бумагами, присланными ему из предварилки и начал листать.

– Нахман Зельц? – спросил он.

– Да, пане, да, – ответил Зельц, радуясь, что отыскались следы.

– Бойкий он у тебя, – сказал писарь, качая головой, – не в отца, видно, пошел.

– Не в отца, пане, не в отца, – льстиво заговорил Зельц, – что правда, то правда. Гордый он у меня, ох, какой гордый. Книжечк начитался, пане. Но доброе сердце, пане, и тихоня, золото, а не мальчик. Золото, пане. Вот Иван Павлович скажет вам. Иван Павлович!

– Я вполне ручаюсь за него, – сказал ветеринар, – беру его на поруки и согласен внести залог.

– Он тут нагрубил очень, – сказал писарь и описал сцену со Щекоткой.

– Что вы говорите, пане! – вскричал Зельц, – не верю своим ушам. Вот Иван Павлович скажет вам, как это на него не похоже. Правда, Иван Павлович? Не мальчик, а золото, пане.

– Добре, – сказал писарь, – я утром доложу адъютанту. Приходите завтра днем.

– А мальчик? – испуганно спросил Зельц, – он ничего не ел, пане.

– Можно передать, – добродушно сказал писарь.

Иван Павлович сбежал на вокзал узкоколейки и принес бутылку с молоком и пирожок с яблоками. Зельц вытащил платок и закутал продукты. Писарь взял и углубился в бумаги.

– Вы не забудете, пане? – жалобно спросил Зельц и нагнулся, чтоб заглянуть снизу писарю в глаза. – Вы уж похлопочите за него, пане. Глупый мальчик, боже мой!

Иван Павлович взял Зельца под руку и увел его из штаба. Он проводил его домой, в Ерусалимку.

В халупе Зельцев горел свет. Они вошли туда и увидели двух плачущих женщин. Красная от слез Маня обнимала Катю. Девочка плакала,

как взрослая женщина. Она скрестила руки и спрятала в них свое лицо. Плечи ее тряслись и девичьи груди выступали вперед, как налитые молоком.

– Глупости, – сказал Зельц и погладил Катю по голове, – ложись спать, – обратился он к Мане, завтра его выпустят.

– Не завтра, а сегодня, – поправил его Иван Павлович и показал на окно.

Осенняя ночь растворялась в тумане рассвета.



Из черного провала выступили зеленые воды Буга, на улице загремели жестяные бидоны. Бабы-молочницы отправлялись на рынок. Торговец овощами выкатил свою тележку. Под забором проснулся юродивый Герц. Он побежал по Ерусалимке, панически крича и размахивая руками.

Иван Павлович распрощался с Зельцами и пошел проводить Катю домой. Маня стала растапливать печь. Она притащила из сарая охапку хвороста, обмакнула ее в смолу и зажгла ее. Печь затрещала, как роговая пластинка. Маня заплакала.

— Что ты плачешь опять? — спросил Зельц, бормоча утреннюю молитву.

— Бедный мальчик, — сказала Маня, — ему холодно там, ангелу моему, наследнику моему!

— Успокойся, — сказал Зельц, — я там поговорил с ними, и они его днем выпустят.

Он склонился над молитвенником и заснул. Проснувшись через несколько минут, он снова закрыл глаза, чтоб вспомнить сон. Улетучиваясь и пропадая, сновидение оставило все же кое-какие следы. Зельц посмотрел на Маню, и сновидение предстало перед ним с ясной полнотой, понятное, как рассвет. Часового, показавшегося ему знакомым, он видел четырнадцать лет назад, на кладбище. Этот Павло был тем новобранцем с губной гармоникой. Зельц закрыл молитвенник и вытащил из корзины пару дамских колодок. Он починял туфли дочери столяра. Заказ был взят еще на той неделе при немцах за одну марку. Теперь эти марки дешевле хвороста. Такие немцы, такие немцы! — подумал Зельц и взял зубами из коробочки десятка два деревянных гвоздей.



Он потерял вкус к работе уже давно, но сегодня работа была ему еще более в тягость. Он знал, что Иван Павлович не спит сейчас и где-то бегает, хлопочет, чтобы обрадовать его. Давно отвыкший от новой обуви, Зельц задумал подарок: сшить Ивану Павловичу новые сапоги с короткими голенищами! Он пошлет с подарком Нахмана и заставит гордого ветеринара принять его.

Иван Павлович пришел ровно в полдень. Он использовал все свои связи и добился того, что сам атаман Заремба примет Зельца у себя, в гостинице «Вена», в четыре часа дня. Ветеринар рассказал еще, что на рассвете петлюровцы сделали облаву на дом бежавшего

городового, и перепуганная Ксения Кузьминишна уехала с дочерью в Киев. Ветеринар вручил Зельцу пропуск и отправился в штаб. Пропуск стоил дорого, за него Иван Павлович должен был осмотреть всех штабных лошадей. Ровно в четыре часа дня атаман Заремба принял сапожника. Зельц поднялся на второй этаж, и конвоир провел его в лучший номер гостиницы, большую залу с темными колоннами и богатыми картинами на стенах. Атаман сидел посередине залы в золоченом кресле, как на троне. Синий жупан его был расстегнут, сапоги блестели, как медь, и папаха лежала у него на коленях. По правую сторону от него стоял адъютант Щекоток. Их окружила целая команда хорошо одетых солдат. Это были черниговские ефрейторы, приближенные Зарембы.

Зельц отступил на шаг от конвоира и упал в ноги атаману.

— Атаман, — сказал он, не поднимая головы, — отпустите моего мальчика, сыночка моего отпустите, атаман.

— Бойкий он у тебя, — сказал Заремба, повторив слова писаря — не в отца, видно, пошел.

— Не в отца, атаман, не в отца, — сказал Зельц и поднял голову, острую и сморщенную, как увядший лимон.



Щекоток шепнул два слова на ухо атаману, и вся ефрейторская команда рассмеялась. Видно, речь шла о деле, известном всем.

– Встань, – сказал атаман.

Зельц встал. Один из команды поднес атаману тарелку с жирным куском свиного сала. Заремба протянул эту тарелку Зельцу и сказал:

– Ешь.

Зельц жалобно оглянулся, но увидел вокруг смеющиеся лица. Он взял сало, закрыл глаза и начал есть, бормоча молитву.

– Ты про что там шепчешь? – сказал Заремба. – Ты нашу молитву читай. Во имя отца и сына и святого духа, аминь! – «Во имя отца и сына и святого духа, аминь!» – повторил Зельц.

– Перекрестись, – сказал атаман. Зельц перекрестился.

Заремба посмотрел на своего адъютанта, не зная, что делать дальше. Щекоток шепнул ему на ухо одно слово, и атаман весело качнул головой, словно вспомнил о чем-то.

– Вот что, дружок, – сказал он, – если желаешь видеть своего хлопца живым, повторяй за мной, что скажу.

Предчувствуя недоброе, Зельц не задавал атаману вопросов и стоял перед ним, сложив руки и опустив голову, как повешенный.

– Жиды нехристи, – сказал атаман, крутло и вкусно выговаривая слова.

– Жиды нехристи, – повторил слабым голосом Зельц.

– Ты шибче говори, тянешь очень, как покойник, – ворчливо сказал атаман и посмотрел с удовольствием на своих приближенных.

– Жиды нехристи, – повторил громко Зельц.

– Тателе-мамеле, – сказал атаман.

– Тателе-мамеле, – повторил Зельц.

– Плевал я на жидовскую веру, чесночная нация, – сказал атаман.

– Плевал я на жидовскую веру, чесночная нация, – повторил Зельц.

– Це добре, – добродушно сказал атаман, – приходи,



Мошка, завтра. Опять поговоришь. Всем еврейчикам скажешь эти слова с балкона. Придешь?

– Не приду, – вскричал Зельц и весь затрясся.

– А не придешь – скатертью дорога, – сказал атаман и позвал конвоира.

Дверь захлопнулась за ними, и Зельц очутился в коридоре, с глазу на глаз с конвоиром. В большой зале шумно смеялись. Зельц сделал несколько шагов, потом побежал назад и ворвался в номер Заремба.

– Приду, атаман, приду, – вскричал он тонким голосом, как школьник, и снова упал в ноги Зарембе.

IX

Следующий день был тревожным, как пароходная сирена. Кто сказал, что все дни нашего существования похожи один на другой? Этот мудрец неправ, он проглядел человеческие страдания в своих четырех стенах. Есть день-ласточка, день-ворон, день-шакал, день-мох и день-тетеря. Нынешний четверг был днем-вороном. Утром люди узнали, что пропал юродивый Герц. Он не пришел за своей пищей в халупу нищих, не постучался к синагогальному служке, прося погреться. Торговец овощами видел его днем на вокзале ширококолейки. Он сидел в буфете и пил чай из кружки. Потом следы его пропали, и город огорчился. Винница потеряла своего городского сумасшедшего, плохая примета! На рассвете кладбищенский сторож, проходя через Бут, увидел плавающий труп петлюровца. Днем разыгрался ветер, он налетел на мост и повалил фонарный столб у самого подъема. Наступил день, черный и зловещий, как ворон.

С базара пошел слух, что Зельц был у атамана, и сегодня днем он, как библейский Валаам, будет проклинать еврейский народ с балкона гостиницы «Вена». Некоторые говорили, что сапожник проданся Зарембе, другие, что Заремба пытал его каленым железом, и никто не верил, что это действительно произойдет. Слух пошел из дома в дом и докатился до раввина, который заявил, что Зельц не может этого сделать, у него отсохнет язык и онемееет гортань.

– Валаам, – сказал он, – хотел проклясть еврейский народ, но бог повернул его язык, как жернов, и Валаам благословил нас.

Один член погребального братства усомнился и напомнил общине, что бог не окончил еще своего испытания и не станет делать чудес. Если Зельц поступит, как говорят, он будет проклят, как отцеубийца, и изгнан, как прокаженный. Никто не решался спросить

самого Зельца. Когда кузнец предложил запереть Зельца в молельне и не выпускать его оттуда до вечера, раввин возмутился.

– Не шутите с атаманом, – сказал он, – мы в его руках.

Иван Павлович явился на собрание в дом резника и, волнуясь, начал убеждать евреев. Они неправы, говорил он, бедный сапожник может потерять единственного сына, разве не в этом доме он слышал от этих людей, что для спасения человеческой души можно сделать все? Разве они сами не молятся в судный день о марахах, переменявших религию, чтоб спасти свою жизнь? – Что такое религия? – кричал Иван Павлович, – она мертва, как мох, будущие люди откажутся от нее, как женатый человек отказывается от своих юношеских заблуждений.

Ветеринар зашел далеко и не убедил никого из собравшихся. Они качали головами и твердили свое.

– Я читал у вашего историка Дубнова, – сказал Иван Павлович, – что синедрион не осуждал преступника, если приговор был вынесен единогласно. Никто, значит, не вступился за осужденного.

– Но вы вступились, – сказал казенный раввин.

– Я не еврей, – ответил Иван Павлович.

– Вы наш друг, – сказал казенный раввин.

– Вы сделаете меня вашим врагом, – вскричал Иван Павлович, – если не откажетесь от своих мыслей.

Кончилось тем, что ветеринар поругался с общиной и отправился к одному своему приятелю, банковскому чиновнику, который был знаком с штабным писарем.

Когда пришел назначенный час, Зельц прочел семь раз главу псалтыри, надел на шею ладанку, посыпал голову золой и пошел в гостиницу «Вена». Атаман ласково встретил его, угостил свиным салом и проводил на балкон. Ефрейторы вытащили золоченое кресло, и Заремба уселся позади Зельца.



– Ну, перекрестись, Мошко, – сказал атаман, расстегивая жупан и поглаживая брюшко.

Зельц перекрестился и посмотрел вниз. Улица была пуста. Но из всех домов конные петлюровцы вытаскивали людей и гнали их к гостинице. Через несколько минут вся Ерусалимка была тут. Зельц узнал своих друзей, он увидел в толпе жену и резника, и членов синагогального совета, и членов погребального братства, и обоих раввинов, духовного и казенного. Он увидел их смятые испугом лица и большие глаза, глаза всего народа, смотревшие на него с мольбой и проклятием. У него закружилась голова, белые стены домов показались ему бегущими водами, словно Бут расширил свое русло и залил весь город. Люди плавали в воде, их было так много, что они вытесняли своими телами воду. Зельц вспомнил Нахмана, он видел его барахтающимся в зеленой глубине Буга, умоляющим о помощи и идущим ко дну. Хилые руки плавали еще на поверхности, хватались за лодку, плывшую по течению без людей на борту. Мальчик уцепился за весло, но весло ударило его, зашумела вода, увлекая последнюю руку, мелькнули пузыри и пропали. Зельц закрыл глаза, качнулся и упал на атамана.

Конвоиры подхватили его и поставили на ноги. Они освежили его водой и напоили самогоном. Он открыл глаза, посмотрел вниз и увидел сейчас улицу с людьми, как в первую минуту. Все глаза были опущены, торчали одни головы, черные головы, упавшие на груди.

– Не волынь, – тихо сказал атаман, – в нашем деле волынка первая опасность.

– Хорошо, – ответил Зельц, – что я должен говорить, атаман?

– Повторяй за мной, – сказал Заремба и шепнул так, чтоб внизу не слышали, – жида нехристи...

– Жида нехристи, – повторил Зельц.

– Громче, – сказал Заремба, – уговор забыл?

– Жида нехристи, – вскричал Зельц, пронзая своим тонким голосом молчаливую, как смерть, улицу.

– Мошка шарлатан, – шепнул Заремба и посмотрел вниз.

– Мошка шарлатан, – во весь голос сказал Зельц.

– Плевал я на жидовскую веру, чесночная нация, – сказал Заремба.

– Плевал я на жидовскую веру, чесночная нация, – повторил Зельц.

Атаман замолчал. Он дергал свои американские усики, стараясь еще что-нибудь придумать. Но ничего не придумал и заставил Зельца повторить последние слова. Потом он сказал:

– Плюнь.

Зельц плюнул вниз.

– Три раза плюнь.

Зельц плюнул три раза.

– Ладно, – сказал атаман, – можешь идти. Придешь в воскресенье, опять поговоришь.

– А сыночек? – спросил, рыдая, Зельц, – сыночек, атаман?

– Вот придешь в воскресенье, тогда отпущу хлопца, – сказал Заремба и ушел к себе в номер.

Конвоир проводил Зельца на улицу.

– Продай ты свою веру, жид, – угрюмо сказал он, покидая его.

Когда Зельц очутился на улице, он увидел, что все сторонятся его, уступают ему дорогу, избегают встретиться с ним. Ему подвернулся под ноги трехлетний мальчик, он нагнулся и погладил его по пушистой головке. С ближайшего крылечка сбежала мать, схватила с криком своего ребенка и унесла его. Синагогальный служака отступил от него на несколько шагов и стал отплеиваться, как от дурного глаза. Кузнец в Ерусалимке не остановил его и не спросил – «как мои башмаки, Исак?», он запер дверь своего дома и спустил занавеску на окно. Все окна были занавешены. Зельц шел по безлюдной пустыне и чувствовал, как из-за занавесок смотрят на него в упор сотни ненавидящих глаз.

– Люди, – вскричал он в пустоту, – где ваши слова о спасении человеческой души?

Никто не ответил ему, только воздух шипел, как котел, как гигантский котел, в котором варятся проклятия, нашпигованные желчью и злобой. Из одного окна ему вылили на голову помои. Зельц выбросил руки вперед, как утопающий – зловонная жижа ослепила его на минуту, – потом он открыл глаза и стал видеть не так, как прежде. Каждый предмет, попадавшийся ему на глаза, улица или дом, человек или столб, был покрыт темными пятнами. Воздух состоял из разноцветных полос, поднимающихся и опускающихся, набегающих и уходящих.

В этом полосатом кошмаре Зельц встретил Айзика Шаца. Сновидение ходил по улице, заложив руки за спину и напевая.

– Вы не видели моего сыночка? – спросил Зельц.

– Он не ходит уже ко мне, – печально ответил Шац, – он говорит, что вычитал весь магазин.

– Он сидит в темнице, мой мальчик, золото мое, – сказал Зельц, – Айзик, слушайте меня. Люди злы, как шакалы, Айзик.

– Не оскорбляйте шакалов, – вскричал Шац, – шакал неразумен, как дитя. Он не ходит в синагогу и не читает псалтыри.

– Ведро помоев, ведро желчи, ведро горечи, – вот что такое жизнь, – сказал Зельц, качаясь.

– Не говорите, Исак. Если б я не был евреем, я давно наложил бы на себя руки. Наплевать мне на жизнь, что дана мне, как испытание.

Они разошлись в разные стороны, и Зельц свернул налево, к Торговым рядам, чтоб купить хлеба и бутылку молока для Нахмана. Женщины с молоком, завидев его, бросились прочь от него. Торговец хлебом закрыл свой шкаф и спрятал ключ в карман. Зельц прошел сквозь пустоту и направился к дому резника. Он постучал в окно.

– Кто там? – спросила жена резника.

– Я, Люба. Откройте. Это Исак.

В доме резника стало тихо. Зельц постоял минут десять и пошел на вокзал узкоколейки. Там он купил молока и хлеба и передал Павло для Нахмана. Потом он вернулся в свой опустелый дом. Маня лежала на кладбище, она припала к могильным плитам дорогих покойников, умоляя умерших вступить за ее сына, вымолить у господ-бога прощения.

– Милые мои, – редела на могиле Маня, – золотые мои, вспомните о нас, пожалейте моего сыночка, да будет он от вас далек, как земля от луны, как корень от верхушки, как север от юга... Пойдите к господу и скажите ему: «боженька ненаглядный, боженька сердечный, боженька изумрудный, убей грешную мать, сожги ее огнями ада, выколи ей глаза, вырви у нее сердце, натрави на нее бешеных собак, боженька изумрудный, но спаси сыночка, маленького ангела, маленького наследника, да будет он далек от вас, как земля от луны, как корень от верхушки, как север от юга...».

В воскресенье утром город шумел, как в праздник. Все улицы были запружены телегами. Население отвозило в штаб контрибуцию. Делегаты общины сидели на телегах, как осужденные. Обоз сопровождал конный конвой петлюровцев. Зельц вышел на мост посмотреть на обоз. Он думал о том, что атаман будет доволен, и сегодняшней день будет для него днем благополучия. Стоя на мосту, он заметил проезжающую бричку. В ней сидел, опершись на маленький чемодан, Иван Павлович. Зельц подбежал к нему и остановил бричку.

– Иван Павлович, золото, – сказал Зельц, – вы были у писаря?

– Был. – ответил ветеринар, не глядя на него.

– Что он сказал, Иван Павлович? – спросил Зельц, стараясь поймать взгляд ветеринара.

– Не отчаивайтесь, Исак. Будут лучшие времена. Я уезжаю в Москву, только никому не рассказывайте этого.

– А сыночек, Иван Павлович, сыночек мой? – Не отчаивайтесь, Исак, – повторил ветеринар. Он хлопнул извозчика по спине, и тот

погнал лошадь вовсю, опережая обоз. Зельц отправился на вокзал узкоколейки, купил хлеба и молока и передал Павло. Потом он пошел к гостинице «Вена» и стал ждать, пока атаман примет его. Он сидел на улице, мелкий дождь мочил его, и грязь, скопившаяся на нем за все эти дни, в которые он не раздевался, не умывался и не причесывался, растеклась по нему, как по мостовой. Какая-то деревенская баба приняла его за нищего и поднесла ломоть хлеба. Зельц поцеловал этот ломоть и спрятал его за пазуху.

Его впустили к атаману в четыре часа дня, как и в первый раз.

– Жаль мне тебя, Мошка, – сказал Заремба, – хватит с тебя, ты свое дело исправно сделал.

Он предложил ему табаку, Зельц взял и стал крутить папироску. Заремба зажег ему спичку.

– Сейчас пошлю за хлопцем, – сказал он. – Ты посиди вот тут.

Он сказал несколько слов в телефонную трубку, и через десять минут в номер вошел Павло.

– Как зовут хлопца? – спросил Заремба.

– Нахман, – ответил Зельц, любовно глядя в глаза атаману.

Заремба записал на бумажке и протянул эту бумажку Павло.

– Приведи, – сказал он и откинулся на спинку кресла.

Павло не двинулся с места. Он опустил голову и стал теревить свою бородку левой рукой.

– Нельзя, атаман, – тихо ответил он.

– Как так нельзя? – спросил Заремба, вставая.

– Того хлопца, атаман, на свете нема, – ответил Павло, еще ниже опуская голову.

– Как так нема? – вскричал Заремба, подходя к нему вплотную.

– Расстрелян, атаман, – ответил Павло, отодвигаясь.

– Когда расстрелян? По чьему приказу? – вскричал Заремба и ударил Павло нагайкой по лицу.

– На той неделе, атаман, – тихо ответил Павло, отступая.

– По чьему приказу? – еще громче вскричал Заремба и снова ударил его.

– По ошибке, атаман, – ответил Павло, падая. Заремба толкнул его ногой и бросил на землю.

Он позвал конвоиров и, показав на лежавшего Павло, сказал:

– В подвал этого мерзавца! В подвал сукиного сына! До распоряжения!

Конвоиры подняли Павло и вывели его из комнаты атамана.

– Жаль мне тебя, Мошка! – сказал Заремба и посмотрел на диван.

Но Исака Зельца в номере уже не было.

Контрибуция сделала свое дело, и в городе было тихо, магазины торговали бойко, базар шумел, по улицам ходил народ, отпала надобность в посте. В следующее, после траурного, воскресенье, железнодорожный чиновник постучался в дом Зельца. Никто не ответил ему, и соседи рассказали ему, что хозяин пропал, а хозяйка перебралась к резнику, на Торговую улицу. Чиновник пошел туда и передал Мане два письма. Одно пришло по почте из Киева, другое привез пассажир из Москвы. Оба письма были написаны по-русски. На одном конверте было написано «Нахману Зельцу», на другом – «Исаку Зельцу».

Когда чиновник прочел адреса, Маня закатила глаза и упала на порог, не успев даже вскрикнуть. С ней приключился обморок. Чиновник увидел, что здесь неладно и, открыв дверь и комнату, вызвал жену резника. Он передал ей письма и быстро ушел.

Вечером резник вернулся домой. Он увидел письма на столе, надел очки, придвинул лампу и стал читать.

«Дорогой друг, Нахман, – было написано в первом письме, – если б ты знал, бедняжка, сколько я плакала и плачу здесь, ты простил бы меня. Это я виновата, что ты пошел в штаб и сидел из-за меня целую ночь в подвале. Я уехала тогда, когда тебя выпускали. Я была у вас дома, когда пришел твой отец, там был еще ветеринар Иван Павлович, он меня проводил домой. Мама говорит, что если бы мы не уехали, случилось бы несчастье. Нас хотели наказать за то, что папа был городовым. В Киеве я живу на Житомирской улице, на Подоле, внизу. Главные улицы наверху. Я торгую бубликами на Житном базаре, мы все голодаем, мама плачет, она кланяется тебе и говорит, что твой отец очень хороший человек. Ночью стреляют, нельзя никуда ходить. Мы переменили фамилию, и отвечать пока не надо. Я напишу, когда можно будет. Я читала один чудный рассказ писателя Юшкевича, называется «Невинные», и там один мальчик похож на тебя. Я много плакала. Бываешь ли ты в читальне? Мама твоя тоже очень хорошая, привет всем. Я напишу, когда можно будет. Катя. Зина больна, она просила кланяться, Шура уехала в Чернигов с женихом».

Резник аккуратно сложил письмо, вложил его в конверт и стал читать другое.

«Любезный Исак, – было написано во втором письме, – я нашел для себя службу в Замоскворецком отделе Мосздрава. Я получаю, как специалист, три четверти фунта хлеба в день, фунт сахару в месяц и полпуда пшенной крупы. Хлеб такой, какого мы там у себя и в глаза не видели, чернуший, тяжелый, с овсом и макухой. Наплевать, Исак. Здесь есть хорошие люди, это люди будущего. О таких людях я мечтал у себя

дома. Я вспоминаю вашего сына, Исак. Не отчаивайтесь, любезный. Я знал тогда, но не мог сказать вам, вы поймете меня. Будут другие времена, поверьте мне, хорошие времена придут, Исак. Я тогда вернусь домой, и мы поговорим за чашкой чая о прошлом и проклянем его вместе. Привет вашей жене. Ваш друг Иван Белкин».

Резник отодвинул лампу, отложил письма, снял очки и вздохнул. Мало работы стало в последнее время, люди обнищали и перестали есть мясо, появилось много таких, что едят некошерное мясо. Они говорят, что некошерное мясо дешевле.

* * *

Лесные тропы, обильно политые дождем, размякли и спутались. Ветер повалил насаженные вехи. Насыпало много листвы, темной и мокрой. Корни деревьев порозовели от множества красных грибов, облепивших их. Осенняя сырость густо пропитала воздух.

Зельц шел по лесу несколько часов. Испарялись последние остатки дня, медленными шагами спускалась ночь. Винница была давно позади. И слобода была позади. И хутора остались внизу. На базарном спуске он не встретил никого. На Литинском шоссе он увидел опустелый и заколоченный дом городского. В слободе люди сидели на завалинках и лузгали подсолнухи. На хуторах лаяли собаки.

Сперва он бежал, быстро и не оглядываясь, словно за ним гнались конные. Когда он очутился в лесу, он посмотрел назад и увидел, что город далеко и дорога пуста. Тогда он замедлил шаг и пошел по наезженной дороге. Хлынул недолгий дождь, и все тропы смешались в одну. Зельц отступил и вошел в лесную чащу.

Пробираясь между деревьями, он услышал скрип крестьянской телеги и звуки человеческого голоса. Он снова бросился бежать, царапая ноги о кусты и сорванные ветви, пока не споткнулся о голый сруб, поваленный лесокрадами. Он упал навзничь, расшиб лицо и заснул.

* * *

Богатое село Веселиново расположено между двумя городами: Винницей и Литином. В селе — пятьсот дворов, школа, две церкви и несколько керосиновых двигателей-молотилок. У крестьян здесь большие наделы, просторные хаты с росписью, швейные машины и граммофоны. Но несмотря на это, Веселиново славится на всю округу своими лесокрадами. Было время, когда больше половины жителей этого села сидели в арестных домах. Веселиновский помещик менял сторожей и лесничих каждую неделю, плакался на сходах, ему сочувствовали, но лес редел и редел. Он отчаялся и продал свой участок одному фабриканту. Тот истратил триста рублей на одни подарки для полиции, выписал отставного

унтера из Киева, настроил землянок, но вскоре продал за бесценок лес литинскому магнату, поляку из Несвижа и уехал в Киев. Там он долго вспоминал с удовольствием, что не является больше хозяином этого леса. Несвижский пан узнавал свой лес на базарах, составлял протоколы, хватался за винтовку и кончил тем, что заложил свой участок в банк, и деньги, полученные из банка, проиграл. Этот проигрыш ничуть его не огорчил, словно он играл в долг. Крестьяне никак не хотели привыкнуть к тому, что лес чужой, и смотрели на все штрафы и наказания, как на нелепые и случайные препятствия.

В ночь под понедельник Ефим Таращук из Веселинова аккуратно запряг свою лошадку и поехал в лес. Дождь давно прошел, воды ушли вглубь, и дорога была приятная, гладкая, хоть и вязкая, как песок. Ефима мало беспокоили пропавшие вехи и слипшиеся тропы, он знал лес, как свою хату. И лошадь его шла по хорошо знакомой ей дороге, не ожидая понуканий; сама сворачивала влево и вправо и останавливалась только по нужде.

Ефим услышал человеческий голос. Он остановил лошадь и замер на месте, прислушиваясь. Он прислушивался с минуту, голоса больше не было слышно. Размышляя, как поступить, ехать ли дальше или воротить назад, он услышал еще раз этот голос. Человек слабо стонал. И стоны неслись с того самого места, где Ефим в прошлый раз повалил дерево.

– Заманивает, плут, – подумал он и удивился. Он знал, что немцы покинули местность еще на той неделе. За последний год он привык к тому, что лес никем не охранялся. Вот немцы только расставили посты и завели старую волюнку. Но дождавшись, куда немцы уехали к себе в Германию, он спокойно отправился в дорогу. Человек продолжал тихо стонать.

– Може, заблудился кто, – подумал Ефим и уверил самого себя в правильности своей мысли.

Он отвел лошадь в сторону и, неслышно шагая, подошел к поваленному дереву. Зарывшись лицом в листву, лежал худой человек. Ноги его зацепились за дерево. Ефим зажег спичку и увидел черное лицо, запачканное кровью.

– Видкиля? – спросил Ефим.

Худой человек не ответил. Ефим повторил несколько раз свой вопрос и стал на колени, чтоб получше разглядеть этого человека. Он услышал какие-то слова.

– Видкиля? – спросил Ефим, оживившись.

– Жиды нехристи, – ответил слабым голосом, человек.

– Здешний? – допытывался Ефим.

– Жиды нехристи, – ответил человек, стоная. Ефим зажег еще одну спичку и задумался, стараясь разобраться в этом голосе.

– Хиба ты не еврейчик? – спросил он, тормоша лежавшего.

Тот не ответил, и стоны тоже прекратились. Ефим подумал, оглянулся и решил. Он оттащил, человека в сторону, взялся за дуб и, поработав полчаса, уложил его на телегу. Потом он поднял лежавшего и пристроил его рядом с дубом. Сбоку он положил мешок с сеном, чтоб человек не скатился. Сам он уселся впереди и погнал лошадь. Она шла туго, часто останавливаясь. Тогда Ефим слез и пошел впереди лошади. На рассвете телега въехала в село.

– Человека в лесу нашел, – сказал Ефим жене. Они внесли его в хату и положили на печь.

Баба сняла с него грязный сюртук и умыла ему лицо. Он пролежал на печи два часа, потом открыл глаза, оглянулся и снова заснул.

– Непонятливый какой, – вздохнула баба и оставила его на попечении шестилетнего мальчугана.

В полдень она и Ефим вернулись с работы. Худой человек сидел за столом и жадно хлебал из миски молоко. Маленький Петрусь стоял против него и, глядя ему в глаза, внимательно слушал.

– Батя, – сказал с восторгом мальчуган, – дядя сказки говорит. Дядя – царь, батя.

– Дурень ты, Петрусь, – ласково сказал Ефим и отстранил мальчугана.

Он уселся рядом с незнакомцем и важно спросил:

– Ну, кажи чоловиче, видкиля сам?

– С Персии, – ответил человек.

– Видкиля? – переспросил Ефим.

– Из Персии, из Шушан Габиро.

Ефим переглянулся с женой и сказал.

– А зовут как?

– Ахашверош, – ответил человек.

– Как зовут?

– Ахашверош – повторил человек.

– Мабуть, нездешний?

– Я царь Ахашверош, – громко ответил человек, – я из Шушан Габиро Упурас Умудай и жена моя Вашти, я ее прогнал.

– За что прогнал? – спросила баба.

– Жинка, говорю, разденься, покажи моим гостям, что ты лучшая на свете, а она не хочет. Я другую жену взял, всех министров погнал искать. Жиды нехристи!

– Хиба ты не еврейчик? – спросил Ефим.

– Я царь, – ответил человек, жадно хлебая молоко.
– Може, германец? – допытывался Ефим.
– Всех искрененю, – вскричал незнакомец, – я из Шушан Габиро Упурас Умудай.

– Непонятливый какой, – вздохнула баба и угостила лесного человека пирогом с капустой.

Потеряв всякую надежду узнать что-либо у этого худого и черного человека, Ефим послал мальчишку за батюшкой.

Батюшка поговорил с лесным человеком и все понял. Веселиновский батюшка был человек образованный: он учился в семинарии древнееврейскому языку по священному писанию.

– Человек не в своем уме, – сказал он Ефиму и пояснил: – Ахашверош значит Артаксерс, Шушан Габиро – стало быть, столица, Упурас – Персия, Умудай – Мидия. Человек Библию рассказывает. И про Вашти в писании есть, то жена Артаксерсова была, царица, стало быть.

Лесной человек пробыл у Ефима целые сутки. В хате стало тихо, он был в тягость хозяевам. На другое утро Ефим насовал незнакомцу в карманы вареной картошки и пирогов с капустой и выпроводил за село. Там он оставил его, вернулся домой к работе и забыл об этом человеке, думать о котором было тяжело.

Эпилог

Дежурный милиционер – вернее, надзиратель – товарищ Жемчужный, смотрел с тоской на дверь. Какой урожайный вечер, пьяные прут сюда, словно это не участок, а пивная. Больше всего дежурный ненавидел тех упрямцев, что приходят сами.

– Задержите меня, – требуют они, – я пьян. «Проклятая Селезневка! Через неделю он будет просить, – думал дежурный, – чтоб его перевели в другой район. В Бутырском надзиратель болен; пусть возьмут его временно туда, там он отдохнет». Товарищ Жемчужный выругался, так как дверь открылась снова и милиционер впихнул в дежурку роцинского цыгана.

– Опять, – сказал, досадуя, надзиратель, – вот зараза, прилип, как Филипп.

Надзиратель не стал делать допроса и обратился к милиционеру.

– Отведи его, голубчик, в тридцать пятую. Пусть выспится.

– А протокол? – спросил милиционер.

– Не будет протокола. Хватит с него, только бумагу портить.

На этого цыгана было составлено уже два протокола. Три дня назад в Марьиной Роще, где проживает шестьсот цыган, произошло кровавое побоище. Две секты не поладили, между собой и пустили в ход ножи. Шереметьевская улица стала в несколько минут полем сражения.

Конный отряд милиции, понеся некоторые потери, прекратил дневной дебош и арестовал зачинщиков. Товарищ Жемчужный устал от разговоров с ними, как от косыбы. Его долготелая практика не знала еще таких темпераментов. Они давали показания и тут же отказывались от них, в обоих случаях клялись и били себя кулаками в грудь. Все они называли себя членами союза, но книжек у них не было. Один из них на вопрос надзирателя о партийности, ответил:

– Да.

– Член партии, значит? – спросил надзиратель.

– Да, да, – весело ответил цыган.

– Покажите книжку.

– Какую тебе книжку? – спросил цыган, недоумевая.

– Партийную.

Цыган отрицательно качнул головой.

– Нету книжки, – ответил он, – я кандидат.

– Тогда кандидатскую покажите, – сказал надзиратель.

– Какую кандидатскую? Нету, – ответил цыган, потая.

– Стало быть, сочувствующий? – иронически спросил надзиратель.

– Сочувствующий, сочувствующий, – радостно ответил цыган.

Этот цыган, в кожаной куртке и сапогах, робко вошел в дежурную и стал в углу, понурив голову.

– По делу о побоище? – спросил надзиратель.

Цыган кивнул головой.

– Чем занимаетесь?

– Сапожник, – ответил цыган.

– Кустарь-одиночка? – спросил надзиратель.

– Не, холодный.

– Как это, холодный?

– У кладбища стою, – ответил цыган, – на улице починяю.

Надзиратель записал и стал спрашивать дальше.

– Где живете?

– На Шереметьевской.

– Номер дома?

– Шестнадцать.

Цыган отвечал на все вопросы спокойно и понятно, но когда надзиратель спросил его, как имя и фамилия, неожиданно ответил.

– Я – Ахашверош.

– Как? – переспросил надзиратель, стараясь запомнить любопытную цыганскую фамилию.

– Ахашверош, – угрюмо ответил цыган, – я из Шушан Габиро Упурас Умудай. И Вашти моя жена, я ее прогнал. Я царь.

Надзиратель прекратил допрос и вызвал следующего цыгана. Выпороваживая странного сапожника, он случайно наступил ему на ногу. Сапожник стал на пороге и начал кричать тонким голосом.

– Жиды нехристи, – кричал он, – чесночная нация. Весь сахар скупили. Спокою не дают.

Его подхватили и вывели на улицу.

Следующий цыган рассказал надзирателю, что человек этот не в своем уме, но хороший работник. Припадки у него бывают редко, всегда он говорит одно и то же.

Надзиратель заинтересовался, угостил цыгана папиросой и спросил его о непонятном сапожнике.

Цыгане подобрали его в поле, недалеко от одного села, Веселинова. Там стоял их табор. Они думали сделать из него особый номер, чтоб танцевал вместе с медведем. Но вскоре выяснилось, что он умеет шить сапоги, и тогда они его уже не отпускали от себя. Кочуя, они возили его с собой в Бердичев и Казатин, в Умань и Белую Церковь, в Васильев и Фастов, пока не добрались до Киева.

В Киеве произошла одна очень любопытная встреча. Цыгане раскинули там свои палатки на Подоле, на берегу Днепра. Сапожник сидел на камнях, около палатки и починял чьи-то сапоги. У берега остановилась лодка и оттуда выпрыгнула молодая пара. Какой-то красноармеец с нашивками – командир, видно – вел под руку тоненькую барышню. По всему видно было, что это жених и невеста. Жених потащил девушку посмотреть на цыган. Они подходили к палаткам, здоровались, спрашивали, как цыгане живут – довольны ли, и много смеялись.

Подошли они к сапожнику. Жених протянул ему руку и спросил:

– Как живешь, товарищ?

Сапожник ничего не ответил и даже головы не поднял.

Жених повторил свой вопрос и, подталкиваемый свояками, сапожник буркнул.

– Спасибо, товарищ.

Потом он оставил сапог, поднял голову, посмотрел на жениха с невестой и, вскочив со своего места, впился острым взглядом в эту барышню.

Барышня побледнела, словно узнала кого-то, и назвала сапожника по имени. Как она назвала, цыгане не разобрали, потому что сейчас же вслед за этим сапожник набросился на нее и стал душить.

Жених вытащил револьвер, цыгане оттащили сапожника и связали его. В тот же день цыгане покинули Киев, опасаясь, что милиция сгрэбет их. Потом они побывали в Брянске, в Орле, в Туле, пока не докатились до Москвы, где поселились в Марьиной Роще.

Семен Гехт

Рассказы
и воспоминания

1958–1963

Вечера в железнодорожном клубе

Затяжная московская осень! Над головой – радиорупор, и два диктора, чередуясь, читают последние известия. Неужели лыжный пробег уже начался? Как-то не верится, что где-то – мороз, снег, белые поля, белые дороги. Диктор сообщает: лыжники, направляющиеся в Москву, уже пришли из Бочкарева в Иркутск. Они идут к нам, ведя за собой зиму.

Я задумываюсь, высчитываю: когда же они будут в Москве?

И мне приходит в голову, что наши дальневосточные ребята придут в столицу ко дню первой годовщины смерти Багрицкого. Я вспоминаю: в эти дни так же вышла из Иркутска в прошлом году группа лыжников-красноармейцев. Мы стояли у гроба Эдуарда, когда они подходили к Москве...

Глотая километры, скользили лыжи системы Муртома. Молодые красноармейцы в синих спортивных костюмах, с зелеными рюкзаками за спиной, шли по полям и оврагам Восточной Сибири, мимо знаменитых красноярских столбов, – так называют здесь цепь горных вершин, – к Енисею, уносящему свои холодные воды в Ледовитый океан, по великой и гладкой, как стол, Западной Сибири, по замерзшим болотам Барабинской степи. Падала в термометрах ртуть. Горели щеки, болели глаза. Лыжники останавливали свой ход, терли снегом нос, кормили горячей и холодной смазкой обструганные с краев лыжи.

Когда они покинули Арзамас, мне позвонили из центральной военной газеты и предложили выехать навстречу, в Муром. Кончалась зима. Прощаясь, она обжигала землю теми морозами, о которых принято говорить:

– Ну, не страшно. Последние!

Я сидел на чемодане и слушал радио. Через десять минут надо было отправляться. Бодрое настроение, обычно вызываемое отъездом, подогрела в свой черед веселая пьеса Валентина Катаева, которую передавала одна из московских станций. Мне очень понравилась издательская сцена, где в семейную трагедию внезапно врывается канитель с шубой и забавный спор лжеинтеллигентов о твердых и коммерческих ценах. Я позвонил автору веселой пьесы и сообщил ему о том удовольствии, с каким я слушал его вещь по радио. Но Валентин Катаев меня прервал. Голос его был тревожен.

– Вы не знаете, что с Багрицким? – спросил он. – Как его здоровье?

Я удивился:

– Разве он болен?

С того дня, как мы последний раз виделись с Эдуардом, прошло две недели. Тогда я нашел его в обычном для него состоянии, читающим стихи, острословящим и курящим астматический порошок. Эдуард был всегда болен, тяжело болен, но мы – его старые друзья – так привыкли к его болезни, что считали ее чем-то законным и, надо сознаться, иногда даже подтрунивали над ней. Случалось, что мы упрекали его в лени и неповоротливости, когда он отказывался от дальних поездок и прогулок, а, между тем, ему было трудно двигаться и дышать...

Есть больные, щеголяющие своей болезнью. Они чуть гордятся ею и любят часто о ней напоминать. Эдуарду, наоборот, хотелось казаться здоровым и статным. Он и сам подтрунивал над своей болезнью, и мы, видя его всегда на диване, полуодетым и подвернувшем по-турецки ноги, считали его прикованность к постели и замкнутую домашнюю жизнь причудой, одной из многих его причуд. Сейчас мне ясно: многое из того, что мы считали причудами, было куда серьезней и органичней. Страстный любитель природы, Багрицкий был обречен на вечную с ней разлуку. Он не мог прийти к ней, к природе – и таскал ее в свой дом. Природа жила, пела и размножалась в его доме. Он прекрасно знал птиц и рыб, и в этом я имел возможность не раз убедиться, когда попадал с ним на охотничьи базары – в Одессе, за Дальницей, в Москве – на Трубной и Миусской площадях. Старые профессионалы-птицеловы и рыбоводы говорили с ним почтительно и долго, записывали его адрес, расспрашивали. Так старики не разговаривают с дилетантом. Кстати, признанием птицеловов и рыбоводов Эдуард гордился, пожалуй, больше, чем признанием литературной критики.

– Послушайте, как поет юла, – говорил нам любимый немногими и известный в Одессе поэт.

– Посмотрите, как размножаются калиурусы... или полицентрус хомбурга... – говорил любимый многими и известный всему Союзу поэт.

Бывало, гость слушал или смотрел нехотя, из уважения к таланту и литературной славе хозяина. Эдуард это замечал и, по совести, всегда немного презирал такого гостя.

Он любил поиздеваться над литераторами, не знающими или плохо знающими природу...

В тот вечер, когда Валентин Катаев сообщил мне с тревогой о его болезни, я почувствовал нехорошее и стал звонить друзьям:

– Что с Эдуардом?

Мне сообщили: у него воспаление легких, его отвезли в Кремлевскую больницу. До поезда, уходящего в Муром, оставалось всего двадцать

минут, и я помчался на вокзал, где встретился с товарищем по поездке, красным командиром и журналистом Хоросановым.

– Мы приедем в Муром на рассвете, – сказал Хоросанов. – Отчего вы мрачный?

– Багрицкий тяжело болен, – ответил я.

К моему удивлению, Хоросанов не знал Багрицкого. Я стал ему рассказывать о поэте и пожаловался, что из-за спешки мне не удалось позвонить в больницу.

– Но ведь мы едем на один день, – сказал Хоросанов, – и послезавтра утром будем в Москве...

В Муроме – крутой мороз. Дома завалило по самые окна. Люди сбивают топорами лед с водопроводных колонок. Мы стоим с командиром Хоросановым на берегу реки. Оттуда, из-за Мухтолова, должны показаться лыжники. По ледяно-снежному покрову Оки тянутся сани, бегут мальчишки, идут рабочие с кошелками и вязанками дров за спиной. Командир Хоросанов любит поэзию и с удовольствием слушает мой рассказ о том, как любит поэзию Эдуард Багрицкий, проживающий в проезде Художественного театра, уже не терпящий сейчас, слава богу, нужды и всеми признанный.

Я рассказываю и вспоминаю.

Конечно, когда я познакомился с Эдуардом, меня удивила в нем больше всего его любовь к поэзии – советской, русской, мировой. Мне уже были известны некоторые его стихотворения и поэмы, опубликованные в одесских газетах – и «Чортовы куклы», и «Москва», и «Петербург», и «Дидель», я уже пел вместе с другими прекрасные, хоть и традиционно-романтические песни раннего Багрицкого:

Увы, мой друг, мы рано постарели
И счастьем не насытились вполне.
Припомним же попойки и дуэли,
Любовные прогулки при луне.

Пускай наш путь покрыт сырým туманом.
Что из того? Наш разговор не смолк
В тех погребях, где забулдыгам пьяным
Не отпускают больше пива в долг.

О, да, теперь вино нас не волнует,
И отрезвленью наступает срок!
Пора! Пора! Уже нам в лица дует
Воспоминаний слабый ветерок.

И у сосновой струганой постели
Мы вспомним вновь в предсмертной тишине –
Веселые попойки и дуэли,
Любовные прогулки при луне...

После Багрицкий переделал эту песню. Здесь я привел ее первый вариант, так как именно в таком виде мы и пели ее тогда. Сам Эдуард приспособил для своих стихов мотив «Моего старого фрака», мотив скорее грустноватый, чем залихватский, очень удачно использованный певцом Хенкиным – братом заслуженного артиста – для Беранже.

Когда я познакомился с Эдуардом, я уже был его поклонником. Многих поэтов перевидал я с тех пор – и значительных, и незначительных, – но никто из них не был так поэтически образован и осведомлен. В первые же дни я услышал от него стихи (я слышал их впервые в жизни) Франсуа Виллона, Рембо, Баратынского, Анненского, Гумилева, Нарбута, Третьякова, Хлебникова, Асеева. Он читал наизусть поэмы Олеси («Вечный жид» и др.), которые вряд ли помнит сам Олеша, и стихи В. Катаева, которые вряд ли помнит сам Катаев («Самогон», «Били их рыбаки острогою»).

Он проверил мои познания в области поэзии и сказал:

– Вы знаете, конечно, Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, то есть всех тех, кто стал достоянием хрестоматий и народных библиотек, но вы не знаете еще многих прекрасных поэтов...

Он выкапывал для меня (я был новичок и малопосвященный, а Эдуард любил вводить в мир поэзии) Каролину Павлову, Случевского, Дельвига, Дениса Давыдова, Кипплинга, Эредиа. Он восторгался, восклицал:

– Мировые стихи, а? Мировой поэт!

Кашель, бывало, задушит его восторг и сорвет голос. Тогда он набивал трубку абиссинским порошком с тяжелым ядовитым запахом и прочищал горло. Мы ждали, когда он откашляется и отхаркается и снова начнет читать и петь. Если для своего стихотворения «Увы, мой друг» он взял чужой мотив, то впоследствии уже придумывал их сам. Так пел он Блока («На островах», «Шаги командора») и других. К счастью, «Шаги командора» записаны на пленку...

Я познакомился с Эдуардом в конце 1922 года, когда он жил в Лермонтовском переулке, на берегу моря. Его близкие друзья – С. Бондарин, Е. Голованевская, Т. Лишина – помогли ему перебраться в более приличную комнату. Какова же была его прежняя квартира, если та, в которую я попал, выглядела страшно! Это был темный подвал с покоробленным полом, вечно мокрым, и решеткой вместо окна. Здесь не было никакой мебели, кроме топчана, столика и скамейки.

Он выслушивал, оценивал и тут же вспоминал отрывки, стихотворения, поэмы, и тут же читал их.

– Эх, вы не застали здесь Эзру Александрова, – сказал он мне в первый же день. – Вот был поэт!

Он прочел мне все стихи чрезвычайно интересного поэта, прекратившего свою литературную деятельность, называл имена способных мальчуганов Тепера и Тарловского, хвалил поэму Бондарина «Наливное яблоко», которую вытащил из-под подушки, прочел множество стихов Нарбута, Адалис, Хлебникова... У него был свой поэтический счет, и, надо сказать, почти безошибочный. Многие с удивлением слушали, как он выделял никому не известных поэтов и уничтожал знаменитых. Время показало, что он был прав. Так, Эдуард привез в Одессу весть о Сельвинском, которого еще никто не знал. От него я впервые услышал о «чудном писателе», который живет на углу Ришельевской и Почтовой.

– Как фамилия? – спросил я.

– Бабель, – ответил Эдуард, – ну, это классный писатель! Вот мы потащимся к нему в гости, он нам почитает. Он пишет книгу о конармии. Это будет книга, дай бог!

В те дни одесские литераторы собирались в железнодорожном клубе на Степовой улице. По субботам читали сами, по средам обсуждали произведения какого-нибудь московского поэта или классика. Эдуард часто выступал с лекциями и читал вещи поэтов, о которых шла речь. Я помню, как он однажды прочитал аудитории ряд стихотворений Гейне на немецком языке. Интерес к литературному нашему кружку возрастал. Если сперва вечера происходили в маленькой, набитой битком комнатке с круглым столиком посередине и медвежьей шкурой на полу, то правление клуба было вынуждено потом перенести наши шумные литературные собрания в большой зал (на шестьсот человек). Нас стали приглашать на Джутовую фабрику, в Январские мастерские, в больницы.

Я помню, что на наших собраниях первым всегда высказывался Эдуард, и все внимательно прислушивались к его речам. Кроме него, на собраниях бывали и читали свои вещи: Бабель (читал «Одесские рассказы»), Кирсанов (читал поэму «Туннель» и множество других вещей), Славин (отрывки из романа «Свиньи в апельсинах»), рассказы «Тысяча и одна ночь»), Ю. Золотарев, И. Микитенко, А. Югов, Д. Бродский, Г. Гребнев, Н. Матьяш, Чернов, Захаров и другие. В полночь мы расходились по домам, и Эдуард шел, провожаемый мною, через весь город, ежась от холода. У него не было ни пальто,

ни теплой шапки, ни теплого белья. Он шел быстрым шагом, свесив на грудь свою большую, седую и лохматую голову...

Не признанный еще и нищий, он много и часто смеялся и острил. Когда он смеялся, то хватался руками за голову, весь приходил в движение, сопел и заливался тонким хохотом. Любо было смотреть, как веселилась эта нищая семья, где мужу не в чем было выйти на улицу, и жена кроила ему из своей старой юбки штаны-галифе. И вдруг – радость, материальные блага! Преподаватель совпартшколы и поэт А.Л. Рубинштейн решил устроить большой литературный вечер в клубе милиции с тем, чтобы весь сбор поступил на обмундирование Багрицкого. Все взялись за это дело, вечер состоялся, был успех, а над кассой – аншлаг. Женская комиссия – жена Эдуарда и жена Рубинштейна – пошли с выручкой на базар и купили ему там много вещей. Они помнили все время о вкусах поэта – ему хотелось всегда выглядеть бравым героем, этаким партизанским командиром, несколько картинным и даже лубочным. Они помнили о его вкусах – и приобрели на Новом базаре лихую бекешу, невероятной величины папаху и штаны-галифе. Когда он все это на себя напялил и, вычистив сапоги, вышел в таком виде на улицу, прохожие, глядя на него, на его большую голову и чуб, торчавший из-под папахи, думали: вот идет бывший атаман или батько, который осоветился. А может быть, сам Григорий Котовский?..

И э т о не причуда. Я вспоминаю, как потом, четыре года спустя, был у него в Кунцеве разговор с Иваном Катаевым о несвершенных биографиях. Эдуард говорил в том духе, что, если грянет новая война и мы опять окажемся под ударом, надо будет направить прямее линию своей жизни:

– Мы будем с вами комбатами или комбригами!..

Он часто огорчался, что не был им, то есть комбатом или комбригом, в войну гражданскую. Мы не раз упрекали себя в том, что прошли по боковым дорогам революции, и – что греха таить! – когда заходил разговор о боевых годах, Эдуард иногда присочинял кое-что к своей подлинной биографии. Он никогда не делал это из корысти, нет – ему хотелось видеть т а к о й свою биографию, и часто она представлялась слушателю в виде смеси, где наряду с настоящими событиями были и выдуманные. Ему хотелось, чтобы они произошли в его жизни, и фантазия приходила на помощь.

– Вот увидите, в будущую войну...

Будущим он хотел заштопать дыры, которые, к неудовольствию своему, видел в своем прошлом. Он гордился знакомством с красными

командирами, с людьми, успевшими заработать себе славу комбата и комбрига. Ему нравилось, что они считают его своим, и Багрицкий часто подчеркивал, что он совсем не штатский, а боевой парень, и чисто детским был его восторг, когда один знаменитый комдив подарил ему боевое оружие. В тот год, к которому относится наша беседа о будущих подвигах, Багрицкий написал «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым», где воплотил в реальных поэтических образах свои мечтания...

...В Муроме – крутой мороз. Я рассказываю командиру Хоросанову о пристрастии молодого Багрицкого к таким определениям, как «тугой», «крутой». У Багрицкого, говорю я, нет тихой природы. Она всегда движется и шумит. Это не та природа, к которой пришел человек, а та, которую он притащил к себе в дом. Он с ней в разлуке, и потому она входит в его стих не как гость, а как побежденный враг. Странная, преувеличенно-шумная и резкая природа – особенность его таланта. Я читаю Хоросанову отрывки из «Думы про Опанаса», «Арбуза», «Летучего Голландца»...

Быстро гаснет короткий зимний день. Пустеет берег Оки, разбежались мальчишки. В гору ползет колхозный обоз; свирепый мороз покрыл коней сединой, окутал их туманом.

– Идут! – закричали на реке. – Ура!

Откуда-то вынырнул оркестр, и музыканты, хватившие водки, чтоб не простудиться, заиграли приветственный марш. Усталые лыжники пересекли ледяную Оку. Мы побежали за ними, и пока они умывались, смазывали лыжи, ужинали и играли в шахматы, – у них был турнир, который они начали в Иркутске и никак не могли закончить, – пока они занимались своими делами, Хоросанов и я выпытывали у них свежие новости о пробеге, расспрашивали, копались в их дневниках.

В тот же вечер мы выехали в Москву.

– Приеду в Москву, обязательно раздобуду книги Багрицкого, – сказал Хоросанов.

Как только мы оказались на московском вокзале, я побежал к автомату с тем, чтобы позвонить в Кремлевскую больницу и узнать о здоровье Эдуарда. У автомата была очередь. Человек, стоявший впереди меня, развернул газету. Я мельком взглянул на газетный лист – и первое, что я увидел, был некролог об Эдуарде и его фамилия, напечатанная крупными буквами и заключенная в траурную рамку...

В гостях у молодежи

Заночевал я раз в целинном казахстанском совхозе. Молодежь, набившаяся по всем правилам походной жизни в красный вагончик на полозьях, приволокла дровишек и докрасна раскалила чугунную печурку. Перед сном в вагончике полагалось кому-нибудь «травить», то есть рассказать какую хочешь историю из жизни.

– Пускай сегодня батя расскажет, – предложил один московский паренек.

Судя по его виду, он мог бы выразиться и более точно, и более уважительно. Но в первый год на целине некоторые думали, что вдали от Москвы можно и опроститься, огрубеть.

В вагончике знали о моей профессии, о том, что я приобщен к литературному делу, и от меня ждали рассказа из этой самой литературной области. Пришлось «травить».

– За ужином вы тут толковали, – сказал я, – про первую получку, какие сделали покупки. Выдали-то вам ее недавно, а моя первая получка случилась еще при царе, в детские годы, и я все деньги за месяц – семь рублей – отдал отцу. Зато расскажу вам, как я получил первый гонорар. Точнее: как я должен был получить первый гонорар. Начинается история с того, что я его совсем не получил.

– Позабыли выписать? Или увели? – спросил поторопившийся опроститься паренек.

– «Увели!» – передразнил я его. – И охота вам перенимать у хулиганья его бедный язык! Нет, гонорар мне выписали как полагается. Но до истории с гонораром придется вспомнить еще одну историю – про еженедельный журнал «Детство и отрочество». Издавался журнал в городе, который в целях литературной конспирации принято называть «городом на юге». Редакция помещалась в ряду железно-скобяных лавок на торговой улице. Последние дореволюционные годы. Миновав несколько лавок с крупнейшими амбарными замками, останавливаюсь у дверей редакции. Особой, присущей новичкам робости не испытываю. Наоборот, ожидаю от встречи чего-то исключительно приятного.

Месяц назад я написал стихотворение и, по совету взрослых, послал его в редакцию детского журнала. Стихи, конечно, нудные, но и в то время находились повсюду восхвалители детской ерунды, и много ли моей вины в том, что взрослые подчас глупее, чем следовало бы? Неделю через две я увидел свое стихотворение опубликованным. Ну, уж тут руки зачесались вовсю, буквально не сходя с места, написал я еще

стишок: с бурунами, чайками, а главное – реями. Что такое рея, я не знал, но слово, по-моему, годилось. Увы, в следующем номере я стихов уже не нашел. Школьный товарищ посоветовал: «Загляни в “Почтовый ящик”».

Фамилию свою я нашел в «Почтовом ящике» сразу. Меня приглашали посетить редакцию. Посетить – вот именно! Приемный день – вторник, от трех до пяти.

«Сила – внутри нас», – уверил я себя.

«Силой внутри нас» назывался самоучитель гипнотизма. Он стоил двенадцать рублей, а со скидкой – семь. Прочитав в столичном журнале «Тарыбары» объявление, что каждый, кто придет в адрес Московского университета три семикопеечные марки, получит самоучитель гипнотизма, то есть «Силу внутри нас», я так и поступил. Но взамен книги мне прислали проспект с требованием перевести по почте семь рублей. И теперь мечталось, что редактор, пригласивший меня посетить редакцию, даст мне эти деньги.

Редактор-издатель стоял у окна, он принимал какую-то пилюлю, которую ему никак не удавалось проглотить. Она всякий раз застревала у него в горле, затем снова оказывалась на кончике языка. «Что ты скажешь, не могу и не могу, – пожаловался редактор-издатель, – бывает же такое дурацкое горло!»

Проглотив наконец пилюлю, он усадил меня в кресло, спросил фамилию и похвалил мой «Пиратский флаг». «”Пиратский флаг” – это не я», – осмелился я возразить. «Верно, верно, – поправился редактор-издатель. – “Пиратский флаг” прислал сынишка Аслана с Александровского проспекта, у них на проспекте винный погреб. Аслан как раз вчера подписался на пятнадцать годовых экземпляров».

Я все еще верил в силу внутри нас, но редактор-издатель спросил: «Где ты, мальчик, живешь?» – и все разглядывал мои ботинки с резиновыми ушками. «На Болгарской», – назвал я одну из бедных улиц города. «И где же ты, мальчик, учишься?» – «В казенном училище. Меня освободили от платы за право учения». – «Освободили? Похвально, – проговорил он, скучая и даже чуть не враждебно. – А дядя, мальчик, у тебя есть?»

Краткая биография моего дяди его также не порадовала.

«Слушай меня, мальчик, внимательно. Когда придешь домой, скажи папе, чтобы он подписался на пять годовых экземпляров “Детства и отрочества”. Постой, хватит на четыре. Мой журнал очень дешевый, шесть рублей на год, на полный год. Скажешь?» – «Он не подпишется, у нас нет денег», – ответил я редактору-издателю. «А если три экземпляра?» – «Он совсем не подпишется. У нас совсем нет денег». –

«Как хотите, дело ваше, – грустно и обиженно проговорил он. – Это значит, что печататься ты у меня больше не будешь. У меня журнал, а не благотворительное общество “Капля молока”». – «И “Свистели буруны” тоже?» – спросил я, не только потеряв надежду на «силу внутри нас», но и вообще обессиленный. «И буруны, и шуруны, – проворчал он, – и чайки, и сайки...» Проворчал, и раскаялся, и ласково взял меня за руку. «Я погорячился, мальчик. Но должны же вы все, наконец, понять, что у меня долги и мне половину жизни приходится торчать в Луганске. Луганские типографщики, слава богу, не такие кровопийцы, как наши. И потом – не думайте, что ваши стихи получше аслановских. Ты тоже, мальчик, не Саша Черный и не Фруг. А папаша Аслана подписался на пятнадцать годовых...»

Ничего уже с того дня не посылал я в детские журналы и газеты. Но сочинительский зуд – болезнь затяжная, с рецидивами. Через много лет я опять написал стихотворение и опять послал его в редакцию. В редакцию «Известий губисполкома». Тут уж, думал я, с меня платы не потребуют. Так, разумеется, и случилось – и первое, и второе стихотворение напечатали бесплатно. И не знал я, простак, что за это еще и платят пославшему, и называется такая штука гонораром. Служил я тогда караульным на огородах наробраза при городских полях орошения, грузил в порту дрова, и до той поры, когда сделался литератором, так сказать, по объявлению, я не представлял себе такой профессии.

У каждого рассказчика бывает счастливый момент, когда, заинтересовавшись, слушатели о чем-то удивленно его переспрашивают. Переспросили в вагончике и меня:

– По объявлению?

– Повернулась-то моя жизнь из-за того, что я не застал на месте подольского губпродкомиссара Голембо. А понадобился мне Голембо после того, как расформировали караульную команду, а расформировали ее оттого, что была она наробразу ни к чему и однажды ее ненужность раскрылась перед глазами заведующего наробразом профессора Владимира Потемкина, сделавшегося в более поздние годы виднейшим советским дипломатом, академиком и наркомом. «Что они там, чудаки, охраняют? – изумился Потемкин. – Продукты для детских учреждений привозят на склады днем, их тут же распределяют, караульщики же становятся на пост ночью, когда на складах хоть шаром покати».

Караульной команде каюк, надо искать другую работу. Но ее-то найти было трудно. Добрые соседи посоветовали: «Езжай-ка ты в Винницу, живет в Виннице губпродкомиссар Голембо, сын нашего фотографа,

умершего в восемнадцатом от испанки. Напишем ему всем обществом письмо, отцовское-то заведение в нашем доме было». Устроили меня в такой вагон, где билетов не спрашивают, – и качу в Винницу, уже считая себя работником Подольского губпродкома. Те же добрые соседи надоумили: «Скажешь ему, что счетовод. Писать умеешь, дробы простые и десятичные знаешь – чем не счетовод?». В Виннице меня сразу огорошили: «Голембо совершает объезд губернии, воротится недели через две». Положение же мое – как в солдатской прибайтке: «Нет ли у вас, тетенька, водички, а то жрать до того хочется, что аж переночевать негде». Брожу по коридору, сотрудники на меня натываются в темных углах, наконец не выдержали: «Вы к кому?» – «К Голембо». – «Так Голембо же нет. Ну-ка, покажите ваше письмо». Впечатление, понятно, не то. Что им соседи с одного двора, фотографическое заведение, папаша! «О Виннице, говорят, и не мечтайте, поедете по узкой колее в город Хмельник, отсюда верст восемьдесят будет, в одну из наших уездных контор». – «А как, – интересуюсь, – насчет денег на билет?» Вопрос как будто не такой уж наглый, но он почему-то возмутил бухгалтерию, прямо на дыбы поднял. «Вот оно как? Хотите получить деньги на билет? Ладно, устроим экзамен и удостоверимся, какой вы счетовод, высшей квалификации или низшей». И стали задавать вопросы один другого хитрее, так что не ответил я ни на один. Опустил голову – казните, четвертуйте, все равно со вчерашнего дня ничего не ел, да и вчера была одна видимость. Посовещались мои экзаменаторы и решение вынесли такое: «Хорошо, в Хмельник мы вас отправим и деньги на билет получите, но поедете вы туда не счетоводом, а конторщиком». Вот так страшная месть, знал бы, что есть должность конторщика, то и выдал бы себя за конторщика!

В Хмельнике мне не повезло. Ночевал я в конторе, а топить нечем, на дворе осень, холодные дожди. Целый месяц дождался, пока получу зарплату – три пуда овса. Пока дождался, отощал на индусский манер. А притащил свою торбу с овсом – что с ним делать? Кашу и ту варить не на чем. Продал я овес за бесценок и размышляю: ведь новая экономическая политика, люди верно говорят, что нашу контору прикроют, в общем, такая же петрушка, как с караульной командой, надо искать что попрочнее. Соседи в письме упрекают, отчего я не дождался Голембо. Повидал бы я Голембо, совсем другая наладилась бы у меня жизнь. Покамест я размышлял о своей неудаче, контору нашу и прикрыли. Темной, дождливой ночью возвращался я в город, где меня никто не ждал, без видов на пропитание. Дождь сечет,

пузырьки на окнах, голодно, и стал я в мыслях составлять стихотворение насчет дождя, пузырьков и пустоты желудка.

В свой «город на юге» приехал я утром и только вышел на вокзальную площадь, понял, что воротился в царство безработных. Все хотят поднести, починить, уступить – и ни одного объявления по найму. На телеграфных столбах – бумажки: «Учу на гитаре», «Ищу место», «Преподаю», «Изготавливаю», «Паяю», «Лужу», «Обиваю», «Шью», «Вышиваю гладью»... Остановился около дома «Известий губисполкома» – там расклеивали для прочтения газету. В газете спросом и не пахнет, одни предложения. Опять: «Вышиваю гладью», снова: «Учу на машинке... на гитаре, баяне, пианино». На бульваре я встретил коменданта наробраза. Жалуется, что его профессор Потемкин тоже сократил, выделяет теперь комендант шнурки для ботинок из отходов бумаги. «Меня в помощники не возьмете?» Какое там, скулит – начинают появляться настоящие товары, и на шнурки просто плюют; даже показал, как плюют.

Поплелся я на базар, а базар богатый, осенний, сытный, да не для меня. «Ну как, хозяйюшка, поднесем?» – «Не надо, не из калек». Подошли ко мне двое с угрозой: «Уходи, приятель, с базара, и без тебя тошно. И забудь это слово “поднесем”, если хочешь себя сохранить». Уж люди после завтрака пообедали, скоро и вечерять будут. Поглядываю на подоконники – не накрошил ли кто для воробышков хлеба? Опять остановился около дома редакции, опять штудирую газету: может, я раньше что пропустил? Ничего, конечно, не пропустил, иди, дружок, дальше. Гляжу под ноги – авось что-нибудь найду. Нашел огрызок карандаша, проштемпелеванную почтовую марку, и то меня какой-то жадный балбес за руку схватил, кричит: «Чур, пополам!». Разорвал я с досады проштемпелеванную марку – на, компаньон, бери! Стемнело на улице, стало совсем темно, кое-где зажглись неяркие фонари. Засветилась и лампочка над расклеенной на стене дома редакции газетой, к которой я в третий раз притащился – авось что-нибудь все-таки в отделе объявлений вычитаю. И вычитал! Только не в отделе объявлений, а чуть повыше, среди набранных мелко-мелко извещений. Я будто и не поднимал к ним глаз, а заметил внезапно свою фамилию. Именно мою фамилию, с моим инициалом. Редакция просит меня, именно меня, зайти в субботу от пяти до семи. А день-то субботний, и время ровно семь часов. Кинулся я через двор, взмахнул на верхний этаж и налетел прямо на секретаря.

«Вы меня вызывали, там моя фамилия», – я показываю на раскрытую на его столе, расчерченную синим карандашом газету.

Усмешка, ленивый поворот головы.

«Поздно уже, они ушли. – Но еще раз обернулся и крикнул в полутемный коридор: – Эдуард Георгиевич! Вы тут?»

Полутьма отозвалась звучным мужским голосом, и через мгновение я уже пожимал руку одетого, как веселый нищий, поэта Эдуарда Багрицкого...

– У нас есть его книга, – сказал самый приятный мне в этой компании целинник, приладившийся с бритвенным прибором у окошка. Машинист Московского метро, водивший поезда в белых перчатках, он и здесь соблюдал порядок, чистоту, хотя и жил в одинаковых условиях с пареньком, все называвшим меня «батей».

Паренек этот поглядел на меня прехитро, спросил:

– Теперь вы, небось, батя, соображаете, как гонорар получать, верно говорю? Еще и на нас, целинниках, заработаете. Разве не так?

– На тебе заработаешь! – пренебрежительно пробурчал из-за печи третий целинник, московский строитель, штукатуривший раньше дома на Ленинградском шоссе.

Паренек обиделся, заныл:

– Скажешь, я сегодня плохо на Ишима вкалывал?

На берегу Ишима совхозная молодежь ломала камень для строительства столовой и складов. Большие заработки зимой у многих не получались, и здесь нетерпеливо ждали весны, когда начнутся основные работы, получишь машину, занятие по специальности. В будущее верилось – совхоз был новейшим, а у соседей на той стороне Ишима, в новом, а не новейшем совхозе, на работу и на заработки не жаловались.

– Дайте человека послушать, тут про таких людей рассказывают... – попросил бывший машинист метро.

– Да, тот вечер был в моей жизни запоминающимся, праздничным. Сказал мне Багрицкий, что он руководит в железнодорожном клубе рабочим литературным кружком и там объединилась вся пишущая молодежь. Искали и меня – ведь я опубликовал два стихотворения... «Правда, чистая бальмонтовщина, – проворчал Багрицкий, – но ничего, это с вас скоро слезет. Почитайте из новых». Из новых у меня только и было про дождь и пузырьки. «Чересчур жалостно, – раскритиковал Багрицкий, одергивая на себе свою за латаную гимнастерку веселого нищего, – романс в исполнении Липковской. Пошли на улицу, проводите меня».

Чуть не с первого шага на пути к его дому близ моря, где он жил в полузатоленном подвале, начал он меня, зеленого новичка, знакомить

с чудесами мировой поэзии, русской, советской. Поэмы Блока и Эдгара По, Державин, сделавшийся вдруг понятным и современным в его умном, звучном исполнении, неведомые даже многим знатокам стихи Случевского, «Облако в штанах», полностью и подряд пять баллад Кипплинга, стихи Вальтера Скотта и Гейне, и еще, еще... Началась эта волшебная демонстрация на полутемной осенней улице и продолжалась до полуночи, а то и позже, прервавшись ненадолго, до утреннего чая.

Я прижился у Багрицкого, всюду его сопровождал и, побывав с ним в бухгалтерии «Известий», кстати узнал, что гонорар мне выписали, а потом и списали. У классического бедняка Эдуарда Багрицкого всегда жил какой-нибудь нахлебник. В то время у него нахлебничал я. Он и кормил порой, и приобщал к тому редкому богатству поэтических знаний, которым обладал. Я видел, как он «боролся со словом», трудом приближал к себе тот далекий еще день, когда он с удовлетворением сможет сказать:

И слово, с которым мы
Боролись всю жизнь, – оно теперь
Подвластно нашей руке.

– Вот канитель, и со словом бороться надо! – удивился игравший в грубость паренек.

– Слово – это человек, – сказал я, переиначив крылатое изречение естествоиспытателя Бюффона. – Я видел в вашем совхозе, как забирали в милицию двух заматерелых, отборных, что ли, хулиганов – до чего же нечеловеческий, убогий был у них язык! А насчет хулиганства должен вам также рассказать один случай.

Я возвращался в двадцать пятом году из Самары, куда ездил для репортажа на железнодорожную конференцию. В купе мягкого вагона было нас всего двое. Попутчик попался шумный, вредный. Огромный, лохматый, сиплый, все время пьет пиво, понабросал окурков, пробок, казенную подушку кинул на пол, под ноги. Одет в роскошный узбекский халат, повадки вельможи, что ни слово, то похабщина. Из пьяных его выкриков я понемногу узнаю, что и в самом деле вельможа. Едет из Средней Азии в Москву по вызову Цека, и разговор ожидается неприятный, даже тяжелый. Клянет каких-то жалобщиков, грозит поставить «интеллигентную дрянь» на место и пьет, пьет бутылку за бутылкой. Два ящика с пивом поставил прямо на постель, одеяло в пене, роскошный халат в пене, ночные туфли повесил на гвоздик для полотенца. В коридорчике проводник мне

шепнул: «Партию мараает, сукин сын. Я сам кандидат, силы нет вытерпеть. Уговорили бы его по-соседски не безобразничать».

В купе я вернулся с охотой высказать хулиганствующему вельможе мое негодование. Точно распалая меня, сосед потянулся к моей подушке, – видимо, с пьяных глаз не сообразил, его ли подушка или моя.

«Положите! Немедленно! На место!» – закричал я на моего невыносимого попутчика, искоса поглядывая на брошенный им на стол револьвер с серебряной пластинкой.

Часто от окрика хулиганы в момент никнут. Присмирел и мой попутчик, но я все же посматривал на револьвер и, посматривая, прочитал выгравированную на серебряной пластинке дарственную надпись: «Губпродкомиссару Голембо от...».

Здесь конец истории о пропавшем гонораре, литераторе по объявлению и неудаче счетовода.

Повидать бы, спросить...

Мне иногда передает приветы старейший рабочий журналист Одессы Алексей Борисов. Он живет по-прежнему на Степовой улице, издавна населенной железнодорожниками. Наискосок от его дома, на углу улицы Жанны Лябурб – железнодорожный клуб. В 1922 году клубом заведовал бывший рабочий вагоноремонтных мастерских, полюбивший с юности поэзию, Илья Чернов. Он создал при клубе литературный кружок. В кружке этом я познакомился осенью 1922 года со всеми одесскими литераторами того времени, часть их была из рабочих. Подружился я там и с Алексеем Борисовым, его теперь называют в городе старейшим рабкором.

Кружок, созданный усилиями медлительного и грузного Ильи Чернова и такой же грузной его жены, начал деятельность свою тихо, но через несколько месяцев сделался шумным и разноголосым сборищем литературной молодежи, даже центром литературной жизни города. Здесь собирались по средам и субботам в комнате со шкурой белого медведя на полу и небольшим круглым, словно для игры в карты, столом посередине.

За столом прочно усаживался Илья Чернов с женой, в супружестве тоже полюбившей поэзию. В их тени – бывший учитель гимназии Лагутинский, нанятый ими для лекций по литературе. А чуть поодаль, скажем, в метре от стола, представляя собой и рядового

участника и неофициального руководителя, пристраивался почитаемый тут всеми поэт с именем – пока только в Одессе – Эдуард Багрицкий. Он-то и причина того, что неприметный вначале просветительский кружок возродил угасшую было литературную жизнь Одессы – после эмиграции старых писателей и отъезда в Москву Валентина Катаева, Юрия Олеши. Кружок развивал и новые, пролетарские силы. За Багрицким в клуб на окраинной улице пришли все, кто занимался или пытался заниматься литературным ремеслом. Пришел в осенний вечер и я, теснясь с робостью неопита в уголок, боясь повредить крохотный стул с золочеными ножками. Тогда все богатое было унаследовано от бежавших коммерсантов и заводчиков. Кое-что перепало и нам: медвежья шкура, круглый столик, игрушечные стулья.

Чернов с женой хорошо позаботились, комната натоплена, чисто, светло. Почтительная тишина. Педагог Лагутинский, в заношенном, но вычищенном и отутюженном костюме и потрескавшихся, но с черным глянцем ботинках, голосом больного человека рассказывает собравшимся о жизни и сочинениях Генриха Гейне. Закончив небольшой доклад, он поворачивает добрую, отцовскую голову к Багрицкому, выжидает. И Багрицкий, стряхнув на невысокий лоб, которого он, чудак, стыдился, свой гайдамацкий чуб и полузакрыв серые глаза, дополняет доклад Лагутинского чтением стихов Гейне. Читает он замечательно, так, что даже артистка драматического театра и преподавательница театральной школы Гаяне Тушмалова однажды пришла послушать его мужественный и захлебывающийся от поэтического наслаждения голос. Педагог Лагутинский, чувствуя себя здесь человеком из другой среды, тоже полузакрывает глаза, тоже наслаждается прекрасными во все времена строфами Гейне. Празднично улыбается Илья Чернов: ему, помимо чтения, нравится согласие среди членов кружка, союз старых и малых, – в кружок ходит и шестнадцатилетний леф Кирсанов, и седоусые старики Костров и Яковенко, один – паровозный машинист, другой – учитель. Чернов доволен и единением рабочей части кружка с интеллигентской, вниманием посетителей, в большинстве посетительниц. Улыбается, и тоже празднично, жена Чернова.

Рабочая часть кружка – это Николай Матьяш, напечатавший в губернской исполкомовской газете автобиографические рассказы о «Коровиных детях», малолетних рабочих, которых подрядчик Корова поставлял судовладельцам для чистки котлов; это Аркадий Баршт

с табачной фабрики, ревнитель пролетарской культуры, признающий Гейне за то, что его признал Карл Маркс; это рабочий-журналист и стихотворец Алексей Борисов. Он посылал когда-то свои произведения Плеханову, одобтившему одно стихотворение.

Интеллигентами в кружке называют тех его участников, которые, и сами не работая на заводах, родились к тому же в семьях портных, чиновников и лавочников. Приходят в кружок и девушки с Ближних Мельниц – железнодорожного поселка с бело-синими, из известняка, домиками и маленькими садочками. Фамилия одной девушки Сарчук, а как зовут, не знаю до сих пор. По средам девушки знакомятся с произведениями классиков или новыми сочинениями московских писателей, опубликованными в журналах, а по субботам слушают опусы здешних литераторов, членов кружка. Девушки никогда не высказываются, они уходят, как и пришли, тихие, молчаливые, с милой доброжелательностью на лицах. Статные, особенно рядом с мелковатой породой малорослых стихотворцев, и приодетые, особенно рядом с полунищенской, в небрежных заплатках одежды интеллигенции кружка, девушки просиживают весь вечер у двери. Они жмутся к жене Чернова, представительной рабочей матроне Степовой улицы. Мы уже никогда не узнаем, что говорят о нас дома девушки за шпалерами склонившихся над оградами, отцветающих мальв. О чем пересмеиваются, ныряя после наших чтений в черноту степи? Им нравится, конечно, рослый и привлекательный, несмотря на уродливую дерюжную гимнастерку и одеревенелые бутсы, Багрицкий, нравится и широкий в плечах студент-селянин Иван Микитенко, да оба как раз женатые. И обсуждают ли девушки наши «главы» и «фрагменты», упрекая нас за то, что мы оставляем многое незаконченным? Вряд ли. Мы и сами не сразу разобрались в том, что подражаем, копируем, пересказывая прочитанное. Надо бы в люди, даже тем, кто помытарился, хлебнул малость в голодные годы горя. Это даже необходимо, как нашим рабочим в кружке необходимо просто подучиться грамоте, почитать историю, географию.

Ох, надо в люди, как сделал побывавший у нас на одной субботе Бабель. Теперь он сидит в отцовской квартире на Ришельевской и в свободное от работы в типографии время обрабатывает сюжеты, подсмотренные в людях, куда отправился по совету Максима Горького. Бабеля и сейчас тянет в толпу. Как придет на Дальницкую улицу к Багрицкому, так и увлекает его, а с ним и его «окружение» на Охотницкий рынок, в глубину мастеровых улиц, где так часто слышен удар

молотка по жести и шорох приводного ремня. Или в извозничий погребок. Он любит в Багрицком его энциклопедичность по части поэзии, умиление перед каждой находкой участника кружка и с добрым сердцем посмеивается над захватившей его в плен книжностью. Я, мол, уже из нее выбрался, выбирайся теперь, друг, и ты.

Ни девушки, ни мы не знали тогда, что даже великолепный, не нам чета, Багрицкий не пробился еще к самобытности. Его «Летучий голландец» как будто прекрасная поэма, но написал он ее ведь оттого, что ему слышался «вагнеровский прибор». Года через три Эдуард сменит свой нищенский быт на Дальницкой улице на такой же неустроенный, полуголодный быт в Овражном переулке подмосковного Кунцева, где найдет слова новые, живые, верные. Скажется в словаре и ритме Шевченко, но поддавшийся его влиянию Багрицкий уже не подражатель, пускай даже и сильный. Подражатель перенимал и содержание, то есть перепевал, а новый Багрицкий, наполнив поэмы новым содержанием, обновил и словарь и ритм. В кружке на Степовой он еще перепевает Блока, Гумилева, Нарбута, перепевает «Слово о полку Игореве», Вальтера Скотта – все, что сумел почувствовать, оценить.

Его поселил у себя мальчик в железнодорожной курточке – Анатолий Резников, сочинивший один «фрагмент» о поездке в теплушке, написанный словами и ритмами Пильняка. По средам и субботам мальчик Резников восторженно, однако не дурашливо, поглядывает на одну из девушек с Ближних Мельниц, чей райский румянец запомнится на десятилетия. Мальчик с покорным, однако не рабским, взглядом скоро умрет. А гордая дочь железнодорожника вспомнит о нем, должно быть, к старости, когда женщинам так ценны воспоминания о людях, некогда в них влюбленных.

Путейцы, движенцы и рабочие вагоноремонтного завода вырастили прекрасных дочерей. Каждая достойна любви. Среди них – девушка Сарчук, что садится у самой двери, не для того, чтобы незаметно уйти, а чтобы никому не помешать. Славная девушка Сарчук! Дома, видно, лелеют, похваляются перед соседями. И не опасаются отпускать в кружок. А не опасаются потому, что там главарем – мельничанский рабочий Илья Чернов и с ним его жена. Слыхали здесь и о случающихся иногда в кружке спорах насчет каких-то течений. Раз мы сильно поспорили из-за Киплинга.

Когда отцвели мальвы и степь за Степовой улицей забелела колким снегом, так что пешеходам не надо было и фонарей, ходи куда хочешь без провожатых, в кружке сделалось тесно от посетителей.

И девушкам обидно было за нас перед новыми людьми, что в кружке в чем-то не сошлись. А в чем? Мысли свои изложили мы тогда нескладно. Отчего горячились, что защищали? Немирная среда случилась после того, как клубная библиотека получила свежий номер петроградского журнала с переводом одной баллады Кипплинга. Багрицкому баллада здорово понравилась: слова звучные, ритм мужественный, так и скачут из строки в строку неустрашимые всадники, два благородных, храбрых противника, завершающих схватку дружбой. Теперь ясно, что была в балладе и политика, но тогда ни Багрицкий с его окружением, ни оппонент наш ее не заметили. Дружба-то предлагается всадником запада всаднику востока для того, чтобы он послужил британской короне. Намекни кто-нибудь в тот вечер из более образованных, что тут колониальным духом пахнет, не стали бы и спорить. Идейных разногласий у нас не было, ты против чужого владычества в Индии – ну и я тоже против, ты за независимость угнетенных народов – и я тоже. А рабочие литераторы Алексей Борисов с Николаем Матьяшом, понимавшие особенности художественного слова, не считали вредным ознакомление с художественными произведениями, заключавшими в себе нереволюционные идеи. Мало ли читалось по средам сочинений классиков, где исторические события толковались совсем не в духе современных требований?

Но оппонент Багрицкого, чудак Баршт, ворчал, что в балладе действуют офицеришки, а мы офицеров загнали и так далее. У Багрицкого потом этот вечер был описан в лихой пародии, где обо мне сказано:

Он выступил раз и выступил два, и слова его были просты.

– На Кипплинга лаешь, – он сказал, – покажи мне, как пишешь ты...

Раздражало то, что по-своему заблуждавшийся и в чем-то по-своему правый Баршт желал ограничить круг поэтических тем фабрично-заводским миром. И вообще он брал под сомнение все созданное людьми непролетарского происхождения. В провинции, как и в столице, догорали хилые огни Пролеткульта. Но раздражали и наши заблуждения, вот и кидали слова мимо цели, то насчет того, что все поэтическое нужно пролетариату, то насчет ненужности пролетариату всего, что расположено за пределами его производственной атмосферы... Давно это было, в старые советские годы. А теперь, когда мне передают привет от Алексея Борисова, такая охота в эти минуты его повидать. Поболтали бы весело о громах без молний, случавшихся на сборищах в железнодорожном клубе. Обсудили бы успехи и неудачи участников кружка, у кого вышло и как вышло, а у кого не вышло и почему

не вышло. Покинулись бы славой высоко поднявшихся, погоревали бы об умерших и пропавших. Заглянули бы с ним в комнату с круглым столом и белым медведем. Верно ли, что в клубе теперь железнодорожное училище? Новые хозяева не обругают нас за то, что пришли подышать ушедшим? Чувствительность – недостаток, присущий большинству, его нам легко прощают. Вот тут, сказали бы, усаживались Багрицкий со старым преподавателем Лагутинским, вот тут – мы, а вон там, у двери – гордые дочери железнодорожников, по житейским законам сделавшиеся давно матерями и бабусями. Эх, со смаком вылавливали бы мы с Алексеем Борисовым приятные эпизоды! И какой бы ни выудили из прошлого эпизод, в каждый вплелось бы имя Багрицкого. Без него полноты не получилось бы. Пропавший Иван Микитенко в наших воспоминаниях еще студент-селянин. Подъезжает Микитенко к круглому столу на золоченом стульчике, в руке узкий листок бумаги. Называется произведение «Пароплав». Хороший украинский язык, слова подобраны нужные, предметы описаны с наблюдательностью, одна строфа вытекает из другой – получай за все это, Иван, похвалу от Багрицкого. Микитенко от счастья делается похожим на раскрасневшуюся черноглазую дивчину. Супруги Черновы тоже довольны. Радуются успеху каждого участника и девушки.

В другом эпизоде студент-медик, о котором известно, что он нанялся для заработка сторожем в морг, читает соответствующим, загорбным голосом, отчасти естественным, отчасти наигранным, поэму о воздухоплавании. Это Алексей Югов. Багрицкий слушает его с выражением; «Вот именно так, вещественно, с пониманием композиции». Он рад, что в кружок пришел человек с поэмой, в которой на шиллеровский лад, с философской поэтичностью излагается суждение об авиации. Там, в столице, свистопляска «измов», но Багрицкий противостоит напору школок и группок с полушарлатанскими и целиком шарлатанскими манифестами, Он вовсе не консервативен, как Георгий Шенгели, перекочевавший недавно в Москву, куда перебрались и Катаев с Олешей, и Адалис – все, кто почувствовал себя окрепшим для столичной литературной жизни. Оставшись на родине с самоучками из рабочих и пробующими свои голоса мальчиком Кирсановым, мальчиком Колычевым и другими мальчиками, Багрицкий отыскивает в их опусах – то футуристских, то символистских, то даже имажинистских, как у молодого рабочего Захарова, – так называемое поэтическое зерно. Он терпим к нетерпимым и раздражается редко. Помогает, видно, чувство собственного превосходства, никогда им не выставлявшееся.

Не ломавший себя ради угождения литературным модам, он любит Маяковского. Полюбил еще в шестнадцатом году – навсегда и без взаимности. Маяковский к нему относился без пиетета, даже нанес однажды рану. Году в двадцать четвертом, выступая в Одессе в зале бывшего кафешантана «Северный», Маяковский посмеялся над одним стихотворением Багрицкого за то, что тот переносит окончание предложений из одной строки в начало следующей. Маяковский показал головой, как это затруднительно для чтения глазами. Бедный Маяковский (а отчего бедный, сейчас расскажу) не предугадывал, конечно, последствий, для Багрицкого неприятных. После отъезда Маяковского редакция сочла Багрицкого как бы скомпрометированным и долгое время от него отказывалась. Сижу раз в Водопьяном у Маяковского и слышу, как он разговаривает с приехавшим из Одессы Максом Ольшевецом. Ольшевец приобретает у него стихи для газеты. Осмелел я и говорю Владимиру Владимировичу: «Дошло ли до вас о бедственном положении, в котором оказался после вашего выступления Багрицкий?». Что стало с бедным Маяковским! Настроение я испортил ему без злого умысла надолго. Он чертыхался и проклинал редактора и накинулся потом на Ольшевца. Его было жалко так же, как и голодающего, отверженного Багрицкого.

Теперь, когда оба «ушли, как говорится, в мир иной», мы бы разобрались с Алексеем Борисовым, кто в чем промахнулся и из чьих слов пробивалась истина. И не видал ли Борисов Аркадия Баршта? Он воспитал, говорят, сына, не менее мужественного, чем всадники Киплинга. Отважный летчик, Герой Советского Союза. Я бы сказал: – Может быть, не зря тогда перебранивались?

Зла-то друг другу не чинили, администрацию и уголовный кодекс не привлекали. С годами и нелепо, по-пролеткультовски оголтело высказанные слова упрека могли оформиться в сознании, да они и оформились в душе нашего Багрицкого в более глубокие самокритические замечания. Замечания эти способствуют постоянному, изо дня в день, очищению замусоренного самолюбием и запальчивостью мировоззрения. Душевная работа происходила в Багрицком все годы, она-то и помогла ему так замечательно выразить поэтическое существо революционных идей. Полулежал, вечно больной, на диване, а работа внутри шла, все развивая его мировоззрение.

Повидать бы Алексея Борисова, расспросить, рассказать кое-что самому. Близок локоть, да не укусишь. Так иногда с простейшим желанием. Уж чего проще, а не осуществляется. Зато уж теперь

повидаю, думал я, садясь весной 1944 года в самолет, летевший из Киева в освобожденную две недели назад от немецких войск Одессу. Гнало меня не одно лишь желание потешить себя приятными воспоминаниями. Я тревожился о близких, друзьях. Я знал о казнях в первые дни оккупации города, о гибели пробивавшихся через Савранский лес партизан-подпольщиков, об уничтожении в лагерях смерти еврейского населения. А за пятнадцать минут до вылета я узнал о новых убийствах, совершенных в Одессе немцами в дни их отступления. Это были уже не евреи, не партизаны-коммунисты и не активисты, а те жители Ближних Мельниц, что держались десятилетиями в стороне от активистов. И о гибели людей из «полосы отчуждения» я узнал минут пятнадцать назад в Киевской конторе воздушных сообщений.

Непросто было получить место в самолете. Непросто было пробираться в те дни в Одессу. Поезда еще не ходили, а с машиной у меня не ладилось – не удавалось никак навязать себя в попутчики. Я стал добиваться своей цели в конторе воздушных сообщений. Заходил я туда и утром, и вечером – контора, продававшая от случая к случаю билеты на транзитные и не пассажирские самолеты, помещалась недалеко от дома на Подвальной, где я квартировал у одного московского корреспондента.

Кассирша, которую забредавший в контору народ именовал «товарищ Касьянова», на мои просьбы о билете отвечала неприветливо:

– Сегодня нет... И завтра не предвидится. И вообще линия еще не налажена... И вообще мы принимаем случайные московские самолеты...

Так выгоняют нежеланных и назойливых. И я уходил. Не полагаясь уже на контору и сердитую «товарищ Касьянову», я кинулся снова на поиски попутной машины. Зря искал. Плетусь, неудачник, домой, к квартирохозяину моему, московскому корреспонденту, лежит мой путь мимо конторы воздушных сообщений, но нет охоты подняться в опостылевшее за эти три дня заведение. Все же, подчиняясь закону, побуждающему нас для так называемой очистки совести делать и ненужное, я прошел к нелюбезной кассирше Касьяновой.

– Нету, конечно?

Вместо отказа я услышал торопливое:

– Постойте, постойте! Кстати!

Показала на меня склонившемуся над ее столом посетителю и предложила:

– Передать, может, ваш билет товарищу? Авось его устроит?

В первый раз за семь моих посещений подняла на меня кассирша свои глаза, которые я определил уже не как неприветливые, а просто невеселые.

– Если желаете, перепишем билет на вас.

– Конечно, желаю!

– Самолет, однако, уходит через пятнадцать минут. Наш аэродром в семи километрах. Согласны?

Я позвонил приютившему меня московскому корреспонденту. Позвонил на всякий случай, подчиняясь тому же закону «очистки совести», так как моего хозяина никогда не бывало дома. Но в жизни каждого выпадают дни, когда исполняется любое его желание. Он подошел к телефону! В те короткие часы, когда он бывал в своей квартире, он с ходу погружался в крепкий, как у младенцев, сон, и будить его бывало бесполезно. А тут – дома и сразу взял трубку. За первой удачей вторая, все исполняется. Например, могу ли я воспользоваться его машиной? Могу! Стоит машина во дворе, шофер за баранкой. Так пускай же сбросит с пятого этажа мой вещевой мешок – сбросит! Пускай машина катит мне навстречу, к оперному театру – есть навстречу!

Я весело, победно глянул на кассиршу.

– Переписывайте!

– Фамилия? – спросила кассирша.

Назвавшись, я ругнул в душе проклятую канцелярщину, пожирившую драгоценнейшие минуты. И поторопил с выполнением формальностей эту, казалось мне, равнодушную к чужим удачам женщину. Полторы минуты ухнуло, как ее прошибить?

– Я так и подумала, что это вы, – печально проговорила кассирша.

Теперь-то я понял, что не с сухостью, а печально. Но, прикованный к бегу часов, не успел удивиться. И вместо того, чтобы спросить, разузнать, я нетерпеливо вздохнул:

– Тринадцать минут осталось, не погореть бы!

Все еще заполняя что-то, кассирша назвала мне сумму, которую следует уплатить отказавшемуся от полета пассажиру. И негромко заплакала над моим билетом.

– Я приходила к вам в кружок, помните? – сказала она, подняв на секунду голову. – С Ближних Мельниц. Моя фамилия Сарчук.

Она вытерла душистым платочком глаза и разрыдалась.

– Мне сообщили из Одессы... родители расстреляны на Стрельбищном поле.

«Девушка Сарчук!» – хотелось мне воскликнуть, но ни восклицать, ни узнавать подробности было некогда. Из пятнадцати минут ушло почти четыре.

– Отец отказался эвакуироваться с немцами, – успела еще проговорить кассирша.

Протянув мне билет, она показала на лесенку:

– Поднимитесь к товарищу Касьянову. На подпись.

Я помчался наверх, поскакал вниз. Из конторы, не оглянувшись, на улицу, навстречу машине. И не видал я с того дня дочери железнодорожника Сарчук, ставшей, по-видимому, женой начальника конторы воздушных сообщений. В самолете «Дугласе», на который я кое-как поспел, заскребло на сердце от нашего нелепо краткого по такому трагическому поводу разговора. Невеселое чувство чего-то недосказанного, неоплаченный долг сердца! И лишь в сотнях километров от Киева я увидел в воображении своем то, чего не разглядел из-за спешки в конторе. Заплаканные глаза кассирши Касьяновой были теми самыми кроткими глазами конфузливой девушки, садившейся у двери в коридор, чтобы никому не мешать. Уж не было передо мной ни прежней Сарчук, ни нынешней, оттого что прежняя представляла плачущей, скорбно поднявшей на меня глаза, с привлекательным, усталым лицом, а нынешняя, то есть кассирша Касьянова, – беззаботной еще девушкой, папиной-маминой любимицей, дочерью железнодорожника с Ближних Мельниц... Когда повидею Алексея Борисова, спрошу его о муже посетительницы нашего кружка, есть ли у нее дети, кто уцелел дома.

Я ведь давно собираюсь повидать этого самоучку из старых пересыпских рабочих, который одним из первых приобщился к советской печати. Рискованно и просто нелепо говорить в наши дни о человеке, что он скромный, мол, неприметный деятель. Отмечать его подобным образом до того старомодно, что это провоцирует улыбку. Тебя упрекнул, что отзываться так о причастном к литературному делу человеке – значит обвинить его в серости. Не всегда это правильно. Живет в Суздале составитель словаря литераторов из самоучек и старый суздальский издатель Назаров. Неприметный? Скромный и так далее? Отчего же, как приедет в Суздаль человек из породы любознательных, так и отправится в первый же день разыскивать домик суздальского самоучки-издателя, литератора, составителя? К нему идут и идут, так сказать, заходят на огонек его неприметной деятельности. С Назаровым, живущим в Суздале, жизнь города полнее, значительнее. Таков в Одессе Алексей Борисов. Живет он с давних

времен на пролетарской Степовой улице, и жизнь Одессы с ним полнее. Оттого, что с ним оживает то, что ушло, но не должно отжить. Эмалированные таблички на перекрестках с именами деятелей нашей революции взяты словно из его блокнота с адресами друзей и добрых знакомых. От них, когда пройдешься с Борисовым по улицам, протянется нитка и к тебе, будто те, что указаны на табличках, первые, жизнь отдавшие, идут рядом. В городе, особенно на Молдаванке, на Слободке и в портовом районе, Борисова знает так много людей, что его попутчикам поминутно приходится от него отрываться. Если один просто раскланяется, а второй скажет слова два на ходу, то уж третий непременно возьмет за локоток и давай пространно, с увлечением, излагать свою просьбу, жалобу, требование. Ты же, друг милый, печать, тебе и карты в руки, вот и продуй кому следует мозги, расследуй, привлеки, защити.

Не повидал я тогда Борисова в Одессе. В обороне города его ранило, и, эвакуированный затем на восток, он еще не возвратился домой. Еду, мчусь с аэродрома в кузове военного грузовика, озираюсь. Проехал мимо дома номер три на Дальнической, где жил одно время в семье влюбленного в дочь железнодорожника Толи Резникова еще не признанный в столице Багрицкий. Дом цел, оккупантская табличка с именем Иона Антонеску сбита. Катим по Степовой. Не вынырнет ли из ворот дома номер сорок восемь сухопарый и крепкий Алексей Борисов? Не вынырнул. Зато, когда я соскочил в центре с грузовика и выбрался первым делом, как водится, на Дерибасовскую, то угодил прямо в дружеские объятия другого самоучки, рабочего-литератора Николая Матьяша. Старый партийный работник отощал в трудном, бездорожном еще пути и торопился в столовую.

— Ох, как надо встретиться, потолковать! — сказал Матьяш. — Я всего полчаса как в городе. Жалко, Борисов Алексей еще не приехал! Оглянись-ка, до чего разорили Дерибасовскую! Тебе обязательно надо повидать Горбелей со Слободки, с Нерубайского — они поработали в катакомбах здорово, как мы в девятнадцатом...

Не встретились, не поговорили. Умер вскоре Николай Матьяш, выбившийся в рабочие литераторы из самых разнесчастных портовых мальчуганов, работавших у подрядчика Коровы. В те годы, когда Коля Матьяш чистил паровые котлы, Алеша Борисов, начавший с трактирного «шестерки», сделался молотобойцем на заводе Гена. Оба полюбили художественное слово, и Матьяш потом драматично рассказал, как забыли в котле «коровинных детей», забыли и

сварили, а Борисов, ходивший учиться к всезнающему по части поэзии Багрицкому, стал работать в отделе жалоб и писем... Когда попадаемся, расспрошу о последних днях Матьяша, о Горбелях, которых я по его совету разыскал, спрошу и о посетительнице нашего кружка девушке Сарчук, не приезжала ли на свои Ближние Мельницы. Много же накопилось этих неоплатных долгов сердца!

У стены Страстного монастыря в летний день 1924 года

В поисках прохлады присели здесь на скамью под липой Есенин с Бабелем. Сидел с ними и я.

Утром Бабель по телефону предложил мне зайти за ним к концу дня, то есть ровно в пять часов, в редакцию журнала «Красная новь», где печатались тогда из номера в номер его рассказы. Поднимаясь по плохо отмытой мраморной лестнице старомосковского трехэтажного особняка в Успенском переулке, я прошмыгнул мимо закончивших занятия работников журнала. С портфелем в руке спускался А. Воронский, за ним В. Казин и С. Клычков. В опустевшей редакции оставались чего-то не договорившие Бабель с Есениным. Есенин сидел на письменном столе, он болтал ногами, с них спадали ночные туфли. Бабель стоял посередине комнаты, протирал очки. Он вообще часто протирал очки. Есенин уговаривал Бабеля поделить какие-то короны. Вникнув в их разговор, я разобрал:

– Себе, Исаак, возьми корону прозы, – предлагал Есенин, – а корону поэзии – мне.

Ласково поглядывавший на него Бабель шутливо отнекивался от такой чести, выдвигая другие кандидатуры. Представляя меня Есенину, он пошутил:

– Мой сын.

Озадаченный Есенин, всматриваясь в меня, что-то соображал. Выбравшись на улицу, мы завернули в пивную у Мясницких ворот. Сейчас на этом месте павильон станции метро. Пил Есенин мало, и только пиво марки Корнеева и Горшанова, поданное на стол в обрамлении семи розеток с возбуждающими жажду закусками – сушеной воблой, кружочками копченой колбасы, ломтиками сыра, недоваренным горошком, сухариками, черными, белыми и мятными.

Не дал Есенин много пить и разыскавшему его пареньку богатырского сложения. Паренька звали Иван Приблудный – человек способный, но уж чересчур непутевый. С добрым сердцем, с лицом и силой донецкого шахтера, он ходил за Есениным, не очень им любимый, но и не отвергаемый.

Покинув пивную, пошли бродить. Шли бульварами, сперва по Сретенскому, затем по Рождественскому, где тогда еще был внизу Птичий рынок, и, потеряв по дороге Приблудного, поднялись к Страстному монастырю. Здесь и присели под липой, у кирпичной стены, за которой после революции поселился самый разнообразный народ. На Есенина оглядывались, – кто узнавал, а кто фыркал: костюм знатный, а на ногах шлепанцы.

Есенин, ездивший год назад в Америку, рассказывал Бабелю о нью-йоркских встречах. Скандаливший на прошлой неделе в ресторане Дома Герцена, он был сейчас задумчив, кроток. Бабеля позабавил «грозный» приговор, вынесенный правлением старого Союза писателей. Оно запретило Есенину посещать в течение месяца ресторан. Зашла речь и об ипподроме. Бабель в те дни изучал родословную Крепыша и рассказывал Есенину об этой знаменитой лошади, что-то еще говорил о призерах бегового сезона. Пролетел со стороны Ходынского поля самолет, и Бабель рассказал про свой недавний полет над Черным морем со старейшим, вроде Уточкина и Российского, авиатором Хиони. Слушая, Есенин раза два с недоумением на меня посмотрел. Наконец проговорил:

– Сын что-то у тебя большой.

За стеклами очков смеялись глаза Бабеля. Засмеялся и Есенин. Детей у Бабеля тогда еще не было, а у Есенина – двое. Есенин сказал, что собирается в гости к матери, спросил про близких Бабеля: жива ли мать, жив ли отец. С разговором об отце вспомнился и старый кот, которого гладил его чудак отец, сидя на стуле посреди тротуара на Почтовой улице. Может, потому еще вспомнился кот, что Есенин недавно опубликовал стихотворение, в котором было чудно сказано о животных:

...И зверьё, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Я знал кота с Почтовой улицы, о которой Бабель говорил, что презирает ее безликость. На этой серой улице помещалась мастерская сепараторов, принадлежавшая неудачливому предпринимателю Эммануилу Бабелю. На Почтовой сомневались в коммерческих талантах человека, усевшегося посреди тротуара со старым котом

на коленях. Оба мурлычут – мурлычет кот, и мурлычет-напевает старый отец. Вернувшись домой после меланхолического времяпрепровождения около давно не приносящего доходов предприятия, он приступает к сочинительству сатирических заметок. Отец их никому не показывает. В них высмеивается суетная жизнь соседей по дому, с первого этажа до четвертого. Заносятся эти заметки в конторскую книгу. Не знаю, содержались ли в ней и деловые записи.

...И зверьё, как братьев наших меньших...

Бабель читал стихи голосом твердым, чеканным. Где взял он эти слова: «...звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука»? Их поют у него в рассказе. До последних дней жизни Багрицкого он приходил к нему. Тот читал ему и свои и чужие стихи, из новых поэтов и древних. И кому принадлежат эти строки любимого Бабелем гречаниновского романа: «Она не забудет, придет, приголубит, обнимет, навеки полюбит и брачный свой тяжкий наденет венец...».

Есенинские стихи Бабель читал и про себя, и вслух. Читал ему свои стихи и Есенин, привязавшийся к Бабелю, полюбивший его. И любил он еще вот это есенинское: «Цвела – забубённая, росла – ножевая, а теперь вдруг свесилась, словно неживая».

На скамье у Страстного монастыря Есенин тоже свесил голову, но очень живую, прекрасно-задумчивую. До того успокоенным и добрым было в тот день его лицо, что показалось просто ерундой, что голову эту называли – пускай даже сам Есенин – забубённой и неживой. На скамье сидели два тридцатилетних мудреца, во многом схожие в этот час – познавшие, но по-прежнему любознательные; не к месту было бы говорить о пресыщении.

Скажут: разные же люди! Еще бы! Из неукротимых неукротимый, временами вспылчивый и даже буйный Есенин и рядом с ним тихий, обходительный, сам великолепно довершивший свое воспитание Бабель. Эту его сдержанность отмечал позднее в своей шуточной речи Жюль Ромен. Об этом рассказал мне, вернувшись из Парижа, Бабель. В Париж он ездил на антифашистский конгресс.

Французские писатели чествовали Бабеля. На банкете председательствовал Жюль Ромен. Подняв бокал, он сказал, что хочет выпить за здоровье очень хорошего, по-видимому, писателя. Жюль Ромен извинился: «У нас Бабеля, к сожалению, еще не перевели, и я не имел по этой причине возможности прочитать его рассказы. Но я убежден, – сказал Жюль Ромен, – что это хороший писатель. Достаточно посмотреть, как достойно ведет он себя в таком обычно нелепом положении».

Кое-что Бабель прибавил, должно быть, от себя, чтобы сделать рассказ поскромней, посмешней. О Бабеле уже давно писали с большой похвалой и Ромен Роллан и Томас Манн, так что за границей его знали.

Не повлияла ли философическая сдержанность Бабея на Есенина? Но то, что произошло вскоре, в ночь есенинской свадьбы, показало обратное. По воле Сергея Есенина Бабель сделался вдруг кутилой. Тогда не верили, не поверят и сейчас, а он между тем вернулся домой под утро, без бумажника и паспорта, и вообще, до того закружившийся в чаду бесшабашного веселья, что совершенно ничего не помнил. Бабель посмеивался:

– В первый и последний раз.

Есенин был единственным человеком, сумевшим подчинить Бабея своей воле. Не помня ничего о том, что ели, пили и говорили, куда поехали и с кем спорили, Бабель все же на годы запомнил, как читал, вернее, пел в ту ночь свои стихи Есенин.

Отчего же мне так немного запомнилось из беседы под липой у монастыря, хотя сидели они долго, несколько часов? Ослабела память? Нет, разговор таких людей запомнился бы навсегда. Или я не соображал, какие таланты сошлись за беседой? Соображал! Причина проще – оба подолгу молчали. Подошла девчонка-цыганочка, затрясла плечами. Бабель полез за мелочью в карман, сунул какую-то монету девчонке и Есенин. Оба сделали это поспешно, торопясь поскорей отделаться от не порадовавшей их сценки. Цокали вдали извозчицы пролетки. Так громко цокали, что заглушали звон проносившейся вдоль бульвара «Аннушки». «И догорал закат улыбкой розовой», как писал, вспоминая с умилением свою юность, профессор Устрялов в журнале «Россия». Журнал читал человек, подсевший на скамью с намерением поговорить с Есениным. Узнав известного поэта, он затеял разговор о поэзии, но Есенин не отвечал, и тот недовольно поднялся. Когда ушел, стали гадать, что за человек.

– Совслуж, – сказал Бабель.

– А не э́пман? – спросил Есенин. – Может, сам Яков Рацер? Тот ведь тоже любит поэзию.

Яков Рацер публиковал в газетах стихотворные объявления, рекламировавшие его «чистый, светлый уголек», который «красотою всех привлек».

Был э́п, так сильно переоцененный сотрудниками сменовеховского журнала «Россия», профессором Устряловым, Ключниковым,

Потехиным. Презиаемый народом, особенно молодежью, нэпман представлялся сменовеховцам новой, прогрессивной силой России, ее живой кровью. Красный купец, множественный Савва Морозов, подтянет остальных, он-то и двинет с поумневшими большевиками Россию по дороге цивилизации и промышленности, избавит ее от бездельников, людей нерешительных, инертных. Красный купец, а в просторечии нэпач, был, по мнению сменовеховцев, положительным героем утихомирившейся будто бы после революционных событий родины.

Сами же нэпманы – попадались среди них дальновидные, с кругозором – будущее оценивали почти что скептически. Продолжая выпускать на рынок крем «Имша» или шерстяные одеяла, они надеялись на кривую: авось вывезет. Я тогда делал попытки изучать нэп. Поручил мне это дело Михаил Кольцов. Он полагал, что получится занятный репортаж. Я успел узнать, что в годы, представляющие вершину нэпа, в стране было пятнадцать миллионов, точнее – людей, чей капитал перевалил за миллион. Тысяч по пятьсот, по семьсот имели, подползая к миллиону, девяносто шесть человек. Один из них мне пожаловался:

– Сижу в кафе на углу Столешникова и Петровки. Скромное, в сущности, кафе, доступное и вашему брату с тощим советским кошельком. Однако вы пьете свой кофе по-варшавски беззаботно – и что вам до улицы! А я вижу, как мимо кафе проходит, нарочно проходит молодежь, комсомольцы в шотландках и ковбойках, комсомолки в кумачовых косынках, и как они нарочно, специально для меня, поют: «Посмотрите, как нелепо распозлзлася морда нэпа». Нет, не такова обстановка, чтобы перешибить мне ленинский лозунг: «Кто кого?». Я и не сомневаюсь, кто! Вот эти!

– Так что же вас держит? Вернее, чего ради при таком понимании вы нэпманствуете?

– Я сперва поверил в перерождение советской власти, затем довольно быстро разуверился, но – инерция. И это проклятое, неразумное: а вдруг?

Не так уж чадил угар нэпа, как тогда писали некоторые или как это изображалось на сцене. На виду у всех развивалась страна, заводы восстанавливались, пускались в ход электростанции. Заметили вскоре и сменовеховцы, что отступление-то приостановилось и появились признаки наступления. Комиссары гражданской войны взялись за хозяйство. В то время я два раза слышал от Бабея:

– Я за комиссаров.

Это когда кто-нибудь рядом вдруг занует, туда ли мы идем, не катимся ли. Отправившись, по совету Горького, «в люди», Бабель ушел в революционный народ, в среду коммунистов, комиссаров. Он сказал о Багрицком, что тому не пришлось с революцией ничего в себе ломать, его поэзия была поэзией революции. Таков был и сам Бабель, всегда стоявший за Ленина.

За Ленина стоял и Есенин, видел его силу глазами деревенской бедноты, своих изрядно переменившихся земляков. Естественные образы тех лет – Ленин фабричного обездоленного люда, мужицкий Ленин, Ленин индусского мальчика Саами. В траурные дни, когда в Доме союзов стоял гроб с телом Ленина, подошла ко мне в Охотном ряду крестьянка в слезах. Оплакивая великого человека, которого старуха считала и своим защитником, она спросила меня, был ли Ленин коммунистом. Вопрос она задала нелепый, а Ленина невежественная старушка понимала верно.

Как же Есенину было не понять защитника бедноты? Ему, который сумел так хорошо пожалеть и жеребенка («Ну куда он, куда он гонится?») и который «зверьё, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове», естественно было отзываться на страдания ближнего и дальнего. Баллада о двадцати шести бакинских комиссарах так же лилась из его сердца, как письмо матери, до сих пор волнующее миллионы русских и нерусских сыновей. Один видный советский работник, подружившийся с Есениным на Кавказе, рассказал ему о своем брате, которому белые выкололи глаза. Никто потом не подтрунил над Есениным и не упрекнул его в неточности, когда он однажды, плача, стал вспоминать своего брата, которому белые выкололи глаза. Боль за чужого брата, проникнув в сердце Есенина, уже не оставляла его. сделалась болью за собственного брата. Может быть, натянуто? Но, во-первых, так бывает с людьми, способными страдать чужими страданиями, и, во-вторых, перечитайте стихи Есенина. Не раз вы встретитесь в них с тем, как умела отзываться его душа.

Два тридцатилетних мудреца, написал я, сидели в закатный час на скамье у Страстного монастыря. Умея познавать, они, и не сделавшись еще стариками, много познали – отсюда и мудрость, и горечь, которая вызовет у Есенина жалобу: «Сам не знаю, откуда взялась эта боль» – и побудит Бабеля написать грустный рассказ-исповедь «У Троицы». Как я теперь понимаю, это была драма постарения, сожаление о суетных днях жизни, «змеи сердечной угрызенья». Описывалась пивная на Самотечной площади, вблизи Троицких переулков – отсюда и название

рассказа. И описывалась, кстати, та самая пивнушка, куда в году тридцатом пришел загримированный Горький. Приклеив себе извозчичью бороду, наш великий писатель надеялся скрыть в ней свою популярность. Узнали его и в таком обличье, так что затея остаться незаметным наблюдателем провалилась. Рассказ «У Троицы» Горький читал.

Во время коллективизации Бабель попросил областных работников назначить его секретарем сельсовета в подмосковном селе Молоденове. Он жил в избе над оврагом, в темной комнате, по-бедному. Но у этого странного секретаря сельсовета лежали на столе беговые программы за многие месяцы, и в избушку над оврагом заезжали военные в чине комкоров. Километрах в двух от Молоденова – усадьба, принадлежавшая Морозову. В белом доме с колоннами жил Горький. Бабель ходил к нему в гости, показывал все написанное. Рассказ «У Троицы» из невеселых, и чтобы представить вам его содержание, я посоветую перечесть «Когда для смертного умолкнет шумный день». Стансы «Брожу ли я вдоль улиц шумных» тоже написаны Пушкиным, и о них скажут, что, несмотря на горестные размышления о том, что «мы все сойдем под вечны своды», в стихах этих есть и жизнерадостное или жизнеутверждающее. Но Пушкин написал и «Когда для смертного умолкнет шумный день», оттого написал и то и другое, что был многоветвист, как дерево жизни.

В тот летний вечер, когда Есенин с Бабелем, казалось бы, спокойно подводили итоги прожитой юности, совершенно невозможно было предвидеть, что Есенина одолеет видение Черного человека, заносит растравленной раной та часть его души, которая его самого ужасала. Верилось, что покончено и с оравой оголтелых собутыльников, и с бесшабашностью, грубостью «Москвы кабацкой». А потом узналось, что с поэмой о Черном человеке он дошел до последних своих дней... Он часто водил Бабеля в чайную в Зарядье, недалеко от Красной площади. По рассказам Бабеля, Есенин в Зарядье – это веселый, любознательный человек, с одинаковой охотой выслушивающий любителей соловьиного пения, держателей бойцовых петухов или покаянные речи охмелевших посетителей чайной. Мысль о самоубийстве не могла зреть в его голове, Да и в стихах он задумывался о смерти по-пушкински: «И чей-нибудь уж близок час». У Есенина это сказано так: «Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли». Когда Бабель услышал о самоубийстве Есенина, на лице его сделалось то выражение растерянности, какое бывает у очень близорукого человека, неведомо где позабывшего свои очки. Таким оно было только в первые минуты, и уже

не растерянность отражало оно несколько времени спустя, а возмущенное недоумение теми несправедливостями судьбы и несовершенством законов жизни на земле, которое он по-своему, через тысячелетия после Экклезиаста, ощутил у Троицы на Самотечной. Такими же были глаза Бабеля, когда он узнал о самоубийстве Маяковского...

В одной своей пьесе английский драматург Пристли поставил третий акт впереди второго. Действие еще будет развиваться, а мы уже знаем финал. Знаем, что этот обнищал, а тот умер, но второй акт идет после третьего, и на сцене снова живые, обнадеженные люди. И тревога за них, любовь к ним оттого сильнее... Так вижу и я скамью под липой у Страстного монастыря, и на скамье Есенина с Бабелем. Они счастливы – сперва оттого, что нашли прохладу, а потом оттого, что их коснулись лучи заходящего солнца. Бабель – в шерстяной толстовке хорошего покроя, Есенин – в светло-сером костюме и ночных туфлях. Оба молоды и знамениты – круглоголовый, золотистоволосый Есенин и похожий то на Грибоедова, то на Робеспьера, снова вернувшийся «из людей» Бабель. Молодые головы полны мыслей, великолепных словосочетаний, созвучий, так много лет жизни и работы впереди, а мне, как бы все еще продолжающему сидеть на скамье рядом с ними, известно, как в драме Пристли, их будущее. Скамья в памяти осталась – простая, зеленая, на витых чугунных ножках, хотя нет давно ни липы, ни Страстного монастыря, и если попытаться определить место, то скамья окажется посередине асфальтированной площади. Может быть, еще у кого-нибудь после прочтения этих страничек тоже останется в памяти скамья под липой у Страстного монастыря в летний день 1924 года?

В Петрограде, не знаю точно, на какой улице, кажется, на Забалканском проспекте, жил в годы первой мировой войны видный специалист нефтяного дела инженер Слоним. В шестнадцатом году у него поселился молодой, но уже замеченный Максимом Горьким литератор Бабель. Инженер переехал потом в Москву, где работал по осуществлению громадных заданий первой пятилетки. Оставшись в начале тридцатых годов по семейным причинам без комнаты, Бабель поселился опять в семье того же инженера – сперва на Варварке, а затем в Доме специалистов в Машковом переулке. Я бывал у него там часто. И нередко мы отправлялись с ним на прогулку по кольцу «В».

– Кольцо «В» я люблю больше других мест Москвы, – сказал раз Бабель, когда заспорили, какое кольцо лучше.

Это кольцо, по которому ходил трамвай «В», не имевшее, в отличие от «А» – «Аннушки» – и «Б» – «Букашки», ласкательного наименования, было на всем своем протяжении рабочим районом. Кольцо «А» называли белой костью Москвы, кольцо «Б» вместило в себя старину барских особняков с кварталами доходных домов и мещанскими палисадами, а на заставах кольца «В» жили рабочие с Гужона и АМО, железнодорожники с Казанки, ремесленники – миллионная трудовая московская беднота. С простым людом, с давних времен населяющим этот район, Бабель заговаривал охотнее, чем с другими, ему были ближе их заботы и страсти, их язык. Идем, скажем, от заставы к заставе, где-нибудь присядем на скамейку, и только расположились, как Бабель уже внимательнейшим образом, – а людям это всегда по душе, – выслушивает рассказ или жалобу какого-нибудь старичка, обрадованного, что попался ему наконец терпеливый слушатель. Случилось так и на Хавской улице в Замоскворечье. Услыхав, что я иду осматривать дом-коммуна, Бабель сказал, что намерен отправиться туда со мной.

Прораб повел нас по пахнувшим нитрокраской коридорам. Механическая окраска, новинка в те годы, нас тоже удивила. Закрыв лица свиноподобными респираторами, маляры постреливали из больших револьверов. Прораб предложил ознакомиться и с подземным хозяйством. Бабель чуть поотстал. Возвратившись, я нашел его беседующим с бабкой, первой бабкой, въехавшей в еще не совсем отстроенный дом. Старуха рассказывала семилетней давности историю про страшного разбойника Комарова, занимавшегося «для вида» извозным промыслом. За железной конструкцией так называемой Щуховской башни, то есть радиостанции Коминтерна, стоял неподалеку деревянный домик, где жил раньше кровавый Комаров. Заманивая к себе торговавших у него коня людей, разбойник убивал их в сарае и, разрубив труп на части, вывозил на реку. В двадцать третьем году о нем пели в московских трамваях куплеты. На Смоленском рынке, где была десятиминутная остановка, в трамвай пробирались попрошайки и калеки. Пели они так:

Как в Москве, за Калужской заставой,
Жил разбойник и вор Комаров,
Много бедных людей он пограбил,
Много бедных сгубил он голов.

По глазам Бабеля понял я, что бабка хитрит и что хитрость ее он раскусил. Но слушал он старуху внимательно, оттого что любил слушать всякие истории, даже вздорные. За вздорными еще лучше угадывался характер человека. А лукавая бабка толковала, что Комаров

от казни сбежал и прокрался в свой дом. Плела она небылицы с целью и, когда увидала, что ее разгадали, мигнула: не выдавай, мол. По двору оголтело носилась ее внучка, боевая, с мальчишеским норовом девчонка. И непослушная – убежала против воли бабушки в чужие дворы, а там ямы с известью. Непослушная, но и любопытная – прислушивалась к беседе бабушки с незнакомым дядей. Бабушка и надумала ее напугать. Вспомнив злодея Комарова, бабка осудила приговор суда:

– Зря расстреляли, не дело.

Это уж совсем удивительно. Как так – зря? Такого изверга, окаянейшего преступника?!

– Легкую смерть зачем подарили зверюге? – негодовала бабка. – Эдакому мучителю облегчение сделали! Он невинную душу не щадил, а тут – бах-бах, вроде праведник какой...

– В прислугах жила? – спросил Бабель. – Не у адвоката ли?

Старуха и точно прослужила много лет в семье присяжного поверенного. Бабель любил болтливых стариков и старух. Я часто заставлял его беседующим с домашней работницей в одном доме. Эту старуху звали Ульяной Ивановной. В семье, где она работала, жил квартирант по имени Джек. Собаке же хозяева дали кличку Блек. Как тут разберешь? Ульяна Ивановна, разумеется, пугала, то позовет квартиранта: «Блек, обедать иди», – то напустится на собаку: «Пошел вон, Джек!». Чудными были ей в этой семье не одни имена и клички, но и заботы и страсти хозяев. Ульяна Ивановна нуждалась в человеке, с которым можно было потолковать о деревне, о покойном муже, зятях и невестках. Бабель был таким человеком. Старухи не замечали обычно, как он направлял нить беседы так, что в жизнеописания зятьев и невесток широко входила история войн и революций. Так направлял он беседы с Ульяной Ивановной, так делал он и здесь, на Хавской. Рассказ бабки становился описанием картин разрухи и восстановления замоскворецких заводов, начавшейся ломки старого уклада.

Бабель был по-настоящему демократичен. Это не так легко, быть простым, демократичным – даже в наши дни. Люди отрываются нередко от основ жизни, теряют ее голоса. Видали мы таких не только в среде литературной и артистической, и вообще гуманитарной. Об одном литераторе, кстати, говорили, что в его семье никогда не произносится такое слово, как «пшено», а все «сублимация», «метод», «реплика». В старину говорили: «Мemento мори» – помни о смерти. Неплохо бы иным повторять время от времени: «Помни о жизни!». Бабель о ней всегда помнил и не был никогда тем «человеком

надстройки», какие плодятся в мире интеллигентных профессий. Может быть, оттого, что в ранней юности он переболел этой болезнью отчуждения и «в люди» значило у него «всегда в люди»? Оттого-то он и не жил почти в Москве.

Но и в пору своей московской жизни Бабель устраивал свой быт подальше от литературных собратьев и поближе к населению кольца «В». По той же причине он отправлялся со мной в мои путешествия по Москве, если маршруты их обещали открыть ему что-то новое в заводских, пригородных районах столицы. Я постоянно искал там явления и сценки нового быта, нужные иллюстрированным журналам. Бабель справлялся, куда и зачем я иду, и либо одобрял мои поиски и даже предлагал себя в попутчики, либо признавал их ничтожными. Скажу ему: бригада «ДИП», то есть «Догнать и перегнать», на заводе «Каучук» – одобряет. Или что отправляюсь к бывшей прачке, назначенной на пост директора ткацкой фабрики, – тоже годится, хорошо. Новым содержанием привлекла его и Хавская улица: что за дом-коммуна, какие люди заселяют его? Пошли туда вместе.

Ходили мы с ним и на Усачевку, и в Тестовский поселок. С тех пор каждая московская новостройка в числе моих старых знакомых, и временами мне охота их проведать. Как там мои знакомые углы и пересечения, дома и скверы? Пошел я через много-много лет и на Хавскую. Погляжу, подумал я, на дом-коммуну. Шел, увы, один... Вышел на Хавскую, зашагал к Крымскому мосту, к Каменному, стараясь припомнить, таким ли путем возвращались мы с Бабелем...

С набережной я поднимаюсь на Красную площадь. Внизу, у поворота на Варварку, мы прощались обычно. Дом, в котором квартировал Бабель у старого инженера-нефтяника, стоял рядом с бывшим домом бояр Романовых. Инженер же, чьи последние пять лет совпали с пятилеткой (так говорит он о себе в рассказе Бабея), трудился над новым вариантом пятилетки – довести в 1932 году добычу нефти до сорока миллионов тонн. Об этом тоже написано в рассказе Бабея «Нефть». И Москва тех дней представлена в рассказе: она «вся разрыта, в окопах, завалена трубами, кирпичами, трамвайные линии перепутаны, ворочают хоботом привезенные из-за границы машины, трамбуют, грохочут, пахнет смолой, дым идет, как над пожарищем...».

Начинаешь не всегда с начала. Расскажу прежде всего о поездке с Ильфом по Беломорканалу.

Пароход, на котором мы отчалили от Медвежьей Горы, чтобы осмотреть шлюзы, плотины и другие сооружения Беломорканала, законченного только что, весной 1933 года, отходил от пристани с музыкой. На пароходе вместе с писателями ехали бывшие заключенные, которых освободили по указу в связи с открытием канала. Были инженеры, из тех, кто проектировал канал, были и особо отличившиеся на работе уголовники. Находилось тут и лагерное начальство.

Растолковав писателям принятую на канале систему деления заключенных на политических, уголовников и «бытовиков», которые отбывали здесь срок за преступления вроде убийства из ревности, начальник лагеря показал нам на степенных лагерных музыкантов. Благообразием своим они решительно отличались от обыкновенных страшных убийц-грабителей.

– Наш оркестр полностью укомплектован из бытовиков, – сказал начальник.

Музыканты играли вальс. Стоявший рядом со мной на палубе Ильф, оглядев щекастых, в синих ватниках, музыкантов, охарактеризовал их кратко:

– Оркестр рогоносцев.

Пока пароход шлюзовался в семи шлюзах Повенчанской лестницы, Ильф с Петровым, с пародистом Архангельским и, по-моему, с Кукрыниксами мастерили веселую пароходную газету под названием «Кубрик». Материал брался из жизни литературной, касался путешествующих на пароходе – и только. Когда группа писателей засела по возвращении за коллективный труд о Беломорканале, Ильф с Петровым разумно отказались от участия в этом труде. О жизни заключенных мы знали мало, наблюдения были поверхностные – как же браться за описание их житья-бытья, рисовать типы, характеры?

В шуточной же газете Ильф с Петровым составили первым делом перечень запрещенных по причине крайней банальности метафор и образов. Номером первым значились здесь бараньи лбы. Этими бараньими лбами кое-кто уже намеревался блеснуть при описании прибрежных валунов.

Среди освобожденных по указу уголовников был перворазрядный мошеник Желтухин. Похожий на дореформенного помещика, он удивлял москвичей в годы нэпа своей сенаторской бородой, надменностью, псами-волкодавами. Желтухин был реставратором. Однажды ему поручили реставрировать картину Рембрандта. Загрунтовав ее и намалевав на полотне великого мастера натюрмортик, Желтухин вынес ее из мастерской и продал иностранцу.

Мошеничество не удалось. Картину возвратили музею, а Желтухина осудили на десять лет. Пять лет он симулировал сумасшествие. Его содержали в тюремной больнице. На канале он писал диаграммы, портреты ударников. Беседуя с начальством, Желтухин винил в своих бедах одного в то время опального, а прежде видного ответственного работника. Однако игра на выгодной, как сообразил Желтухин, политической ситуации ему не удалась.

На пароходе он был двулик: то прежний барин, вкусно разглагольствовавший о гастрономических утехах, то угодливо улыбающийся лагерному начальству льстец. Он утомительно восторгался мощью сооружений, смелостью чекистов-строителей, восхищался и природой, разумеется, бараньими лбами валунов, но больше всего талантами начальства.

– Как в сказке, товарищи! – шумел он, рисуясь своей неувыдаемой – после стольких передряг – барственностью.

На одной плотине Желтухин воскликнул:

– Только советская власть смогла осуществить это грандиозное сооружение!

Когда же пароход всплыл в озерный простор, он так же утомительно принялся убеждать нас, что завоевание подобных просторов под силу только советской власти.

Как только начальство ушло, Ильф заметил:

– Когда к этому пришли с ордером на арест, он, вероятно, воскликнул: «Только советская власть умеет так хорошо и быстро раскрывать преступления!».

2

На Беломорском канале Ильф и Петров были уже известными литераторами. Познакомились же мы гораздо раньше. Я знал Ильфа в пору его писательской юности. Мы работали с ним в одной газете. Отслужив положенные часы, мы отправлялись бродить по Москве. Ходили на новостройки – поглазеть на несколько домов, что начаты

были перед первой мировой войной и теперь достраивались. Таким было, например, здание телеграфа на углу улицы Огарева, здание Моссельпрома на пересечении Кисловских переулков. Ильф говорил о себе: «Я зевака». Я годился ему в попутчики, потому что был таким же. Оговорюсь: зевачами мы становились после работы.

Мы бродили. На улицах тогда было куда свободней, переходить мостовые можно было не торопясь, но в Москве двадцать третьего года тем не менее зрелищ было немало. К лету главным из них сделалась первая советская сельскохозяйственная выставка. Ее открыли на Крымском валу, на пустыре, где теперь Парк культуры и отдыха имени Горького. Я тогда поместил в журнале «Прожектор» корреспонденцию со смешным названием «Творимая легенда Крымской набережной». «Творимая легенда» – словцо Сологуба, давай сюда для красоты слога!

Выставка, однако, привлекала и без рекламы. Необыкновенное начиналось у входа, с праздничного кустарного павильона. Ожили после разрухи разнообразнейшие промыслы, все то, за что нас премировали на международных выставках. Рядом с кустарным павильоном Наркомат финансов демонстрировал бумажные деньги, выпущенные за все годы революции. Простыни керенок, деникинские колокольчики, киевские карбованцы, местные боны, ассигнации с шестизначными цифрами и грошовой стоимостью. На выставке был и киоск Госбанка. Наша валюта окрепла, в киоске рубли менялись на любую валюту – доллары, фунты стерлингов. Страна ожила, наладились экономические отношения с деревней – на выставке выпускалась газета «Смычка».

Было нарядно и весело. Узбеки в многоцветных халатах играли на длинных и тонких, как хворостинки, трубах. Чадили жаровни, пахло пловом и шашлыком. Прогоняли великолепных, выращенных в оживших хозяйствах лошадей. Крестьяне сходились послушать лекции агрономов. С Севера на выставку привезли семью чукчей, она расположилась в чуме, совершенно как на просторах тундры. Иностранцы показывали образцы сельскохозяйственного машиностроения – жатки, молотилки. Привлекал посетителей шестигранник, который в измененном виде и сейчас существует в Парке культуры и отдыха. Что там выставлялось – не помню.

Мы взобрались на вышку для обозрения всей территории выставки. Ее построили за короткий срок, и ее павильоны было последнее, чем любовался в свой последний приезд в Москву Ленин. Внизу уже высадили деревья и проложили аллеи, по которым вы прогуливаетесь сегодня.

Одет был Ильф бедненько, как захудалый служащий. Куцая кепочка, залоснившийся макинтош.

В наших прогулках по Москве он любил покупать на развале у Китайской стены старые журналы. У него были комплекты сатирической «Искры» 60-х годов, «Сатирикона», собрание лубочных картинок, сборники Аркадия Аверченко и других юмористов. Порывшись в развале, ему случалось купить то протоколы комиссии по расследованию деятельности царских министров, то книгу про Ютландский бой. С годами его книжная полка пополнялась разнообразным интересным старьем. Он усердно читал не одних классиков, наших и иностранных, но и произведения своих коллег, именитых и безвестных, что другие в его положении делали не всегда.

Мы забрели раз на кинофабрику. Она принадлежала до революции Ханжонкову, работавшему потом в Совкино. В павильоне на Житной бородастый А. Роом снимал картину «Бухта смерти». В этот вечер снимали тонущий пароход. Героиню то и дело окатывали водой. Окатывали много раз. Техника была в то время слабоватая, в юпитерах что-то не ладилось, и взыскательный оператор накручивал множество вариантов.

Заходили на выставки молодых художников. Некоторые были приятелями Ильфа и считали его знатоком живописи. Заходили в музеи. В Подсосенском переулке на Покровке, где теперь Издательство Академии наук, находился в доме Морозова – сколько их в Москве, домов Морозова! – музей стекла и фарфора. Гидом служил здесь один из Морозовых. Бывали мы, конечно, и в Третьяковской галерее, и в Щукинской, сделавшейся потом Музеем новой западной живописи, который после войны по чьему-то неразумному распоряжению закрыли. Теперь большая часть этой коллекции выставлена в музее имени Пушкина.

Мы колесили по переулкам Замоскворечья, всем этим Монетчиковым, Спасоболвановским... В последние месяцы своей жизни Ильф любил гулять по ним с полуторагодовой дочкой Сашенькой. Он жил тогда в Лаврушинском переулке, близ одного из чудес Растрелли – церкви в стиле барокко. Это чудо архитектуры мы некогда тоже ходили обозревать.

Забавным было наше посещение Кремля. Он в ту пору был закрыт, и для входа требовались пропуска. Но нравы были простые, и перед прохожим, задержавшимся на Красной площади, чтобы поглядеть на Мавзолей, на Кремль, не возникала, как в 30-е и 40-е годы, строгая фигура, внушительно, хотя и негромко, предлагавшая: «Проходите!».

В ТАССе работал тогда Константин Паустовский. У него был билет на заседания съезда Советов, не помню какого. Билет безымянный, бесхитростный, Он дал мне его на один вечер. А я пригласил с собой Ильфа.

Мы подошли к Никольским воротам. Я был обладателем билета, пускай временным, и прошел в Кремль первым, Ильф дождался у ворот. Побывав на заседании и бегло осмотрев Кремль, я вышел к Ильфу, топтавшемуся на площади. Теперь в Кремль прошел он, а у Никольских ворот стал дожидаться я. Выйдя из Кремля, Ильф сказал:

– Город девятнадцатого столетия.

В ту пору газовые фонари на московских улицах исчезли, их сменили электрические. Они сделались символом старины, и вспоминали о них лишь репортеры в восторженно-коммунальных заметках, которые, по определению Ильфа и Петрова, начинались обычно с академических нападок на царский режим. В Кремле же освещение на улицах оставалось газовым. Вот почему они и показались Ильфу улицами девятнадцатого столетия. И это был именно город – в Кремле жило тогда несколько тысяч человек. На улицах играли дети, старушки собирались в говорливые кружки, молодежь шла в клуб. На просторных, по-старинному тихих улицах, под газовыми фонарями все это представлялось менее современным, чем жизнь за стенами.

Сживали мы и на бульварах. На Тверском играл, забывшись в раковину, духовой оркестр. Детям показывали петрушку. Наискосок от Пушкина жонглировал ножами китаец, а рядом стоял маленький телескоп, через который можно было посмотреть на Луну. Никитский бульвар был бульваром молодых матерей, бабушек, нянек. На Пречистенском и повыше, в сквере храма Христа Спасителя, роились парочки. Кстати, и сегодня в новом саду вокруг бассейна снова ищет уединения молодежь.

Сживали мы и в Александровском саду, у грота с дорическими, что ли, колоннами. Здесь мы обсуждали рассказы собственного сочинения. Чаще всего это были мои грехи. Ильф слушал так, что по телу бегали мурашки. Он подкарауливал неосторожного автора, как хищник. Чуть заврался – получай удар, который уж напомним завравшемуся, что он взялся за нелегкое дело. Так слушал Ильф однажды историю провинциального дедушки, приехавшего в город с узелком яблок. Темная-претемная лестница. Дедушка растерял яблоки, ползает по ступенькам, собирает. Одно подобрал, другое, наконец подобрал самое румяное и как бы глянувшее на дедушку своими глазастыми пятнышками.

– Стоп! – перебивает Ильф. – Ваш дедушка, вопреки законам природы, не только не ослабел к старости, а стал, наоборот, видеть в темноте!

С давних пор я считаю повсюду колонны – сколько их? Я наврал раз про панский дом на Подолии, будто бы в нем двенадцать колонн. Ильф строжайше глянул на меня поверх пенсне (преимущество очкастых) и категорически проговорил:

– Ше-есть! Максимум шесть колонн!

Я проверял потом – даже колоннада Большого театра не имеет двенадцати. Столько я нашел их лишь на здании Мариинской больницы у Петровских ворот. Двенадцать колонн есть еще в бывшей Одесской думе. Воскресенский собор в Арзамасе известен четырьмя дюжинами колонн, но это все монументальные здания, и даже под сенью их колоннад мне не удалось бы упрятаться от стыда за мою погрешность. Тот панский дом на Подолии, разумеется, не имел больше шести колонн. Таким я видел его и в жизни, именно шестиколонным, а про двенадцать сболтнул оттого, что не представлял себе, как важна точность в изображении подробностей. Ильфу же эта приверженность к точности описания была присуща с младенческого литературного возраста.

3

В часы хождения по улицам Ильф рассказал мне однажды сюжет прочитанного им накануне рассказа. Автор рассказа как будто Жюль Ромен. Я до сих пор не читал его сам – перелистал недавно несколько томиков Ромена, но не нашел. Содержание же рассказа хорошо запомнилось. Из мэрии выходит только что обвенчавшаяся парочка. Молодые намереваются пересечь улицу, но путь им преграждает длинная похоронная процессия. Хоронят чиновника. За гробом идут родные покойника, сослуживцы, соседи, земляки. Потом в рассказе говорится, что прошли годы. Умирают родные покойного, сослуживцы, соседи, и умершего вспоминают теперь все реже. В Париже не остается, наконец, никого, кто бы мог вспомнить о чиновнике. Умирают и земляки, уже не вспоминают его и в провинции. И только один старик говорит однажды в Париже своей жене: «Помнишь, когда мы обвенчались и вышли из мэрии, кого-то хоронили?». Потом умерли и старик с женой, и круг забвения сомкнулся.

У Гегеля, кажется, сказано, что настоящая дружба бывает в юности, пока пути жизни еще не определились. Это как будто естественно, хотя и грустно, что рвутся нити, что на смену школьным товарищам, друзьям ранней юности приходят новые дружеские связи.

Но чем человек душевней, тем реже рвутся нити прежних отношений. У Ильфа они сохранялись. Художники Перуцкий или Соколик, с которыми Ильф сошелся в ранней юности, были завсегдамыми в его доме до последних дней. Вспомните великолепный фельетон о бедном человеке, которому нужно отвезти жену в родильный дом, а машину негде достать. Эта была история Соколика. Я застал в тот день Ильфа опечаленным и возмущенным. Соколик давно ушел, а Ильф не только в тот вечер, но и через несколько дней горевал за старого друга. Фельетон Ильфа и Петрова в «Правде», где рассказывался этот случай, помог всем московским роженицам. Для них выделили дежурные машины, и никто уже после того случая не бегал в отчаянии с перекрестка на перекресток в погоне за такси.

Вспомнит ли кто-нибудь сегодня Михаила Глушкова? Может, упомянет как-нибудь какой-нибудь литературовед, сделав примечание, что прототипом одного из персонажей романов Ильфа и Петрова, остроумца Изнуренкова, был М. Глушков. Ильф и Петров назвали его в романе неизвестным гением, который «выпускал не меньше шестидесяти первоклассных острот в месяц». Они с улыбкой повторялись всеми, но Глушков, неизвестный людям и тогда, едва ли вспомнится кем-нибудь теперь. Едва ли разыщет кто-нибудь тысячи его острот, делавших славу журналам и привлекавших читателей. Остроты ведь были не подписаны.

Ильф всегда был рад шумному, доброму Глушкову, который был очень доволен образом Изнуренкова и даже поцеловал за это Ильфа в плечо.

Бывал у Ильфа один молодой литератор, Иван Мизов. Его-то уж и комментаторы не упомянут. Он держался с Ильфом застенчиво, а Ильф, который был лет на десять старше, обходился с Мизовым по-отцовски. Полюбил Мизова и Евгений Петрович, хотя у него-то было право недолюбливать этого молодого человека.

Ехал однажды Иван Мизов в подаренных ему Ильфом хороших ботинках на юг, в Ростов. И ехали в том же купе мать с дочерью. Затеваается дорожная беседа. До этой злополучной беседы Мизов был честным малым. Но дочка, читавшая с утра роман Ильфа и Петрова, так славно хохотала и так восторженно отзывалась о сочинителях, что Мизов, ответивший на ее вопрос о его занятиях, что он литератор (в этом неправды еще не было), видимо, улыбнулся при этом значительно и загадочно. Даже в этот момент он еще не намеревался соврать. Но когда дочка, посмотрев на лежавшую рядом книгу,

а затем на него, попросила его назвать свою фамилию, он промолчал уже совсем загадочно. Бог знает как не хотелось Мизову испытать ту неловкость, какую неизбежно испытывает в таких случаях неизвестный читателю литератор! На беду, мать спросила дочку:

– Неужели ты не догадалась?

– Да, я Евгений Петров, – сказал Мизов, ступив на путь самозванства.

Капкан защелкнулся. Самозванца позвали в гости. А через несколько месяцев Петрову позвонили по телефону разыскавшие его мать с дочкой. Они рады были бы «снова» его повидать. Разобравшись в дорожной истории, Петров полюбопытствовал, не прикарманил ли у них чего-либо тот молодой человек.

– Да нет, он такой славный! Мы к нему так привыкли. Жаль, что он не настоящий Евгений Петров!

Набедокуривший Мизов признался погодя Ильфу, что самозванцем был он. Не зараженные черной болезнью подозрительности Ильф с Петровым сумели отличить случайно провинившегося человека от жулика.

4

Перечислим все московские квартиры Ильфа – это была как бы лестница его восхождения. Сперва он жил в Мыльниковом переулке на Чистых прудах, у Валентина Катаева. Спал на полу, подстилая газету. Всего одну газету – формат «Правды» и «Известий» был больше теперешнего, с вкладышем – около двух метров.

Это было начало. Летом двадцать четвертого года редакция «Гудка» разрешила Ильфу и Олеше поселиться в углу печатного отделения типографии, за ротационной машиной. Теперь Олеша спал на полу, подстилая уже не газету, а бумажный срыв. Ильф же купил за двадцатку на Сухаревке матрац. Вид у Ильфа, когда он вез этот матрац на извозчике и пристраивал потом на полу, был самодовольный, даже гордый. На матраце позволялось спать иногда его брату Мише, художнику. Приятели же из бездомных устраивались рядом на столике, свесив ноги. И никого ротационная машина, начинавшая гудеть в два часа ночи, не будила. А преимущества от соседства с ней были. Можно было, сделав спросонок шага два-три, потянуться за свежим номером и прочитать свой последний фельетон или обработанные в сатирическом духе рабкоровские заметки.

Ильф и в ту пору сочинял рассказы. Друзья отзывались о нем как о человеке одаренном, однако тех элементов, что вошли потом в состав

целого, было еще недостаточно, чтобы образовать писателя, каким сделался автор, именуемый Ильфом и Петровым. Евгений Петрович тоже сочинял тогда рассказы, и его тоже считали человеком одаренным, но он тоже не составлял целого. Им просто необходимо было соединить свои усилия, свои способности, и они соединили их. Результат известен. Позднее каждый из них научился писать так, как писали оба вместе. Теперь автор Ильф и автор Петров и в единственном числе были уже откristаллизовавшимся автором Ильфом и Петровым.

Но продолжим восхождение по лестнице благополучия. Теперь Ильфу отвели уголок подальше от ротационной машины. Комендант отгородил для него клетушку шириной в метр с четвертью. В клетушке этой брат Ильфа, лежа на приподнятом теперь от пола и поставленном у стены матрасе, делал на другой стене наброски углем. «Матрас ломает жизнь человеческую, – написали потом Ильф и Петров. – В его обивке и пружинах таится некая сила, притягательная и до сих пор не исследованная. На призывный звон его пружин стекаются люди и вещи... Матрас ненасытен. Он требует жертвоприношений. Ему нужна этажерка. Ему нужен стол на глупых тумбах. Лязгая пружинами, он требует занавесей, портьер и кухонной посуды».

По сравнению с тем, что было в клетушке, это написано с преувеличением. В жертву матрасу, поставленному теперь на ящики, принесен был только столик и кое-что из посуды. Ни этажерки покуда не было, ни портьер. Но это уже была отдельная комната, сюда Ильф мог привести молодую жену.

Четвертая ступень: Ильф с Олешей, оба теперь люди семейные, что-то отвоевали, что-то отремонтировали в плохоньком флигельке в Сретенском переулке. В эту комнатку на втором этаже (в первом какая-то артель коптила колбасы) и пришла к Ильфу слава. Пришла она и к Юрию Олеше. Внизу коптили колбасы – отсюда колбасное производство в повести «Зависть». А Ильф поднялся однажды сюда по темной лесенке с связкой авторских экземпляров «Двенадцати стульев». Быт и в Сретенском переулке был странноват, хотя в жертву матрасу принесены были уже и этажерка, и занавес. По случаю успеха Ильф купил на Петровке пузатую бутылку настоящего дорогого бенедиктина. Мы попались ему с Сергеем Бондариним на улице. Он зазвал нас к себе в гости, и мы распили бутылку единым духом, закусывая ликер солеными огурцами. И некому было ужаснуться нашему гастрономическому злодеянию.

Как только стало больше денег, Ильф записался в жилищный кооператив, первый из трех кооперативов в его жизни. Мы ходили с ним обозревать панораму стройки. Он вглядывался снизу в пустоту на уровне воображаемого пятого этажа. Там он и поселился через год полтора, в комнате с балконом, с видом на Москву-реку, где негромко шумела Бабьегородская плотина, на Кремль, на Замоскворечье. Об отдельной квартире еще не мечталось, и вообще три или даже две комнаты казались тогда ненужными.

Но потребности растут с годами. Шестая ступень – отдельная двухкомнатная квартира в Нащокинском переулке. В этом доме Ильф и Петров, жившие до той поры порознь, в разных районах, сделались впервые соседями. Годы жизни в Нащокинском переулке – это время расцвета их литературной деятельности. Каждый фельетон, написанный ими в эту пору, – я не боюсь обвинений в преувеличении – литературно-общественное событие. Как они украшали газету, эти мастерски, не по-газетному написанные фельетоны!

Расскажу про одно мое посещение Ильфа в этой квартире. Мы возвращались с ним за два дня до этого с одного собрания. Ильф сказал:

– Приходите ко мне послезавтра.

Я ответил ему, что приду в том случае, если не выеду в какую-либо командировку, которые случались тогда у меня часто. Обязательства, таким образом, никто на себя не брал. И когда я пришел в Нащокинский переулок к восьми часам вечера и не застал Ильфа дома, это меня не обидело, даже не обескуражило. Жена Ильфа объяснила мне: его звали к одному значительному лицу. У значительного лица было нечто вроде салона. Приглашались в этот салон люди знаменитые.

Когда мы разговаривали с женой Ильфа, Марией Николаевной, зазвонил телефон.

– Да, он пришел. Только что, – сказала она. И Мария Николаевна обратилась ко мне:

– Это звонил Иля. Он просит вас подождать. Не позже чем через десять минут он будет дома.

Что делалось там, в салоне значительного лица! Мне рассказывали потом, как и хозяева и гости всячески упрашивали Ильфа остаться. У значительного лица как раз усаживались за стол.

– Придет к вам в другой раз, – уговаривали там Ильфа. – Эка невидаль!

Уговаривали, пока он звонил, пока одевался и прощался. Жалели и огорчались. И поносили некстати забредшего к нему гостя,

который нахальным образом лишил их удовольствия послушать остроумного собеседника, редко выезжавшего в те дни из дома.

Ильф возвратился домой даже раньше, чем через десять минут. Чай, в меру спиртного и беседа до полуночи. Он восхищался безвестными монтажерами, поставившими вдруг «гениальный фильм». Это говорилось им о «Чапаеве». Он читал в те дни роман Юрия Германа «Наши знакомые». Роман понравился описанием простых человеческих судеб. Понравились также Ильфу романы Сергеева-Ценского «Зауряд-полк» и «Массы, машины, стихии». Он рассказал мне в тот вечер об одном мошеннике, жившем в том же кооперативном доме и считавшемся литератором. Ильф присутствовал при следующем разговоре этого проходимца с директором издательства:

– Прошу вас, Григорий Евгеньевич, заключить со мной договор на будущую мою повесть.

– Ни настоящая, ни будущая ваша повесть мне не нужны, – сказал директор издательства. – У нас трудно с бумагой. Достали бы нам лучше вагона два...

– Идет, – согласился этот автор.

Говорили потом, что ловкач действительно «посодействовал», что два вагона бумаги были издательством получены.

Из шестой своей квартиры в седьмую, последнюю, Ильф перебрался с некоторой таинственностью. Дом в Лаврушинском готов, ордер на квартиру из трех комнат, да и ключи лежат в кармане. Утром можно переезжать. Как будто все просто? Ничего подобного!

С вселением по ордеру случались в то время казусы. Утром должен состояться переезд законных жильцов, а ночью кто-то ворвался захватническим образом в квартиру. Прокурор задерживает заселение нового дома, возбуждается дело о незаконном вселении, принимаются меры. Захватчика не так-то просто выселить. И накануне переезда Ильфа происходит следующее: вечером к дому Ильфа в Нащокинском подкатывает взятый напрокат в «Метрополе» «линкольн». По лестнице взбегает Валентин Катаев. У него тоже в кармане ордер, ключи.

– Тащите табуретку, Иля! – командует он. – Надо продежурить там ночь. С мебелью!

И «линкольн» с символической мебелью, с Валентином Катаевым, Петровым и Ильфом катит в темноте к восьмиэтажному дому в Лаврушинском переулке. Законные владельцы отстаивали свою жилищную площадь от захватчиков.

Переехав в дом на Лаврушинском, Ильф сказал:

– Отсюда уже никуда! Отсюда меня вынесут.

Пророчество? Нет, имелось просто в виду, что и дом хорош, и квартира досталась просторная, и проживет он в ней много лет. Конечно, его иногда угнетали мысли о болезни. Но знал же он людей в своей среде, которые успешно лечились от туберкулеза десятилетиями. Деятельный и жизнелюбивый, он пошел в один из последних дней своей жизни на литературное собрание в Политехнический музей, где Петров прочитал с трибуны написанную ими обоими речь, сиживал в кафе. Он готовился к поездке на Дальний Восток. За несколько дней до его смерти мы были с ним на похоронах жены одного знакомого литератора. В ожидании ее кремации мы бродили с Ильфом среди могил кладбища у Донского монастыря. Здесь же состоялась через несколько дней и его кремация. Перебираясь в дом на Лаврушинском, Ильф шутил, но получилось нечто вроде предвидения.

О Шолом-Алейхеме (к 80-летию со дня рождения)

Мне часто приходится слышать от старых евреев небылицы про Шолом-Алейхема. Почтенные и заслуживающие всяческого доверия люди рассказывают, не краснея, о том, как они учились в той же школе, где и Шолом-Алейхем, или же проживали с ним в одном доме, причем называют города, где Шолом-Алейхем никогда не был. Мне хочется всякий раз опровергнуть их измышления, но я не делаю этого потому, что знаю: здесь не просто вранье. Небылицы возникают потому, что люди представляют себе Шолом-Алейхема как человека легендарного, вроде муллы Насреддина, забывая, что биография Шолом-Алейхема хорошо известна и что о жизни своей он написал в гениальном романе «С ярмарки».

Почему же это происходит? Потому что Шолом-Алейхем – народный писатель в самом совершенном понимании этого слова. Он настолько широко и глубоко взглянул на свой народ и настолько правдиво, жизненно изобразил представителей всех слоев и классов, что проскуровцу кажется, будто Шолом-Алейхем описывал именно его город и его соседей, а жителю Умани трудно представить себе, что и Мотл, сын кантора, и неудачник Менахем-Мендель, и Тевье-молочник, и все остальные герои проживали в другом месте, а не в Умани.

Гадали: где Касриловка – этот излюбленный Шолом-Алейхемом город? Конечно, Касриловка была всюду, где была черта оседлости. И все же в последнем своем труде, автобиографическом романе «С ярмарки» Шолом-Алейхем рассказал нам, какое именно место на земле видел он перед своими глазами, когда говорил о Касриловке. Это место – местечко Вороньков близ Переяслава. Шолом-Алейхем называет его своей родиной; хотя родился он не в Воронькове, но здесь прошли его детские годы. Реальный географический пункт, он был для него одновременно и реальностью, и символом всей еврейской жизни в старой России. Отсюда – из Воронькова-Касриловки транспортировал он в искусство всех своих нищих и неунывающих, прекрасных и уродливых героев.

Говорят, что Шолом-Алейхем любил всех своих героев, не только положительных, как Тевье-молочник и его дочери, но и отрицательных. Говорят, что сатира его не была сатирой до конца и что, бичуя уродство, он в то же время как бы и любовался им. Что ж, это верно, Шолом-Алейхему были дороги и уродцы, но почему они были ему дороги? Потому что писатель видел перед собой не уродов, а изуродованных, жертв социальной несправедливости.

Как и Бальзак, как Диккенс и Теккерей – Шолом-Алейхем в одном образе дал для политической экономии, для общественных и исторических наук больше, чем сотни специальных трудов. Этот образ – человек воздуха, который фигурирует у него под многими именами, и в частности, под именем Менахем-Менделя.

Мы как-то говорили с Михоэлсом о том, что и в старину многообразны были типы еврейского народа, и в старину были евреи-рабочие – кожевники, табачники, кондитеры, жестянщики, бондари, были деревенские кузнецы, земледельцы (на Буге и в Ингульце), балагулы, солдаты – герои Плевны, были они людьми здоровыми, красивыми, гордыми и умелыми, и они-то и составляли еврейский народ, среди которого были и люди воздуха, вербовавшиеся злосчастной жизнью из одной только части населения.

Но люди воздуха существовали, и Шолом-Алейхем хотел, чтобы их не было. Вооруженный весьма сильным оружием – смехом, Шолом-Алейхем сделал очень много, чтобы народ задумался над болезнью, разъедающей его тело.

А любил своих неудачников и людей без профессий Шолом-Алейхем потому, что знал: вот Менахем-Мендели поймут до конца свое ужасное, несчастное и бессмысленное существование – что же из того? Все равно в тех местах промышленности не было – одни сахарные

заводы, расположенные в селах, где евреям селиться не позволено. А в Донбасс и Харьков, или в Центральную Россию и на Урал их не пускали, все естественные пути к труду были закрыты для многих и многих, и одного желания Менахем-Менделя недостаточно. Он – обреченный, вот он и создал для себя веру в чудо, в неожиданное счастье, которое должно как-нибудь привалить, в химеры.

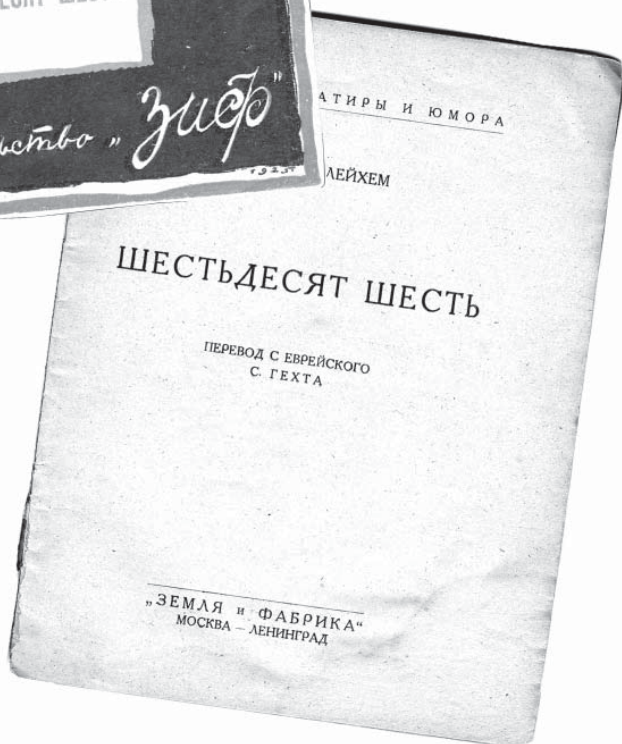
Теперь весь мир удивляется, что советская власть так легко, можно сказать, на ходу, покончила раз и навсегда с еврейским вопросом. Как только пали все препятствия к нормальной жизни, к труду – рассеялись и исчезли Менахем-Мендели, и еврейской молодежи кажется странным, нелепым, что так могли жить и жили их отцы. Великолепная сатира Шолом-Алейхема, к счастью для еврейского народа, перестала быть сатирой, революция превратила ее в великолепный исторический памятник.

Шолом-Алейхем – великий еврейский писатель. Мы называем его великим не только потому, что он был чудесным мастером рассказа и – кажется по временам – что он исчерпал все сюжеты, какие только были возможны в те времена; не только потому, что его увлекательные рассказы, монологи и повести дают картину народной жизни, что каждый его персонаж – это блестяще нарисованный характер. И не только потому, что его язык гибок, живописен, стремителен, и что в каждой юмористической сценке, вызывающей веселый смех, читатель находил для себя и поучение, высокое и тонкое поучение. Мы называем Шолом-Алейхема великим писателем потому, что выйдя со своими книгами к народу, он показал ему, народу, какие богатства таит он в себе, сколько в нем ума, любви, великодушия, солидарности и справедливости. Он был великим писателем, потому что дал своему народу возможность познать себя, то есть дать народу возможность ощутить себя как народ. И простые люди, которые читали его произведения, смеясь и плача, всегда спрашивали: «Откуда он нас так хорошо знает? Ведь даже мы сами не знаем себя так глубоко!».

И хотя они никогда не видели живого Шолом-Алейхема, им начинало казаться, что они с ним знакомы – и возникали легенды о Шолом-Алейхеме, который всюду жил, со всеми говорил, всех выслушивал, со всеми учился в школе и ездил с ними в одном купе по широким и узким колеям Юго-западной железной дороги.

Семен Гехт

Переводы



Шолом Алейхем

Рассказ о трех городах

Граждане! Это было за год до «конституции». Я находился тогда в путешествии по городам и местечкам. Я совершал турнэ по приглашению различных обществ всей Литвы. Однажды, в канун хануки я получил несколько приглашений из трех городов сразу – Могилева, Витебска и Смоленска, что находятся на одной линии. Приглашения исходили от чистых сионистов, рабочих-сионистов и бундистов. Понятно, что все эти общества, или партии, жили весьма дружно, – примерно, как кот с мышью. Чистые сионисты не говорили, упаси бог, ничего худого о своих товарищах, рабочих-сионистах. Они только писали мне, что фальшивые сионисты собираются провезти меня по трем вышеупомянутым городам, дабы использовать для своей работы, которая с сионизмом ничего общего не имеет. Рабочие-сионисты были также корректны к своим коллегам, чистым сионистам. Они заметили только, что эти липовые мессии агитируют за идеи, давно угробленные эпохой... Зато бундисты опрокинули всю ненависть на обе сионистские партии и убеждали меня, что приезд к тем партиям грозит мне полным провалом.

Короче, мне было невесело: что делать? И я решил объединить всех. Я ответил им так:

– Дети мои, так, мол, и так, я приеду, к вам при условии, что вы все объединитесь.

После недолгой перебранки, мой проект был принят, и потекли, побежали, полетели письма и депеши касательно моего маршрута: в каком городе я должен быть раньше. Последний пункт наткнулся на неожиданные препятствия, еще более тяжелые, чем прежние пункты. План менялся ежедневно. Сперва было условлено, что я поеду в Могилев, из Могилева в Витебск, а оттуда – назад через Могилев – домой. Потом решили, что лучше поехать мне в Смоленск, оттуда в Могилев, из Могилева в Витебск, а оттуда – через Могилев – домой. Но и этот план разбился, и осталось, что я еду прежде всего в Витебск, из Витебска в Могилев, из Могилева в Смоленск, из Смоленска – назад через Могилев – домой.

Все партии задумались и выработали совсем новый план для моего блага, так сказать. Я поеду сначала в Смоленск, из Смоленска в Витебск через Могилев, оттуда назад – прямо в Могилев, из Могилева же, сейчас же после вечера, прямо домой. Дни были следующие: восемнадцатое,

девятнадцатое и двадцатое. Прошу вас запомнить этот счет: восемнадцатое – Смоленск, девятнадцатое – Витебск, двадцатое – Могилев.

Выехал я семнадцатого ночью, дав три телеграммы во все три города, что приеду к сроку. И народ там приготовился, как следует. Сделали плакаты, отпечатали билеты, программы и всякое другое. Едучи к вокзалу, я повторял без конца мой маршрут и, так как мне вскружили голову разными планами, то я запутался и потерял в них счет. Мне показалось, что я должен быть восемнадцатого в Витебске, девятнадцатого в Смоленске и двадцатого в Могилеве. Я взял билет и спокойно поехал в Витебск. Приехал. Вот и вокзал. Разгуливаю по платформе полчаса, час, два часа, – может, увижу кого-нибудь из сионистов или бундистов, – никто не вышел ни приветствовать, ни даже встречать.

Хоть сионисты и хоть бундисты, но это же не дело, граждане... Я взял экипаж и приказал везти себя в лучшую гостиницу. Нанял там номер, переоделся, совершил подходящий туалет и думаю:

– Если вы уж такие молодцы, то ищите меня, пожалуйста, по всем гостиницам. Ничего, детки, Шолом-Алейхем не булавка, вы дотоле будете разыскивать его, покуда не найдете.

Зашел в ресторан позавтракать, взглянул на стену: два огромных плаката:

**Гость в вашем городе! Гость!!
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ –
самый большой еврейский юморист!!! 19-го!**

Девятнадцатого? Как это так, девятнадцатого?! Я подозвал официанта, коренного литвака, верзилу-паренька, краснорукого и чернотубого, с белой салфеткой подмышками.

– Скажи-ка, дорогой, что у нас сегодня?

Верзила-официант прочистил свой слишком смуглый нос и сказал:

– Сегодня? Сегодня у нас флотский борщ с капустой, замечательный борщ! Зразы с клецками и гусь, если вы хотите...

– Нет, – говорю, – не то я думаю. Я хочу знать, какой у нас сегодня день.

Литвак на минуту задумался.

– Какой у нас сегодня день? Вторник, восемнадцатое.

– Как же, – говорю я, – называется город?

– Какой город?

– Этот город, – говорю я, – ваш город?

Литвак остановился, окинул меня взглядом и молвил:

– Что значит, как называется город? Называется город Витебском.

– Ты врешь, – говорю я ему, – тебе это снится, дорогой мой. Ваш город называется Смоленском, а не Витебском.

– Хи-хи-хи... хи-хи-хи...

Самый большой еврейский юморист выглядел, вероятно, в глазах этого официанта самым большим еврейским дураком. Потому что парень этот, официант, отвернулся в сторону, упрятал свою слишком смуглую физиономию в белоснежную салфетку, чтоб я не видел, как его душил смех. Снова подхожу к плакатам и читаю. Сажённые буквы кричат:

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ – в Витебске!

В Витебске?! Боже мой! Как я попал в Витебск, когда я сегодня в Смоленске?

Короче, я не нахожу себе места. Какой уж там борщ! При чем тут гусь?! Нужно уехать отсюда, надо бежать в Смоленск. Но, дабы я знал точно, как обстоят мои дела, протелеграфирую-ка лучше домой, жене. Она ответит мне сейчас же, где я должен быть в первый вечер. В моих делах жена моя – профессор.

Сейчас же посылаю телеграмму, многозначительную и короткую: Третья Протестантская где я сегодня

Послав депешу, я успокоился и вернулся назад – к флотскому борщу, зразе с клецками и гусю. Затем прилег немного вздремнуть и, как полагается, уснул. Тотчас же меня опутали сновиденья. Рыжие женщины и красные коты. У меня примета: в тот день, когда мне снятся рыжие женщины и красные коты, наступает хаос.

Было так. Я спохватился, – боже мой, поздно! Надо лететь и скорей, – может быть, захвачу смоленский поезд. Прибежал на вокзал – еду в Смоленск. Сидя в вагоне, начинаю расспрашивать кондуктора, когда я буду в Смоленске. Кондуктор остановился, посмотрел на носки своих сапог и сообщил мне, что в Смоленске я буду завтра, в шесть часов утра. Меня словно волной подмыло.

– Как это так, завтра утром? Я должен быть там сегодня, не позже семи вечера!

Он выслушал меня, этот кондуктор, весьма хладнокровно и дал мне понять, с часами в руках, что отсюда в Смоленск даже экспресс идет не менее двенадцати часов с минутами. Сейчас же четыре часа; как же мы можем быть сегодня в Смоленске? Получается, что он прав, но мне-то не легче. Смоленск я проиграл! Что делать дальше? Ехать назад в Витебск! Черт с ним, с Витебском! Хватаюсь за Могилев, как за соломинку.

Но никто не знает лучше моей жены, как поступать. Я вспоминаю, что просил жену телеграфировать мне в Витебск.

Теперь я еду в Смоленск, – как соединить кобру и ховру? Но, как говорится, человек с мозгами умеет, как говорится, ворочать головой. Написал новую депешу и передал с кондуктором:

Сообщил Смоленск когда я Могилеве.

Поговорим о странностях филологии, переведем, так сказать, на язык человеческий обе мои телеграммы. И получится, что сперва я спрашиваю, где я, потом прошу телеграфировать в Смоленск, покуда я в Могилеве. Когда вы получаете такие две телеграммы от одного человека, вы думаете, что не иначе, как мозги этого человека засорены ненужными изюминками.

Кроме того, вы не должны забывать, что Смоленск тоже не пасынок и не молчит. Партия ожидала меня, конечно, восемнадцатого на вокзале – от часу дня до полуночи. Что творилось! Публика разнесла весь театр, ругала сионистов, называла их жуликами, кричала, что они выдумали Шолом-Алейхема, чтобы выудить всю мелочь. Пришлось открыть кассу и вернуть публике деньги. Ночью сионисты и бундисты объединились (горе связало их) и послали моей жене следующую телеграмму:

Что с Шолом-Алейхемом?

А теперь – оставим на некоторое время короля, поговорим о королеве. Жена моя, дай ей бог здоровья, когда получила все три телеграммы, недолго думала и выехала в Могилев.

Сперва это покажется вам диким: почему в Могилев? Но если вы выслушаете меня до конца, вы скажете сами, что она умница. Во-первых, она знает меня не первый год и понимает, что если я телеграфирую из Витебска и прошу отвечать в Смоленск, то значит, что я в Могилеве. Она помнит, понимаете-ли, одну историю. Я был однажды в Варшаве и поехал домой на пасху, в Киев. Вдруг она получает телеграмму в первый день пасхи, что я праздную пасху в Голендре, неподалеку от Вапнярки. Как я попал в Вапнярку, если Вапнярка лежит между Жмеринкой и Одессой? Путаная дорога! Но не спрашивайте ничего. Я сделал это не по злобе, я просто очень спешил и хотел приехать домой поскорей, меня поезда, покуда не попал на Юго-Западную дорогу и не застрял на станции Голендра. Но, как говорится, все к добру, ведь я мог попасть в Ригу, недаром русский народ говорит: поспешишь – людей насмешишь.

Во-вторых, моя жена рассчитала, что несчастье произошло не в Витебске и не в Смоленске, но где-то между ними. И потому она проехала в Могилев. Она не сомневалась, что произошло столкновение поездов. Один шел из Смоленска в Витебск, другой направлялся из Витебска в Смоленск. От этого столкновения все вагоны разбились вдребезги. Окончательно убитых – не менее двухсот человек, тяжело раненных – несколько сот. И среди тяжело раненных большое количество сошедших с ума. В числе последних, конечно, я.

Одним словом, вы должны знать, что, как только я уезжаю из дому, жена моя начинает выбирать для меня самые дикие опасности. Поезд потерпел крушение, мост обвалился, пароход погряз в волнах, убийственный гром, сердечный удар, пожар, случайная эпидемия, нападение ночных разбойников, укусы змей – все это она сулила мне и была убеждена и не сомневалась даже, что одно из этих зол должно меня захватить. Когда я приезжаю домой целым, она не верит своим глазам и считает меня счастливецом, который вышел сухим из воды, который случайно уцелел, и... ставит свечи.

Когда она увидела на этот раз меня живым и здоровым, она рыдалась, как самое маленькое дите.

– Почему ты плачешь, дурочка?

– Он еще спрашивает, – отвечает она. – Это ему новая история, еще одно Ровно!

Вы не знаете, однако, что это за Ровно? Это тоже история об одном из моих путешествий. Если вы очень хотите, я расскажу вам, что случилось со мной в Ровно. Это было несколько лет тому назад. Я застрял в Петербурге по некоему делу и собирался ехать домой через Вильну, Сговорился с женой, что выезжаю на днях, и, если мне понадобится быть в Вильне, то задержусь там на день и двинусь домой; если же Вильна не понадобится, то еду из Петербурга прямо домой.

Было так. Вильна была мне не нужна, и я решил поехать прямо домой.

Сижу в вагоне, а на дворе ночь, сон одолевает. Ищу места, где бы прилечь. Против меня сидит какой-то неизвестный мне человек, молодой человек в котиковой шапке, и курит папиросу за папиросой.

Неожиданно мой сосед спохватывается:

– Скажите, вы не Шолом-Алейхем?

– Зачем это вам?

– Как? Я ведь ваш... ваш... поклонник! Я ведь вас читаю. Я вас узнал по портрету.

Короче, мы познакомились, и об отдыхе уж и думать нечего было. Мой поклонник в котиковой шапке хотел сразу в одну затяжку прощупать меня всего: что я пишу сейчас и как я пишу, и когда я пишу, и что я имею от моих писаний, неужели я еду сейчас только для того, чтобы иметь о чем писать.

– Не гневайтесь на меня, – говорю я и прерываю его пылкий разговор. – Сейчас станция и я пойду на минутку отправить телеграмму.

– О, зачем вам затрудняться? – обращается ко мне молодой человек. – Ветер нынче северный. Вы можете еще простудиться, схватить

инфлуэнцию, скажите лучше мне, куда и что нужно сообщить, я и протелеграфирую. Вы можете мне довериться, я вполне грамотный.

Если человек настолько любезен, то отказать ему неудобно. Я рассказал ему в двух словах содержание телеграммы, так-то, мол, и так-то. Еду, мол, я прямо домой и прошу жену встретить меня с детьми.

Коротко и ясно. Приезжаю домой на следующий день – было это вечером, ночь близилась – и, как сумасшедший, лечу по вокзалу: где жена, где дети? Ни души нет. Припелся домой, вот моя квартира – темно, как на кладбище прокаженных.

Звоню, разумеется, звоню, колокольчик оборвал, дверь ломаю. После долгих трудов, показывается кухарка, заспанная, как кошка. Я к ней:

– Где моя жена? Где мои дети?

– Где ваша мадам? – отвечает мне литвачка. – Нету васей мадамоцки.

– Сто знацит нету? – спрашиваю я ее на ее языке.

– Они ведь уехали!

– Как это так уехали? Куда они уехали?

– Я знаю куда?! Они уехали в Ровно.

– Почему в Ровно?

– Зачем вы меня спрашиваете? Вы же сами ее вызвали в Ровно.

– Я вызвал ее в Ровно? Я?

– Кто же? Я? – так отвечает мне кухарка-литвачка, и мне начинает казаться, что она смеется.

Здесь я сразу понял, как моя жена попала в Ровно. Это случилось так, как я думал. Мой поклонник, этот молодежен в котиковой шапке, может быть, и был грамотеем, но в переводах с еврейского языка на русский оказался слабоват. Вместо того, чтобы написать:

– Еду прямо. Выезжай навстречу детям.

Он написал так:

– Еду ровно. Выезжай навстречу детям.

Остальное, разумеется, понятно. Но какое право имеет кухарка смеяться надо мной?

Вы понимаете? У меня сочится кровь, а она смеется. Уверяю вас клятвенно, вы слышите, это стыдно даже сказать, другому я не рассказал бы, что я всю свою жизнь никого не тронул пальцем?.. Но эта заспанная литвачка с ее дурацким смешком вывела меня из колеи, и я забыл, где нахожусь!.. Конец был печальный. Пришлось долго с ней судиться. Это Ровно стоило мне больших денег, и я вынужден был еще публично извиняться перед литвачкой.

Одним словом, когда я услышал это веселое известие, что жена моя с детьми в Ровно, я схватил ноги на плечи и кинулся в Ровно.

Приехал в Ровно – что, где? Ни души. Начинаю расспрашивать, не гостила ли здесь такая-то дама с такими-то детьми? Отвечают мне: была и только что уехала. Надо, стало быть, ехать сейчас же домой. Приезжаю домой и нахожу у себя дома доктора: жена с горя заболела.

– Скажи на милость, – спрашиваю ее после, когда все немного успокоилось, – какого чорта ты неслась с детьми в Ровно? О чем ты, собственно, думала?

– Не спрашивай лучше, – отвечает она, – когда я получила твою телеграмму, чтобы я выезжала с детьми в Ровно, я чуть не сошла с ума. Голова моя трещала от мрачных дум. Я рассчитала, что ты заболел в дороге, недалеко от Ровно, сыпным тифом и черной оспой.

– При чем тут черная оспа? – спрашиваю сдержанно.

– Я как раз сегодня читала, – говорит она, – в газете, что черная оспа гуляет по Индии.

Тут я уж вскочил:

– Я не понимаю, где Индия и где Петербург?!

Посмотрела она на меня, как мать на младенца, и сказала:

– Что с тебя взять?

Драгоценная моя жена!

Забывтое имя

Несколько железнодорожных станций, три-четыре десятка верст отделяли нас от города Одессы. Я возвращался домой, была осень, степь укуталась в дождевой плащ, семь небес плаксиво слезились, ветер сучал, земля лежала в трауре, тосковала вдовой тоской. Деревья содрали с себя последние листки, и желанные птицы покинули свои гнезда, пообещав вернуться назад не позже ближайшей весны: вот дождемся лишь хорошей погоды!

Назойливый дождь падал сверху, нередко он приходил в ярость и истерически бился в запотевшие окна нашего вагона. А нам было весьма удобно и уютно. Вагон попался теплый. Большая компания говорила и спорила на бесчисленные темы о разных разностях, вопросах и положениях.

Против меня сидел пассажир – образованный, начитанный, благородный человек (как это будет видно после), русский, кроме того, редкий юдофил. Вы знаете, что я не выношу слишком пылких друзей наших, не благоговею перед русским, который вспомнит нас хорошим словом. Но этот пассажир был мне очень симпатичен по причинам, лежащим вне нас, где-то глубже. Что вам сказать? Я чувствовал себя

с ним хорошо, так хорошо, я бы сказал – «по-домашнему», что с удовольствием провел бы с ним еще три дня. Мне очень хотелось быть ему чем-либо полезным, оказать ему кой-какую услугу. И, представьте себе, такой случай выпал быстро.

Он едет, видите ли, в первый раз в Одессу и хотел бы попасть в хорошую гостиницу. Так как я одесский житель и, к слову сказать, старожил, то не могу ли рекомендовать ему самую красивую, лучшую, чистую гостиницу в Одессе.

– Гостиницу?! О!!

Я вцепился в этот случай обеими руками и стал описывать, не жалея красок, прославленную гостиницу, самую шикарную, самую большую, самую чистую во всем городе.

Чего стоит, например, одна панорама! Дом поставлен так искусно, что все окна глядят в море. Далее – эти широкие, высокие, светлые комнаты, роскошный виноградник, цветущие оранжереи, а изумительная читальня! Затем какая прислуга, – я имею в виду «людей», – наконец, ресторан и музыка. Короче я так вдохновился, словно я рисовал райский уголок, отнюдь не гостиницу.

Светлый, теплый, веселый угол в чужом городе, когда на дворе так скучно и грустно – немалая находка. Мой пассажир слушал меня с сияющими глазами, которые светились благодарностью, с радостным, счастливым лицом.

Я заметил, как он достал из кармана блокнот, отстегнул золотой карандаш и стал ждать, когда я кончу, чтобы записать название гостиницы. Вдохновенье, однако, не покидало меня, я вошел во вкус и не переставал перечислять все достоинства этой необыкновенной гостиницы. И не заметил, что мы уже под Одессой.

Когда публика стала подыматься и собирать вещи, мой пассажир очень осторожно, дружественно улыбаясь, обратился ко мне и чрезвычайно деликатно спросил, как называется гостиница.

– Ах, да, название! Сейчас я вам скажу...

Я на минуту задумался – боже мой! Как она называется? Только что знал... Дрянь дело! Нет названия! Улетело название!

Напрасно я тер себе лоб, лазал по всем карманам – нет названия! Может, вы думаете, что какое-нибудь сложное, запутанное название с закорючками и хвостиками, такое, что запоминается с трудом?! Отнюдь! Нельзя придумать более легкого названия. Менее несложного названия нет на всем свете. Более того, это такое название, что его никак нельзя забыть, даже если хотеть этого! Когда вы услышите, вы сами это скажете!

Короче, я думал, что покончу с собой. Название лежало, как говорится, на языке. Вот-вот сейчас, дайте вздохнуть... Но произнести его нельзя никак, хоть зывай о пришествии Мессии!

Я не стану вам больше рассказывать. Мой пассажир, увидев мое печальное положение, старался мне помочь, он хотел вытащить меня из грязи, куда я влез по собственному желанию. Он напрягал все силы, он начал мне подсказывать, перечислять все названия всех гостиниц всего мира.

Здесь были: Гранд-Отель, Бель-Вио, Терминус, Метрополь, Националь, Интернациональ, Бристоль, Париж, Мадрид, Санкт-Петербург, Чикаго, Сан-Ремо, Лондон, Гамбург, Константинополь. Нет, нет и нет!

Короче, мой пассажир увидел, что названия городов не помогут, бросился к странам. Может быть, Франция? Монте-Негро? Англия? Россия? Австро-Венгрия? Бельгия? Голландия? Бразилия? Аргентина? Где уж там?! Ни дна, ни покрывки!

Может быть, Отель-Пост? Отель-Рояль? Отель-Европа? Отель-Лувр? Отель-Дагмара? Отель-Империяль? Я видел, своими глазами, как мой пассажир спрятал блокнот, пристегнул золотой карандаш. Потом он чрезвычайно деликатно попросился со мной, долго благодарил, просил не затрудняться. Он уж как-нибудь постарается сам, чтобы его направили в лучшую гостиницу.

А я? Если бы предо мной разверзлась бездна бездн, я вскопал бы в нее с наслаждением. Какой позор! Какой скандал! Сам себя высек! Впрочем, я заслужил розог, да не таких еще, а настоящих, горячих, пламенных!

Я стал ругать самого себя:

– Старый дурак, вот ты кто! Не ты ли повторяешь ежедневно знаменитую фразу из талмуда: пусть я буду лучше злодеем все мои годы, чем дураком одно мгновение. И ты совершил такую бесподобную глупость. Кто просил тебя оказывать услугу! Зачем ты приставак к незнакомому человеку? Какого черта ты заговорил о гостинице в Одессе? как можно забыть то, что ты знаешь и видишь каждый день?

Я не стану вам больше рассказывать. Я пришел домой, воспаленный и расстроенный. Все время шагал по комнате взад и вперед, взад и вперед, тер до боли, до крови, до умопомешательства лоб, может быть, хоть теперь припомню это название? Нет и нет названия!!

– Ты не знаешь, — обращаюсь к жене, — как называется эта гостиница?

– Какая гостиница?

– Вот еще! Я должен сказать ей, какая гостиница! Я ведь тебя спрашиваю.

– Скажи мне название, отвечает она.

Ну-с?! Говорите, пожалуйста, с женщиной – я не охотник!

Короче, надо попросить самого себя и прогуляться к этой гостинице. Но, как полагается, когда человек возвращается с пути, вырастает восемь сотен разных дел, писем, гешефтов, забот. Надо все разобрать, привести в порядок. Я возбуждаюсь еще больше, нервничаю без конца, проклиная себя и весь свет.

Наступила ночь. Мы давно уже поужинали, надо спать ложиться, меня же мучает это проклятое название гостиницы. Слыхали вы что-нибудь подобное? Я не стану вам больше рассказывать. Решено было, что утром, чуть свет, я пойду к гостинице и – баста. Растягиваюсь на постели, но сон меня не берет. Хоть бы дождаться утра, хоть бы петухи запели, – я оденусь тогда и пойду к гостинице. Так и подмывает взглянуть на вывеску – какое название там написано!

Нет сил терпеть, оно сочится, это терпение, по капле до конца, до тла, до доньшка – и я срываюсь с постели и начинаю натягивать на себя что попадется.

– Бог с тобой, – обращается ко мне жена, насмерть перепуганная, – куда?

– Я не выдержу этого, – говорю я, – должен пойти сейчас посмотреть.

– Куда посмотреть? Что?

– Возьми фонарь, – обращаюсь я к жене, – и иди со мной.

– Куда?

– Не спрашивай, идем!

Не стану вам описывать положение моей жены. Вы должны сами понять положение женщины, муж которой уехал из дому живым и здоровым, в здравом рассудке, и приехал домой сердитый, молчаливый, шагает взад и вперед по комнате, трет себе лоб и вдобавок спохватывается ночью, приказывает зажечь фонарь и говорит: «идем». Но чего не сделает жена ради любимого мужа, – ей говорят: «идем», и – она идет.

Я иду, и она идет. Я впереди, она сзади. Хлюпаю по грязи, жена неотступно следует за мной.

Пришли, наконец, к гостинице, подняли фонарь над головой. Я посмотрел на вывеску и – угадайте-ка, какое это название? Если бы у вас было восемнадцать голов, вы и тогда бы не угадали.

Гостиница называлась:

«Одесса»...

Семен Гехт

Письма

идеи...
 Встретимся с Таблем, Эдуардом и...
 время - геттинг, хорошими людьми и
 се. Оленину впереди только в местах
 уютных. К его прекрасному пивному
 производству я - чья! - пивчик. Сюда - даже
 навстречу мне ушел

идеи.
 Случай.
 Написал кое-
 очень хотел бы
 как бы заветы
 пред и верю
 акорду свой
 чиновнику и
 не знает к и
 бабам вели,
 меня замечают.

Почему бы тебе не за
 тем более - нет.
 Я пишу письмо в редакцию,
 чтобы тебе судить почитать. Напиши

Завтра; твой Тихон
 Улыну. 1/5 - 302.

и мне будут
 приобщены к твоему
 старанию. Думай
 удачу. Всё это

ГОРЬК
 РЕДАКЦИЯ
 Москва, Тверской бульвар, 29

Огонек
 MOSCOW - MOSCOW - MOSKVA
 Tverskoy Boulevard, 29

- 23.

Адрес: 119991, Москва, Тверской бульвар, 29, ГОРЬК, ГОРЬК, ГОРЬК

Одесса
 Карантинная 3
 кв. 17
 Сергею Бондарину
 Тихон

где
 санов.

Лу
 едан
 мать
 Боже.

РЕДАКЦИЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА
ГОРЬК
 МОСКВА, Тверской бульвар, 29, Тел. 26-97 и 1-09-93 13-14. Адрес: МОСКВА - ГОРЬК
 МОСКВА
 Одесса
 ул. Петра Вешкого 25
 Сергеевте Адмир
 Москва, Ленинский пруд, дом № 2, В. Кутяков

ПИСЬМА

Сохранилось не так уж много писем Семена Гехта, написанных в 1920-х годах после переезда в Москву. Одно адресовано Марии Николаевне Тарасенко (1904-1981), которая вскоре стала женой Ильи Ильфа, одно – его учителю Эдуарду Багрицкому (1895-1934), пять писем – близкому другу Сергею Александровичу Бондарину (1903-1978). Но наибольшее представление о Гехте дают сохранившиеся письма к Генриетте Савельевне Адлер (1903-1997)¹.

Генриетта Адлер, как и Мария Тарасенко, была одной из участниц «Коллектива художниц», организованного в 1920 году в Одессе художником Наумом Соколиком². Членами его были также Тоня Трепке и Раиса Менделевич. По воспоминаниям Г. Адлер, часто к художницам приходили в гости молодые литераторы, был среди них и Гехт³. О том же писал в воспоминаниях и С. Бондарин: «В Одессе на Преображенской улице находился так называемый “коллектив художников” – самодеятельная студия молодых энтузиастов. Г. Адлер и М. Тарасенко были участницами этого коллектива, где часто стали бывать Ильф, Славин, Багрицкий, Гехт и другие молодые поэты и писатели»⁴. Сохранились три письма, написанные Генриетте И. Ильфом. Знакомство Гехта с молодой художницей состоялось осенью 1922 года и переросло в любовь. Позднее отголоски юношеской любви прозвучат в рассказах и повестях.

«...я узнал о всех страданиях Сони Тулупник, этой неосуществленной моей любви. Чувствуете ли вы сладость в любви голодной, как бродячая собака? Утешает ли вас любовь, никогда не знавшая сытости?

В юности такая любовь – обуза. Неудачный роман воспринимается, как пощечина. Отвергнутый чувствует себя оскорбленным. Но пожив немного на земле, видишь сладость и в любви неосуществленной. Пассив становится активом. Графа, некогда вычеркнутая из книги жизни, снова в ней восстанавливается. Надо только пожить на земле и убить в себе уродца мелкого самолюбия»,⁵ – из рассказа «Соня Тулупник», написанного в 1932 году.

Повесть «Вместе» появилась в 1940:

«– Когда мужчина первый раз влюбляется, то знайте наперед – его ждет неудача.

– Золотые слова, – сказал Вавля, – но отчего такое происходит?

– Очень просто, – ответил Фишгут, – он не способен понять, что именно есть женский ум. А другой понимает <...>, тот самый, который уж один раз влюблялся»⁶.

В 1931 году Генриетта Адлер стала женой Сергея Бондарина. Из его письма к Алексею Дунаевскому: «Я задерживался с обещанным письмом потому, что оно должно было б объяснить историю внезапного сближения с Женей Адлер – Генриеттой, той самой Генриеттой... Ты конечно правильно представляешь себе смысл заключительного события: со мной произошло то, что называют: женился. <...> Ты ведь, надеюсь, с радостью возобновишь знакомство с Генриетткой – девочкой из коллектива. Сейчас она – взрослая женщина с ироническим настроением ума, верным вкусом и юношеской прелестью линий. Волна волос, спадающая на лицо, оставляет для мира только один большой пристальный и спокойный глаз»⁷.

И Генриетта, и жена Гехта Вера Синякова пережили арест мужей, не предали их, пытались по возможности облегчить лагерную жизнь. Дружба Гехта и Бондарина, возникшая еще в начале двадцатых в Одессе, продолжалась всю жизнь.

Письма печатаются с сохранением орфографии оригинала.

¹ В фондах Одесского литературного музея хранится восемнадцать писем С. Гехта (1923-1960-е).

² Подробнее о «Коллективе художниц» см.: Ильф А. И. Илья Ильф в Одессе. 1897–1922 // Ильф И. Путешествие в Одессу. – Одесса, 2004. – С. 94–100.

³ Городецкая Н.А. Три письма Ильи Ильфа // Дом князя Гагарина...: Сб. ст. и публ. / Одес. гос. лит. музей. – Вып. 1. – Одесса, 1997. – С. 117.

⁴ Бондарин С. Парус плаваний и воспоминаний. – М., 1971. – С. 168 (У Бондарина искажено название; правильно – «Коллектив художниц»).

⁵ См с. 188 настоящего издания.

⁶ Гехт С. Вместе // Лит. современник. – 1941. – № 1. – С. 93.

⁷ Письмо С. Бондарина А. Дунаевскому из Москвы в Одессу от 28 августа 1931. ОЛМ.

Марии Тарасенко

30 апреля 1923

Дорогой друг, Маруся! (Ильф вам пишет в телеграмме «девочка»).

Странное чувство руководит мной, когда я пишу к вам эти строки. Для меня, материалиста (по установленной квалификации) все, казалось бы, должно быть ясно. Но что же поделаешь? Должен ли я писать, имею ли я право перед самим собой. Глупо ли это и пр.? – Не знаю.

О чем я говорю, вы догадаетесь (отчасти) по заключительным строкам этого письма.

Итак – живу на Тверской и в Замоскворечье (как приходится), обедаю с Сережей на Воздвиженке или на Никитской (как приходится), посещаю кое-какие редакции. Познакомился с Асеевым и Маяковским. Последний отзывался о нас хорошо, хотя я по направлению не подхожу. Он взял у Сережи одну вещицу для Лефа (ежемесячник). Я сдал для журнала (ежемесячник) Ингулову одну вещь небольшую. Это и очерки в «Огоньке» дают мне возможность держаться здесь. У Сережи дела обстоят хуже. Одними стихами здесь даже Асеев и Пастернак не живут. Нужно быть газетчиком и журналистом. Сереже это не удастся. Мне удастся (не сомневаюсь) напечатать в дальнейшем же будущем рассказ (новый) в «Накануне» или в «Красной ниве» и стихи в еженедельниках. Но особенно рассчитывать на это не приходится. Необходима полухроникерская, полужурналистская работа. Хорошее впечатление произвел на меня Асеев (прекрасный человек). Маяковский менее (фанфарон), хотя разговор у меня был с ним солидный и положительный. Весна здесь чудовищная. Снег и грязь. Солнца почти не видать. Была у меня на днях встреча, от которой у меня волосы встали дыбом (буквально). Вспомнил старое и убоился до смерти его возобновления (см. на обороте).

Удалось кое-что купить здесь. (Белье, брюки, рубашки, носки.) Был в театре Мейерхольда (Великодушный рогоносец). Был с Сережей в Румянцевском музее. Бегаю целые дни, как затравленный. Расстояния приходится делать колоссальные. От меня до Мьельникова свыше часа ходьбы. Бываю у них редко. Сейчас сижу у них. Илья только что получил от вас письмо (высланное 25-го). Он написал плотный ответ (двойная оплата) и идет сейчас отправлять вам телеграмму. В телеграмме четыре слова «Девочка я вам верю».

Да, Маруся, странно и непонятно. Илья очень славный человек, и я тоже **очень** славный человек. Оба мы ютимся (в конце концов) на чужбине (это так и есть), и чувства у нас настоящие. Правды заслуживает каждый из нас. Что еще, дорогой друг? (Илья пишет «Девочка»). О семнадцати башнях писать не буду, о Кремлях и Китай-городах писать не буду, о Мак-Кее писать не буду и о сутолоке столичной – также. Суета! Илья ушел, оставив меня с больным Олешей, Катаев где-то с Мусей в

гостях. Окончу эти строки и пойду повидаться с Медведевым, который видел Сережу и, узнав о моем пребывании в Москве, просил меня весьма зайти к нему. Это письмо Вы получите вместе с письмом Или. Его гораздо увесистей. Взвесьте (буквально и в переносном смысле), как говорил мой учитель, Аркадий Александрович, умерший от чахотки и никогда не любивший женщины. До свидания. Жду ответа. Гехт.

Мой адрес: г. Москва. Тверская 5, кв. 39 (б. Лоскутная гостиница). Магит – для Гехта.

Сережа – Сергей Бондарин.

Асеев – Николай Николаевич Асеев (1889–1963), поэт, его жена Оксана – сестра жены Гехта.

Пастернак – Борис Леонидович Пастернак (1890–1960), поэт.

... *сдал для журнала (ежемесячник)* – Вероятно, имеется в виду журнал «Красная новь».

Ингулов – Сергей Борисович Ингулов (Райзер) (1893–1938), партийный работник, журналист. В 1920 г. был секретарем Одесского губкома КП(б)У. В 1923-м ответственный секретарь ЦБ секции работников печати. Расстрелян. Посмертно реабилитирован.

... *рассказ (новый) в «Накануне»*... – Рассказ Гехта «Пятница» был опубликован в газете «Накануне», выходившей в Берлине.

Мыльников переулок – Наиболее известным и устроенным в бытовом отношении из одесситов был Валентин Катаев. Письма в Москву посылали на его адрес – Мыльников переулок, 4 (на конверте указывая: «Катаеву для Гехта», «Катаеву для Ильфа»).

... *с письмом Или*. – Илья – Илья Ильф. В семейном архиве сохранилось около семидесяти писем И. Ильфа к М. Тарасенко 20-х гг. Они легли в основу книги Ильф А. И. Илья Ильф или Письма о любви: Неизвестная переписка Ильфа. – М., 2004. *Мак-Кей Клод* – поэт, уроженец Ямайки. Был делегатом IV Конгресса Коминтерна в Москве.

Катаев где-то с Мусей в гостях. – Очевидно, имеется в виду жена В. Катаева.

Медведев – Михаил Александрович Медведев, художник, бывал в «Коллективе художниц» в 1921 г. Позднее перебрался в Москву. Сохранилось его фото, сделанное И. Ильфом.

Магит (*Магид*) – лицо неустановленное.

Письмо хранится в семейном архиве А. И. Ильф и публикуется с ее разрешения.

Сергею Бондарину

26 мая 23 г.

Итак – дорогой Сережа – дела мои идут по-прежнему. С Казиным отношения наладились, но с деньгами туговато. Получил я у них всего – 250 р. Но есть надежда на выкачивание оттуда некоторых сумм. О твоих

стихах он мне скажет лишь через 4 дня.

Сообщи немедленно. Меры (к получению денег для тебя) буду принимать все. Твой очерк передам сейчас Зозуле. Наверяд ли он пойдет. Ты успел уже забыть (удивляюсь тебе) – об 1) актуальности и 2) о снимках. На тех бульварах, по которым мы шатались вдвоем, и где я теперь шатаюсь, большей частью, один, зелени теперь – завались. Не узнаешь.

Не пиши мне о море и липовой тишине – спрячь это. Сообщи подробно о твоих делах: литературных – вообще, и любовных, в частности, или – наоборот.

Продолжаю в «Огоньке». Написал два рассказа 1) Трамвай и 2) Превращение.

Второй – большой, запутанный и удачный рассказ, – по всеобщему признанию.

Если написал что-либо, – пришли. Сообщи планы.

В ближайшем письме помни об актуальности и пиши о существенном.

На учет еще не взялся. Много работал – очень. Теперь отдохну. Вижу Резникова. Он, кажется, устраивается в Гудке. Хотя говорит об отъезде в Фастов. Слушал Ал. Толстого (повесть).купаюсь – бреюсь. На Цветной не хожу.

Твой Гехт.

P. S. Передай Эдуарду письмецо.

С Казиным отношения наладились... – Казин Василий Васильевич (1898–1981), поэт. «Я помню редакцию “Красной нови” <...>. Из угла в угол ходит по комнате <...> низкорослый молодой человек. Это Василий Казин, заведовавший в редакции отделом поэзии». – Бондарин С. Парус плаваний и воспоминаний. – М., 1971. – С. 129.

Твой очерк передам сейчас Зозуле. – Зозуля Ефим Давыдович (1891–1941), прозаик. Сотрудник одесских журналов в 1910-е гг. В Москве был членом редколлегии журнала «Огонек», работал в издательстве «Огонек» и редакции журнала «Прожектор».

Продолжаю в «Огоньке». – Первая публикация С. Гехта в журнале появилась 6 мая. Публикации названных рассказов не обнаружены.

Вижу Резникова. – Резников Анатолий, поэт, один из организаторов литературного кружка «Потоки Октября».

Слушал Ал. Толстого (повесть). – Толстой Алексей Николаевич (1883–1945), прозаик, драматург. Эмигрировал в 1919 г., вернулся в Советский Союз в 1923-м. «Должно отметить большой успех Толстого, выступившего с докладом и повестью в политехническом музее». – Оливер Твист (В. Катаев). Алексей Толстой в Москве // Накануне. – 1923.

Передай Эдуарду... – Багрицкий.

Эдуарду Багрицкому

26 мая – 23 г.

Не приходится, дорогой Эдуард, удивляться тому, что не пишете. Знаю вашу чудовищную лень, которая – будет день – съест вас живьем (с салом и с калом), оставив только каблучки от сапог и след от бекеши.

Не пишу на ваш адрес – потому что не уверен, что вы уже опять где-либо на Черноморской.

Сообщите о ваших делах.

Как заработки? внешняя литературная жизнь? замкнутая работа? и пр. Мне здесь неплохо. Написал 2 новых рассказа 1) Трамвай и 2) Превращение. Общество хвалит и пр. Кое-что буду печатать. Получил в ежемесячнике некоторый аванс. С Шенгели = 0. Ерунда, конечно.

Думаю ли вернуться? Нескоро – пожалуй. Да и то не надолго. Основаться думаю здесь – возможности есть. Как с вашим переездом? Что Рубинштейн?

Мне Зозуля показывал письмо Бабеля – упорно не хочет печататься в Москве. Кстати, в сегодняшнем Огоньке (№ 9) есть его – «Смерть Долгушева». Надеюсь, вы не забыли моего адреса.

Все-таки – Тверская 5 кв. 39 Магит для Гехта.

Приветствуйте.

Целую Лиду и Севу. Ваш Гехт.

Шенгели – Шенгели Георгий Аркадьевич (1894–1956), поэт.

Что Рубинштейн? – Александр Львович Рубинштейн, одесский поэт, автор книг «Майя» (Одесса, 1919), «Ветер с юга» (Одесса, 1922).

... письмо Бабеля... – Бабель Исаак Эммануилович (1894–1940), писатель, родился в Одессе.

... в сегодняшнем Огоньке (№ 9) есть его – «Смерть Долгушева». – Рассказ И. Бабеля был опубликован в журнале «Огонек» № 9, 27 мая 1923.

Магит – см. комментарий к письму М.Тарасенко

Целую Лиду и Севу. – Жена и сын Э. Багрицкого – Лидия Густавовна Суок и Всеволод Багрицкий (1922–1942).

Сергею Бондарину

25/XII-26 г.

Милый Сережа!

Вспомнил, наконец. Я много раз спрашивал у Долотина, нет ли писем от тебя. Говорил, что не пишешь. Слыхал я, что ты отчаялся и пр. А письмо твое бодрое, очень рад. Дела мои туговатенькие. Однако, жало-

ваться грех. Написал несколько рассказов и половину повести. Почему не приедешь в Москву? – можешь ночевать у меня. Кирсанов порет чепуху, если рассказывает ужасы. Себялюбивый очень. Кстати, кланяйся ему, приветствую его.

Должен завтра вылететь (агитоблет), но откажусь, кажется. Нет денег, а нужна теплая одежда, тулуп и пр. Кроме того, на долгий срок, два месяца. Нужно обещать, что не сбежишь.

Напиши яснее о Владивостоке. Служба? любовь? или другое что.

С кем встречаешься в Одессе? Здесь зима мягкая, мне не холодно в моем летнем пальто. Перевожу сейчас для Бабеля 2-ой том Шолом-Алейхема. Если получу скоро деньги, то поеду в Одессу. Хочется пошляться. Пьешь ли ты и часто и что и много ли?

Олендер бедствует, он стал похож на Колычева. Кстати, ты не видел его, что он? Напиши.

Эдуард тоже собирается в Одессу. Если мы застанем тебя там, можно устроить вечер с лекцией, чтением и демонстрацией туманных картин.

Я по тебе стосковался, хочется повидаться, потолковать. Если хочешь, приезжай.

Очень интересует меня твоя повесть. Не можешь ли ты ее выслать? Через два дня отошлю назад. И стихи пришли, если хочешь.

Отвечай немедленно.

твой Гехт

Долотин – литератор, одессит.

Кирсанов – Кирсанов Семен Исаакович (1906–1972), поэт. Родился в Одессе, был знаком с Гехтом по литературному кружку «Потоки Октября».

Перевожу сейчас для Бабеля 2-ой том Шолом-Алейхема. – «Я редактирую и перевожу последние томы Мопассана и Ш[олом] Алейхема» (из письма И. Бабеля Т. Ивановой от 7 июля 1926.). – И. Бабель. Воспоминания современников. – М., 1972. – С.172.

Олендер бедствует... – Олендер Семен Юльевич (1907–1969), поэт, переводчик. Родился в Одессе.

...похож на Колычева. – Колычев (Сиркес) Осип Яковлевич (1904–1973), поэт. Родился в Одессе.

Эдуард тоже собирается в Одессу. – Поездка не состоялась.

Сергею Бондарину

Дорогой Сережа!

Не сердись!

Я так же аккуратен, как и ты.

Это письмо – предварительное. На днях напишу более обстоятельно. Мне как-то грустно. Очень повлияла гибель В. М.

Встречаюсь с Бабелем, Эдуардом и еще тремя-четырьмя хорошими людьми – и все. Олешу встречаю только в местах публичных. К его прекрасному пивному пророчеству я – увы! – привык. Суета – даже с павлиньими перьями – меня утомляет.

Служу.

Написал кое-какие вещицы, которые очень хотел бы тебе почитать. Они как бы заветные. Печатать их не буду – вряд ли возможно. Летом соберусь и закончу свой аравийский роман. Он наполовину написан. Меня что-то не тянет к нему.

Бабель великолепен. Действует на меня замечательно.

Почему бы тебе не заехать в Москву? Тем более – лето.

Я пишу письмо в редакции. У меня сидят посетители. Напишу завтра.

Целую. Твой Гехт 9/V-30 г.

...гибель В. М. – Имеется в виду самоубийство Владимира Маяковского 14 апреля. Н. Асеев вспоминал: «В воскресенье 13 апреля 1930 я был на бегах <...>. Сестра жены Вера [жена С. Гехта], остановившаяся в нашей комнате <...> сообщила мне, что звонил Маяковский. Но, прибавила она, как-то странно разговаривал. Всегда с ней любезный и внимательный, он, против обыкновения, не поздоровавшись, спросил дома ли я; и когда Вера ответила, что меня нет, он несколько времени молчал у трубки и потом, вздохнувши, сказал: “Ну что ж, значит, ничего не поделаешь!” <...> Вера была несколько даже обижена, что он ограничился только этой фразой и положил трубку». – Асеев Н. Воспоминания о Маяковском // Маяковский в воспоминаниях современников. – М., 1963. – С. 393.

Олеша – Олеша Юрий Карлович (1899–1960), писатель. С 1902 по 1921 г. жил в Одессе.

...аравийский роман. – Вероятно, речь идет о повести «Пароход идет в Яффу и обратно». Книга вышла в 1936 г.

Я пишу письмо в редакции. – В 1930 г. Гехт был секретарем редакции журнала «На суше и на море».

Письма к Генриетте Адлер

* * *

15 сентября 23

Милый друг, Генриетта!

Ваше письмо я получил пятью днями позже, чем следовало. Это случайность, которая более не повторится.

Я очень рад, что вы ответили сейчас же, не оттягивая времени.

Я только теперь обретаю право на отдых и работу. Все время я ме-

тался в горячке и тревоге.

Уезжая из Одессы, я не снялся с учета, здесь же три месяца не был нигде прописан – пахло обидными неприятностями. Ныне все это великолепно улажено. Я вполне легален, у меня все бумаги и пр.

По сегодняшний день (простите за излишние, пожалуй, детали, но ведь я пишу о себе – так установлено) я не имею отдельной комнаты. Она будет у меня только через неделю или (в крайнем случае) через 12 дней.

За комнату приходится уплатить сразу слишком солидные деньги и неудивительно, что произошла столь долгая заминка.

Я нигде не служу, ибо не хочу. Предлагали кое-какие должности по газетам – отказался.

Но работаю много. Успел уже хорошо зарекомендовать себя в лучших журналах и деньги вообще – в пределах, конечно, добываю легко.

Я сейчас связываюсь с одним хорошим театром, буду писать пьесу, веселую комедию, очень и очень веселую – непременно!

А вы грустите.

Но я не могу писать ободряющих, утешающих слов, ибо нет ничего глупее, чем утешать человека, который грустит. Но мне было (надо со-
знаться) больно читать эти полу-отвлеченные, полу-пессимистические (плохое словцо, зато со смыслом) строки.

В Москве – бабье лето. Но по утрам уже легкие морозы и к вечеру надо одевать пальто. Снега, пожалуй, уже на носу. Что ж, тем лучше. Есть такая восточная (полу-персидская, полу-еврейская) поговорка: «Все к лучшему – вообще и это к лучшему – в частности». Какая жуткая и вместе с тем крепкая-крепчайшая поговорка.

Кстати: вам письмо передала Тоня. Я вручил его ученику Одесск. акад. Фурману, так как не знал вашего точного адреса. Тони я в Москве не видел. Мы с Илей были у ней дважды – не нашли.

Приветствуйте всех.

В ожидании вашего письма (совсем по-канцелярски – что ж)

Гехт

...я не имею отдельной комнаты. – «Олеше и Ильфу дали узкую, как пенал, комнату при типографии “Гудка”. Гехт жил где-то в Марьиной роще среди холодных сапожников». – Паустовский К. Книга скитаний. – М., 1964. – С. 36.

...письмо передала Тоня. – Антонина Трепке, дочь одесского архитектора Вольдемара Трепке. В 1920 г. – одна из участниц «Коллектива художниц». Позднее переехала в Москву, в 1924-м семья эмигрировала во Францию. И. Ильф встретился с ней в Париже.

...ученику Одесск. акад. Фурману... – Лицо неустановленное. Одесское художественное училище в те годы часто меняло статус и название; одно время называлось Одесской академией художеств. [А. Я.: АХ – в 1918 г., в 1922-24 гг. –

Художественный институт].
Иля – Илья Ильф.

* * *

30 сентября – 23 г.

Милый друг, Генриетта!

Ваше письмо печально.

Вам скучно в сонной Одессе, где справа – Гершуненко, а слева – Кирсанов. Еще бы!

Вообразите – я вчера стоял на Лубянке у городской кассы за билетом в Одессу. Не достал и... передумал. Итак, у вас нет комнаты в Москве. Это во-первых. Далее: комната здесь стоит 500 р. золотом – денег много. Это все по-боку.

Если бы вы позволили и мне думать об этом – я бы приложил к этому делу свои старания. Думаю – не без удачи. Есть еще совершенно простой выход из положения. Это – линия наименьшего сопротивления – тихий Петербург.

В Петербурге имеются комнаты. Кстати: я поручил Ильфу, уехавшему туда вчера, узнать все подробности найма, а также район.

Или Москва, и только – Москва? Впрочем – об этом потом. Я ведь не получил еще права подробно говорить об этом, да и не только подробно. А потому жду вашего ответа.

Неожиданный, но совершенно не печальный post-scriptum. Предстоит мой призыв в территориальные войска. Это совершится месяц спустя. Но это для меня – сущие пустяки. Мой обиход он, этот призыв, нарушит не очень. Обязанностей, конечно, куча, да нам не привыкать стать. В общем: отвлечение несущественное.

Гершуненко Михаил – актер, режиссер, драматург. Упоминания о нем в одесской периодике встречаются с начала 20-х гг.

...*Ильфу, уехавшему туда...* – В Петрограде в Академии художеств училась Мария Тарасенко.

* * *

18 октября 23 г.

Милая Генриетта!

Вот уже три дня, как я здесь. В Киеве я стоял всего сутки и это не сошло даром. Тучные штрафы высосали из меня немало бодрости. Но – побоку. Сегодня холодно. Здесь Бабель. Он читал в Доме печати – огромный успех. Будет издаваться. Шляемся с ним по Москве. Торный путь: выставка, пивные, пригороды, редакции. Завтра стадом отправляемся в Камерный

театр – «Жирофле-Жирофля» (ослепительный спектакль).

К Хасису (хотя он и Генрих) не пойду. Есть почта, а я себя уважаю – да, Генриетта, и не люблю ходить по пустыкам – простите, Генриетта. И еще: хорошо, что вы тогда не пришли на вокзал. Ибо это было тяжело для меня. Я был робок, как нищий, назойлив, как автор, и жалок – жалок – нет сравнения.

Пишите, Генриетта, о планах и делах. Пишите о переезде – думаю, что ничего не изменилось. Кланяется вам Ильф, который рядом – он не заглядывает (100 процентов такта).

Пишите по катаевскому адресу, но обязательно так: Валентину Катаеву для Гехта. Иначе могут возникнуть недоразумения.

С военными делами у меня благополучно. Обязанности будут, но не очень. Тяжелым бременем не навалются.

Выставка закрывается. Но я сумею заходить на ее территорию после закрытия.

Приезжайте – и я буду добросовестным гидом.

Вот уже три дня, как я здесь. – Гехт вернулся в Москву после поездки на юг. В журнале «Огонек» № 28 за 7 октября появляется его очерк «Алешки».

Тучные штрафы высосали из меня немало бодрости. – Ср. рассказ И. Ильфа «Железная дорога» (1923): «<...> меня будут штрафовать, штрафовать, штрафовать, пока не кончится путь или пока я не умру. <...> Штрафы сыпались, как полновесные пощечины» // Путешествие в Одессу. – Одесса, 2003. – С. 74.

Будет издаваться. – Первая книга И. Бабеля – «Рассказы» вышла в январе 1925 в издательстве «Огонек» (Б-ка «Огонек», № 5).

Шляемся с ним по Москве. – Воспоминания о прогулках с И. Бабелем легли в основу рассказов «У стены Страстного монастыря в летний день 1924 года» и «В доме-коммуне на Хавской улице».

Хасис – лицо неустановленное.

Выставка закрывается. – Имеется в виду Всесоюзная сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка 1923 года в Москве.

* * *

29 октября

Милая Генриетта!

Ваше письмо написано Вами 22-го и выслано 25-го. Не делайте этого больше впредь – очень и очень прошу вас об этом. Если вы не будете отвечать сейчас же, мои письма не будут письмами человека к человеку – Гехта к Генриетте, а корреспонденциями. Но я не хочу быть корреспондентом – хватит с меня. Простите меня, Генриетта, за ультра-нахальное письмо – я каялся уже вдоволь. Ваше письмо, которое на этот раз

было таким крепким, таким жизненным и умным – верьте мне – это ваше письмо растрогало меня до слез. Мне сейчас очень грустно – ей-богу! – мне, таскавшему мертвецов, жарившему ежей, горькому сироте – а это так! А это так, милая, милая Генриетта! Здесь уже зима, в лужах лед, в Лефортове ветер, на Тверской – холод – брр...

Надо купить теплую фуфайку и зимние перчатки и зимнее белье. Но даже если я буду иметь все это – мне будет тоскливо.

Генриетта, 5-го октября я приехал проверить себя – проверил – да – как обойти этот риф – впрочем не надо обходить вовсе – я люблю вас.

У вас будет материал для следующего письма – не так ли? Вы можете, к примеру, сказать – да, вы можете, к примеру, сказать – нет, вы можете, наконец, сказать несколько неопределенных слов – ах, Генриетта!

Несколько слов о себе.

Я хороший человек. Честное слово! Я вчера кончил рассказ «Марфет». – Уже продал его.

Не хочу халтурить и заработки мои малы.

На днях сниму комнату в Покровском-Стрешневе (трамвай № 13) – мы снимаем 3 комнаты – я и Олеша. Он для Ольги Суок и для себя. Я – для себя. Если пожелаете приехать на некоторое время, сумею предоставить вам эту комнату, так как я могу еще жить в Сокольниках у Бабеля.

Мы с ним – с Бабелем – шатаемся, его хорошо приняли, он издает книгу, обедает у Маяковского и пр. и пр.

Мне с ним очень хорошо – все-таки он очень славный человек и прекрасный писатель.

Я заговорил о приезде – но об этом потом. Вторая страничка моего грустного письма даст вам солидный материал для ответа. Пишите немедленно. Я надоел Мусе, спрашивая ее утром и вечером о письме.

Вы должны меня простить – я хороший малый – спросите у калужских мужиков, с которыми я имел дело, и у московских литераторов, которые мне надоели. «Венеру Бродскую» я вам пришлю на днях.

Пришло кое-что и свое – думаю, что это для вас будет небезынтересно.

Иля болен. Он получил от Маруси тревожное письмо. Она поссорилась с его братом и чуть ли не хотела ехать в Одессу. Думаю – уладится. Я у него бываю ежедневно, так как исполняя отчасти роль сиделки.

Пишите опять по катаевскому адресу.

29/X – вечером.

Гехт, который ожидает ответа.

...5-го октября я приехал проверить себя... – Вероятно, речь идет о встрече во время поездки Гехта в Одессу (см. комментарий к предыдущему письму).

... для Ольги Суок... – Ольга Густавовна Суок, жена Ю. Олеси, средняя сестра Лидии Багрицкой.

Я надоел Мусе... – См. комментарий к письму М. Тарасенко.

Он получил от Маруси тревожное письмо. – В это время М. Тарасенко училась в Петрограде в Академии художеств.

Она поссорилась с его братом... – Имеется в виду старший брат Ильфа, художник Михаил Арнольдович Файнзильберг, псевдонимы Mi-fa, МАФ (1896–1942). Преподавал в «Коллективе художниц». В 1921 г. уехал в Петроград, позднее жил в Москве. Умер в эвакуации в Ташкенте.

* * *

20/XI-23 г.

Милая Генриетта!

Я очень, очень рад. Вы приезжаете? И так – вы приезжаете – чудесно! Снег будет – пока его нет – дождь и грязь, – но он будет. Его будет более, чем достаточно. В воздухе пахнет им, он может пойти каждый час, каждую минуту.

Генриетта, я любопытен. Что это за новости? Кроме того, я сочинитель. Как? действующие лица не знают о своих действиях и прочее?? Ведь это сюжет – подумайте – сюжет!

Ту мою вещь, которую я хотел вам прислать, я сдал в печать.

А у меня только грязный черновик. Приедете – почитаем вместе.

Итак – Соболя по боку! Он уехал и уже нами основательно забыт.

Это письмо мое, Генриетта, будет очень коротким. Я должен сейчас улаживать дела с военным столом.

Завтра я напишу подробнее – мне хочется говорить много, очень много, а сейчас мне нужно бегать выяснять, регистрироваться и прочее.

Иля написал вам письмецо, просит передать вам – делаю это.

Генриетта, вы безнадежно вклеились в мой обиход. Я чертовски много думаю о вас, я вижу вас во сне, я хочу вас видеть наяву.

Я хочу вас видеть наяву! Нас ждут

московские кинематографы

пивные

кремли

площади

и московские друзья и московские знакомые!

И я! – впрочем об этом уже было говорено мною впереди.

Целую вас, Генриетта и жду с адским нетерпением ответа.

1967). Он учился в студии Ю. Р. Бершадского, посещал «Коллектив художниц». В середине 20-х стал театральным художником, работал в Харьковском театре музыкальной комедии.

* * *

22 ноября

Милая Генриетта!

Я сейчас на почтамте. Замерзшая рука с трудом выводит буквы. Холодно.

Я смотрел вчера вечером «Капризы мисс Мей» с Мери Пикфорд. И что же? В некоторых местах маленькая Пикфорд похожа на вас. Это нашел не я, а Иля. Он пришел позавчера вечером.

– Гехт, – сказал он, – вы хотите увидеть сейчас Генриетту?

– ??

– Отправляйтесь на Арбатскую площадь в кино б. Художественный.

– Ах, – протянул я, догадываясь, – вот что...

– Да, – ответил он тоном полпреда, раздувая ноздри, – вот оно что!

Я не побежал к Арбатским воротам, потому что было уже около 12 и кончался последний сеанс.

Вчера я просидел зато весь вечер. У меня теперь уйма забот о всевозможных регистрациях и я бегаю затравленной крысой по Москве.

Я успел уже поругаться с двумя редакциями, теперь я имею дело с другими тремя редакциями – Москва – провинция большая и жить в ней весьма забавно.

Милая, дорогая, родная Генриетта, ваше последнее письмо доставило мне много радости. Я получил его 19-го. Я как раз был у Катаева. Сидели: Катаев, Муся, Иля и я.

Катаев захлестывал Мусю экспансивными поцелуями (он это делает с 4-х часов дня до часу ночи – публично).

Иля сидел мрачный – нет писем и всё такое. Я сидел тоже мрачный – день был чересчур неприятный. И вот – легкий стук в передней комнате. Письмо грохнуло о жесть, ящик свистнул, почтальон ушел.

– Друзья, письмо! – сказал Катаев.

– Это от мамы! – крикнула Муся.

– Это мне! – процедил сквозь зубы Иля. А я молчал.

Иля бросился к ящику, выловил письмо и произнес вяло:

– Это для Гехта.

А я-то был рад. Я ожидал, что это письмо будет хорошим. Я обладаю (на двадцать коп.) пророческим даром. Чудесно, Генриетта!

Я хотел бы, чтоб это письмо не было вами получено, ибо это означало бы...

Это означало бы, что вы выехали, что вы в пути, что вы миновали

Круты и Нежин, что вы пересекаете Черниговщину, что ваш состав ползет, замедляя ход, по слабым мостам через Десну, через маленькую, узкую Десну – ах, Десна, дни мои, слезы мои!

Но если вы еще там, на ул. Петра Великого, в темном дворике, где каменные плиты и дикий виноград, если вы еще там, напишите точнее, подробнее о вашем переезде сюда, в Москву.

Милая, дорогая, родная Генриетта, целую вас и жду ответа. Гехт

Мери Пикфорд (1893–1979) – популярная американская актриса, одна из звезд немого кино.

Муся – см. комментарий к письму М. Тарасенко.

Иля сидел мрачный – нет писем... – писем от М. Тарасенко

...на ул. Петра Великого... – Г. Адлер жила в Одессе на улице Петра Великого, 25.

* * *

25 ноября

Что это такое, Генриетта!

Это даже не чудовищное недоразумение. Я никому ничего не говорил, неужели вы мало знаете одесских сплетников.

Когда-то я считал Славина другом – теперь он для меня мертв – и когда-то в дружеской, товарищеской беседе, я сказал ему: «Да, я ее люблю». Речь шла о вас. И это все. Но ведь ничего не говорилось о вашем отношении ко мне и даже о том, знаете ли вы это. Они нагло оклеветали меня. Я никого не хочу более знать – я им ничего, абсолютно **ничего** не говорил и не писал. Я не хочу более знать даже Софью Наумовну, которая, – мне так казалось, – так хорошо относилась ко мне.

Что за чудовищнейшие, невероятнейшие разговоры о комнате и пр. Генриетта, это похоже на меня?

Ради бога, Генриетта, не верьте ни одной сплетне – поймите ведь: достаточно было этим зловредным болтунам видеть нас вместе, чтобы воздвигнуть монбланы клеветы и дряни.

Генриетта, вы заставили меня писать истерические, недостойные меня строки. Ради бога, телеграфируйте мне! Хотя бы одно слово, Генриетта!

Генриетта, если вы считаете еще меня своим другом, потребуйте у Или позорящее меня письмо назад.

Но мои бывшие друзья – ах!

Почему они это делают, неужели из зависти ко мне вообще, так я ведь ничего не имею. Зла я им также никакого не сделал.

Но как вы поверили???

Генриетта, телеграфируйте, как бы там ни было.

Я оплеван вами совсем, совсем напрасно – что это такое, Генриетта, – я не заслуживаю этого, Генриетта.

Мне страшно. И эти намеки, хитрые и ядовитые, и этот тон, ах, Генриетта, Генриетта!

Г е х т

...считал Славина другом... – Славин Лев Исаевич (1896–1985), писатель. Родился в Одессе. Знаком с Гехтом по кружку «Потоки Октября».
Софья Наумовна – жена Л. Славина.

* * *

25/XI 1923

ЧТО ЭТО ТАКОЕ ГЕНРИЕТТА НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИЛ НЕ ПИСАЛ НЕУЖЕЛИ МАЛО ЗНАЕТЕ ОДЕССКИХ СПЛЕТНИКОВ РАДИ БОГА НЕ ВЕРЬТЕ КАК ПОВЕРИЛИ ВОПРОС ОПЛЕВАН СОВСЕМ НАПРАСНО ЗАЧЕМ ЯДОВИТЫЕ НАМЕКИ ТАКОЙ ТОН Я НЕ ЗАСЛУЖИЛ ДОСТАТОЧНО ЗЛОВРЕДНЫМ БОЛТУНАМ ВИДЕТЬ ВМЕСТЕ ВОЗДВИГНУТ МОНБЛАНЫ КЛЕВЕТЫ ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ НЕ МЕДЛЯ ОТВЕТ ЖДУ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ПОТРЕБУЙТЕ НАЗАД ИЛЬФА ПОЗОРЯЩЕЕ МЕНЯ ПИСЬМО ХОТЯ ОДНО СЛОВО АДРЕСУ КАТАЕВА = ГЕХТ

На обороте телеграммы чернилами написан текст: «Москва. Чистые пруды Мельников переул. 4/2 Катаеву Гехту. Облейте голову холодной водой. Славин говорит, что Вы дурак. Целую. Генриетта. Одесса, ул. Коминтерна 25. Адлер».

* * *

28 [ноября 1923]

ЧУДОВИЩНОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ МЕНЯ НАГЛО ОКЛЕВЕТАЛИ СЛАВИН НАГЛЫЙ ЛЖЕЦ СОВЕРШЕННО НИЧЕГО НИКОМУ НЕ ГОВОРИЛ НЕ ПИСАЛ ЖДИТЕ ПИСЬМА = ГЕХТ

* * *

Генриетта!

Это было несколько месяцев тому назад. Я шел по Неглинному проезду. Я был очень плохо одет. Я подошел к торговцу и взял одну грушу.

– Сколько?

Он сказал.

Я уплатил ему. Груша оказалась плохая – я ее переменял.
– Вы взяли две, – сказал он с недоверием, – у меня не хватает двух.
Он обвинял меня в воровстве – я был плохо одет.

Ах, Генриетта, вы сделали то же самое!

Вы обвинили меня. Но ведь тот меня не знал. Генриетта, неужели все это похоже на меня?

Прошу об одном – телеграфируйте ответ.

Г е х т

Я отправил две телеграммы. Я не могу опомниться. Я получил коварнейший удар в спину. Меня предали и продали. Почему ваше доверие, Генриетта, оказалось на их стороне, а не на моей.

Как бы то ни было, известите меня скорей.

Я буду ждать ответа на телеграфе, на почтамте – не молчите.

* * *

6/XII 1923

КАК ПОНИМАТЬ ОТСУТСТВИЕ ПИСЬМА ИЗ ТЕЛЕГРАММ НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ КАКОМ СМЫСЛЕ ВОПРОС ЛИКВИДИРОВАН ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ МОЛЧАНИЕ ОТКАЗОМ ДРУЖБЕ ВООБЩЕ ВОПРОС НЕТ ХУЖЕ НЕВЕДЕНИЯ ВОСКЛИЦАНИЕ ВЫНУЖДЕН БЫТЬ ИСТЕРИЧЕСКИ НАЗОЙЛИВЫМ ГЛУПЦОМ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ МРАК ХАОС СЛЕПОТА НЕ НАХОЖУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖДУ ОТВЕТА = ГЕХТ

В письме И. Ильфа к Г. Адлер от 1 декабря 1923 описана история с телеграммами Гехта: «Дорогая Генриетта. Я написал ответ немедленно. Вы его не получили и уже не получите. Виноват Гехт. <...> Я просил Гехта отправить письмо. Но он посылал телеграммы. А мое письмо лежало на столе. <...> Я прочел свой ответ. Он был написан серьезно и мне стало смешно. К тому же Вы уже получили целый веник телеграмм.

<...> Итак, телеграммная горячка Гехта кончилась. Его лихорадка заставила меня сначала печально улыбаться, потом я улыбался весело, а еще потом попрощался с Гехтом. Я поехал на вокзал, он поехал на почтамт. Теперь он больше всего интересуется почтальонами. Вид этих почтенных людей заставляет его сердце шататься. Но вашего письма нет. И Гехт, совершенно печальный, ест свою яичницу. От горя он стал обжорой. Он потолстел от горя. Отчего же вы не пишете, Генриетта. Пишите. Иначе он получит заворот кишок, умрет и его будет хоронить Зозуля. Это похороны третьего ранга. Ему все сочувствуют и он ест среди соболезнующих вздохов. Я так мало понимаю во всем, что случилось, что не могу об этом писать, боясь попасть не в тон. Простите и все-таки пожалейте меня. Ей-богу, я ничего не понимаю. Во всяком случае, Гехт

чист и атакует телеграф не без основания». Опубликовано: Городецкая Н. А. Три письма Ильи Ильфа // Дом князя Гагарина: Сб. статей и публ. / Одес. гос. лит. музей. Вып. 1. – Одесса, 1997. – С. 115. Рукопись хранится в ОЛМ.

* * *

8 декабря – 23 г.

Только сейчас получил ваше письмо. Я увидел Тоню только сейчас. Она сидит рядом. Илья тоже. Мы пьем пиво. Тоня задержала письмо на 9 дней. До сих пор мы ее не видали. И так – туман расползается. Все-таки вы мне не верите. У Славина я, конечно, прошу извинения – многое бывает. Но вы ошиблись, дорогая Генриетта, в моих расчетах – я не имел брачных намерений. Мне очень тяжело писать. Смешно, Генриетта: я, Гехт, постоянный кочевник, и вдруг – и вдруг – женитьба. Я слишком легок и слишком вольнодумен, легкомысленен – что ли. Я не могу закрепить себя заработком и пр. Блеф! Но, Генриетта, – так или этак – я сохраню о вас очень хорошие воспоминания. Моя привязанность к вам началась тогда, когда этот самый Эдуард сплел в Москве – у Катаева – первую клевету о вас – тогда, Генриетта – клянусь памятью матери – тогда вы стали мне близки.

Если вы не чувствуете, что я близок вам, напишите последнее, милое, прощальное письмо.

Я привык к печали – я пью ее ведрами – но я не хочу ее, дорогая. Вы ответите сейчас же.

Вы проанализируйте себя. Вы дважды сказали – может быть.

За этим должно следовать

либо – да,

либо – нет.

Для меня пока вопрос не выяснен.

Я пишу вам, милая Генриетта, с необыкновенной нежностью.

Мне хуже всего, если я вас обидел, если я вас втесал в историю, которая вам **сейчас** не нужна и неприятна.

Неприятности произошли помимо моей воли – поверьте хоть этому.

Ах, Генриетта, мне, может быть, придется расстаться с вами – это зависит от вас – мы расстанемся друзьями – не так ли?

Когда-нибудь, не сейчас, я расскажу вам все.

Я жду вашего ответа.

Ваше ближайшее письмо будет либо последним, либо – корреспонденции из города Одессы я не хочу.

И не хочу матери в вашем лице.

У вас глубоко ложный взгляд, Генриетта!

Подумайте и ответьте.

Жду с глубочайшим нетерпением.

Г е х т

Передайте Славиным это письмо.

*Воспоминания
о Гехме*

Умер Семён Григорьевич Гехт, наш старый товарищ, писатель с талантливой душой, с острым, сильным и обаятельным умом. Он вышел из самой гущи народной жизни, из той среды, где бедность находилась на грани нищеты. Он был рассыльным в типографии, наборщиком, красноармейцем, журналистом, а потом, когда, уже будучи известным писателем, стал жертвой навета, — он изучил профессию лежуроба, был разнощиком молока в детских яслях, сторожем в парке культуры и отдыха.

Всё, что он испытал на своём нелёгком пути, ярко и выпукло отразилось в его произведениях и доныне живёт в его книгах, — всегда страстных, деятельных, полных живого трепетания жизни.

Читатели помнят его очерки в "Наших достижениях", встречавшие взыскательное одобрение М. Горького, и "Штрафную роту", высоко ценимую Бабелем и Багрицким, и "Человека, который забыл своё имя", и вызвавшую накануне войны большой интерес "Поучительную историю", и книги поздних лет — поэтичную "Будку Соловья", "В гостях у молодёжи". Последнюю книгу Семёна Гехта, только что вышедшую в свет, "Долги сердца", друзья принесли ему в больницу, где лежал он долго, где болел мучительно. На больничной койке встретил он своё шестидесятилетие...

Прощайте, Семён Григорьевич, с нами останутся ваше сердце, ваши меткие суждения, ваша неподкупная, фанатичная преданность родной литературе — и наша любовь к вам.

Н. Асеев, К. Паустовский, В. Гроссман, Ф. Фраерман,
С. Бондарин, Н. Чуковский, С. Липкин, О. Чёрный,
Э. Миндлин, Р. Моран, Н. Любимов, А. Марьямов, Б. Саушкин

К. Паустовский

Семен Гехт (некролог)

Умер Гехт. Есть люди, без которых невозможна настоящая литература. Независимо от того, много или мало они написали, они являются писателями по самой своей сути, по составу крови, по огромной заинтересованности окружающим, по общительности, по образности мысли. У таких людей жизнь связана с писательством непрерывно и навсегда.

Таким человеком и писателем был Гехт.

Он был воплощением человеческого достоинства и доброты. Эти его качества очень действовали на окружающих и невольно сообщались им.

Гехт — это молодость нашего поколения, поколения писателей, пришедших с юга и с берегов Черного моря.

Без Гехта трудно представить себе Бабеля и Ильфа, Олешу и Багрицкого, Бондарина и Славина, трудно представить то бурное и шипучее время, когда рождалась на юге советская литература.

Писательская жизнь Гехта была нелегкой и чистой. Он не знал обеспеченности и сторонился бесплодных околослитературных страстей.

В годы культа личности судьба его не помиловала. Он много страдал и смерть его была ускорена перенесенными страданиями.

Он долго боролся за жизнь. Спасти его не удалось. Будем же беречь память о нем, благодарную и светлую память о нашем общем милом друге.

Осип КОЛЫЧЕВ

**Воспоминания об Эдуарде Багрицком.
Кружок «Потоки Октября»**

* * *

В тех же «Силуэтах» были опубликованы написанные мной совместно с Гехтом шуточные стихи о потоковцах.

Запомнились отдельные строки.

...Встает Чернов, как таковой,
За ним жена, как таковая...

Некоторые строчки следует объяснить. Любимым выражением Чернова, всегда председательствующего на кружке совместно с женой, было это пресловутое «как таковой». Оно и вошло в пародию. Бабель, услышав эти стихи, багровел от длительного неукротимого хохота.

<...>

Семен Гехт, уроженец Молдаванки и торжественно воспевавший это обстоятельство в колоритных стихах («В чрево матери птица меня занесла, В некий день я рожден на углу Госпитальной»), по тем временам и по своему возрасту познавший причудливость и полнокровие жизни больше, чем мы, его сверстники («Мы помним эти перебежки По бесконечным кучугурам»), вечно – в бегу, сутулый, картавый, с трудно смываемой печатью одесских интонаций и одесского жаргона на языке его талантливой прозы.

1960-е гг. Москва

М. ТАРАСЕНКО
(О. КОЛЫЧЕВ, С. ГЕХТ)

«Потоки»
(дружеские укоры)

На перекрестке Степовой
Мы ныне дружно заседаем
Единый рокот огневой
Связует нас – и мы сияем!
Тяжелый Беклин на стене,
В углу у входа ангел юркий.
Вода в граненом кувшине,
Бычки, сигарки и окурки.
Струится дым, течет вода,
Потоки патоки и пота.
Еще не выдохлась «среда»,
Как надвигается «суббота».
Да будет! Запускаем бой,
и вот, глазищами моргая,
Встает Чернов «как таковой»,
За ним жена «как таковая».
Зачем же, дорогой Чернов,
Питать такую злость на Гехта?
О Баршт! О Тэсс! О Резников!
Необходимо высечь всех-то.
Страшиться! Встанет Эдуард,
Сверкая впадиной зубною,
Гехт Соломон войдет в азарт,
Тряся еврейской головою.

Сергей Бондарин – всякий слышит
О яблоке, о наливном.
Смотрите: он прекрасно дышит
То самогоном, то вином.
И ты, Борисов Алексей,
Скажи, брат хитрый, сколько суток
В далекой юности своей
Описывал ты проституток?
Вступая в лоно поэтесс
Мы мыслим: лоно есть ли лужа?
О истерическая Тэсс,
Скорее обретайте мужа.
Чье слово мед и каждый слог
Симптоматичен и размерен
Он древле – ассирийский бог
А ныне только доктор Верин.
Захаров экс-имажинист,
В ближайшем – яркий коммунист.
Пусть спереди невзрачен он,
Зато он сзади превосходен,
И пусть на Пильняке взращен,
Но все же в интернат пригоден.
Довольно, суетный, остынь.
Да будет мир меж вами, дети,
Заканчиваем строки эти
Атеистическим «аминь».

М. РОЗЕНФЕЛЬД **Из стенограммы воспоминаний** **о В.В. Маяковском**

На обсуждении пьесы «Баня», которое состоялось 27 октября 1929 года в Доме Печати, В.Маяковский был раздражен рядом безликих выступлений.

«Наконец, выступил Гехт. А Гехт, вообще, как оратор, славился в Москве, – его нельзя понять, если даже вы сидите рядом с ним. Он вообще человек очень умный и остроумный и понимает очень много, но он говорит всегда захлебываясь, с большим энтузиазмом, а произношение у него такое, что почти ничего понять нельзя. И тут он выступил с эстрады и начал говорить. Смех в публике, никто ничего не разбирает, что он говорит. Поднялся шум, его перебивали, кто-то кричал: «Довольно! Непонятно! Ерунда!»

Маяковский поднялся, постучал по столу громко кулаком:

– Тише! Товарищ говорит очень умные вещи, и надо его слушать, надо иметь уважение к оратору <...> он заставил публику слушать. Гехт продолжал свою речь».

1929. Москва

Семен ОЛЕНДЕР **Из письма Сергею Бондарину**

У Гехта, как когда-то у Катаева, постоянно живут одесситы. Поселяется поэт Семен Олендер с молодой женой.

«Трифоновка приютила «новобрачных», она же их в ближайшем будущем выставляет – дело в том, что у Гехта такие сложные и путаные отношения с домоуправлением, что нам при такой обстановке жить там никак не возможно. Ему предъявили весьма серьезное обвинение. Крутой год в квартире живут разные люди, москвичи и провинциалы, а сам хозяин появляется в доме примерно раз в три месяца. Нуждающихся в площади в доме много и ясно – против Гехта затевается дворový переворот. <...> Адрес Гехта: Скатерный пер. 22 кв. 31 а».

1930 год. Москва

Эмилий МИНДЛИН Константин Паустовский

...Мы были в то время очень молоды – Семен Григорьевич Гехт и я. И, как все молодые литераторы в начале двадцатых годов, очень бедны. Оба часто печатались в газетах и в еженедельниках, но это несколько не избавляло нас от мучительного безденежья. Гонорары были ничтожны. Стоило получить гонорар – и даже у бережливого Гехта он улетучивался с пугающей быстротой. Работали мы в одних и тех же редакциях, встречались едва ли не каждодневно и постоянно делились новостями о вновь открытых дешевых столовых.

В один из дней безнадежно безденежных мы уныло подсчитали наши наличные. У одного оказалось восемь копеек в кармане, у другого двенадцать.

– И все-таки мы пообедаем, – ободряюще сказал Гехт. – Я знаю столовую, где можно купить порцию кушанья за двугривенный!

И он повел меня в «Голубую маску».

Собственно, столовая называлась иначе, а «Голубой маской» назвал ее Гехт – и я еще объясню почему.

Столовая помещалась в старом – ныне не существующем – особняке на Тверской между Страстной площадью и Триумфальной, примерно на месте нынешней гостиницы «Минск». Очень узкая и длинная вывеска нависла над оштукатуренным фасадом особняка: «Анархисты-интер-индивидуо-универсалисты». Над этими загадочными словами голубыми буквами – лозунг:

«Всеизобретатели всечеловечества, соединяйтесь!»

В окне анархистской столовой был выставлен рукописный плакат. В венке из цифр и алгебраических корней на белом фоне чернела надпись:

«Курсы всечеловеческого языка “АО”. Vegetарианская столовая всеизобретателей всечеловечества».

Гехт уверенно толкнул дверь вегетарианской столовой всеизобретателей всечеловечества, и мы вошли внутрь «Голубой маски».

Я тотчас же понял, почему он так назвал эту самую удивительную «вегетарианку» в Москве. В глубине длинной комнаты с несколькими ничем не покрытыми столиками вдоль стен за стойкой стоял человек в серой толстовке с лицом, закрытым голубой полумаской. Обыкновенной шелковой полумаской, какие когда-то надевались на карнавалах.

Вымазанные мелом оконные стекла пропускали сумеречный зыбкий свет. В сумеречном свете еще зловещее казались громадные знаки алгебраических корней на белых стенах столовой.

Два-три посетителя за столиками молчаливо разжевывали кушанья, напоминавшие самый что ни на есть обыкновенный силос.

Гехт, как человек, уже бывавший в этой столовой и знавший ее порядки, подошел к стойке, что-то сказал человеку в голубой полумаске, доложил на стойку весь наш капитал – двадцать копеек – и предложил мне место за столиком у стены.

– Сейчас подадут. – Он произнес это, усаживаясь напротив меня и потирая руки, как бы в предвкушении вкусного и обильного обеда.

Человек в голубой полумаске вышел из-за стойки с тарелкой в руках. Он выступал торжественно, с откинутой назад головой, словно подчеркивал всем своим видом, что он не простой официант, а один из всеизобретателей всечеловечества и знаток языка «АО». Он принес и поставил на стол между Гехтом и мною тарелочку со свекольным салатом и две вилки.

Только и хватило наших двадцати копеек на одну порцию салата из свеклы.

– Ого! Два куска хлеба! Не так уж и плохо! – И Гехт рассмеялся тем чистым смехом, который был мил всем его добрым знакомым.

Я насадил на вилку сразу несколько кубиков свеклы, но Гехт, умудренный нуждой больше меня, тотчас предостерег:

– Так вы никогда не насытитесь! Берите на вилку по одному кусочку свеклы и долго разжевывайте. Чем дольше будете разжевывать, тем лучше насытитесь.

Медленно разжевывая каждый крохотный кусок свеклы, мы с ним растягивали наш «обед», сколько могли.

Вот тогда-то, во время обеда в столовой всеизобретателей всечеловечества, он и спросил меня, знаю ли я Паустовского.

Фамилия показалась знакомой.

– Ах, этот... Он, кажется, работает в РОСТА?

– Очень талантливый человек. Когда-нибудь станет настоящим писателем. Увидите.

Гехт уже надоел мне своими пророчествами.

Совсем недавно в тех же выражениях он говорил мне о Славине. Вообще, если поверить Гехту, все его знакомые молодые люди должны были стать настоящими писателями.

И они действительно стали писателями, все эти знакомые Гехту молодые люди – Ильф, Петров, Славин, Катаев, Олеша, Кирсанов, Багрицкий, Бондарин и самый старший из них – Константин Паустовский.

И, наконец, он сам – Семен Григорьевич Гехт, написавший несколько добрых и светлых книг и лучшую среди них – повесть «Будка

соловья», так и светящуюся чувством чистосердечной любви к многострадальному человеку.

<...>

В конце двадцатых годов молодые московские писатели один за другим начали издаваться в харьковском издательстве «Пролетарий». Вышли в этом издательстве три тома Леонида Леонова, и «Блisterающие облака» Паустовского, и очень интересная повесть Семена Гехта «Человек, который забыл свою жизнь». Печатались в «Пролетарии» и другие москвичи. О Паустовском стали поговаривать как об очень способном литераторе, от которого можно многого ожидать. Рассказы его уже появлялись в московских журналах. Но по-настоящему пророчества Гехта подтвердились только в 1932 году, когда вышел и всеми был единодушно признан знаменитый «Карабугаз» Паустовского.

Почти сорокалетний Константин Паустовский сразу вошел в большую литературу и стал любимым писателем.

<...>

* * *

Близился его юбилей – семидесятилетие писателя. Но семидесятилетие Паустовский встретил в больнице. Инфаркт произошел вскоре после возвращения из Ялты – дома, ночью. Его перевезли в кремлевскую больницу. Наступили дни, полные тревог и напряжения. Почти ежедневно я разговаривал по телефону с Татьяной Алексеевной – надежды ее перемежались со страхом: состояние больного было очень тяжелым. В квартире Паустовских не переставая звонил телефон: тревожились не только друзья, близкие. О здоровье писателя справлялись незнакомые люди. Звонили и тем, о чьей дружбе с Паустовским было известно. Ежедневно звонили мне: как Константин Георгиевич? Что говорят врачи?

Ко дню юбилея почтальоны завалили квартиру Паустовского кипами писем и телеграмм. Множество телеграмм было адресовано прямо в больницу. По письмам и телеграммам можно было судить, что празднование юбилея писателя повсюду в стране происходило стихийно. Его праздновали даже в далеком Магадане на Колыме. Все это были празднования неофициальные, не везде даже отмеченные газетами, но празднования чистосердечные, читательские.

Наконец опасность прошла – Паустовского из кремлевской больницы перевезли в Барвиху – он поправился, к осени снова был дома, даже стал поговаривать о давно задуманной поездке в Париж, продолжал прерванную было работу, много читал, стремился наверстать упущенное.

Зимой он уехал с Татьяной Алексеевной в Париж. Вернулся только под Новый год, кажется, даже 31 декабря. Первый его вопрос после возвращения – о Гехте. Только что Гехт перенес очень тяжелую операцию, лежал в больнице.

Паустовский был очень взволнован судьбой несчастного Гехта. Я поддерживал ежедневную связь с больницей, беседовал с врачами, лечившими Гехта, почти ежевечерне мне звонила отчаявшаяся Вера Михайловна Гехт – и почти ежеутренне Паустовские справлялись о Гехте...

Скончался Дмитрий Стонов, наш общий с Паустовским, очень давний, добрый знакомый. С ним вместе работали когда-то в «Наших достижениях».

Вдруг скоропостижно скончался Арон Эрлих, старый писатель-правдист, друг Паустовского и мой...

Люди, с которыми шли спутниками, попутчиками много десятков лет, стали исчезать один за другим...

Нет ничего обиднее смерти в человеческой жизни. И ничему сознание человека не противится так упорно, как мысли о смерти.

С каждым днем состояние Гехта становилось серьезнее. Сепсис развивался в его истощенном, обессиленном организме, медленно, но угрожающе нарастая.

Паустовский переслал в больницу для Гехта привезенный им из Парижа запас редчайшего и дорогого лекарства – сигмамицина, еще малоизвестного нашим врачам. Он звонил врачу, лечащему Гехта, уговаривая его применить сигмамин, незаменимый при сепсисе. Звонил профессору, знающему, как обращаться с сигмамицином, и умолял его дать наставления лечащим Гехта врачам...

На некоторое время сигмамин задержал течение страшной болезни Гехта. Но запасы его окончились.

Когда казалось, нет никаких других средств, а врачи предупреждали нас о серьезности положения, Паустовский позвонил заведующему отделением больницы, где лежал Гехт...

Потом Паустовский передавал мне свой разговор с этим врачом примерно в таких выражениях:

– Я сказал ему, что Гехт – изумительный человек. Во что бы то ни стало надо его спасти. Я сказал, что без Гехта даже нельзя представить себе прошлую литературную жизнь. Врач обещал сделать, что может.

И врачи действительно делали, что могли. Но проходили месяцы, уже приближалась весна, а положение Гехта оставалось тяжелым.

Гехт умер. В «Литературной газете» Паустовский написал, что без Гехта невозможно представить себе литературную жизнь.

Константин ПАУСТОВСКИЙ

«Четвертая полоса»

За нашей спиной прозвенела расшатанная стеклянная дверь. Бабель оглянулся и испуганно сказал:

– Спрячьте рассказ! Надвигается «могучая когорта».

Я успел спрятать рукопись. Вошли Гехт, Ильф, Олеша, Славин и Регинин.

Мы сдвинули столики, и начался рассказ о том, что «Огонек» решил выпустить сборник рассказов молодых одесских писателей. В сборник включили Гехта, Славина, Ильфа, Багрицкого, Колычева, Гребнева и меня, хотя я не был одесситом и прожил в Одессе всего полтора года. Но все почему-то считали меня одесситом, очевидно, за мое пристрастие к одесским рассказам.

Бабель согласился написать для этого сборника предисловие.

<...>

Пришла мохнатая и будто заспанная зима. В два часа дня уже зажигали электричество. Свет за окнами становился синим. Уличные фонари желтели, и гортензии на столиках оживали и покрывались в свете лампочек слабым румянцем.

Регинин утверждал, что цветы, как и люди, стали теперь неврастениками. Всем известно, что неврастеники мутно и расслабленно проводят день, а к вечеру веселеют и расцветают.

Однажды в столовую вошел со значительным и таинственным видом Семен Гехт.

Я познакомился с ним в редакции «На вахте». Он приносил туда очерки о маленьких черноморских портах. Не об Одессах, Херсонах и Николаевах, а о таких приморских городках, как, скажем, Аккерман, Очаков, Алешки, Голая пристань или Скадовск. Там пароходы подваливали к ветхим дощатым пристаням – скрипучим, шатким и облепленным рыбьей чешуей.

Очерки были лаконичные, сочные и живописные, как черноморские гамливые базары. Написаны они были просто, но, как говорил Евгений Иванов, с «непонятым секретом».

Секрет заключался в том, что очерки эти резко действовали на все пять чувств.

Они *пахли* морем, акациями, бахчами и нагретым аккерманским камнем.

Вы **осязали** на своем лице дыхание разнообразных морских ветров, а на руках – тяжесть смолистых канатов.

Вы **чувствовали** вкус зеленоватой едкой брынзы и маленьких дынь канталуп.

Вы **видели** все это со стереоскопической выпуклостью, – даже далекие, совершенно прозрачные облака над Кинбурнской косой.

И вы **слышали** острый и певучий береговой говор ничему не удивляющихся, но любопытных южан, – особенно певучий во время ссор и перебранок.

Чем это достигалось, я не знаю.

Очерки эти сейчас почти забыты, но такое впечатление от них осталось у меня до сих пор. Жаль, что Гехт не продолжил свой удивительный путеводитель по маленьким портам.

Есть люди, без которых невозможно представить себе настоящую литературную жизнь. Есть люди, которые, независимо от того, много или мало они написали, являются писателями по самой своей сути, по составу крови, по огромной заинтересованности окружающим, по общительности, по образности мысли. У таких людей жизнь связана с писательской работой непрерывно и навсегда. Таким человеком и писателем был Гехт.

На этот раз загадочный вид Гехта насторожил всех. Но, будто по уговору, никто его ни о чем не спрашивал. То был верный способ заставить его говорить.

Гехт крепился недолго. Подмигнув нам, он достал из кармана сложенный вчетверо листок бумаги.

– Вот! – сказал он. – Получайте предисловие Бабеля к нашему сборнику!

– Оно короче воробьиного носа! – заметил кто-то. – Просто отписка!

Гехт возмутился:

– Важно не сколько, а как. Зулусы!

Он развернул листок и прочел предисловие. Мы слушали и смеялись, обрадованные легким и пленительным юмором этого, очевидно, самого короткого предисловия в мире.

Потом дело со сборником сорвалось. Он не вышел, а предисловие затерялось. Только недавно его нашел среди своих бумаг один из тех, о ком писал Бабель.

Эдуард ШУЛЬМАН

Опасность, или Поучительная история

Из архива ФСБ По материалам одного следственного дела Тексты и комментарии

Заголовок данной работы отсылает читателя к предвоенным романам «Опасность» и «Поучительная история», автор которых, как нередко бывает, напророчил свою судьбу. Здесь собраны в извлечениях, коллажно-монтажно соединенные, самые разные документы (от судебных решений до мемуаров), чтобы осветить отдельные события и эпизоды.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Гехт Семен Григорьевич (р. 14(27).III.1903, Одесса, – 10.VI.1963, Москва) – русский советский писатель. Печатался с 1922. Во время Великой Отечественной войны – военный корреспондент газеты «Гудок». Основная тематика книг Гехта – преобразенная жизнь еврейского народа в Советское время. Пользовались известностью повесть «Человек, который забыл свою жизнь» (1927) и роман «Поучительная история» (1939), рассказывающий о еврейском юноше, ставшем инженером на большой стройке. Многие книги Гехта написаны для детей (повести «Ефим Калужный из Смидовичей», 1931; «Веселое отрочество», 1932 и др.). В сборнике «В гостях у молодежи» (1960) Гехт рассказывает о встречах с Э. Багрицким, А. Довженко и др.

Краткая литературная энциклопедия, т. 2. М., 1964.

Гехт Семен Григорьевич (1903–1963) – русский писатель. Ранние стихи, опубликованные в Одессе, одобрил Багрицкий, С середины 20-х – в Москве. Сотрудничал в газете «Гудок». Заявил о себе как о представителе русско-еврейской литературы, что было сразу отмечено критикой (сб. «Еврейский вестник», Л., 1928). Основная тема – преобразенная жизнь евреев в пореволюционные годы («Рассказы», 1925; «Человек, который забыл свою жизнь», 1927; «История переселения Бутлеров», 1930; «Сын сапожника», 1931; «Поучительная история», 1939). Антисионистский (по замыслу) роман «Пароход идет в Яффу и обратно» (1936) правдиво изображает подмандатную Палестину, кровопролитные стычки с арабами. Приводятся страстные речи сионистов и стихотворение В. Жаботинского... Некоторые советские критики обвиняли автора в «замаскированном сионизме».

В 1941-44 – военный корреспондент. Репрессирован. Реабилитирован.

Был верен еврейской теме («Будка Соловья», 1957; «Долги сердца», 1963). Герои Гехта – евреи, чья судьба искалечена войной. Звучат трагические мотивы, упоминаются Бабий Яр, Тракторный завод в Харькове... В 60-е годы написал воспоминания о Багрицком, Ильфе и др. Переводил с идиш Шолома Аша, Шолом-Алейхема, М. Даниеля...

Краткая еврейская энциклопедия, Иерусалим, 1982.

<...>

Часть первая

* * *

Я, старший оперуполномоченный 1 отделения, III отдела, 2 управления НКГБ СССР капитан государственной безопасности... рассмотрел материалы в отношении *Гехта Авраама Гершевича* (литературный псевдоним – *Семен Гехт*),

нашел:

Имеющиеся во 2 управлении документы изобличают *Гехта А.Г.* в активной антисоветской агитации и распространении клеветнических измышлений. Практическая антисоветская работа направлялась к тому, чтобы объединить враждебно настроенных писателей для противодействия партии и правительству. Указания в области литературы воспринимались как подавление творческой инициативы.

...Ведется, – говорил Гехт, – неправильная политика. Писатели запуганы, отвыкли биться за правду, не хотят выражать свое мнение. Таким образом, «пороки и язвы общества» остаются в тени. У писателя отнято слово правды, и он – это уже давно – призван лишь подтверждать официальную точку зрения. Литература заглохла, литературы нет и при таких условиях быть не может.

Антисоветская деятельность *Гехта А. Г.*, помимо следственных, обоснована и другими материалами, которые свидетельствуют, что на протяжении ряда лет (и во время Отечественной войны) среди своего окружения высказывает он антисоветскую враждебность. На основании изложенного

постановляю:

Гехта Авраама Гершевича арестовать и провести обыск.

*Старший оперуполномоченный 1 отделения,
III отдела, 2 управления,
капитан государственной безопасности.*

СОГЛАСНЫ – зам. начальника III отдела, 2 управления, подполковник ГБ; зам. начальника 2 управления, комиссар ГБ 3-го ранга. УТВЕРЖДАЮ – нарком ГБ СССР, комиссар ГБ 1 ранга. 11.V.1944. АРЕСТ САНКЦИОНИРУЮ – зам. Прокурора Союза ССР Государственный советник I класса. 12.V.44.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Из протокола допроса

Начат в 16 час. 45 мин.
Окончен в 06 час. 30 мин.

1944 года, Мая месяца 22 дня.

Я, старший следователь 3 отделения, XI отдела, 2 управления НКГБ СССР, допросил в качестве арестованного

Гехта Авраама Гершевича (Семена Григорьевича), 1903 года рождения, уроженца Одессы, проживающего в Москве (ул. Кирова, 21, кв. 3), еврея, гражданина СССР, беспартийного.

Образование – незаконченное среднее. По роду занятий – писатель-прозаик, член Союза писателей.

Отец (умер в 1917 году) – посредник при найме рабочей силы.

Жена – Гехт (Синякова) Вера Михайловна, 1899 года рождения, русская, работница-надомница (делает шаурфы и галстуки).

Репрессиям не подвергался. Орденами, медалями, грамотами и почетным оружием не награждался. Военское звание – интендант 2 ранга в запасе. На учете – в РВК Ростокинского района г. Москвы.

В. (вопрос). Почему вы имеете два имени и отчества?

О. (ответ). По старой еврейской традиции, если кто-либо из детей заболевает, ему дополнительно давалось новое имя. Таким образом, у меня с детства – два имени: Авраам и Семен. *Герш* – в переводе с еврейского – *Григорий*. Этим отчеством я и величался. А литературные произведения подписывал – *Семен Гехт*. Но в паспорте и по военному билету – *Авраам Гершевич*.

В. Как давно проживаете в Москве?

О. С 1923 года.

В. Назовите близких знакомых.

О. Мои знакомые главным образом литераторы:

Гроссман Василий Семенович – писатель-прозаик. Встретился с ним на квартире Ивана Катаева (писатель; в 1937 году арестован органами НКВД). Бывали друг у друга в гостях. Больше я у Гроссмана, чем он у меня.

Фраерман Рувим Исаевич – писатель-прозаик. Подружил нас Константин Георгиевич Паустовский.

Поэт-переводчик Липкин Семен Израилевич, член СП СССР. Видел его на квартире покойного Эдуарда Багрицкого в Кунцеве. В 41-м призван на флот. Недавно демобилизован. Переводит татарский народный эпос.

Паустовского Константина Георгиевича знаю по газете «На вахте», где я печатался, а он, Паустовский, замещал редактора.

Виктор Борисович Шкловский в 1925 году редактировал «Красный журнал». Потом, когда я работал ответсекретарем «Советского экрана», часто приносил свои статьи. Одно время проживал по соседству с сестрами моей жены в Скатертном переулке. В сентябре-октябре прошлого, 43-го, года мы ездили (от журнала «Пограничник») на фронт, в район Гомеля.

О Валентине Петровиче Катаеве слышал в Одессе. Общался с ним и его братом Евгением Петровым в Москве. И чаще, и короче – при жизни Ильфа (до 1937 г.).

Николай Николаевич Асеев, поэт, заведовал литературно-художественным отделом «Молодой гвардии». Я принес два рассказа, которые не поместили, но прочтены мною у Асеева на квартире. С 1925 года мы – свояки (женаты на сестрах). Хотя и родственники, близко, однако, не сошлись. Я не симпатизировал Асееву как поэту, чересчур увлеченному формой. Равным образом и круг его знакомых от меня далек.

- В.** Вас арестовали за антисоветскую работу. Предлагаем приступить к откровенным и правдивым показаниям.
- О.** Об антисоветской работе показать ничего не могу.
- В.** Неправда. Следствию известно, что вы, являясь настроенным антисоветски, в течение длительного времени вели враждебную агитацию. Еще раз предлагаем прекратить бесполезное запирательство и показывать правду.
- О.** Я намерен показывать правду. Мои антисоветские взгляды выражались в резком недовольстве, что арестованы знакомые мне писатели (Бабель, Иван Катаев).

Эти настроения, послужили сюжетом двух моих романов: «Поучительная история» и «Вместе» («Опасность»), где изображены отрицательные, на мой взгляд, нравы советского общества. В частности, роман «Опасность» – о допросах в наших следственных органах и вынужденных признаниях.

Сейчас, в дни войны, намеревался описать немецкую оккупацию. Про тех, кто перешел на службу к врагу. Хотел показать, что в советском обществе не все гладко и люди не все такие, как Тарас из повести Горбатова «Непокоренные».

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Горбатов Борис Леонтьевич (1908-1954) – русский писатель еврейского происхождения. «Повесть “Мое поколение” (1933) насыщена революционной ро-

мантикой» (Краткая литературная энциклопедия). «Отчетливо звучит еврейская тема – распад местечкового уклада» (Краткая еврейская энциклопедия). Повесть «Непокоренные» (1943; Сталинская премия, 1946) – «о нестигаемой силе духа советских людей» (КЛЭ). «С глубоким волнением... одним из первых... заговорил о трагической обреченности евреев в условиях немецкой оккупации» (КЕЭ). Смотри также одноименный фильм Марка Семеновича Донского («Непокоренные», 1945). По Краткой еврейской энциклопедии (КЕЭ), «потрясает эпизод массового расстрела (роль старика-еврея исполняет народный артист Зускин)».

Летом 1941 года, в Переделкине, на даче у Константина Федина, в присутствии Павленко, Погодина, Всеволода Иванова, В. Катаева и Пастернака, заявил я Александру Фадееву [*глава писательского союза*], что причина наших военных неудач – 1937-й год. Государство, дескать, само создало себе врагов. И сослался на будто бы неправильный и необоснованный арест Бабеля.

– Вы болтаете чепуху! – тотчас прервал Фадеев. – Ваш Бабель якшался с троцкистами!

В разговоре с Фраерманом и Гроссманом посетовал я, что фашизм будто бы пустил свой трупный яд – антисемитизм – на советскую почву.

<...>

Из протокола допроса

от 23 мая 1944 года

Начат – 13 час. 25 мин.

Окончен – 16 час. 25 мин.

В. Называйте факты вашей вражеской работы.

О. Я не отказываюсь. Просто прошу напомнить отдельные мои антисоветские заявления.

В. Перестаньте крутить и приступайте!

О. Я припомнил следующее:

Летом 1942 года, в Сталинграде, на центральной площади, отдыхал у фонтана с писателями N и NN. Рассуждали о послевоенном устройстве. Мол, после войны все недостатки останутся. Не будет-де, как и раньше, свободы слова, печати, гласности... Недостатки неискоренимы потому, клеветнически утверждал я, что советская система сжилась с ними, избавиться не сумеет.

ПОЗДНЯЯ СНОСКА

Мы опускаем подлинные фамилии, чтобы вполне безответственно предположить: кто-то из тех писателей (если не оба) тотчас и «настучал» («настучали»). Между прочим, писатель N (или NN?) прославился впоследствии милицейскими (детективными) сериалами.

Осенью 1943 года на квартире Гроссмана В. С. (в присутствии гостей) я разглагольствовал о том, что в буржуазно-демократических странах – якобы настоящая свобода... Например, наш северный порт посетил английский корабль. А в кают-компании – вместо портрета Черчилля – шарж на него... У нас, клеветнически настаивал я, такое неммыслимо!

Пролыстывая газету или журнал «Британский союзник», обнаружил критическую статью английского парламентария. И воскликнул:

– Видите, с ним ничего не случилось! Спокойно пошел домой. Не арестован. Мирно заснул в своей постели. Хотя и порицал главу правительства!

- В.** Вы сторонник буржуазно-демократического строя? Вплоть до введения его в России?
- О.** Не отрицаю, что частично симпатизировал буржуазно-демократическим порядкам. Но о введении в России не помышлял!

Из протокола допроса

от 30 мая 1944 года

Начат – 21 час 35 мин.

Окончен – 02 час. 45 мин.

- О.** В первый период Отечественной войны я заразился паническим настроением. Когда опубликовали заявление генерала Сикорского [*глава польского правительства в Лондоне*], что немцы за семьдесят дней дойдут до Урала, я некоторое время отслеживал по календарю. 10 октября (1941) верил клеветническим слухам, что наши армии наголову разбиты под Вязьмой, где будто бы случилась трагедия. Обстановка, паникерски считал я, сложилась такая, что мы окажемся в экономической и военной зависимости от союзников.
- В.** А конкретнее?
- О.** Зависимость, полагал я, приведет к расширению свободы... Будто бы Рузвельт и Черчилль требовали распустить колхозы.

Из протокола допроса

от 5 июня 1944 года

Начат – 20 час. 10 мин.

Окончен – 23 час. 20 мин.

- В.** В чем конкретно признаете себя виновным?
- О.** Признаю, что в кругу своих знакомых высказывал антисоветские взгляды, что летом сорок первого и частично в сорок втором году не верил

в победу и желал перенести некоторые принципы буржуазного строя в нашу страну, а именно: свободу слова, печати, систему выборов, гласное судопроизводство. Относительно клеветы на руководителей ВКП(б) и советского правительства – такого не помню.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о предъявлении обвинения

гор. Москва, 1944 года, июня 5-го дня.

Я, следователь 3 отделения, XI отдела, 2 управления НКГБ СССР, капитан госбезопасности, рассмотрев следственный материал по Делу № 7014 и приняв во внимание, что *Гехт Авраам Гершевич* достаточно изобличен в том, что, являясь враждебно настроенным, проводил антисоветскую агитацию; что, будучи пораженцем... со своими единомышленниками, высказывался за изменение существующего строя на буржуазно-демократический лад, –

постановил:

привлечь *Гехта А. Г.* в качестве обвиняемого, о чем объявить ему под расписку.

Настоящее постановление мне объявлено 5 июня 1944 года.

Гехт

Из протокола допроса

от 19 июня 1944 года

Начат – 14 час. 00 мин.

Окончен – 17 час. 50 мин.

О. Построение социализма в одной стране почитал я «несбыточной утопией». Расценивал индустриализацию и коллективизацию как «перегиб». Передавал обывательские слухи, что в деревне, на Украине, – голод. Все неудачи Отечественной войны списывал на коллективизацию, якобы непопулярную среди крестьянства. В конце сорок первого года рассказывал Гроссману, что немцы-де обещают в листовках «настоящий социализм».

– Опять, – говорю, – двадцать пять! Надоел мне социализм!

...В редакции «Гудка» [двадцатые годы] с особым интересом читали газеты. Булгаков не скрывал, что ожидает «раскола партии» и «самопожирания революции». За столиком в доме Герцена [«дом Грибоедова» – в «Мастере и Маргарите»] открыто восторгался «великой эволюцией», как единственно правильной, в противоположность революции.

...Случайно в 1926 году столкнулся на улице с Яковом Блюмкиным – бывшим секретарем Троцкого.

– Что, – спрашивает, – пишет сейчас Бабель?

- Рассказы, – говорю, – о чекистах...
- А-а, – засмеялся, – «Вечера на хуторе близ Лубянки»... Побасенки стороннего наблюдателя...

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Блюмкин Яков Григорьевич (1900-1929). Левый эсер. Чекист. 6.07.18 убил германского посла. Амнистирован. Член РКП(б). Резидент на Ближнем Востоке. Встречался в Константинополе с высланным за границу Троцким и передал себя «в его распоряжение». По возвращении выдан вроде бы тогдашней своей женой (или возлюбленной?) Розенцвейг-Горской-Зарубиной (1900-1987). Казнен «за повторную измену делу пролетарской революции и революционной чекистской армии».

<...>

О. Запомнился период 1936 года – Сталинская конституция. «Новая эпоха!» – чудилось нам с Ильфом. Будто бы советская власть откажется от прежних позиций, допустивши вращение буржуазно-демократических свобод. Возникнут разные журналы! Писатели сгруппируются по принципу литературных симпатий!

Вскоре, однако, арестовали Осипа Эмильевича Мандельштама, Бабеля, Ивана Катаева – писателей, которых я очень любил и ценил.

Оболгав советское общество и карательную политику, сочинил я роман «Поучительная история» [*альманах «Год 22-й»; Детгиз, 1939*], чем и снискал успех среди репрессированных. Получил много писем с демагогической клеветой на окружающую действительность, что побудило меня выразить более резко мои антисоветские взгляды. Задумал роман «Опасность», которым хвастал в кругу друзей: будет, мол, поострее «Поучительной истории»! Эпиграф – из стихотворения Софьи Парнок:

Не бить челом веку своему,
а быть челом века своего, –
быть человеком!

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Из последнего одиночества
Прощальной мольбой, – не пророчеством
Окликаю вас, отроки-друзи:
Одна лишь для поэта заповедь
На востоке и на западе,
На севере и на юге –
Не бить
челом
веку своему,

Но быть
челом
века своего, —
Быть человеком.

8 февраля 1927 года

Софья Яковлевна Парнок (1885-1933). Из книги «Вполголоса» (М., 1928. Тираж – 200 экземпляров. На правах рукописи).

- В.** Роман «Опасность» издан в первоначальном виде, без исправлений?
- О.** Нет, подвергся коренной правке. Ни Гослитиздат, ни «Молодая гвардия», ни «Советский писатель» его не приняли. Взял только ленинградский журнал «Литературный современник» [1941, январь]. И то в сокращенном виде. Под заглавием «Вместе». Из 16 печатных листов – 9.
- В.** Вы читали кому-либо рукопись?
- О.** Читал. Отрывками.
- В.** Сопровождалось ли чтение антисоветскими разговорами?
- О.** Явных антисоветских высказываний не помню. Я цитировал эмигранта Евгения Замятина, который различает писателя-современника и писателя злободневного. Первого возносит, второго поносит. Пользуясь этой «теорией», я возводил клевету на текущую литературу, каковая будто бы не есть современность, а кривое ее отражение.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

От эпохи – *сегодняшнее* берет только окраску, кожу, – это закон мимикрии; *современному* – эпоха передает сердце и мозг – это закон наследственности.

Евгений Замятин. «О сегодняшнем и современном».

- В.** С кем еще вели антисоветские разговоры?
- О.** Осенью 1940 года у меня разгорелся спор с Леонидом Васильевичем Соловьевым, который доказывал, что веку парламентаризма – каюк. Настало будто бы торжество диктатуры, как, например, фашизм в Германии. Я же не уступал, вещая победу демократии.
- В.** Часто ссорились с Соловьевым?
- О.** Нет. Общаться с ним неприятно. В литературной среде слывет черносотенцем. Не стесняясь, яростно ненавидит евреев.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Соловьев Леонид Васильевич (1906-1962). Окончил сценарный факультет. Автор киноповести «Иван Никулин – русский матрос» (1943-45) и романа «Насреддин в Бухаре» (фильм 1943 года со Львом Наумовичем Свердлиным в главной роли).

- В.** С каких пор ориентируетесь вы на буржуазно-демократические порядки?
- О.** С 1936-37 года я открыто высказывал клевету насчет отсутствия будто бы свободы слова, печати, гласного судопроизводства... А мои восхваления Франции, Англии и Америки продолжались до последнего времени.

Из протокола допроса

от 21 июня 1944 года

Начат – 10 час. 50 мин.

Окончен – 13 час. 30 мин.

- В.** Давно ли знаете писателя Шкловского Виктора Борисовича?
- О.** Наша встреча состоялась в журнале «Огонек». Шкловский принес фельетон «Пробники». О случае в конном деле. Когда подводят одного жеребца за другим. С целью – разогреть, раззадорить кобылу, подготовить к оплодотворению. Эти «пробные» жеребцы (в фельетоне Шкловского) суть эсеры и меньшевики. Кобыла – Россия. А жеребец-оплодотворитель – большевизм.
- В.** Какие у вас отношения с Шкловским?
- О.** Так как я против формализма («формальной школы»), то Шкловский меня не любит.

ПЕРВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о продлении следствия и содержания под стражей

Из протокола допроса

от 20 июля 1944 года

Начат – 21 час. 20 мин.

Окончен – 02 час. 45 мин.

- В.** Известно, что Асеев за время Отечественной войны написал ряд стихотворений, которые марксистская критика признает вредными. Почему об этом ничего не показываете?
- О.** На пленуме Союза писателей (*февраль, 1944*) я слышал, что есть у Асеева несколько стихотворений с клеветой на советский тыл. Но самих стихов не читал.

<...>

- В.** Показывайте об антисоветской работе за время Отечественной войны.
- О.** У меня было убеждение, что советская власть сменится буржуазно-демократическим строем. Советское правительство, через экономическое давление Англии и Америки, чтобы удержать власть, само будто бы приведет Россию к буржуазной демократии. Я понимал,

что наше руководство добровольно не откажется от своей политической доктрины, но обстановка потребует.

В. И что же в конечном итоге получится?

О. Будут буржуазно-демократические преобразования. Отменят монополию внешней торговли, допустят концессии, иностранный капитал, развяжут инициативу. Восторжествуют европейские буржуазно-демократические свободы... А компартия потеряет прежнюю правящую роль и станет партией парламентского типа.

Из протокола допроса

от 24 июля 1944 года

Начат – 20 час. 55 мин.

Окончен – 02 час. 00 мин.

В. В числе своих антисоветских связей назвали вы писателя Фраермана. Покажите подробнее.

О. Знаком с двадцать четвертого года. До Отечественной войны никакой клеветы не помню.

В. А во время войны?

О. Фраерман жаловался, что в нашей стране будто бы процветает антисемитизм. Соглашался с моим клеветническим утверждением, что гитлеризм, погибая, распространяет свой трупный антисемитский яд на нашу советскую почву. Мы оба высказывали всяческую клевету на карательную политику, ожидая, что произойдут изменения.

Из протокола допроса

от 4 августа 1944 года

Начат – 20 час. 30 мин.

Окончен – 01 час. 45 мин.

В. В чем выражалось троцкистское влияние?

О. Покойный Эдуард Багрицкий пересказывал резко клеветническое содержание троцкистской фальшивки – так называемого «Завещания Ленина».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Опубликовано Федором Даном (Гурвичем) в эмигрантском (меньшевистском) журнале «Социалистический вестник» (1928).

В. Получается, что об антисоветской работе узнавали вы от третьих лиц? Обратитесь к первоисточнику.

О. В 1923 году Бабель читал, как он выразился, *наверху*, и рассказы вроде бы понравились Троцкому. Тогда же я спросил Бабеля:

«Говорят, вы пишете две книги – о Троцком и о ЧК. Правда?»
Он засмеялся: «Пусть говорят»...

В 1931 году Бабель сказал:

– Я знал человека, который возил за собой бюст Вольтера. И подумал: ему несдобровать... А другой умник не расставался с книжкой Гейне. И опять я подумал: ох, не снесет головы!.. Нам, – кто размышляет, сомневается, критикует, – нам теперь не житье.

<...>

«Сейчас не время литературы, – говорил Бабель. – Ему [*Вождю партии*] такие люди, как мы, чужды и непонятны. На любовь и успех лучше не рассчитывать».

Бабель читал «Историю Рима» (с примерами зверства и подхалимства).

– Похоже... – хохотал, – похоже на наши дни...

ПОЗДНЯЯ СНОСКА

Можно только гадать, было ли то сочинение Светония «Жизнь двенадцати цезарей», 120-й год н. э. или «Голубая книга» Михаила Зощенко, 1934-й...

Подобных клеветнических высказываний слышал я много, но затрудняюсь припомнить. Однако в большинстве случаев был с Бабелем солидарен.

Из протокола допроса

от 7 августа 1944 года

Начат – 10 час. 55 мин.

Окончен – 16 час. 40 мин.

В. Зачитываю выдержку из показаний арестованного [*фамилия опускается*] от 3 апреля сего года:

Возводя гнусную клевету, Гехт утверждал, что «Вождь раздражен беспорядком в доме, как бывает раздражен хозяин, когда что-то не ладится».

О. Показание не совсем точно. Данный факт имел место значительно раньше.

ПРИМЕЧАНИЕ ИЗ ДРУГОГО ИСТОЧНИКА

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

секретно-политического отдела

...Гехт говорил (1936), что писатель слишком труслив. Боится не только острых тем, но и вообще всего боится. Например, Лев Никулин.

– Неужели, – спросил Гехт, – вы искренне написали то, что напечатали в «Правде»?

Отвечая, Никулин покраснел.

– Я делал в жизни вещи и похуже.

СЮДА ЖЕ

Писательский фольклор

Каин, где Авель?

Никулин, где Бабель?

Часть вторая

Из протокола допроса

от 10 августа 1944 года

Начат – 10 час. 55 мин.

Окончен – 16 час. 00 мин.

В. Чем занимаются ваши ближайшие родственники?

О. Приблизительно в 1905 году эмигрировали в Канаду мои братья: Исаак Гершевич и Наум Гершевич. Осели, кажется, в Монреале, устроились будто бы приказчиками. Писем ни разу не получал. Живы ли – не знаю.

В городе Любашовке, Одесской области, работала бухгалтером моя сестра – Гехт Фаня Гершевна. Связь из-за войны и оккупации прервалась.

У моей жены – три сестры и брат:

1. Асеева Ксения Михайловна, супруга известного стихотворца. 2. Пичета Надежда Михайловна – вдова, служит в кустарной мастерской. 3. Уречина Мария Михайловна, художница.

Брат Синяков Владимир Михайлович – бухгалтер на каком-то заводе в Щелкове. Сейчас – в звании сержанта – в Красной Армии.

Иных близких родственников не имею.

Из протокола допроса

от 11 августа 1944 года

Начат – 10 час. 30 мин.

Окончен – 16 час. 15 мин.

В. В беседах со своими знакомыми вы систематически клеветали на карательную политику советского государства относительно врагов народа – троцкистско-бухаринского охвостья.

О. Заговорщики – в прошлом революционеры. И репрессии против них – гибель для революции. Никто не оспаривает самих процессов, но тут не все ясно, есть какая-то тайна. Почему заговорщики сознаются?

Заглядывая в старые журналы, замечал я, как мало осталось прежних членов ЦК, и делал скоропалительные заключения... Были у меня клеветнические выпады о колхозах. Что население, мол, их не хочет и недовольно бытовыми трудностями. Нет многих товаров, стеснена частная инициатива. НЭП, при отдельных отрицательных сторонах, был якобы лучше – жилось легче, нежели сейчас, когда слишком тяжелое бремя давит людей.

В. На литературных чтениях у Паустовского проводилась антисоветская работа?

О. Я читал главы из романа с клеветой на действительность и картинами якобы разложения в советском быту... У Паустовского – резкие и быстрые переходы от похвал к ругани и от восторженности к унынию. Он вообще безмерно фантазирует. Например, что потомок гетмана Сагайдачного. Или что три года назад (1941) встретил на свободе писателя Бабеля.

В. Во время Отечественной войны беседовали вы с писателем Гроссманом?

О. Он постоянно и твердо верил в победу. Когда толковали о буржуазно-демократических преобразованиях, попрекал меня в болтологии, не возражая, что антисемитизм проник к нам как трупный яд разлагающегося фашизма.

ВТОРОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ о продлении следствия и содержания под стражей

Гор. Москва, 1944 года, августа 17 дня.

Я, старший следователь 3 отделения, XI отдела, 2 управления, капитан госбезопасности, рассмотрев материалы следственного Дела № 7014 по обвинению писателя *Гехта Авраама Гершевича*,

нашел:

Гехт А. Г. арестован 22 мая 1944 года за проведение активной пораженческой агитации.

На следствии показал, что занимается антисоветской работой с 1922 года, распространяя злостные измышления. Возводил троцкистскую клевету на политику партии в вопросах индустриализации и коллективизации. Обвинял ВКП(б) в преднамеренном истреблении интеллигенции.

Принимая во внимание необходимость продолжить следствие и намеченные новые аресты,

постановляю:

Возбудить ходатайство о продлении срока следствия и содержания под стражей обвиняемого *Гехта Авраама Гершевича* на один месяц.

ХОДАТАЙСТВО ПОДДЕРЖИВАЮ. Прокурор по спецделам Прокуратуры СССР, старший советник юстиции.

Из протокола допроса

от 18 августа 1944 года

Начат – 10 час. 20 мин.

Окончен – 15 час. 00 мин.

- О.** С Липкиным Семеном Израилевичем подружились в войну. В Чистополь (*в эвакуацию*) приехал он из Кронштадта. Был очень бодрым. Однако в 42-м вернулся с Кавказа, панически настроенный. Попал в окружение, а Южный фронт будто бы разваливается. В 43-44-м навещал меня, Фраермана и Гроссмана. Упавал, как и все, на буржуазно-демократический поворот. Хотя лично его, Липкина, интересовала только свобода творчества, потому что стихи свои пишет в надежде на более либеральные времена.

ПОСЛЕДНЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о продлении следствия и содержания под стражей

Из протокола допроса

от 7 сентября 1944 года

Начат – 11 час. 30 мин.

Окончен – 16 час. 00 мин.

- В.** Смысл каких произведений русских поэтов подвергали вы перефразировке, применяя к условиям существующей действительности в соответствии с вашими антисоветскими взглядами?
- О.** В 1943 году нашел я у Пушкина несколько стихотворений с пропуском в тексте. И произвольно дополнил, подставивши рифму.
- В.** Что за стихотворение конкретно?
- О.** О событиях в Польше в 1830-31 году. Пушкин осуждает неизвестного человека, который радовался, что царские войска терпят поражение, и горько рыдал, когда польское восстание было подавлено.

<...>

- В.** Вы неоднократно читали своим знакомым клеветнические стихотворения русских поэтов-эмигрантов. Показывайте об этом!
- О.** Читал Владислава Ходасевича. Стихи безобидные, политического содержания не имеют. Озаглавлены «Перед зеркалом».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

При советской власти напечатаны журналом «Москва», в январском номере за 1963 год. Гехт умер в июле...

Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот – это я?

АКТ

1944 года, ноября 6-го дня.

Мы, нижеподписавшиеся, капитан ГБ и майор ГБ, произвели уничтожение (путем сожжения) изъятых у арестованного *Гехта А.Г.* вещественных доказательств. Ликвидированы:

Профбилет. Сберегательный билет по спецкладу. Хлебная карточка. Карточка на сухой паек (литера Б). Лимитная книжка на продтовары (май 1944). Лимитная книжка для ресторанов. Автобиография (на 2 листах) И. И. Фисановича.

ПРИМЕЧАНИЕ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Израиль Ильич Фисанович – командир ПЛ (подводной лодки).

Родился в 1914 году в городе Елизаветграде (Кировоград, Украина). Еврей. Член ВКП(б). На флоте с 1932-го. Окончил школу ФЗУ и Военно-морское училище имени Фрунзе. Участник Великой Отечественной войны.

Командир ПЛ «М-172» капитан-лейтенант Фисанович, действуя на коммуникациях противника, потопил три вражеских транспорта. Указом Верховного Совета (03.04.42) за мужество и отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

19.09.44 командир дивизиона подлодок Северного флота капитан 2-го ранга И.И. Фисанович погиб при выполнении боевого задания.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, иностранным орденом. Навечно зачислен в списки воинской части. Его именем названа улица в г. Полярный Мурманской области. На родине, в Кировограде, установлена памятная доска.

<...>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о приобщении к следделу вещественных доказательств

гор. Москва, 1944 года, ноября 6-го дня.

Я, старший следователь 3 отделения, XI отдела, 2 управления, капитан госбезопасности, нашел у арестованного *Гехта*:

1. Фашистскую газету «Молва» № 204 от 17 августа 1943 года, изданную в Одессе на русском языке;
2. Письма читателей с клеветническими выпадами (на 8 листах);
3. Отзывы читателей и редакционных работников на отдельные произведения *Гехта*.

Принимая во внимание, что перечисленные материалы отражают антисоветскую работу обвиняемого, считаю необходимым приобщить их в отдельном томе как вещественные доказательства.

СОГЛАСЕН. Начальник 3 отделения, XI отдела, 2 управления, майор госбезопасности.

Из Обвинительного заключения

...В отношении *Гехта А. Г.* следствием установлено, что антисоветские взгляды появились у него в 1922 году. Через писателей Бабеля, Ивана Катаева, Мих. Кольцова, через Я. Г. Блюмкина – бывшего секретаря Троцкого (все арестованы) связался с троцкистами.

Убедившись, что надежды на реставрацию капитализма не оправдались, порочил в кругу единомышленников советскую действительность, политику ВКП(б) и правительства. Не верил, что социализм будет построен именно в одной стране. Жаловался на сужение внутрипартийной демократии. Кошунственно утверждал, что индустриализация осуществляется троцкистскими методами. Коллективизацию сельского хозяйства и ликвидацию кулачества переживал как «трагедию». Сеял лживые слухи о голоде в деревне.

Временные военные неудачи объяснял неправильным руководством. Как поборник буржуазной демократии, выражал надежду, что существующий в Советском Союзе строй изменится.

В своих литературных произведениях – романах «Поучительная история» и «Вместе» («Опасность») – оклеветал органы НКВД, Прокуратуру, советское судопроизводство. Хранил отклики антисоветски настроенных читателей.

Изобличается показаниями, очными ставками и вещественными доказательствами (фашистская газета, переписка антисоветского характера). Виновным себя признал.

Считаю следствие по настоящему делу законченным, а добытые данные достаточными. Полагал бы меру наказания определить – восемь лет исправительно-трудового лагеря.

старший следователь 3 отделения, XI отдела,
2 управления – капитан ГБ;
начальник XI отдела, 2 управления – полковник ГБ;
начальник 2 управления – комиссар ГБ III ранга.

Выписка

из Протокола №15
ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРИ НКВД СССР
21 апреля 1945 года

Слушали:

Дело №7014 по обвинению *Гехта Авраама Гершевича (он же – Семен Григорьевич)*, до ареста – писатель-прозаик. Постановили: *Гехта Авраама Гершевича (он же – Семен Григорьевич)* за антисоветскую агитацию заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на восемь лет, считая с 22 мая 1944 года.

Часть третья

ПРОКУРАТУРА СОЮЗА ССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СОЮЗА ССР
от Гехта Авраама Гершевича
(он же – Семен Григорьевич).
Почтовый адрес: Москва, Кирова 21, кв. 3
Вере Михайловне Гехт (для С. Гехта)

Жалоба в порядке надзора

Я – писатель, член Союза советских писателей со дня его основания. 22.05.44, возвратившись из очередной командировки в Действующую армию, куда выезжал как военный корреспондент газеты «Гудок», был арестован и осужден ОСО на восемь лет ИТЛ.

Отбывши срок, весной 1952 поселился в Калуге. Сперва работал в Калужском городском парке, а затем – внештатным корреспондентом областной газеты. Сейчас проживаю в Серпухове.

Занявшись снова литературным трудом, написал очерк для альманаха «Дружба народов» и сделал несколько художественных переводов.

Считаю выдвинутые против меня обвинения несостоятельными.

В деле упоминаются два моих последних романа, якобы клеветнических. Прокуратора может ознакомиться с ними либо заказать экспертизу, чтобы решить, каково в действительности их содержание и общественная ценность.

О том, насколько неправильно составлено обвинение, говорит хотя бы такой факт. Сказано, будто бы я «часто бывал у троцкиста В. Т. Бобрышева». Но член Союза писателей, бывший редактор (основанного Горьким) публицистического журнала «Наши достижения», никогда Василий Тихонович Бобрышев не был троцкистом. Успешно сотрудничал в советской печати вплоть до войны. Погиб осенью сорок первого, сражаясь с немецким фашизмом. Имя его – на золотой доске в Центральном Доме литераторов.

Остается вернуться (с чувством горечи) к собственным признаниям. Оговорить себя побудило меня крайне тяжелое душевное состояние, вызванное ночными допросами, бессонницей, оскорблениями и угрозами, а также – и это главное – тревогою за семью. Тяжелое душевное состояние привело к тому, что я подписал протоколы, в которых искажена истина.

Изложенное побуждает меня обратиться с настоящей жалобой и ходатайствовать о пересмотре дела.

ГЕХТ

Москва, 9 сентября 1954 года

ПРОКУРАТУРА СОЮЗА ССР

СЛЕДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

от Гехта Авраама Гершевича

(он же – Семен Григорьевич)

Дополнительные замечания

к жалобе от 9.09. 54

В деле указано, что причина антисоветской агитации – влияние на меня нескольких ранее осужденных писателей, с которыми я дружил, и, в частности, Исаака Эммануиловича Бабеля. Но 18 декабря 1954 года Верховный Суд прекратил дело Бабеля за отсутствием состава преступления.

При обыске на моей квартире изъят один номер газеты «Молва». Я привез его из Одессы 18 мая 1944 года, то есть за четыре дня до ареста. В этом фашистском листке (издание румынской администрации) опубликована (именно в данном номере) передовая статья, которая

призывает бороться с теми, кому жалко евреев и коммунистов. Будучи корреспондентом, я собирался процитировать отдельные строки, показывая читателю, что реально происходило в оккупированном городе.

ГЕХТ
28.02.55

ПОЗДНЯЯ СНОСКА

В бывшем спецхране РГБ газета «Молва» не найдена. [Отдельные номера есть в фондах Одесского литературного музея – А.Я.]

Надзорное производство

№ 5518-С-55

Судебная коллегия по уголовным делам в составе Председательствующего и Членов (при Секретаре) рассмотрела 7 сентября 1955 года протест Генерального прокурора на постановление Особого совещания и определила: постановление ОСО от 21 апреля 1945 года в отношении *Гехта Авраама Гершевича (он же – Семен Григорьевич)* отменить и дело производством прекратить за необоснованностью обвинения.

Председательствующий, Члены, Секретарь.
Отпечатано в 8 экземплярах 10.09.55

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ С АНЕКДОТОМ

Помню байку полувековой давности, что Джордано Бруно – приверженец реакционной теории, будто Земля круглая, которую (теорию) гневно отверг Галилей как клеветнические инсинуации. Таков «новояз» – язык сталинского времени и советской эпохи. Правду объявляли заведомой ложью и тогда, сопровождая проклятьями (ритуальными словесными заклинаниями), аккуратно, с осторожностью формулировали. Следователь практиковал подобную методу по служебной инструкции, подследственный – как единственно возможную в его положении.

Давайте освободим писателя! Послушаем без посредников далекий, почти забытый авторский голос с присущей ему интонацией и мелодическим переливом...

Из романа «ВМЕСТЕ» (Опасность)

История, рассказанная Левченко, началась в тот день, когда кончилось дело о растрате. Как-то ночью вызвал его следователь Лежанкин. Был предупредителен и любезен. Предложил чаю с конфетами. Потом небрежно обмолвился, что намерен-де выпустить из тюрьмы.

– Мне теперь нужно немного, – сказал следователь. – Изложите, пожалуйста, поподробней вашу биографию. Итак, по порядку... Родились в Бахмуте, настоящее имя – Парфен. Учились в городском училище. Характер задиристый, и однажды вызвали какого-то мальчика на дуэль. Потом дрались на ножах, ранили мальчугана, и были исключены. Так?.. Ваш отец-шахтер рассердился, и выгнал вас из дому. Вы скитались...

Левченко внимал с удивлением. Следователь перескакивал через многое, опуская детали.

– Ваша жизнь, подследственный, мне хорошо известна. Быть может, напомнить, в чем именно проявили вы некоторую неискренность?.. Под командой Котовского освобождаете город от белых. Вам приказано обыскать квартиру на Пушкинской, откуда стреляли... Дальше?

– Поднимаюсь наверх, – сказал Левченко, – отворяю дверь...

– И после небольшого обыска натыкаетесь на склад оружия.

– Нет, оружия не было! Полная пустота. Хозяева куда-то бежали...

– Ну вот! – обиделся Лежанкин. – Сами же в прошлый раз показывали насчет оружия!

– Ничего такого не говорил...

Лежанкин погулял по кабинету и усталился за окно, словно забыл про Левченко.

– И о человеке с забинтованной головой ничего не говорили?

– Какой человек с забинтованной головой?

– Неважно. – Лежанкин грузно уселся. – Вы утаили от меня, что задержанный вами человек...

– Никого я не задерживал!

– Прошу не прерывать. Задержанный вами человек, которому удалось скрыться, информировал вас, кому принадлежало оружие и откуда доставили его на Пушкинскую улицу.

[О своих тюремных мытарствах поведал Левченко хорошему человеку, настоящему коммунисту Елисею Павловичу Платову, его жене Наталье и сыну Вадиму.]

– Вы кого-нибудь оклеветали? – спросил Елисей Платов.

– Да.

– Не бойтесь. – Платов вдруг засмеялся. – Если меня, это совсем неопасно.

– Нет, нет, Елисей Павлович... Он просил указать на доктора Бабаджана.

– Доктора Бабаджана? – И Наталья Платова вся затряслась. – Вы подписали протокол?

Левченко отвернулся, но Платов грубо схватил его:

– Подписал?

– Да, подписал. – И закашлялся.

Платов показал Вадиму на графин. Левченко глотнул, поперхнулся, снова глотнул и спокойно попросил папиросу.

Вадим, по взгляду отца, направился к письменному столу за табачком. Достав машинку, быстро набил гильзы. Отец предложил Левченко и закурил сам. Мать, давно не позволявшая ему дымить, не возразила ни словом. Наоборот, отыскала спички.

Следователь требовал, чтобы человек с забинтованной головой упомянул не только доктора Бабаджана, но и архитектора Лемке, и окулиста Букву, и профессора Липина. Увидев, сколь далеко простираются замыслы, Левченко отрицал навязанные показания, уверенный в том, что на свободу не выйдет.

Платов вытащил из кармана блокнот.

– Пишите.

– Что? – И Левченко пригнул голову.

– Все, что мне сейчас говорили.

Левченко машинально взял ручку, но сразу опомнился.

– Товарищ Платов! Что вы со мной делаете?

– Пишите... Впрочем, как вам угодно. Я – не Лежанкин, угрожать не буду. Но подумайте, у вас когда-то была совесть... Вы совершили самый подлый поступок, который может совершить человек. Помогите распутать эту грязную паутину, сплетенную пауками... руками живущих среди нас прохвостов и человеконенавистников.

В глазах матери, казалось Вадиму, боролись испуг и восторг. Левченко кивал, точно жестокие слова приносили облегчение.

– Надо забыть о себе, – сказал Платов, – будто нас нет на свете. Думать только о других. Будто нас нет на свете... Слышите, Левченко?

– Слышу, товарищ Платов. – И то опускал голову, то поднимал, чтоб тут же опять опустить. – Я думал, вы испугаетесь...

– Кого? Лежанкина?... Хорош бы я был, если бы испугался какой-то мрази... Правда, Вадим?

– Да-да, правда. – И Вадим прижался к матери.

Ее бледное лицо было спокойно.

Левченко потянулся за ручкой, которую раньше отшвырнул далеко, и склонился над блокнотом. Перо быстро бежало по листочку, становясь все неуверенней, и Вадим заметил, как страх возвратился к Левченко, застывшему над бумагой.

– Какой ветер на улице, – вздохнула мать, – гудит и гудит...

– Что же я буду делать? – сказал Левченко. – Куда мне деваться?

– Боитесь, что за вами следят? – спросил Платов.

Левченко молчал, как бы ожидая, что вот-вот найдется выход из положения.

– Хорошо, – решил Платов, – оставайтесь до утра. А утром... что с вами делать утром?

– Я готов ко всему, – сказал Левченко.

И закончив заявление, передал Платову. Покорно поплелся в соседнюю комнату. Мать заперла дверь... Ничего особенного! Просто в доме заночевал приезжий родственник.

– Спать! – крикнул Платов. – Всем спать!

Но никто не ложился. Ни они, ни Левченко...

– Товарищ Платов! – раздался его голос.

– Что еще?

– Мне один в камере рассказывал... тоже история вроде моей...

– Какая история?

– Это не у нас, – запнулся Левченко, – это в Тирасполе.

– Идите сюда, – позвал Платов. – Наташа, поверни ключ.

Смысл новой истории сводился к тому, что вот он, Левченко, не устоял, а в Тирасполе отыскался учитель, который не сдал, хотя устоять было трудно.

– В Тирасполе? – вспомнил Вадим. – Его фамилия Жадан, да?

– Кажется... А вы почему знаете?

– Он муж нашей учительницы Анны Давидовны!

– Фамилия следователя? – перебил Платов. – Того, из Тирасполя!

– Не знаю, – растерялся Левченко.

Было ясно, никто уже не уснет.

Ветер на улице стих. Запахло рассветом. Проехали первые грузовики. Дом закачался, как будто сошел с фундамента. Вслед за машинами покатались фургоны. Город оживал. На лестничной клетке затоптали соседи. То звонко, то глухо отзывались ступени. Хозяйки собрались на базар. Тревожно и буднично громыхали молочные бидоны.

Лазарь ШЕРЕШЕВСКИЙ

МОЙ МУДРЫЙ ДРУГ

Летом 1945 года на главной аллее гулаговского подразделения в подмосковном Бескудникове увидел я не совсем обычного человека. От производственной зоны до карцера (который по-лагерному *кондей*), по магистральному нашему проспекту *Кондейштрассе*, шествовал человек, стараясь поставить ногу туда, где тускло, как впаивные, поблескивали камешки, – так переходят вброд бурные горные реки.

– Кто это? – спросил я.

– Гехт, писатель, – ответил кто-то, кто знал его по этапу.

Новоприбывший писатель оказался моим соседом. Барак наш исключительно политический, – сплошь 58-я, – и мы познакомились. Меня, 19-летнего стихотворца, свела гулаговская судьба с настоящим прозаиком.

Сначала, как и других новичков, гоняли Гехта на тяжелые «общие работы». Потом грамотные инженеры, насельники политического барака, пристроили его нормировщиком или плановиком.

На пластмассу. В цех, что выпускал миски для баланды и каши.

Из той посуды, из «наших рук», кормились все тюрьмы и лагеря могучей страны. Но, конечно, долгие неторопливые беседы почти не касались производственных вопросов – на сколько процентов перекрывается мисочный, месячный план...

В эпоху «позднего Реабилитанса», как новогодний подарок (1.01.62), напечатали в «Литгазете» древнюю заметку Исаака Эммануиловича Бабеля:

Вот семь молодых одесситов. Они читают колониальные романы по вечерам, а днем служат в самом скучном из губстатбюро. У них нет ни визы, ни английских фунтов. Поэтому Гехт пишет об уездном Можайске, как о стране, открытой им и не изведанной никем другим, а Славин повествует о Балте, как Расин о Карфагене...

Третий одессит – Ильф. Люди, по Ильфу, – замысловатые актеры, подряд гениальные.

Потом Багрицкий, плотояднейший из фламандцев. Он пахнет, как скумбрия, только что изжаренная моей матерью, и полон

пурпурной влаги, как арбуз, который когда-то в юности мы разбивали с ним о тумбы в практической гавани...

А мы с Гехтом лежали на нарах...

Бабеля уже расстреляли. Ильф умер. Багрицкий ушел раньше, в тридцать четвертом...

Семен Григорьевич помнил их еще по Одессе. Встречался с Катаевым, Олешей, Паустовским, Петровым... Любимый мной Николай Асеев, соратник Маяковского, приходился ему свояком, – они женаты на сестрах, – и Гехт жил на Мясницкой, в бывшей квартире Асеева...

Вдвое старше по возрасту, человек высоких духовных достоинств, он стал для меня учителем и учебником – учебником жизни и литературы.

С месяц назад, в прошлом мае, окончилась тяжелая многолетняя война. Отпраздновали Победу. И в лагерном воздухе носились слухи о близкой амнистии...

Теплым июньским вечером, на лавочке подле барака, Семен Григорьевич покачивал головой:

– Амнистия? Вряд ли... Гулаг – основа нынешней экономики. Благополучие всей системы зависит от нас... Да и власть отличается необыкновенной злопамятностью: прощать и миловать не склонна.

В первых числах июля того же победного 1945 года стояли мы вдоль Кондейштрассе, на утренней поверке, а из распахнутого барака гремел по радио долгожданный Указ. Освобождались дезертиры, прогульщики, многие бытовики, уголовники... О нас, политических, – ни гу-гу.

И лагеря стали заполняться по новой: бывшими военнопленными, оstarбайтерами...

Гехт умолкал посреди разговора, задумывался, глаза смотрели куда-то вглубь.

– Мдаа... – неопределенно произносил он, блуждая мыслью далеко от лагеря и барака, от всего, что нас окружало...

Бескудниково – предместье столицы (теперь в черте города), и к заключенным-москвичам приезжали родственники с передачами. Иной раз удавалось и свидания получить...

Семена Григорьевича регулярно навещала жена, привозила продукты и – очень важно для нас! – книги, свежие литературные журналы. Ими снабжал Гехта замечательный писатель и большой друг Василий Гроссман... Мы, в бараке, следили за новинками!

Случалось, Семен Григорьевич уходил в воспоминания, развертывая живые картины двадцатых годов, когда он и его друзья «покояряли» Москву:

– На всю нашу одесскую гоп-компанию было одно хорошее пальто – кожаное... Эдуарда Багрицкого... Чтобы в приличном виде явиться в редакцию, мы по очереди облачались в это шикарное представительное одеяние... Свою единственную рубашку я каждое утро полоскал в речке...

Лежа за баней, на жалкой травяной лужайке, Гехт удивлялся карательным несообразностям:

– Заболоцкий арестован как член антисоветской организации во главе с поэтом Николаем Тихоновым. Дали восемь лет, отправили в лагерь... А «главарь» Тихонов не сидел ни минуты, стал лауреатом Сталинской премии, секретарем Союза писателей, главным редактором журнала...

В чем обвиняли его самого, Семен Григорьевич не сказал. Предарестная возня началась в 1944 году, когда он и писатель Сергей Бондарин вернулись из командировки в освобожденную Одессу*. Посетили места общей своей молодости – обезлюдевшие родные кварталы...

О внутренних еврейских проблемах, сколько помнится, не говорили. Острой всего была память о гитлеровских бесчинствах. Гроссман и Эренбург готовили «Черную книгу». Действовал Еврейский антифашистский комитет. И в лагерной администрации нередко попадались евреи – не из лучших.

В нашем бараке сошлись люди, как-то причастные к искусству и литературе: бывший правдинский журналист Николай Николаевич Кружков, философ Павел Георгиевич Абрамовский и два молодых человека, о которых речь впереди... Все, кроме меня, москвичи. С домашними передачами...

Продукты складывались в общий котел. Мы садились вокруг тумбочки. На плите, вделанной в печь «голландку», жарилась картошка... Помидоры, огурцы, зеленый лук, а в центре пиршественной пирамиды – принадлежащий Гехту алюминиевый бидон. Наполняли его кипятком из казенного «титана», засыпали заварку, и по нашим металлическим кружкам разливался напиток необычайного аромата...

Эти чаепития стали ритуальными. За картошкой и зеленой закуской шли долгие разговоры. Литературно-газетные события, спектакли и концерты, друзья и подруги...

* Ошибка, Бондарина арестовали 3 марта 1944 г., а Одессу освободили 10 апреля 1944 г. – А. Я.

Я, не москвич, обделенный домашними передачами, бегал за кипятком, равноправно участвуя в трапезах и беседах... Был молод, резвился, как мог, ухаживал за обитательницами женской зоны, и Гехт с грустной улыбкой сказал:

– Вы человек трагической судьбы, а ведете себя так легкомысленно.

Я засмеялся... Но вскоре трагическая судьба напомнила о себе.

Были среди «чаевников» два молодых человека: архитектор Сергей Попов и пианист Владимир Клемпнер. Оба – 58-я, пункт 10 – «антисоветская агитация». Пять лет – за ненароком оброненное слово или за анекдот. Соседи по нарам, они и в лагере о чем-то шушукались меж собой...

А начальство не дремлет! Наш «кум» (оперуполномоченный) капитан Буянов, с вечно угрюмым лицом и низко надвинутым козырьком (чтоб не заглядывали в глаза), строго по инструкции «навешивал вторые срока», разоблачая крамолу посредством осведомителей.

Барачные стукачи, как правило, дневальные – «придурки». Дни и ночи – в бараке. Следят за порядком, подслушивают... Политическим такая работа не доверялась: назначались на столь важную должность уголовные... И по сей день помню того, чья доносительская служба сыграла печальную роль в судьбе Попова и Клемпнера, а в конечном счете – и Гехта... да не стану его называть.

Так вот, этот дневальный уловил тихий архитектурно-музыкальный шепоток, а оперуполномоченный состряпал «дело». Требовались «свидетели», и по вечерам таскали на вахту (мы говорили: «выдерживали») обитателей нашего барака.

Однажды вызвали Гехта. Ни мне, ни кому бы то ни было не объяснил он (подписка о неразглашении), с какой целью. Только глухо обмолвился: я, мол, не «ловец человек». И лицо, всегда грустное, с еврейскую «мировой скорбью», стало мрачней обычного... Тогда-то некий барачный острослов и «расшифровал» его фамилию: ГЕХТ, дескать, – аббревиатура, как ГАБТ или МХАТ, – Грустный Еврейский Художественный Текст...

Ясным апрельским днем сорок шестого года Попова и Клемпнера увезли в Москву, заново судили, вдвое увеличивши срок. В наш лагерь больше они не вернулись.

Зачастили «дальние этапы». Нас «выдерживали» по каким-то спискам, собирали человек 30-40 и отправляли в пересыльную Пресненскую тюрьму. Оттуда, как в песне:

Идут на Север срока огромные...

В заполярные лагеря – на шахты, рудники, лесоповал...

Вызвали и Гехта, раз не хотел сотрудничать со следственными органами. Он попрощался, взял чемоданчик и, как обычно, наступая на дорожные камешки, пошел к воротам по Кондейштрассе.

Я побежал следом. Но не сразу (нас выгоняли на работу), а в обеденный перерыв. Увидел Гехта в грузовике – бледного и спокойного... Я не выдержал и заплакал. Семен Григорьевич строго сказал из кузова: – Перестаньте! Будьте мужчиной!

Конвой уселся на борт. Машина тронулась...

В тот день сами собой написались стихи:

Мы вечера чаевничали чинно,
 Не споря ни с судьбой, ни о судьбе,
 И, завещая другу быть мужчиной,
 Ты запретил мне плакать о тебе.
 Но можно ль слезы запереть запретом?
 Они текут как будто невзначай.
 Как встарь, в бидоне том, тобой согретом,
 Кипит вечерний вожделенный чай.
 Ломаю быль, как глупую игрушку!
 И у соседа одолжив ее,
 Я для тебя на столик ставлю кружку,
 Плеснув туда нехитрое питье.
 Пускай чаинки, покругившись, тонут,
 Пусть не пьянит ленивый пар питья,
 Я пью с тобой, – хотя твой чай не тронут, –
 Заваристую крепость бытия...

Через какое-то время получаю письмо. Обратный адрес: *Коми АССР, поселок Вожаель*, – и далее лагерные шифры. Гехт очутился на лесозаготовках и мало-помалу приспособлялся...

Где, думаю, тот Вожаель?

Но чего другого, а карты да атласы – не про нас, заключенных: еще маршрут побега проложим!.. Ну да что там! *Мы диалектику учили не по Гегелю*. А географию и подавно постигали в натуре. Спустя полтора года меня тоже увезли в Коми. Гораздо дальше и много севернее. Не в лесной Вожаель, а напрямик в тундру!

Освободившись в пятьдесят четвертом, появляюсь в Москве. Иду к Гехту. По древнему, вызубренному мной адресу: Кирова, 21.

Дом знаменитый. Против нынешней биржи (Главпочтамта). Один из корпусов бывшего Училища живописи, ваяния и зодчества. Помните, у Пастернака:

Вхутемас – еще школа ваянья...

Леонид Осипович Пастернак, именитый художник, там профессорствовал (в «школе ваянья»), а Борис Леонидович (Боря) провел детство.

Поблизости жил Николай Асеев. Еще не минуло полувека, а долгожитель Катаев (1897-1986) запечатлел ту квартиру в «Алмазном венце»... И Семен Григорьевич Гехт – как сказано, свояк Асеева – отворил дверь. Провел меня в комнату, усадил на диван...

Выйдя из лагеря при Сталине, в пятьдесят первом, он воротился домой. Но, как Пушкину – север, так ему противопоказана Москва. Пожалуйте на 101-й километр!

С трудом прописался в Калуге, устроился на работу. Сторожем в городском парке.

Время от времени тайно наведывался домой... Запреты, со смертью вождя, ослабли, и Гехт почти легально поселился у себя самого. Я же вернулся в Горький, поступил в университет, и переписка наша возобновилась.

Осенью пятьдесят пятого пришла открытка, густо исписанная бисерным почерком. Гехт подал заявление на реабилитацию – и получил ее! По его совету я обратился в прокуратуру и через несколько месяцев был чист перед законом и государством. Обнаружилось даже, что оно, государство, у нас, репрессированных, в долгу.

Семена Григорьевича восстановили в Союзе писателей. Вскоре вышли его рассказы, навеянные северными впечатлениями, – «Будка Соловья». Затем еще две книги – «В гостях у молодежи» и «Долги сердца».

Разворачивалась хрущевская оттепель. Гехт осторожно относился к переменам:

– Я фаталист, – говорил мне. – Кто знает, что нас ждет. Может быть, полный мрак... Много накипи, черной накипи...

Казалось, главное в его жизни – поиски и собирание осколков, обломков своего поколения, жестоко вырубленного ХХ веком. Много ездил по стране, чаще – автобусом. Присматривался к спутникам, вслушивался в разговоры. Минск, Одесса, целина... В шестьдесят первом мы столкнулись вдруг на вокзале в Киеве...

Через два года Семена Григорьевича не стало. Было ему 60.

КНИГИ СЕМЕНА ГЕХТА

1. **Гехт С. Круговая порука: (тюремная запись)**; Исаковский М. Бродяга: Стихи. – Самара, 1925. – [14 с.]. – (Общедоступ. б-чка крест. журн. «Сеятель правды». Выпуск № 13).
2. **Гехт С. Рассказы.** – М.: Изд-во «Огонек», 1925. – 48 с. – (Б-ка «Огонек», № 36). – Тираж 50000.

Содерж.: Марафет; Гай-Макан; Простой рассказ о мертвецах; Абрикосовый самогон.

Рец.: Окно в мир // Огонек. – М., 1925. – № 23 (114). – С. [2]:

«С. Гехт – молодой беллетрист, впервые выпускающий (в изданиях библиотеки «Огонек») свои рассказы отдельной книжкой. Как все представители поколения, выросшего в годы революции, С. Гехт, так сказать, обожжен в ее огне, закален ее тяжелыми мытарствами и потрясен ее великими радостями. Из сплетения всех этих сильных и разнообразных переживаний и сотканы его небольшие, меткие, всегда тревожные, всегда проникнутые революционной современностью рассказы. С. Гехт, несомненно, дает основания надеяться на значительный рост его дарования».

3. **Гехт С. Человек, который забыл свою жизнь.** – Харьков: «Пролетарий», 1927. – 112 с. – Тираж 5000.

Рец.: Шафир Анна. С. Гехт. «Человек, который забыл свою жизнь» // Печать и революция. – М., 1927. – Кн. 6. – С. 225-226:

«Необыкновенное происшествие тогда может лечь в основу социально-бытового произведения, когда окружающий и создающий его быт – типичен. В книжке С. Гехта – утрировка, порой невероятность, но не типичность. Поэтому рассказанное происшествие из жизни бедняка еврея Зельца, не лишенное внутреннего драматизма, остается только случаем, искусственно вставленным в раму подчеркнуто сгущенного быта.

Центральный драматический эпизод повести разыгрывается в украинском городе – Виннице в 1921 г. Город занят петлюровской бандой атамана Зарембы. В арестантскую при штабе попал тринадцатилетний сын Зельца. Атаман издевается над Зельцем, который приходит просить об освобождении сына и заставляет его, под угрозой расстрела сына, повторить за ним перед согнанной еврейской беднотой с балкона гостиницы в центре города издевательские слова над своей нацией и религией. В Зельце национальное чувство борется с отцовским. Отец в нем побеждает, и он выполняет дикий каприз атамана. Но сын его

по ошибке расстрелян. Зельц сходит с ума и убегает из родного города. Спустя несколько лет мы встречаем его в Москве. Он забыл свое прошлое, пристал к цыганскому табору, выдает себя за христианина и во время припадков безумия повторяет ругательства и проклятия еврейской нации, произнесенные им некогда на родине.

В книжке много необыкновенных ситуаций и странных совпадений. Некоторые лица и сцены искусственны и условно подставлены. Но есть отдельные места, живые и художественно правдивые (въезд петлюровцев в город, сцены перед штабом).

Автор старается оттенить отрицательные стороны отживающего старозаветного еврейского быта, его национальную ограниченность, его живую религиозность и одновременно вскрыть социальные корни антисемитизма. Но он впадает то в рыцарство, то в примитивное популяризаторство. В то же время в книжке чувствуется взволнованность, местами – лиризм, создающий доминирующее, быть может, и не вполне осознанное автором, настроение ущемленного национализма, воскрешающего старые тенденции, окрашенные в национальные цвета отживающего идеала».

См. также: Р. К. – С. Гехт. Человек, который забыл свою жизнь // Звезда. – Л., 1927. – № 9. – С. 156.

4. **Гехт С. Шмаков и Пранайтис** / Худ. К[онстантин] Е[лисеев]. – М.: Акц. изд-во «Огонек», 1927. – 52 с. – (Б-ка «Огонек», № 286). – Тираж 14500.

Содерж.: Шмаков и Пранайтис; Дочь бакалейщика; Ягве; Юзеф Шостак.

5. **Гехт С. Полет за 15 рублей**. – М.: Акц. изд-во «Огонек», 1928. – (Б-ка «Огонек», № 398). – 44 стр. – Тираж 27000.

Содерж.: Детство Танкова; Медвежье лукавство; Полет за 15 рублей; Черная свадьба.

6. **Гехт С. Штрафная рота**. – Харьков: «Пролетарий», 1929. – 126 с. – Тираж 5000.

Рец.: Цуккер Б. С. Гехт. «Штрафная рота» // Красное слово. – Харьков, 1929. – Кн. 7. – С. 126-127:

«Какого-либо определенного стержня, вокруг которого разворачивалось бы действие и на который бы нанизывались события, в книжке нет. Ряд явлений, иногда случайно связанных временем и лицами, такова книжка Гехта “Штрафная рота”. Создана была эта рота из провинившихся красноармейцев, из “рецидивистов-нарушителей” революционных законов нарождающегося советского государства, из явных

контрреволюционеров-активистов, военных и штатских, и, наконец, из пассивных контрреволюционеров, бывших прожигателей жизни и слабовольных капиталистов.

Автор сохранил этот конгломерат роты с некоторым “обновлением” до конца гражданской войны. Сначала это была “гауптвахта первого московского батальона”, потом помещение в вновь отстроенной тюрьме. Время от времени посылали эту роту на “общественные работы”, да иногда еще – по автору это выходит почему-то в виде наказания – в театр. А в промежутках между этими двумя явлениями “члены роты” резались в карты, рассказывали анекдоты, “раскрывали” друг перед другом свою душу. В большинстве тут были “осколки” разбитого строя – полковник, перс миллионер, который сам себе ставит кукиш за то, что не уразумел жизни, который в свое время поместил в брачной газете объявление, что “богатый человек восточного происхождения хочет жениться на молодой и скромной особе”, и которому революция, по его словам, подарила ... “четыре шиша”, а именно: “деньги забрали – один шиш; дом забрали – два шиша; магазин забрали – три шиша; автомобиль забрали – четыре шиша”. И теперь этот “осколок” сам не знает, чего ждет, в противоположность другому “осколку” – полковнику Чернышеву, который тайно держит связь с подпольной военной организацией и которого, как и его организацию, революция уничтожила.

Перешедший на сторону советов унтер-офицер Лебедев тоже “осколок” мелкого крохоборчества и продажности. Сюда же жизнь втиснула и старообрядца Хаиту, и честных красноармейцев со случайной виной. И живет эта “рота” изо дня в день – большинство без перспектив на будущее, меньшинство с упованием, что их пошлют на фронт, так как они в душе “за власть советов”. Они даже следят за своим начальством, т. к. верят, что к советам примазались “сволочи”: вот и в реввоенсовете завхоз оказался “продажной шкурой”.

– Рано топить начали, – провоцирует бывший полковник Чернышев.

– Приказывают, – развел руками завхоз. – Заморозить бы их, эх! – произнес он с неожиданной откровенностью, думая, что раз арестованные, значит все враги советского строя.

– Я пилил сырую березу и думал, – говорит один из «штрафной», – пилил и думал: сколько их? справятся ли с ними большевики? способны ли они разбросать их?

Вот так перекидываясь мыслями о том или другом явлении, и составляет автор мемуары “штрафной роты” – воспоминания о 1917-18 гг., записанные в 1928 году в Евпатории.

Я несколько раз употреблял термин “осколки” и делал это сознательно, так сказать, с заранее обдуманной целью. Об этой “штрафной роте” я читал у современного талантливой еврейского писателя Персова в рассказе под заглавием “Осколки”. Тема, сюжет, ряд положений, описание камеры, типы настолько схожи, что невольно приходит в голову, что автор “Штрафной роты” многое позаимствовал из “Осколков” Персова. Если сопоставить “Штрафную роту” и “Осколки”, то оказывается, что художественный удельный вес вторых несравненно выше. Помимо слабой композиции у Гехта бедны образы и недостаточно чист язык, сравнения рискованны, как напр.: “У него ненадежное бабье лицо”, “он качал нескладной головой”, “это было легкое на истерику лицо”, “злой, как женщина”, и т.д. и т.п. – ничего не говорящие образы и сравнения. От прямой конструкции фраз автор иногда переходит к инверсии, что звучит совсем как неприятный диссонанс; много вводных сцен, не связанных с произведением ни тематически, ни сюжетно; на помощь автор даже привлекает записки из своего дневника. Мотивы завязки и развязки и “излюбленный” тип целиком переписаны из другой вещи автора (кстати, сочной и яркой повести) – “Человек, который позабыл свое имя” [правильно: “...забыл свою жизнь” – А. Я.]. Чего-либо нового, необычного и свежего из времени “Штурм унд дранга”¹ “Штрафная рота” не дает; это, как говорится, “проходной спектакль” хорошего театрального коллектива, а в данном случае довольно яркого таланта автора “Человека, который забыл свое имя” и ряда интересных рассказов».

7. Гехт С. История переселенцев Будлеров [История переселения Бутлеров]. – М.; Л.: ГИЗ, 1930².

8. Гехт С. Человек, который забыл свою жизнь. – М.: Федерация, 1930. – 2-е изд. – 112 с. – Обл. худ. В. А. Гольдмана. – Тираж 5000.

9. Гехт С. Ефим Калужный из Смидовичей. – М., 1931. – (Роман-газета, № 12).

10. Гехт С. Сын сапожника / Рис. худ. М. Горшмана. – М.: ОГИЗ «Мол. гвардия», 1931. – 64 с. – Тираж 25000.

Расширенный вариант повести «Человек, который забыл свою жизнь», с описанием жизни еврейского колхоза.

Сын художника М. Горшмана писал об отце: «... с Багрицким и Ильфом был знаком довольно близко и иллюстрировал сборник стихов первого и фельетона второго. <...> Иллюстрации к Багрицкому, Ильфу и Петрову да еще к Гехту и катаевскому “Белеет парус одинокий” были разобраны музеями еще до войны»³.

11. **Гехт С. Арина Гулькевич.** – М.: Журн.-газ. объедин. «Огонек», 1932. – 36, [4] с. – (Б-ка «Огонек», № 62 (715)). – Тираж 20000.

Впервые опубликован: журнал «Красная новь», 1932, кн. 12

12. **Гехт С. Веселое отрочество: (Ефим Калюжный из Смидовичей)** / Рис. и обл. М. Аксельрода. – М.: ОГИЗ «Мол. гвардия», 1932. – 96 с. – Тираж 10300.

13. **Гехт С. Мои последние встречи.** – М.: Сов. лит., 1933. – 156 с. – Тираж 5200.

Содерж.: Детство Ефима Калюжного; Инструктор по барашкам; Соня Тулупник; Эва Уиткинс (впервые опубли. в журн. «Красная новь», 1932, кн. 12); Арина Гулькевич.

14. **Гехт С. Пароход идет в Яффу и обратно.** – М.: ГИХЛ, 1936. – 240 с. – Обложка худ. Н. Цейтлина. – Тираж 10000.

В записных книжках И. Ильфа достаточно резкий отзыв: «Об этом уже надо писать статью под названием “Нет, Жан, это не недоразумение”. Пароход “Экстения” в двадцать девятом году совершает переход из Нью-Йорка в Шербург за четверо суток. Это рекорд, который не перекрыла даже “Квин Мери” в тридцать шестом году. Что до “Нормандии”, то ей такая скорость может только сниться. Некто Меерзон раскачивает шезлонг, в котором сидит его любовница. Занятие совершенно бессмысленное – это не гамак и не качалка. Палестинские пальмы имеют мохнатые ветви. Я таких не видел ни в Батуме, ни в Калифорнии. “Обильные косы”. “Маджестик”, новый французский пароход, пришел в Яффу. А он английский, не новый, и в Яффу не ходит. Нет, нет, Жан, это не недоразумение»⁴.

15. **Гехт С. Поучительная история** / Рис. Л. Голованова. – М.; Л.: Дет. лит., 1939. – 304 с. – Тираж 15000.

Рец.: Паустовский К. «Поучительная история» // Лит. газета. – М., 1939. – 15 июня, № 35:

«Недавно вышла новая книга Гехта. Называется она “Поучительная история”. В этой книге с особой ясностью выступает характерная черта Гехта – писателя и человека – его мужество, открытый взгляд в лицо. Мы много говорим о литературе, достойной нашего времени. Но за этими расплывчатыми словами пока нет точного содержания. Нужно наконец договориться раз навсегда, что подлинная литература – это прежде всего литература честная.

В литературе еще много неправды. Еще суетятся на страницах книг хорохорящиеся глуповатые люди, которых авторы пытаются выдать

за советских героев и “соль” нашей земли. Еще много захлебывающегося восторга перед зрелищем “кладовщика такого-то”, пьющего чай в кругу благополучной семьи, много заученных пошловатых истин. Слишком часто люди прячут глаза и поддакивают там, где надо негодовать.

Книга Гехта идет вразрез этому приспособленческому и трусливому “направлению” в литературе. В этом, прежде всего, ее значительность и сила.

Создание нового социалистического общества и нового человека не разыгрывается, как по нотам. Есть много опасностей и извне и внутри страны. Одна из величайших опасностей внутри страны – это равнодушный злой обыватель. Не надо закрывать глаза на то, что он существует. Он пытается опошлить все величайшие достижения и идеи революции. Он обладает способностью диффузии, просачивания во все поры государственного и общественного организма.

Самый опасный обыватель тот, который искренно считает себя советским человеком и вместе с тем, по самой своей внутренней сути резко враждебен, чужд всему строю социалистического общества и опасен для его существования. Он подменяет коллективность стадностью, мысль – заученным лозунгом, веселье – тупым зубоскальством, принципиальность – упрямством и тупостью. Он должен быть разоблачен, чтобы человек нового общества и развивался в свежем, в прозрачном воздухе земли, очищенной от низменных чувств и обывательской грязи.

Гехт в своей книге разоблачает обывателя, а тем самым и помогает уничтожить его.

Гехт рассказывает поучительную и трагическую историю о том, как честного и восторженного юношу Моисея Гублера – рабочего на крупном строительстве – враги объявили “вредителем” и как отозвался на это равнодушный обыватель и трус. Отозвался одинаково подло, независимо от того, какие посты он занимал на строительстве. Гублера обходили, как зачумленного, никто не хотел разобраться в обвинениях, выдвинутых против Гублера. Само наличие этих обвинений, хотя бы и насквозь лживых, является для труса достаточным поводом, чтобы заклеить и предать безупречного человека, создать вокруг него широкое кольцо пустоты.

Растерявшийся Гублер сдался почти без боя. Но самый строй советского общества, самая его структура оказались таковы, что справедливость не могла быть нарушена безнаказанно. Гублера спасли, вернули любимой работе, любимой стране.

Сущность всего случившегося с простотой и ясностью выражена в словах Гублера: “Это стыдно, и вы можете меня ругать, но у нас немало людей, для которых пословица „Моя хата с краю” – не просто паршивая пословица, а закон. Я вижу мозги Никулихина (секретаря парторганизации), как сквозь рентген. Он думал так: „Если Гублер и в самом деле окажется подозрительным и враждебным человеком, я пострадаю и меня все осудят”. А почему он не подумал так: „А если он окажется честным и невинно пострадавшим, я пострадаю и меня все осудят”? Нет, так он не думает. А почему? А потому, что в этой области его мало воспитывали. И вот скоро настанет время, когда недобрый обязан будет стать добрым и несовершенный обязан будет стать совершенным. Я предвижу в будущем большой процесс таких недобрых, трусливых и равнодушных людей”.

В книге Гехта много находок. Прекрасна первая часть – детство Гублера, его двух товарищей, детство, прожитое в местечке Литине, в первые годы революции, когда “весь мир пошел ходором”. С большой силой, неторопливо и крепко дана картина умирания еврейского местечка, где уже все – последнее: последний извозчик, и последний синагогальный служака, и последние старики, хватающиеся друг перед другом успехами своих детей.

Книга полна живых людей – провинциальных девушек, мальчишек, ремесленников, рабочих, строителей, инженеров, но лучше всех, со сдержанной выразительностью, дан образ матери Моисея – Ханы Гублер – независимой, гордой своей верой в сына, спокойной старухи.

Обычно писатели любят своих героев. Хану Гублер Гехт уважает. Это чувствуется в каждой строчке, написанной о ней.

Язык книги очень прост, сжат, из него убрано все лишнее. В нем нет ни одного украшения. Но порой эта простота языка производит впечатление сухости. Кажется, что Гехт слишком сурово относится к лирической стороне своей писательской натуры, боится выдать свое волнение. Некоторую сухость языку придает и употребление слов взятых из “казенного словаря” – приблизился, проживает, произнес, изложил (вместо рассказал).

Можно поздравить нашу литературу с появлением новой хорошей книги, а Гехта – с литературной удачей. Гехт не отступил перед острой и значительной темой.

Гехт рассказал нам поучительную историю. Но не менее поучительной является и другая история – жизнь самого Гехта.

Я прошу Гехта извинить меня за то, что я пишу об этом. Но биография писателя – не только его личное дело.

Мы уважаем Хемингуэя за то, что он живет так, как должен жить писатель. Хемингуэй – человек “свободной профессии”. Он бродит по миру, он дружит с людьми разнообразных профессий, он находит радость там, где ее никто не ищет и горе там, где как будто ему не может быть места. Он находится в Испании в трудные для нее минуты, охотится в Африке, ловит форель в горных реках. Он солдат, спортсмен, писатель и исследователь, гневный трибун и насмешливый друг.

Мы уважаем Хемингуэя не даром. Только так, только в непрерывном соприкосновении с сердцевинной жизни, а не с ее поверхностью, только в жизненном ритме очень высокой частоты рождаются сильные приемы мастерства и создается большая литература.

Жизнью Гехта руководит чувство молодости. Гехт ненасытен. Он непрерывно странствует по Советскому Союзу. Почти нет таких уголков нашей страны, где бы он не побывал и где бы его нельзя было неожиданно встретить. Это свойство – одно из великолепных свойств писателя.

Пятнадцать лет назад мы жили вместе с Гехтом в пустой и глухой даче в Пушкино. Гехт ночевал на чердаке – на комнату не было денег. На ночь на чердак загоняли хозяйских коз. Они сжевывали носки, рубахи и рукописи Гехта (Гехт писал на подоконнике, стола не было). Было время молодости, веселья, неистощимых рассказов, заманчивых планов, непримиримости, споров.

У многих из нас это время прошло, у многих молодость меркнет спокойно и почти незаметно, но Гехт пронес ее через всю жизнь. И сегодня, как и пятнадцать лет назад, он так же может писать на подоконнике и с жадностью вглядываться в людей, в любое жизненное явление. В этом – залог его писательского роста».

16. **Гехт С. У шлагбаума.** – М.: Изд-во ЦК ВКП(б) «Правда», 1939. – 48 с. – (Б-ка «Огонек». № 22). – Тираж 50000.

Содерж.: Заvorg и его невеста; Случай на консервной фабрике; Письмо; У шлагбаума; Родные места.

17. **Гехт С. Будка Соловья** / Худ. Д. Б. Даран. – М.: Сов. писатель, 1957. – 240 с. – Тираж 30000.

18. **Гехт С. Три плова** / Рис. худ. Ю. Авдеева. – М.: Гос. изд-во дет. лит., 1959. – 96 с. – Тираж 75000.

19. **Гехт С. В гостях у молодежи** / Худ. Д. Б. Даран. – М.: Сов. писатель, 1960. – 176 с. – Тираж 30000.

20. **Гехт С. Долги сердца.** – М.: Сов. писатель, 1963. – 176 с. – Тираж 30000.

Рец.: Левин Ф. Счастье выполненного долга // Знамя. – М., 1963. – № 10. – С. 221:

«С. Гехт – один из плеяды писателей, которая в двадцатые годы возникла на небосклоне Одессы. К ней относятся Валентин Катаев, Юрий Олеша, Исаак Бабель, Эдуард Багрицкий, Илья Ильф и Евгений Петров, Вера Инбер, Лев Славин, Сергей Бондарин...

Автор многих книг, С. Гехт приобрел наибольшую известность в конце тридцатых годов повестью “Поучительная история”, рассказывавшей о безвинно оклеветанном человеке и о восстановлении истины и справедливости. Подобного рода поучительная история произошла позднее и с самим писателем. Не по своей воле он пробыл несколько лет на севере, а потом был реабилитирован и возвратился к своей прежней жизни и труду.

Истинного писателя все окружающее, все переживаемое, все встречи с людьми побуждают к наблюдению, размышлению и творчеству. С. Гехт – истинный писатель, ничто из пережитого не пропало для него даром, и это видно в последней его книге.

В сборнике шесть рассказов: “Бегунок”, “Жена подводника”, “Дочка в Москве”, “Обличье”, “Сын Юлиан” и “Дешевый майский рейс”. Во всех них, кроме последнего, сходная сюжетная основа – поиски близких людей, исчезнувших в годы войны, пропавших без вести. Столяр Глинский и его жена Циля находят своего сына (“Бегунок”). Старший лейтенант Тимофей Куц разыскал свою дочь (“Дочка в Москве”). Но не все кончается благополучно. Капитан Фоменко смог узнать только, как погибла его жена, убитая гитлеровцами (“Жена подводника”), сучкоруб Матвей Мулюкин разыскивал сына, а ему довелось только присутствовать на суде над изменником Родины, выдавшим в Киеве Николая Мулюкина гестаповцам (“Обличье”), Отец Юлиана не находит дороги к своему сыну, мать которого он когда-то трусливо покинул (“Сын Юлиан”).

В издательской аннотации заглавие книги “Долги сердца” объясняется так: герои С. Гехта озабочены тем, “чтобы не только выполнить свои гражданские обязанности, но и платить по „долгам сердца”, – им всегда кажется, что они должны людям и это сознание заставляет их тревожиться за судьбы и счастье других”. Нам думается, что это заглавие можно отнести и к самому автору и его книге.

Повествуя о людях, с которыми вместе жил и работал, писатель платит им свои «долги сердца». В рассказе “Дешевый майский рейс” есть символическое описание: “На тех участках, где Волга оставалась прежней, с перекатами, теплоход выписывал по воде петлю за петлей,

подгоняемый бакенами и створами от берега к берегу. Петлял, но шел к цели. петлял и описатель дешевого майского рейса. Дошел ли он до цели со своей мыслью о счастье выполненного долга?»

На этот тревожный вопрос, заданный и себе и читателю описателем рейса С. Гехтом, прочитав его книгу, можно ответить: до цели дошел».

21. **Гехт С. Простой рассказ о мертвецах и другие рассказы.** – Израиль, 1983.

Содерж.: Марафет; Гай-Макан; Простой рассказ о мертвецах; Человек, который забыл свою жизнь (повесть); Пароход идет в Яффу и обратно (главы из романа); статья о Шолом-Алейхеме; У стены Страстного монастыря... (воспоминания о Бабеле).

Примечания

1. «Штурм унд дранг» – буря и натиск (нем.). Литературное движение в Германии в 70-е гг. XVIII в. Требовало от литературы изображения ярких, сильных страстей.
2. Книга в одесских библиотеках отсутствует.
«В 1930 г. вышла первая книга Гехта для детей – “История переселения Будлеров”, затем в 1931 “Сын сапожника”. Обе книги воскрешают события революционных лет и гражданской войны в России». – Советские детские писатели: Библиограф. словарь. – М., 1961. – С. 96.
В «Лексиконе русской литературы XX века» Вольфганга Казака (М., 1996) значится как «История переселенцев Будлеров»; в Краткой еврейской энциклопедии, т. 2 (Иерусалим, 1982) и Российской советской еврейской энциклопедии, т. 1 (М., 1994) – как «История переселения Будлеров»; в статье М. Вайнштейна «В ожидании Мессии» (Гехт С. Простой рассказ о мертвецах и другие произведения. Иерусалим, 1983) – как «История переселения Бутлеров».
3. Письмо А. М. Горшмана Л. Я. Нейману из Москвы от 28 мая 1987. – Собрание С. З. Лущика.
Горшман М. Х. (1902-1972) – художник, книжный иллюстратор.
4. Ильф И. Записные книжки: Первое полное издание / Сост. и коммент. А. Ильф. – М., 2000. – С. 572.

КОММЕНТАРИИ

Стихотворения

Письмо К. Паустовского в Гослитиздат. Копия письма сохранилась в домашнем архиве С.А. Бондарина (Москва), ныне – коллекция С.З. Лущика (Одесса). Местонахождение оригинала письма составителю неизвестно.

Дождь. Первая публикация: Известия Одесского Губернского Исполнительного Комитета и Губернского Комитета К.П.(б.)У. – 1922. – 29 окт., № 870. Далее – Известия...

Порт. Известия... – 1922. – 2 нояб., № 873.

тюки – то же ударение встречается и в ранних стихах Багрицкого:

Табака контрабандного *тюки*
В переполненный трюм погрузив,
Мы на палубе старой фелуки
Отплываем в Персидский залив.

Цит. по: Биск А. Одесская Литературка (Одесское Литературно-Артистическое Общество) // Дом князя Гагарина: Сб. ст. и публ. – Вып. 1. – Одесса, 1997. – С. 149. Там же: «Ударение *тюки* – одесское, надо сказать *тюки*».

померанцы – апельсины.

восьмилетний плен – в действительности, блокада Одесского порта судами Антанты продолжалась весной-летом 1919 г. и с 1920 по 1921 г.

Перекоп. Известия... – 1922. – 12 нояб., № 881.

Каховский плацдарм – захвачен войсками Юго-Западного фронта Красной армии в августе 1920 г. В октябре с Каховского плацдарма был нанесен главный удар по белым войскам в Северной Таврии.

Сиваш (Гнилое море) – система мелких заливов. В ночь с 7 на 8 ноября 1920 г. переходом частей Красной армии вброд через Сиваш началась Перекопская операция.

Перекоп – в ноябре 1920 г. войска Южного фронта под командованием М. Фрунзе прорвали оборону Белой армии под командованием П. Врангеля на Перекопском перешейке и заняли Крым.

Вавилон. Известия... – 1922. – 19 нояб., № 887.

Вавилон – столица Вавилонского царства в 19-6 в. до н.э.

Бык – божество – в шумеро-аккадской мифологии Адад, бог грома, ветра и бури, в иконографии связывался с быком – символом неукротимости и плодородия. Изображения быков украшали дворцы и святилища Вавилона.

Пекарня. Известия... – 1922. – 26 нояб., № 893.

Роды. Известия... – 1922. – 16 дек., № 910.

Бытие. Первая публикация: Силуэты. – Одесса, 1923. – № 4, янв.

Хаджибей – название турецкой крепости, на месте которой построена Одесса и лимана в окрестностях Одессы.

Ланжерон – название дачного участка и пляжа, по имени графа Александра (Андре) Ланжерона (1763-1831), генерал-губернатора Новороссийского края (1815-1822).

Слобода – правильно Слободка, в те годы предместье Одессы.

Бугаевка – окраинный район Одессы.

каменоломня – одесские катакомбы, где вырезали известняк для строительства домов, общей протяженностью штолен в 2000 км.

Раши – аббревиатура слов «Раби Шломо бен Ицхак» (Соломон бен Исаак) (1040–1105) – еврейский ученый, живший во Франции, комментатор Библии и Талмуда. Ср. рассказ И. Бабеля «Гедали» (1920): «Я учил когда-то Талмуд, я люблю комментарии Раши и книги Маймонида».

Махно Нестор Иванович (1884-1934) – анархист, руководитель анархо-крестьянской повстанческой армии на Украине в 1918-1920 гг.

Петлюра Симон Васильевич (1879-1926) – политический деятель, один из организаторов Центральной Рады (1917) и Директории (1918). Эмигрировал. Убит С. Шварцбартом из мести за еврейские погромы.

Всенощная. Первая публикация: Силуэты. – Одесса, 1923. – № 11, апр.

9 января. Первая публикация: Известия... – 1922. – 22 янв., № 690.

Гапон Георгий Аполлонович (1870-1906) – священник, агент охраны. Организатор шествия рабочих к Зимнему дворцу 9 января 1905 г., завершившегося расстрелом демонстрации.

Исаак Бабель. 0 Гехте

Бабель Исаак Эммануилович (1894-1940) – писатель, автор «Одесских рассказов» и «Конармии». Родился в Одессе. Расстрелян. Посмертно реабилитирован.

Письмо к И. Лившицу. Первая публикация: Знамя. – М., 1964. – № 8. – С. 147.

Лившиц Исаак Леопольдович (1892-1979) – товарищ Бабеля по одесскому Коммерческому училищу, с 1922 г. жил в Москве, в 1922-23 гг. работал в издательстве «Красная новь».

Письмо к В. Нарбуту. Первая публикация: Бондарин С. Прикосновение к человеку. – М., 1973. – С. 64. Рукопись хранится в ОЛМ.

Нарбут Владимир Иванович (1888-1938) – поэт-акмеист, в 1920 г. жил в Одессе, был заведующим «ЮгРОСТА» (позднее «ОдУкРОСТА»). С 1921 г. руководил УкРОСТА в Харькове. В 1922 г. был ответственным работником отдела печати ЦК РКП(б), организовал и возглавил издательство «Земля и фабрика» (ЗиФ). Расстрелян. Посмертно реабилитирован.

Письмо к М. Кольцову. Первая публикация: Бондарин С. Прикосновение к человеку. – М., 1973. – С. 64. В собр. соч. И. Бабеля в 2-х т. и в собр. соч. в 4-х т. не учтено. Рукопись хранится в ОЛМ.

Кольцов (Фридлянд) Михаил Ефимович (1898-1940) – писатель, журналист. В 1920 г. в Одессе был ответственным редактором газеты «Югроста». С 1923 г. редактор журнала «Огонек». Расстрелян. Посмертно реабилитирован.

Бондарин Сергей Александрович (1903-1978) – писатель, родился в Одессе. ... как и пролетариату, нечего терять. Завоевать же они хотят – обыгрывается фраза из «Коммунистического манифеста» К. Маркса и Ф. Энгельса.

В Одессе каждый юноша... Первая публикация: Литературная газета. – М., 1962. – 1 янв. Написано в 1925 для сборника рассказов одесских писателей. Издание не было осуществлено. Рукопись хранится в ОЛМ.

колониальные романы – жанр, популярный на рубеже XIX-XX веков, наиболее известные авторы – Р. Киплинг и Дж. Конрад.

в самом скучном из губстатбюро – И. Ильф и К. Паустовский в 1920-1921 гг. работали в Опродкомгубе (Особой губернской продовольственной комиссии по снабжению Красной Армии).

Славин Лев Исаевич (1896-1985) – писатель. Родился в Одессе.

Расин о Карфагене – Расин Жан (1639-1669) – французский драматург.

Паустовский Константин Георгиевич (1892-1968) – писатель, в 1919-1921 жил в Одессе.

Пересыть – рабочий район Одессы.

Мельница Ванштейна – правильно Вейнштейна. Находилась на Пересыпи, Московская, 20.

Ильф (Файнзильберг) Илья Арнольдович (1897-1937) – писатель. Родился в Одессе.

Багрицкий (Дзюбин) Эдуард Георгиевич (1895-1934) – поэт. Родился в Одессе. *Александрийская линия* – регулярный рейс из Одессы в Александрию, с заходом в Константинополь, Смирну и Пирей.

Колычев (Сиркес) Осип Яковлевич (1904-1973) – поэт. Родился в Одессе. Прототип Ляписа-Трубецкого в «12 стульях» И. Ильфа и Е. Петрова.

Гребнев (Грибонсов) Григорий Никитич (1902-1960) – писатель. Родился в Одессе, в 1920-х гг. был сотрудником Четвертой полосы газеты «Гудок».

Очерки

Одесса. Первая публикация: Огонек. – М., 1923. – № 6, 6 мая.

миниатюры – театры миниатюр, или, как говорили в 1920-е гг., «театры малых форм».

Сен-Санс Камиль (1835-1921) – французский композитор, пианист.

Дюковский сад – расположен на окраине Молдаванки. Дюк (герцог) Арман Эммануэль Софи Септимани дю Плесси-Ришелье (1766-1822), одесский градоначальник с 1803 г. и генерал-губернатор Новороссийского края с 1805 по 1814 г. Для своего сада Ришелье выписывал саженцы из Италии, Испании, Греции.

напоминает о столетних акациях – акации, ставшие символом Одессы, начали завозить и высаживать при герцоге де Ришелье.

Молдаванка – предместье Одессы, в те годы заселенное преимущественно евреями, место действия «Одесских рассказов» И. Бабеля.

дни оккупационного владычества – в данном случае речь идет о французской оккупации с 18 декабря 1918 по 4 апреля 1919 г.

лиманской солью – соль из Куяльницкого (Андреевского) лимана под Одессой добывали путем выпаривания из неглубоких ям.

с полей орошения – обширные земельные участки для очистки городских сточных вод, расположенные на Пересыпи в районе Хаджибейского лимана. На этих землях размещались огороды.

Уличная Москва (письмо из Москвы). Первая публикация: Известия...: Веч. вып. – 1923. – 16 июня, № 27. – С. 2; 21 июня, № 31. – С. 2.

лекция об омоложении – модная в двадцатые годы теория о возможности омоложения по методу австрийского физиолога Э. Штейнаха, занимавшегося пересадкой половых желез у млекопитающих. См. повесть М. Булгакова «Собачье сердце» (1925).

Желябов Андрей Иванович (1851-1888) – один из руководителей «Народной воли», организатор покушения на Александра II.

Театр Мейерхольда – Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874-1940) – режиссер-экспериментатор, актер. В 1920-1938 гг. руководил театром (с 1923 г. – Театр им. Мейерхольда). Театр Мейерхольда – театр Колумба в «12 стульях».

Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933) – политический деятель, писатель. С 1917 г. нарком просвещения.

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879-1940) – политический деятель, один из руководителей Октябрьской революции, в 1918-1925 гг. нарком по военным делам, председатель Реввоенсовета, один из создателей Красной Армии. В 1929 г. выслан за границу. Убит агентом НКВД.

Комаров-Петров – Петров Василий Терентьевич (Комаров Василий Иванович) – извозчик, с 1922 по 1923 гг. в Москве убил 35 человек. Его дело начало слушаться 6 июня 1923 г. в Москве в Политехническом музее, 8 июня был вынесен приговор. См. фельетон М. Булгакова «Комаровское дело» (газ. «Накануне». 1923. 20 июня).

постройки сельскохозяйственной выставки – первая сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка 1923 года в Москве, в Нескучном саду. В журнале «Огонек» № 21 за 19 августа сообщалось об открытии «Союзной сельскохозяйственной выставки». Она действовала до 21 октября 1923 г.

Стеклов (Нахамкес) Юрий Михайлович (1873-1941) – политический деятель, историк, публицист. С 1917 г. редактор «Известий», журналов «Новый мир» и «Красная нива».

Чичерин Георгий Васильевич (1872-1936) – политический деятель, в 1918-1930 нарком иностранных дел РСФСР, СССР.

загримированного великим патриархом – Тихон (Белавин Василий Иванович) (1865-1925), избран в 1917 г. Патриархом Московским и всея Руси. В 1921-22 гг. выступал против реквизиции церковных ценностей. 5 мая 1923 г. Всероссийским Церковным Собором был объявлен «отступником от подлинных заветов Христа, предателем церкви». 28 июня 1923 г. было опубликовано покаянное заявление Тихона с призывом к верующим сотрудничать с советской властью.

Алешки. Письмо С. Гехта. Первая публикация: Огонек. – М., 1923. – № 28, 7 окт.

Харьков – с 1919 по 1934 г. – столица Украины.

Уэльс – индустриальный район Великобритании.

Народный суд. Первая публикация: Огонек. – М., 1923. – № 20, 12 авг.

Мюр и Мерилиз – первый в России универсальный магазин, был построен в 1909 г. по проекту Р. Клейна, позднее в этом здании на Петровке разместился ЦУМ.

Дени (Денисов) *Виктор Николаевич* (1893-1946) – карикатурист, один из создателей советского политического плаката.

Старики. Еврейская беднота на Подолии. Первая публикация: Огонек. – М., 1923. – № 25, 16 сент.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669) – голландский живописец.

Сен-Санс «Самсон и Далила» – опера написана в 1876 г.

Серов Александр Николаевич (1820-1871) – композитор, музыкальный критик. Опера «*Юдифь*» написана в 1862 г.

Шехина – в иудаизме: присутствие божественной сути.

голус – эпоха рассеяния евреев после разрушения Храма в 70 г. н.э.

Баал-шем или *Бал-Шем-Тов*, *Баалшем* (буквально: обладатель доброго имени, чудотворец) *Бешт Израиль* (1700-1760) – основатель хасидизма, религиозно-мистического движения, возникшего в конце XVIII века в Украине и Польше.

бетмедраш – правильно *бейтмидраш*, дом учения (иврит), в данном контексте молитвенный дом.

посланницы седьмого неба – согласно Талмуду, на седьмом небе обитает Бог.

Лицом к солнцу. Первая публикация: Огонек. – М., 1925. – № 34 (125), 16 авг.

Лозовский – А. Лозовский (Соломон Абрамович Дридзо) (1878-1952) – политический деятель, с 1921 г. генеральный секретарь Профинтерна.

Глебов-Авилов Николай Павлович (партийный псевдоним Глеб, Н. Глебов) (1887-1942?) – политический деятель, нарком почт и телеграфов (1917), председатель Петроградского губернского совпрофа (1923-1928).

Асеев Николай Николаевич (1889-1963) – поэт, близкий друг В. Маяковского.

Книги

Круговая порука

Фараонова скотина – во сне фараона семь тощих коров знаменовали предстоящие неурожайные годы (Бытие, гл. 41).

Рассказы

Марафет.

марафет – название кокаина (жаргон).

Наробраз – отдел народного образования

Немец ежа ловит – ср. строки из письма С. Гехта Г. Адлер 29 октября 1923: «мне ... жарившему ежей».

фемина – женщина. Ср.: «Какая фемина! – ревниво сказал Паниковский» (И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок»).

на цынке – караулить во время кражи (жаргон).
атаман Тютюнник – Юрко (Юрий Иосифович) Тютюнник (1891-1929), эмигрировал, вернулся в Украину в 1923 г. В 1928 был арестован, расстрелян.

Гай-Макан.

Околоточный – в Российской империи чин городской полиции, ведавший небольшой частью города – околотком.

Мономахова папаха – иронический парафраз выражения «шапка Мономаха», т. е. символ верховной власти.

Австрийское начальство – с марта по декабрь 1918 г. Украина была оккупирована немецкими и австро-венгерскими войсками.

мадьяры – венгры, имеются в виду австро-венгерские войска, оккупировавшие Украину в 1918 г.

генерал Бельц – Эдуард фон Бельц (1855-1918) – командующий австрийскими силами в Украине, с июня по ноябрь 1918 генерал-губернатор Одесского края. После распада Австро-Венгерской империи покончил с собой.
вартовой – от «варта» – стража (укр.), милиционер в период Центральной Рады.

Простой рассказ о мертвецах.

откомандирован в похоронное бюро – ср. строки из письма С. Гехта Г. Адлеру 29 октября 1923: «мне, таскавшему мертвецов».

конопляный жмых – отходы в виде прессованных плиток при отжиме масла из семян конопли. Обычно – корм для скота.

Абрикосовый самогон. Первая публикация: Перевал: Сб. – Л., 1925. – Вып. 3. – С. 215-223.

Мазанка – глинобитная хата на Украине.

Шмаков и Пранайтис

Шмаков и Пранайтис.

Шмаков Алексей Семенович (1852-1916) – адвокат, выступал со стороны обвинения на процессе М. Бейлиса, обвиненного в ритуальном убийстве (Киев, 1913).

Пранайтис – ксендз Иустин Пранайтис, выступал с богословской экспертизой со стороны обвинения на процессе М. Бейлиса.

Потапенко Игнатий Николаевич (1856-1929) – прозаик, драматург, сотрудник газеты «Россия».

Наклали в Киеве – с 6 мая по 11 июня 1920 г. Киев был занят поляками, которых выбила из города Красная армия.

Били под Варшавой – последовавший после победоносного наступления разгром Красной армии польскими войсками под руководством Ю. Пилсудского в 1920 г.

Картина Рембрандта.

Гейне Генрих (1791-1856) – немецкий поэт и публицист.

Чехов Антон Павлович (1860-1904) – писатель, драматург. Книга «Остров Сахалин» написана после поездки на Сахалин (место каторги в Российской империи) в 1890 г.

Мутер Рихард – автор «Истории живописи от средних веков до наших дней», вышедшей в начале XX века.

Гнедич Петр Петрович – автор «Истории искусств (Зодчество. Живопись. Ваяние)» (СПб., 1897).

Бенуа Александр Николаевич (1870-1960) – художник, один из организаторов объединения и журнала «Мир искусства». Автор «Истории живописи всех времен и народов», выходявшей с 1912 по 1917 гг.

Вхутемас – Высшие государственные художественно-технические мастерские в Москве (1920-1927).

Дошь бакалейщика. Первая публикация: Шквал. – Одесса., 1926. – № 50 (18).

Русско-японская война – война 1904-1905 гг. за контроль над Манчжурией и Кореей. Закончилась поражением России.

Верден – Верд. операция – одна из крупнейших за время Первой мировой войны, ожесточенные бои длились с февраля по декабрь 1916 г.; из-за огромных потерь с обеих сторон получила название «верденская мясорубка».

Гинденбург Пауль фон (1847-1934) – генерал-фельдмаршал, командующий войсками Восточного фронта в Первую мировую войну.

жечи на плечи – дословно: вещи на плечи (польск.) – аналог выражения «брать ноги в руки».

У Золотых ворот стоял немецкий караул – с 1 марта по 14 декабря 1918 г. в Киеве германская оккупационная армия.

Украинские солдаты, новобранцы гетмана – с 29 апреля 1918 к власти вместо разогнанной немецкой военной администрацией Центральной Рады приходит прогерманское правительство «гетмана всея Украины» П. П. Скоропадского (1873-1945).

киевские артиллерийские склады взлетели на воздух – 24 мая 1918 г. в предместье Киева начали взрываться склады артиллерийских снарядов и взрывчатых веществ. Около 200 человек погибло, 10000 остались без крова.

Гамазеи – искаженное «магазины», употреблялось и в значении «склады».

Ягве.

Ревель – ныне Таллинн.

Юзеф Шостак. Первая публикация: Огонек. – М., 1926. – № 46 (78), под названием «Джозеф Шостак» с примечанием: «Деятельности польской охраны посвящен роман С. Гехта “77”. История Джозефа Шостака – глава этого романа». Роман с таким названием не найден.

Сейм – высший орган власти в Польше.

дефензива – контрразведка и политическая полиция в Польше 1918-1939 гг. к *Гибнеру*, *Киевскому* и *Рутковскому* – члены Коммунистического союза молодежи Хибнер, Киевский и Рутковский были казнены в августе 1925 г. в Варшаве.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831) – философ, создатель систематической теории диалектики.

Полет за 15 рублей

Детство Танкова.

Медвежье лукавство. Первая публикация: Огонек. – М., 1927. – № 46.

Мамонтов Константин Константинович (1869-1920) – генерал-лейтенант, командир 6-го Донского казачьего корпуса, во время гражданской войны сражался на стороне белых.

Шкуро (Шкура) Андрей Григорьевич (1887-1947) – генерал-лейтенант, командир казачьей дивизии, во время гражданской войны сражался на стороне белых.

Адельгейм Роберт (1848-1934) – русский драматический актер.

Полет за 15 рублей. Первая публикация: Тридцать дней. – М., 1928. – № 1.

Рассказ предворяет биографическая справка: «С. Гехт – молодой писатель. Первые его произведения – стихи, – были напечатаны в 1923 году. Родился Семен Гехт в Одессе, где получил среднее образование. Долгое время работал “мальчиком” при типографии. Рассказ “Полет за 15 рублей” написан под впечатлением воздушной поездки, предпринятой Семеном Гехтом прошедшим летом».

Махатма Ганди (1869-1948) – лидер и идеолог индийского национально-освободительного движения, разработал тактику ненасильственной борьбы.

Дорнье-Комета – пассажирский цельнометаллический самолет фирмы «Дорнье-Комета» (Германия). В 1922-24 гг. эти самолеты были приобретены СССР для гражданской авиации.

сельтерская (зельтерская) вода – минеральная вода источников Зельтерса (Германия) и аналогичная соляно-углекислая вода.

Черная свадьба. Рассказ не публикуется, т. к. практически дословно включен в текст повести «Человек, который забыл свою жизнь», глава 3, начинающая от слов: «Над самым Бугом, словно на сваях, стояла халупа Исака Зельца» и заканчивая «на самом верху которой, головой упираясь в солнце, стоял потомки великого Башиемтова из Меджибожа».

Рассказы 1923–1939

Случайная жертва (из ангорских воспоминаний). Первая публикация: Силуэты. – Одесса., 1923. – № 3, янв.; повторно: Огонек. – М., 1923. – № 12, 17 июня, под названием «Тамбовский монах».

Повстанческое движение – здесь – против Великобритании.

Английская ищейка – с апреля 1920 г. у Великобритании был мандат на управление территорией Палестины.

Имя женщины. Первая публикация: Огонек – М., 1924. – № 19 (58), 4 мая. *караульным к болгарину-огороднику* – ср. с текстом рассказа «В гостях у молодежи»: «Служил я тогда караульным на огородах наробраза при городских полях орошения».

Одет, как экстерн – бедно, возможно, неряшливо. Описание внешнего вида экстернов есть в повести В.Жаботинского «Пятеро». Экстерн – юноша,

не обучавшийся в гимназии, но намеревающийся сдать экзамен за восемь классов. Это давало право поступления в университет. Большинство экстернов были евреями, не имевшими возможности получить образование в гимназии из-за процентной нормы.

Пятница. Первая публикация: Накануне. – Берлин.

Равви – духовный лидер, учитель, глава общины.

жертвую свиток Торы – пожертвование как форма благотворительности, один из основных принципов традиционной культуры.

Тора – учение, закон (иврит), (иначе – Пятикнижие Моисеево), основная книга иудаизма. По традиции считается, что тора была дана Богом Моисею на Синайской горе.

сойфер – переписчик свитков Торы.

габай – староста в синагоге или каком-либо братстве.

Запишите сто один год – мне всего девятнадцать лет – по иудейской традиции, определенная Богом длина жизни человека: «...не вечно Духу Моисею быть пренебрегаемым человеками; ... пусть будут дни их сто двадцать лет» (Книга Бытия, гл. 6).

Соня Тулупник. Первая публикация: Красная новь. – М., 1932. – Кн. 12.

Яков Моисеевич Тулупник – Израиль Моисеевич Хейфец, псевдоним «Старый театрал», (1867 – после 1930), многолетний редактор газеты «Одесские новости», журналист, кандидат прав. Эмигрировал в 1920. Публиковал статьи в 1930-е гг. в эмигрантских изданиях. Дальнейшая судьба неизвестна.

Поселок «Самопомощь» – территория, застроенная небольшими особняками, владельцы – интеллигенция среднего достатка. Поселок находился между четвертой-пятой станциями Большого Фонтана.

Убили Распутина – Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1864?1872?-1916) – крестьянин Тобольской губернии, получил известность «пророчаниями» и «исцелениями», имел большое влияние на императорскую семью. Убит в результате заговора.

Иза Кремер – Кремер Иза (Лия) Яковлевна (1890-1956) – популярная исполнительница песен, поэтесса. Жена И. Хейфеца. Была актрисой городского театра, пела в опере, оперетте, снималась в кино. В январе 1920 г. эмигрировала, жила в Аргентине.

ойра – «хойре» (идиш), еврейская народная плясовая.

Шопен Фредерик (1810-1849) – польский композитор, пианист.

Герцен Александр Иванович (1812-1870) – революционер, писатель, философ. *Чернышевский Николай Гаврилович* (1828-1889) – публицист, литературный критик, писатель.

Маркс Карл (1818-1883) – общественный деятель, основоположник теории научного коммунизма.

Каутский Карл (1854-1938) – один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и 2-го Интернационала. Отрицательно относился к Октябрьской революции.

Туган-Барановский Михаил Иванович (1865-1919) – экономист, историк, с конца 1917 по январь 1918 министр финансов украинской Центральной Рады.

Бернштейн Эдуард (1850-1932) – один из лидеров германской социал-демократии и «Социалистического Интернационала», идеолог реформизма.
Либкнехт Вильгельм (1826-1900) – один из основателей и руководителей социал-демократической партии Германии.

Лафарг Поль (1842-1911) – один из основателей французской Рабочей партии, член 1-го Интернационала.

Энгельс Фридрих (1820-1895) – общественный деятель, соратник К. Маркса.

Дарвин Чарльз Роберт (1809-1982) – естествоиспытатель, автор гипотезы о происхождении человека от обезьяноподобного предка.

Блосс – возможно, В. Блосс, автор книг по истории, напр. «Революция в Германии (История германского движения 1848 и 1849 гг.)», изданной в 1908 г. в России.

Плеханов Георгий Валентинович (1856-1919) – политический деятель, теоретик марксизма, один из основателей РСДРП.

Горемыкин Иван Логгинович (1839-1917) – член Государственного совета, в 1914-1916 председатель Совета министров.

Штюрмер Борис Владимирович (1848-1917) – государственный деятель, с января 1916 г. председатель Совета министров, был министром внутренних и иностранных дел, уволен в отставку с ноября 1916 г. После Февральской революции арестован, умер в Петропавловской крепости.

Вестингаузов революции – здесь – тормоз. Вестингауз Джордж (1846-1914), американский изобретатель. Изобрел тормоз, срабатывающий под давлением пара.

поселок Самопомощь в Детский городок – в двадцатые годы на этой территории был детский городок им. Коминтерна, в котором, помимо прочего, работала большая библиотека. Здесь же были организованы первые пионерские отряды.

Известия губисполкома – в конце 1917 – начале 1918 г. выходила газета «Известия Одесского совета рабочих депутатов». «Известия губисполкома» (Известия одесского Губернск. Исполн. Комитета и Губернского Комитета К.П.Б.У) выходили с 1920 г.

Бронштейн – подлинная фамилия Льва Давидовича Троцкого. См. коммент. к очерку «Уличная Москва».

Нахамкес – подлинная фамилия Ю.М. Стеклова. См. коммент. к очерку «Уличная Москва».

Поляков – вероятно, один из банкиров братьев Поляковых (Самуила и Якова). С. Поляков, подрядчик по строительству железных дорог, упоминается в рассказах Шолом-Алейхема.

Казармы Кадетского корпуса – размещались в районе 4 станции Большого Фонтана.

С них снимали пальто – в воспоминаниях современников идет речь о бандах «снимателей пальто, туфель и всех частей одежды» (Гернет Н. Силуэты прошлого. 1918, машинопись, ОЛМ).

Эхо юга – газета с таким названием в годы Гражданской войны не выходила.

Эфруси (Ефруси) – одесский банкирский дом. Мориц Эфруси в 1883 г. женился на дочери барона Ротшильда.

По их следам пришли французы – австро-немецкая оккупация Одессы продолжалась с 13 марта до 26 ноября 1918, после переходного периода город заняли французские войска (с 18 декабря 1918 г. до 4 апреля 1919 г.).

д'Ансельм – генерал Ф. д'Ансельм, командующий союзными войсками на юге России, автор знаменитого приказа об эвакуации французских войск из Одессы в 1919 г.: «в целях уменьшения числа едоков решено приступить к частичной разгрузке Одессы».

декларация Бальфура – Артур Джеймс Бальфур (1948-1930) – премьер-министр Великобритании (1902-1905), консерватор, автор декларации о создании еврейского национального очага в Палестине (1917).

дирижабль Италия – экспедиция Умберто Нобиле к Северному полюсу, вылетевшая в мае 1928 г. на дирижабле «Италия», на обратном пути потерпела крушение и потеряла связь с внешним миром.

ледокол Красин – в спасении экспедиции Нобиле принимали участие ледоколы «Красин» и «Мальгин». В июле 1928 г. «Красин» подобрал остатки экипажа.

Гельсингфорс – ныне Хельсинки.

«Социалистический вестник» – издание меньшевистской эмиграции, основан Ю. О. Мартовым, выходил в Берлине с 1921 г.

Кавярни и цукерни – кофейни и кондитерские (польск.).

Достоевский Федор Михайлович (1821-1881) – писатель.

Суворин Алексей Сергеевич (1834-1912) – журналист, драматург, издатель газеты «Новое время».

разговор – разговор после покушения Млодецкого на Лорис-Меликова о невозможности донести на подготовку покушения – «боязнь прослыть доносчиком...» (Воспоминания А.С. Суворина // Достоевский: Воспоминания, письма, дневники. – М., 2000. – С. 204-205).

Случай на консервной фабрике. Печатается по: Гехт С. У шлагбаума. – М., 1939.

По Эдгар Аллан (1800-1849) – американский писатель, критик.

Господин Теребенников – во 2-м казенном училище (Пушкинская, 26) в списке преподавателей был Анат. Андр. Теребенников (Вся Одесса на 1912. – 1912. – Разд. «Учеб. заведения». С. 61).

на конфетной фабрике Крахмальникова – «первая на юге России паровая фабрика монпасье, шоколада, конфет, халвы и других кондитерских изделий» братьев Я. и Л. Крахмальниковых.

контрищик с консервной фабрики, Ландо-Безверхий – во 2-м казенном училище в списке преподавателей был поч. гражд. Ланда-Безверхий Хаим Вольф (Вся Одесса на 1912. – 1912. – С. 61).

Горбунов – возможно, Горбунов-Посадов Иван Иванович (1864-1940) – прозаик, публицист, издатель, составитель сборников стихов, рассказов или писатель и актер XIX в. Иван Федорович Горбунов, ссылки на рассказы которого есть в текстах И.Бабея.

кунштюк – ловкий прием, фокус (нем.).

к уличным деревьям в мисках вода для бродячих собак – в Одессе к стволам деревьев приковывали зеленые жестянки с водой, чтобы животные не взбесились от жары. Деньги на это оставил по завещанию грек Ралли (по другим сведениям, деньги выделяла Городская дума).

«Потонувший колокол» (1896) – пьеса Герхарта Гауптмана (1862-1946) – немецкого драматурга, писателя, написанная под влиянием символизма.
Фуше Жозеф (1759-1820) – министр полиции Франции, создал разветвленную систему политического сыска.

Общество взаимного кредита – в Одессе было Одесское купеческое и промышленное общество Взаимного кредита (Ланжероновская, дом Вагнера, № 17) и 2-ое одесское общество взаимного кредита (Греческая ул., 20)
Лионский кредит – Одесское агентство «Лионский кредит», основано в 1863 г.

Письмо. Печатается по: Гехт С. У шлагбаума. – М., 1939.

В котором родился или не родился Пушкин – Пушкин родился в доме И.В. Скворцова. Дом не сохранился.

Орден Святого Станислава – самый низший среди русских орденов. Остроконечные раздвоенные концы креста заканчивались золотыми шариками и были соединены золотыми полукружьями.

итрейкбрехер – лица, нанятые предпринимателями для выполнения работы забастовщиков (нем.).

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870-1920) – публицист, черносотенец, один из основателей «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела», член II-IV Государственной Думы.

Крушеван Паволакый (1860-1909) – черносотенец, член Государственной Думы, один из организаторов Кишиневского погрома (1903).

Репин «Не ждали» – Репин Илья Ефимович (1844-1930) – художник. Сюжет картины – возвращение революционера-народника домой после ареста.

«Новое время» – газета правого направления, выходила с 1876 по 1917 гг.

«Землица» – газета правого направления, выходила в 1910-е гг. в Москве.

Человек, который забыл свою жизнь.

в Марьину Рошу – в те годы окраинный район Москвы, где было большое количество воровских притонов.

от хаек – Хая (женское имя, иврит), здесь – пренебрежительное название.

гешефт – дело, бизнес (идиш).

по знакам букв и по сумме их единиц – каббалистический метод раскрытия тайного смысла слов путем разложения слов на буквы как символы космических явлений и использования числовых значений букв слова.

смерти Нестора Махно – Махно умер в Париже в 1934 г.

Ротшильд – династия банкиров, восходит к Майелу Амшелю (1774-1812) – основателю в 1766 г. банк во Франкфурте на Майне и его пяти сыновьям, основавшим банки в Вене, Неаполе, Париже, Лондоне.

Ашкенази – династия одесских банкиров; основатель банкирского дома Мозес Нафтанович Ашкенази (ум. в 1887), его сын Евгений и внук Зигфрид.

Песнь песней – книга Песни Песней Соломона (Ветхий завет).

по-арамейски – язык семитской группы, на нем написана часть Талмуда.

хасид из Межибожа – Балшметов, см. примеч. к очерку «Старики».

Траурная, как месяц Элул – последний месяц еврейского календаря (август-сентябрь) – каун Нового года, десяти дней покаяния и Судного дня. Считается, что в эти дни Бог определяет судьбу людей на наступающий год. Период поста у религиозных евреев.

накладные волосы – по традиции замужние еврейские женщины обривали голову и носили парик.

казенный раввин – в отличие от духовного раввина, чиновник, который избирался общиной и утверждался губернатором. Вел записи актов гражданского состояния еврейской общины, приводил к присяге солдат-евреев и т. д.

пошла под балдахин – по еврейскому религиозному обряду заключение брака совершается под балдахином.

Лилит – по Талмуду: демон женского пола, праматерь всех чертей; в народных легендах: ночной демон, летающий в образе совы и похищающий маленьких детей.

Старше Мафусаила – «всех же дней Мафусаила было девятьсот шестьдесят девять лет» (Книга Бытие, гл.5), в переносном значении – долгожитель.

между третьим и четвертым небом – согласно Талмуду, небес семь, третье небо держат на своих плечах ангелы, на четвертом находится Небесный Иерусалим и Небесный храм.

праздник кущей – древний еврейский осенний праздник жатвы, справлявшийся в память о сорокалетнем странствии по пустыне после исхода из Египта и проживании в шалашах (кущах).

Гарibaldi Джузеппе (1807-1882) – национальный герой Италии, сражался за независимость Италии от Австрии.

Пещера Лехтвейса – приключенческий роман В. А. Редера «Пещера Лехтвейса или 13 лет любви и верности под землей» (СПб., 1909-10). Печатался в виде брошюр с продолжением. По воспоминаниям В. Катаева, вышло 77 выпусков.

Ник Картер – американский сыщик, герой детективных историй, выходящих в виде отдельных выпусков в конце XIX – начале XX вв. Персонаж придуман в 1886 г. Д. Р. Корнелом.

Вальтер Скотт (1771-1832) – английский поэт, прозаик, автор исторических романов.

графиня нищая – возможно, графиня Салиас де Турнемир Елизавета Васильевна, автор романов для детей и юношества «Княжна Дубровина» (1886), «Последние дни Помпеи» (1882) и др.

Шайкевич Н. М. (1849-1906) – писал бульварные еврейские романы под псевдонимом Шомер.

Палач города Берлина – приключенческий роман в отдельных выпусках. По воспоминаниям В. Катаева, вышло 44 выпуска.

Книжка издания Павленкова – Павленков Флорентий Федорович (1939-1900) – книгоиздатель, с 1865 г. издал более 750 названий книг русской и зарубежной классики

Мазать фиксатуаром – фиксатуар – восковая помада для удержания волос (усов) в определенном положении.

ружье Монте-Кристо – марка ружья, популярная в 1900-1910-е гг.

книга «Жизнеописание Гарibaldi» – возможно, роман графа Салиаса де Турнемира Евгения Андреевича (1840-1908).

понимавший по-еврейски – здесь – идиш.

Толстой Лев Николаевич (1828-1910) – граф, писатель.

Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861-1928) – писательница, автор романов, ориентированных на массового читателя.

Моссельпромищцы – служащие Московского объединения предприятий по переработке продуктов сельскохозяйственной промышленности (Моссельпрома) – торговавшие с лотка папиросами, конфетами и т.п.

Монополька хорошо работает – при государственной монополии на производство и продажу водки, ее продажа разрешалась только в государственных магазинах, как и до революции, называвшихся монопольками.

Цыгане шумною толпой по роще Марьиной кочуют – иронический парадфраз строк из поэмы А.С. Пушкина «Цыгане».

Джи джитсу – правильно джиу джитсу, японская система самозащиты для борьбы с физически более сильным противником. Получила широкое распространение в Европе в начале XX века.

Падение Порт-Артура – Порт-Артур был сдан начальником Квантунского укрепленного района А.М. Стеселем японцам 2 января 1905 г.

мараны – насильственно крещенные испанские и португальские евреи (конец XIV–XV вв.) и их потомки, сохранившие втайне веру отцов.

Дубнов Семен Маркович (1860-1941) – еврейский историк, публицист и критик. *синедрион* – Великий синедрион в Иерусалиме был высшим судебным и политическим учреждением с V в. до н.э.

Кто сказал, что все дни нашего существования похожи один на другой? – неточный пересказ фразы «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Экклезиаст, гл.1)

Валаам – должен был по приказу моавитского царя Валака проклясть евреев, но по влечению бога, славил их и предсказал великое будущее (Книга Чисел, гл. 22-24).

Юшкевич Семен Соломонович (1868-1927) – еврейский прозаик, драматург. Писал на русском языке. Рассказ «Невинные» (1901). Эмигрировал.

Освежили водой и напоили самогоном – иронический парадфраз из «Песни Песней»: «подкрепите меня вином, освежите меня яблоками».

Ашкаверош – персидский царь Артаксеркс, *Вашти* (Астынь) – его жена, отказавшаяся по требованию мужа прийти на пир, «чтобы показать народу и князьям красоту ее» (книга Эсфирь, гл.1).

Рассказы и воспоминания 1958-1963

Вечера в железнодорожном клубе. Первая публикация: Э. Багрицкий: Альманах под ред. Влад. Нарбута. – М., 1936. – С. 239-240.

Центральная военная газета – военная и общеполитическая газета «Красная звезда» выходила с 1 января 1924 г.

Мне очень понравилась издевательская сцена, где в семейную трагедию внезапно врывается канитель с шубой... – пьеса В. Катаева «Дорога цветов» (1933) – действие третье, явление III.

курящим астматический порошок – в то время бронхиальную астму лечили так называемым абиссинским порошком, который курили, как табак.

В одесских газетах и «Чортовы куклы», и «Москва», и «Петербурге» и «Дидель»... – «Чортовы куклы» – Красный Октябрь: лит. прил. к Известиям... – 1921. – 7 нояб.; «Москва» – Известия... – 1922. – 21 сент., № 837; «Петербург» (правильно «Ленинград») – Известия... – 1922. – 28 сент., № 869; «Дидель» (Ах, у Диделя в котомке) – ранний вариант стихотворения «Птицелов» – Моряк. – 1923. – 17 июня, № 365.

Увы, мой друг, мы рано постарели – «Посвящение 2, романтическое» из поэмы Э. Багрицкого «Трактир» (1919-1920, 1933).

первый вариант – вторая строфа совпадает с текстом, не вошедшим в окончательную редакцию, третья не соответствует опубликованному первоначальному варианту. См.: Багрицкий Э. Стихотворения и поэмы. – М.;Л., 1964. – Библиотека поэта – С. 506.

Беранже Пьер Жан (1780-1857) – французский поэт, многие сатирические стихи которого были положены на музыку.

Певец Хенкин – Виктор Яковлевич Хенкин (1881-1944) – певец, куплетист. Эмигрировал.

братом заслуженного артиста – Хенкин Владимир Яковлевич (1883-1953) – актер, играл в театрах миниатюр, выступал как куплетист, чтец, пародист. *Франсуа Виллон* (Вийон) (1431/32 - после 1436) – французский поэт.

Рембо Артур (1854-1891) – французский поэт-символист.

Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800-1844) – поэт.

Анненский Иннокентий Федорович (1855-1909) – поэт.

Гумилев Николай Степанович (1886-1920) – поэт, акмеист. Расстрелян. Посмертно реабилитирован.

Третьяков Сергей Михайлович (1892-1939) – поэт, прозаик, футурист, один из теоретиков ЛЕФа. Расстрелян. Посмертно реабилитирован.

Хлебников Велимир (Виктор Владимирович) (1885-1922) – поэт, лидер группы «будетлян».

поэмы Олеси («Вечный жид» и др.) – поэма Ю. Олеси с таким названием в одесской периодике 1915-20 гг. не обнаружена. Опубликованы «Новейшее путешествие Онегина по Одессе» (1917) и вступление к поэме «Пушкин» (1918), которые вряд ли помнит сам Катаев («Самогон», «Били их рыбаки остро-гою») – «Самогон» – правильно «Мыльников переулоч» (1922). См.: Катаев В. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 10. – М., 1986. – С. 638; «Били их рыбаки остро-гою» – строка из стихотворения «Слепые рыбы» (1920) – там же, с. 630.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1941) – поэт, прозаик.

Тютчев Федор Иванович (1803-1873) – поэт.

Фет (Шенин) Афанасий Афанасьевич (1820-1892) – поэт.

Павлова Каролина Карловна (1807-1893) – поэтесса.

Случевский Константин Константинович (1837-1904) – поэт, писатель, предшественник модернистов.

Дельвиг Антон Антонович (1798-1931) – поэт, друг А.С. Пушкина.

Давыдов Денис Васильевич (1784 -1839) – поэт, писатель, герой Отечественной войны 1812 г.

Киплинг Джозеф Редьярд (1865-1936) – английский поэт, прозаик.

Эредиа Хосе Мария (1803-1839) – кубинский поэт. Книга Эредиа «Избранные сонеты» в переводе Г. Шенгели вышла в Одессе в начале 1920 г.

Блок Александр Александрович (1880-1921) – поэт, символист.
«Шаги командора» записаны на пленку – Апрельевский завод выпустил в 1960-е гг. пластинку с записью чтения Э. Багрицким стихов «Шаги командора» А. Блока и «Песни Павлы» из либретто оперы «Дума про Опанаса». *Лермонтовский переулок, на берегу моря* – в 1922-23 гг. Багрицкий жил по адресу: Лермонтовский переулок, 13.

Голованевская Елена – участница литературной жизни 1920-х гг., упоминается в мемуарах С.А. Бондарина как приятельница Э. Багрицкого.

Лишина Тая Григорьевна (?-1968) – участница литературных кружков, автор воспоминаний «Так начинают жить стихом» (об Э. Багрицком), «Веселый, голый, худой» (об И. Ильфе). Работала в Ленинградском отделении Союза писателей.

Александров Эзра (Зусман Эзра Абрамович) (1900-1973) – поэт. Родился в Одессе, в 1922 г. эмигрировал в Палестину.

Тепер Борис – участник литературной жизни 1920-х гг., автор воспоминаний.

Тарловский Марк Ариевич (1902-1952) – поэт.

хвалил поэму Бондарина «Наливное яблоко» – опубликована в журнале «Силуэты» № 2 за декабрь-январь 1922-23 гг.

Адалис Аделина Ефимовна (1900-1969) – поэтесса, переводчик. Жила в Одессе с 1902 по 1920 гг.

Сельвинский Илья (Карл) Львович (1899-1968) – поэт, конструктивист.

на углу Ришельевской и Почтовой – семья И. Бабеля жила в доме № 17 по Ришельевской улице. И. Бабель уехал из Одессы в Сухуми в апреле 1922 г. и вернулся в январе 1923 г.

В клубе на Степовой улице – клуб имени Ленина при Одесских железнодорожных мастерских.

Джутовая фабрика – занималась обработкой джута и производством из него мешковины, находилась на окраине Молдаванки.

Январские мастерские (Главные, Одесские) – завод им. Январского восстания – железнодорожные мастерские, находились между Ближними Мельницами и Молдаванкой.

Бабель (читал «Одесские рассказы») – Возможно, речь идет о рассказе «Как это делалось в Одессе», опубликованном 5 мая 1923 г. в газете «Известия...».

Кирсанов (Корчик) Семен Исаакович (1906-1972) – поэт, один из основателей Юголефа (1924-25). Родился в Одессе.

поэма «Туннель» – опубликована в журнале «Силуэты» (Одесса, 1922. № 8-9).

«Тысяча и одна ночь» – рассказ Л. Славина был опубликован в журнале «Силуэты» (Одесса, 1923, № 2).

Золотарев Юрий – критик, прозаик, поэт.

Микитенко Иван Кондратьевич (1897-1937) – украинский писатель, драматург, поэт. Жил в Одессе с 1922 по 1926 г.

Югов Алексей Кузьмич (1902-1979) – прозаик, литературовед. Окончил Одесский медицинский институт (1927).

Бродский Давид Григорьевич (1899-1966) – поэт.

Матьяш (Матяш) Николай Иванович (1890-1949) – писатель.

Илья Чернов – один из организаторов кружка «Потоки Октября» («Известия...» 1922. 29 окт., № 870).

Захаров (Малахольников) Георгий Яковлевич (1898-1964) – поэт.

жена – Лидия Густавовна Суок-Багрицкая (1895/6-1969) – старшая из трех сестер Суок. Семейная жизнь Багрицких иронически описана В. Катаевым в рассказе «Бездельник Эдуард» (1925).

Рубинштейн Александр Львович – одесский поэт, автор книг «Майя» (Одесса, 1919), «Ветер с юга» (Одесса, 1922).

Котовский Григорий Иванович (1881-1925) – командир кавалерийской бригады, дивизии и корпуса Красной армии; войска под его командованием вошли в Одессу 7 февраля 1920 г.

был у него в Кунцево – с конца 1925 по зиму 1930 г. Багрицкий жил в подмосковном поселке Кунцево.

Катаев Иван Иванович (1902-1937) – писатель. Расстрелян. Посмертно реабилитирован.

В тот год, к которому относится наша беседа – стихотворение «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым» написано в 1927 г., вошло в книгу «Юго-запад» (1927).

Дума про Опанаса – поэма написана в 1926 г. Вошла в книгу «Юго-запад».

Арбуз – стихотворение написано в 1924 г., вошло в книгу «Юго-запад».

Летучий голландец – поэма написана осенью 1922 г., опубликована в журнале «Силуэты» (1923. № 8-9). В прижизненные издания не включалась.

некролог об Эдуарде – Багрицкий умер 16 февраля 1934 г., 18 февраля «Литературная газета» (№ 19 (334)) на первой странице помещает его портрет и сообщение о «смерти крупнейшего советского поэта». В том же номере на последней странице среди прочих некрологов: «о смерти своего друга Эдуарда Багрицкого», подписанный В. Катаевым, Ю. Олешей, В. Инбер, И. Бабелем, И. Ильфом, Е. Петровым, Л. Славинным, С. Гехтом, С. Кирсановым.

В гостях у молодежи. Первая публикация под названием «Вспомнилось в гостях у молодежи»: Наш современник. – 1958. – № 4. – С.277-282.

журнал «Детство и отрочество – литературно-художественный, с научным отделом двухнедельный журнал для детей с таким названием выходил в Одессе в 1912-1913 гг.

Редакция помещалась в ряду железо-скобяных лавок на торговой улице – адрес редакции: ул. Екатерининская, № 70 (угол Большой Арнаутской), недалеко от рынка Привоз.

Александровский проспект – центральный проспект Одессы.

Болгарская – улица на Молдаванке, окраинном районе Одессы.

в казенном училище – Гехт учился во втором казенном (Свечном) училище.

Саша Черный (Гликберг Александр Михайлович) (1880-1934) – поэт, сатирик, сотрудник журнала «Сатирикон». Эмигрировал.

Фруг Семен Григорьевич (1860-1906) – еврейский поэт, литературный критик, писал на русском языке.

Потемкин Владимир Петрович (1874-1945) – государственный деятель, академик. В 1922-1940 гг. был на дипломатической работе, с 1940 г. нарком просвещения РСФСР.

редакцию «Известий губисполкома» – Известия Одесского Губернского Исполнительного Комитета и Губернского Комитета К.П.(б.)У.

составлять стихотворение насчет дождя, пузырьков и пустоты желудка – см. стихотворение «Льют дожди беспрерывно...».

руководит в железнодорожном клубе рабочим литературным кружком – организаторами «Потоков Октября» были А. Лагутинский, И. Чернов, А. Резников («Известия»... 1922. 29 окт., № 870). Э. Багрицкий появился немного позже.

романс в исполнении Липковской – Липковская (Маршнер) Лидия Яковлевна (1882-1958) – оперная и концертная певица, колоратурное сопрано. В 1910-е неоднократно гастролировала в Одессе. Эмигрировала.

Державин Гавриил Романович (1743-1816) – поэт, представитель русского классицизма.

«Облако в штанах» – поэма В. Маяковского (1915), лирическая героиня которой – одесситка Мария Денисова.

И слово, с которым мы

Боролись всю жизнь, – оно теперь

Подвластно нашей руке

– строки из поэмы Э. Багрицкого «Последняя ночь» (1932).

Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707-1788) – французский естествоиспытатель, отстаивал идею об изменяемости видов под влиянием условий среды.

кандидат – кандидат в члены ВКП(б).

Повидать бы, спросить. Первая публикация: Наш современник. – 1959. – № 4. – С. 234-240.

Борисов Алексей Михайлович (1887-1973) – журналист.

Улица Жанны Лябурб наискосок от Степовой – улица Госпитальная в 1935-36 гг. носила имя Жанны Лябурб, с 1946 – ул. Богдана Хмельницкого.

Лагутинский Алексей – один из организаторов кружка «Потоки Октября» («Известия...» 1922. 29 окт., № 870).

эмиграции старых писателей – в 1918-1920 гг. из Одессы уехали А. Толстой, Н. Крандиевская, И. Бунин, Дон-Аминадо, А. Биск и др.

отъезда в Москву Валентина Катаева, Юрия Олеши – в действительности, в апреле 1921 г. В. Катаев и Ю. Олеша уехали из Одессы вместе с В. Нарбутом (возглавившим УкРОСТА) в Харьков, а уже затем в Москву.

Коровины дети – название книги Н. Матяша о детях, чистивших котлы пароходов. Первая публикация: «Потоки Октября». – кн. 1. – Одесса, 1924.

В 1925 г. повесть вышла отдельной книгой в Харькове в издательстве ДВУ.

Отцовской квартирке на Ришельевской – в книге «Вся Одесса на 1912 год» указан адрес Эммануила Бабеля на Почтовой улице, 22 (дом стоял на углу Ришельевской и Почтовой).

в Овражном переулке – или Овражья улица – первый адрес Э. Багрицкого в Кунцево с конца 1925 по лето 1927 гг.

Шевченко Тарас Григорьевич (1814-1861) – украинский поэт.

Резников Анатолий – поэт, прозаик, один из организаторов «Потоков Октября». С. Кирсанов, негативно оценивая «потоковцев», делал для него исключение: «...но есть один талантливый парень – Резников» (из письма 1923 г.).

Пильняк (Воган) Борис Андреевич (1894-1937) – прозаик. Расстрелян. По-смертно реабилитирован.

Ближние Мельницы – район Одессы в южной части города за линией железной дороги.

Баллада Киплинга – «Баллада о Востоке и Западе» (1889), перевод Е. Полонской.

Пролеткульт (Пролетарская культура) – литературно-художественная организация (1917-1932).

Пропаавший Иван Микитенко – сведения о судьбе И. Микитенко противоречивы. По одним данным в 1937 г. он был арестован, по другим – покончил с собой.

студент-селянин – И. Микитенко родился в с. Ровное, учился в Одесском медицинском институте.

Шенгели Георгий Аркадьевич (1894-1956) – поэт, переводчик, стиховед. В 1919-1920 гг. жил в Одессе.

В двадцать четвертом, выступая в зале бывшего кафешантана «Северный» – первое выступление В. Маяковского в Одессе состоялось 20 февраля в Северном театре (Театральный пер., 12). Реплика могла прозвучать также на выступлении в Русском театре (22 февраля), Центральном партийном клубе и медицинском институте (23 февраля).

в Водопьяном у Маяковского – с сентября 1920 г. В. Маяковский, Л. Брик и О. Брик проживали по адресу: Водопьяный пер., д. 3., кв. 4.

Ольшевец Макс Осипович – критик, журналист, редактор газеты «Известия Одесского Губкома», позднее редактор одесского литературного журнала «Шквал». После переезда в Москву зав. редакцией «ЦИК СССР и ВУЦИК». *Садясь в самолет, летевший в освобожденную две недели назад Одессу* – город освободили 10 апреля 1944 г.

казнях в первые дни оккупации города – после взрыва штаба оккупационных войск на Маразлиевской 23 октября 1941 г., начались массовые казни населения. За каждого убитого офицера расстреливали 200 человек, за рядового – 100 человек.

о гибели пробивавшихся через Савранский лес партизан-подпольщиков – Савранский лес – единственная лесная территория на севере Одесской области. *об уничтожении в лагерях смерти еврейского населения* – в январе 1942 г. еврейское население начали стогнать в гетто на Слободке, оттуда отправляли в лагеря смерти в селах Доманевка, Богдановка, Акмечетка, Виноградное (Вормс). Всего в Одесской области было уничтожено около 120 000 евреев.

расстреляны на Стрельбищном поле – район современного аэропорта, до революции место захоронения военных преступников.

именем Иона Антонеску – ошибка, имя маршала Антонеску в 1941-44 гг. носила ул. Чичерина (Успенская).

Слободка – район Одессы, преимущественно одноэтажной застройки.

Нерубайское – село под Одессой, в катакомбах у с. Нерубайское с 1941 по 1944 гг. размещался партизанский отряд В.А. Молодцова (Бадаева) (1911-1942).

У стены Страстного монастыря в летний день 1924 года

Состоит из двух рассказов. **У стены Страстного монастыря в летний день 1924.** Первая публикация: Наш современник. – 1959. – № 4. – С. 229-233, и «Дом-коммуна на Хавской улице» (начинается со слов «В Петрограде, не знаю точно, на какой улице...»).

Красная новь – первый «толстый» литературно-художественный и научно-публицистический журнал, выходил с 1921 по 1942 г.

Воронский Александр Константинович (1884-1937) – критик, писатель, в 1921-1927 редактор журнала «Красная новь». Расстрелян. Посмертно реабилитирован.

Казин Василий Васильевич (1898-1981) – поэт.

Клычков Сергей (Лешенков Сергей Антонович) (1889-1937) – поэт и беллетрист. Расстрелян. Посмертно реабилитирован.

Есенин Сергей Александрович (1895-1925) – поэт.

Приблудный Иван (Овчаренко Яков Петрович) (1905-1937) – поэт. Расстрелян. Посмертно реабилитирован.

Есенин, ездивший год назад в Америку – С. Есенин был в США с октября 1922 по февраль 1923 года.

Ресторан Дома Герцена – в 1920-е гг. в Доме Герцена (Тверской бульвар, 25) размещались правления литературных организаций и писательский ресторан. (Описан в стих. В. Маяковского «Дом Герцена» и романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»).

Уточкин Сергей Исаевич (1874-1916) – один из первых русских авиаторов, велогонщик, любитель Одессы.

Росийский – возможно, Славоросов (Семененко) Харитон Никандрович (1886-1941) – летчик, герой Первой мировой войны, сражался добровольцем во французской армии.

Хиони Василий Николаевич – летчик, авиаконструктор.

И зверье, как братьев наших меньших... – строчки из стихотворения «Мы теперь уходим понемногу», написано в 1924 г. Опубликовано: Красная новь. – 1924. – № 4, июнь-июль.

Мастерская сепараторов Э. Бабеля – в действительности Э. И. Бабель, согласно справочнику, был «предст. землед. машин и орудий» (Вся Одесса на 1912 год).

Звезда полей над отчим домом – строка из песни в рассказе И. Бабеля «Песня» (1925) из цикла «Конармия».

Гречаниновский романс – Гречанинов Александр Тихонович (1864-1956) – композитор.

Она не забудет, придет, приголубит, обнимет... – строки из стихотворения Павла Михайловича Ковалевского (1823-1907) «Смерть». Романс упоминается в рассказе И. Бабеля «Иван-да-Марья» (1920-1928).

Цвела – забубенная, росла – ножевая... – строки из стихотворения С. Есенина «Песня» (Есть одна хорошая песня у соловушки...), написано в 1925 г.

Два тридцатилетних мудреца – И. Бабель родился в 1894 г., С. Есенин – в 1895 г.

Ромен Жюль (Фаригуль Луи) (1885-1972) – французский писатель, поэт.

Антифашистский конгресс – Международный конгресс в защиту мира состоялся в Париже с 21 по 26 июня 1935 г. О своем выступлении Бабель писал родным: «Моя речь, вернее, импровизация (сказанная к тому же в ужасных условиях, чуть ли не в час ночи) имела у французов успех» (Собр. соч. в 4-х т. – Т. 4. – С. 336).

Ромен Роллан (1866-1944) – французский писатель. И. Эренбург писал, что Р. Роллан в письме о «Дне втором» высоко отозвался о «Конармии» Бабеля. *Томас Манн* (1875-1955) – немецкий писатель, антифашист.

Вскоре, в ночь есенинской свадьбы – летом 1925 г. С. Есенин женился на Софье Андреевне Толстой, внучке Льва Толстого.

«Аннушка» – ласкательное наименование первой трамвайной линии «А», проходившей по центру Москвы.

Устрялов Николай Васильевич (1890-1937) – правовед, философ, политический деятель. Эмигрировал в Харбин. Вернулся в СССР в 1935. Расстрелян. Посмертно реабилитирован.

Яков Рацер – владелец крупнейшего в Москве частного угольно-дровяного склада, рекламировавшего свой товар в стихах. У Гехта ошибка, правильно: «Чистый, крепкий уголек [вариант: Чудный красный уголек] – Вот чем Рацер всех привлек!».

Журнал «Россия» – выходил в 1922-1925 гг., в 1926 г. под названием «Новая Россия».

Совслуж – советский служащий.

сменовеховский – от сборника «Смена веж», вышедшего в Праге в 1921 г. и провозгласившего курс на сближение русской эмиграции с Советской Россией.

Ключников Юрий Вениаминович (1886-1938) – историк, журналист, специалист по римскому праву. Эмигрировал, жил в Париже, Берлине. Основатель и редактор ежедневной газеты «Накануне», выходившей в Берлине в 1922-24 гг. В 1923 г. вернулся в СССР, работал в Наркомате иностранных дел. Расстрелян. Посмертно реабилитирован.

Потехин Ю.Н. – принимал участие в сборнике «Смена веж», издатель и редактор (совместно с Ю. Ключниковым) газеты «Накануне».

Морозов Савва Тимофеевич (1862-1905) – предприниматель, меценат, помогал революционерам. Покончил с собой.

Отправившись, по совету Горького, «в люди» – из автобиографии И. Бабеля (1924): «в конце 1916 года попал к Горькому <...> когда выяснилось, что два-три сонных моих юношеских опыта были всего только случайной удачей <...> Алексей Максимович отправил меня в люди». – Бабель И. Сочинения в 2-х т. – Т.1. – М., 1990. – С. 31-32.

Он сказал о Багрицком, что тому не пришлось с революцией ничего в себе ломать, его поэзия была поэзией революции – неточная цитата из воспоминаний Бабеля о Багрицком: «Ему ничего не пришлось ломать в себе, чтобы стать поэтом чекистов, рыбководов, комсомольцев». Опубликовано: Э. Багрицкий: Альманах под ред. Влад. Нарбута. – М., 1936.

Ну куда он, куда он гонится? – строка из поэмы С. Есенина «Сорокоуст» (1920).

Баллада о двадцати шести бакинских комиссарах – правильно: «Баллада о двадцати шести», написана в Баку к шестой годовщине расстрела двадца-

ти шести бакинских комиссаров английскими войсками в 1918 г. близ Красноводска.

письмо матери – «Письмо к матери» (Ты жива еще, моя старушка?) написано в 1924 г., опубликовано: Красная новь. – 1924. – № 3, апрель-май.

Умея познавать, они... много познали – отсюда и мудрость, и горечь – Отсылка к фразе из Экклезиаста: «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость <...> во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» (Экклезиаст, гл. 1).

военные в чине комкоров – командир корпуса.

Сам не знаю, откуда взялась эта боль – строка из поэмы С. Есенина «Черный человек» (1925).

Когда для смертного умолкнет шумный день – строки из стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» (1828).

Брожу ли я вдоль улиц шумных – первая строка из стихотворения А. С. Пушкина «Стансы» (1829).

Черный человек – поэма начата осенью 1923 г., закончена в ноябре 1925 г. «Москва кабацкая» – цикл стихов «Москва кабацкая» написан в 1922-23 гг., одноименный сборник вышел летом 1924 г.

И чей-нибудь уж близок час – строки из стихотворения А. С. Пушкина «Стансы» (Брожу ли я вдоль улиц шумных).

Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли – строка из стихотворения «Годы молодые с забубенной славой» (1924).

о самоубийстве Есенина – С. Есенин покончил с собой 28 декабря 1925 г. в номере гостиницы «Англетер» в Ленинграде.

Экклезиаст (Екклесиаст) – авторство книги традиция приписывает царю Соломону (X в. до н.э.).

о самоубийстве Маяковского... – В. Маяковский покончил с собой 14 апреля 1930 г. в Москве.

Пристли Джон Бойнтон (1894-1984) – английский писатель, драматург. *поставил третий акт впереди второго* – пьеса Д. Пристли «Время и семья Конвей» (1937).

Грибоедов Александр Сергеевич (1795/94-1829) – писатель и дипломат, автор комедии «Горе от ума». Убит в Персии.

Робеспьер Максимилиен (1758-1794) – деятель Великой французской революции, один из руководителей якобинцев. Казнен.

Рассказ «Нефть» – опубликован: «Вечерняя Москва». – 1934. – № 37, 14 февр.

Семь ступеней. Печатается по: Сборник воспоминаний об И. Ильфе и Е. Петрове. – М., 1963. – С. 107-123.

поездке с Ильфом по Беломорканалу – поездка писателей по Беломорканалу состоялась в августе 1933 г. В группе были М. Горький, М. Зощенко, В. Инбер, Вс. Иванов, И. Ильф и Е. Петров, В. Катаев, Л. Славин, А. Толстой, В. Шкловский, А. Эрлих, и др.

Оркестр рогоносцев – в записных книжках И. Ильфа этой фразы нет.

Петров (Катаев) Евгений Петрович (1902-1942) – писатель, брат В. Катаева, соавтор И. Ильфа. Родился в Одессе.

Архангельский Александр Григорьевич (1889-1938) – поэт, автор книги «Пародии» (1927).

Кукрыникисы – коллективный псевдоним художников Куприянова Михаила Васильевича (1903-1991), Крылова Порфирия Никитича (1902-1990), Соколова Николая Александровича (1903-2000).

Мы работали с ним в одной газете – газета ЦК Союза рабочих железнодорожного транспорта «Гудок». Выходила с 1920 г.

в журнале «Прожектор» – сохранилось фото И. Ильфа и С. Гехта с надписью на обороте: «Этот снимок сделан в 1923 году, фотограф ж. „Прожектор” Самсонов, на вышке с/х выставки <...>. Слева – И. Ильф (в макинтоше) – справа я (С. Гехт). И. Ильф и я работали в то время в „Гудке”».

сатирическая «Искра» 60-х – еженедельный сатирический журнал, издавался в Петербурге в 1859-1873 гг. В.С. Курочкиным и Н.А. Степановым. *Сатирикон* – сатирический журнал, выходил в Петербурге с 1908 по 1914 гг. *Аверченко Аркадий Тимофеевич* (1881-1925) – писатель, сотрудник журнала «Сатирикон». Эмигрировал.

протоколы комиссии по расследованию деятельности царских министров – по семейным рассказам, в работе этой комиссии в 1917 г. принимал участие, как фотограф, старший брат Ильфа Александр (Сандро Фазини).

Ютландский бой – сражение английского и немецкого флотов в 1916 г. близ Ютландского полуострова между Северным и Балтийским морями. В записных книжках И. Ильфа 1936-37 гг.: «Раньше, перед сном, являлись успокоительные мысли. Например, выход английского флота, кончившийся Ютландской битвой» (С. 530). Увлеченные рассказы Ильфа об этом сражении вспоминали Е. Петров и К. Паустовский.

Ханжонков Александр Алексеевич (1877-1945) – организатор и руководитель первого российского кинопредприятия (1907).

А. Роом снимал картину «Бухта смерти» – Роом Абрам Матвеевич (1894-1976) – режиссер. Картина «Бухта смерти» (1925) – приключенческо-детективный фильм по рассказу И. Новикова-Прибоя «В бухте „Отрада”». *в Шукинской, сделавшейся потом Музеем новой западной живописи* – ошибка, национализированные в 1918 г. коллекции И.А. Морозова и С.И. Шукина в конце 1923 г. были объединены и получили название Музей нового западного искусства. Экспозиция музея размещалась в двух филиалах. В 1928 г. здание Шукинского филиала по Б. Знаменскому пер. было передано под музей фарфора. Коллекции живописи с декабря 1928 находились в бывшем особняке Морозова на Пречистенке.

который после войны по чьему-то неразумному распоряжению закрыли – Музей нового западного искусства был закрыт в ходе борьбы с «космополитизмом» постановлением № 672 Совета Министров СССР от 6 марта 1948 г., коллекция работ импрессионистов и постимпрессионистов из собраний И.А. Морозова и С.И. Шукина разделена между Музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва) и Эрмитажем (Ленинград).

Некоторые были друзьями Ильфа и считали его знатоком живописи – речь идет о близком друге И. Ильфа Евгении Борисовиче Оксе (1899-1968), художниках Н. Соколике (см. ниже) и М. Перуцком (см. ниже).

с полугодовалой дочкой Сашенькой – дочь Ильфа родилась в 1935 г.

ТАСС – Телеграфное агентство Сов. Союза. Учреждено в 1925 г. при Совете министров СССР (с 1917 по 1925 – Петроградское телегр. агентство).
храм Христа Спасителя – был построен в 1838-1883 гг. в память Отечественной войны 1812 г. Взорван в 1931 г. Сохранились снимки И. Ильфа, сделанные во время взрыва. На месте храма был сооружен бассейн «Москва». Храм восстановлен в 1999 г.

Перуцкий Михаил Семенович (1892-1959) – художник, друг Ильфа.

Соколик Наум Клементьевич (1898-1944) – художник, в 1920-21 гг. в Одессе руководил «Коллективом художниц», членами которого были М. Тарасенко и Г. Адлер.

Фельетон в «Правде» – «Равнодушие». – Правда. – 1932. – 1 дек., № 331.

Михаил Глушков (ум. в 1958) – в 1920-х гг. сотрудник газеты «Гудок»; его называли «королем юмора». Арестован в 1936 г., в 1956 г. вернулся в Москву.

Иван Мизов – адрес Мизова (Таганка, Марксистская, 18, кв. 10) есть в записной книжке И. Ильфа за май 1931 г.

В Мыльниковом переулке на Чистых прудах – Чистые пруды, Мыльников пер., 4, кв. 2а.

разрешила Ильфу и Олеше поселиться в углу печатного отделения типографии – при типографии «Гудка» в Б. Чернышевском переулке, 7, часть пространства была разделена фанерными перегородками для сотрудников, не имеющих жилья. Впоследствии в «12 стульях» описано как Общезитие имени монаха Бертольда Шварца.

брат Миша – Михаил Арнольдович Файнзильберг (Mi-fa, МАФ) (1896-1942) – старший брат Ильфа, художник, фотограф.

брат Ильфа, лежа на <...> матрасе, делал на другой стене наброски углем – этот же эпизод описан у М. Булгакова: «сидел приятель на кровати, рядом с приятелем его жена, а рядом с женой брат приятеля и означенный брат, не вставая с постели, а лишь протянув руку, на противоположной стене рисовал портрет жены». – Булгаков М. Трактат о жилище. – «Я хотел служить народу». Проза. Пьесы. Письма. Образ писателя. – М., 1991. – С. 75.

молодая жена – Ильф и Мария Тарасенко поженились 21 апреля 1924 г.

в плохоньком флигельке в Сретенском переулке – Б. Лубянка, Сретенский пер. д.1, кв 24. Дом снесен в 2003 г.

с Олешей, оба теперь люди семейные – Олеша женился на Ольге Густавовне Суок (1899-1978).

авторские экземпляры – отдельным изданием «Двенадцать стульев» вышли в 1928 г., в издательстве «ЗиФ». В том же году и в том же издательстве вышла «Зависть» Ю. Олеша.

в жилищный кооператив – Ильф переехал в Соймоновский переулок в 1929 г.
Как они украшали газету – с 1932 г. Ильф и Петров работали в отделе литературы и искусства газеты «Правда».

«Чапаев» – фильм снят по повести Д. Фурманова в 1934 г. режиссерами братьями Васильевыми – псевдоним однофамильцев Георгия Николаевича (1899-1946) и Сергея Дмитриевича (1900-1959) Васильевых.

Герман Юрий Павлович (1910-1967) – писатель.

«*Наши знакомые*» – роман написан в 1934-36 гг.

Сергеев-Ценский (Сергеев) Сергей Николаевич (1875-1958) – писатель.

«*Зауряд-полк*» (1934) и «*Массы, машины, стихи*» (Лютая зима) (1936) – романы из эпопеи «Преображение России», действие происходит во время Первой мировой войны.

Петров прочел с трибуны написанную ими речь – Петров выступал 3 апреля на общем собрании московских писателей, проходившем 2-4 апреля 1937 г. в большой аудитории Политехнического музея.

Готовился к поездке на дальний Восток – в июле-сентябре 1937 г. Е. Петров побывал на Дальнем Востоке и опубликовал в «Огоньке» ряд очерков и фотографий.

О Шолом-Алейхеме. Печатается по: Гехт С. Простой рассказ о мертвецах и другие рассказы. – Израиль, 1983. – С. 155-158.

Шолом-Алейхем (*Рабинович Шолом Нахумович*) (1859-1916) – еврейский писатель.

Мулла Насреддин (*Ходжа Насреддин, Наср аль-Дин*) – герой суфийских литературных произведений, ставший фольклорным персонажем стран Ближнего и Среднего Востока и Центральной Азии, острослов и мудрец. *С ярмарки* – автобиографическая повесть Шолом-Алейхема (1915-1916), осталась незаконченной.

Мотл, сын кантора – герой повести «Мальчик Мотл». Первая часть повести печаталась в 1907-1908 гг. Вторая часть осталась незаконченной.

Менахем-Мендель – правильно: Менахем-Мендл (Повесть в письмах). Печаталась с 1892 по 1903 гг.

Тевье-молочник – повесть «Тевье-молочник» состоит из ряда новелл-монологов. Печаталась с 1894 по 1914 гг.

Бальзак Оноре де (1799-1850) – французский писатель, автор эпопеи «Человеческая комедия».

Диккенс Чарльз (1812-1870) – английский писатель.

Теккерей Уильям Мейкпис (1811-1863) – английский писатель, автор романа «Ярмарка тщеславия».

Михоэлс (*Вовси*) *Соломон Михайлович* (1890-1948) – актер, режиссер. Убийство С. Михоэлса было организовано МГБ СССР.

Герои Плевны – осада Плевны русскими войсками с 20 июля по 10 декабря 1877 г. – одно из самых значимых сражений русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

Люди воздуха – люфтменш (идиш), человек без профессии, живущий случайными нетрудовыми доходами.

Ездил с ним в одном купе – очевидно, отсылка к циклу «Железнодорожные рассказы» (Записки коммивояжера), написанном от первого лица.

Переводы

Шестьдесят шесть

Книга Шолом-Алейхема в переводе С. Гехта вышла в 1926 г. в издательстве «ЗИФ».

Рассказ о трех городах. Из книги «Еврейские писатели». Опубликовано под названием «История с тремя городами» в переводе И. Гуревича в собрании сочинений Шолом-Алейхема в 6-ти томах (Т. 6. – М., 1973).

за год «до конституции» – 30(17) октября 1905 г. Николаем II был издан манифест о даровании гражданских свобод.

канун хануки – праздник справляется ежегодно в течение восьми дней в память освящения Иерусалимского храма.

сионисты – сионизм – движение, возникшее в конце XIX века, ставило целью создание еврейского государства в Палестине.

бундисты – от Бунд (союз, иврит), еврейская социал-демократическая партия.

литвак – литовско-белорусский еврей, у украинских и русских евреев вызывал чувство неприязни.

как соединить кобру и ховру – каламбур. Правильно хевра – компания (иврит), то есть змею и компанию.

Вильна – ныне Вильнюс.

Талмуд – Учение, учеба (иврит). Основной свод еврейских законов и толкований к ним.

Забывтое имя. Сокращенный вариант рассказа «Дедушкин отель» из книги «Еврейские писатели». Опубликовано в переводе И. Гуревича в собрании сочинений Шолом-Алейхема (Т. 6. – М., 1973).

Монте-Негро – итальянское название Черногории.

В книгу входил также рассказ «Шестьдесят шесть» из цикла «Железнодорожные рассказы». Опубликовано в переводе И. Масюкова в собрании сочинений Шолом-Алейхема (Т. 3. – М., 1972).

Письма

Отрывки из писем С. Бондарину от 26 мая 1923, 5 января 1928, Э. Багрицкому от 26 мая 1923, Г. Адлер от 15 сентября, 20 и 22 ноября 1923 и письмо от 9 сентября 1923 были впервые опубликованы в журнале «Мигдаль», 2003, № 11. Полностью опубликованы: Яворская А. Письма Семена Гехта в фондах ОЛМ // Дом князя Гагарина: Сб. ст. и публ. – Вып. 3, ч. 2. – Одесса, 2004. – С. 216-258.

Воспоминания о Гехте

Машинопись некролога С. Гехту

Текст был подписан Н. Асеевым, К. Паустовским, В. Гроссманом, Р. Фраерманом, С. Бондариним, Н. Чуковским, С. Липкиным, Э. Миндлиным,

Р. Мораном, Б. Слуцким, Опубликовано в «Литературной газете» 13 июня 1963 без упоминания фамилий, за подписью Президиума правления Московской писательской организации Союза писателей РСФСР. Фраза «он изучил профессию лесоруба, был разносчиком молока в детских яслях, сторожем в парке» при публикации снята. Машинопись хранится в ОЛМ.

Паустовский К. Семен Гехт (некролог). Опубликовано: Лит. газета. – 1963. – 13 июня .

Фразы из некролога К. Паустовский повторит и в приветствии конференции «Литературная Одесса двадцатых годов» (Одесса, 1964), и в повести «Книга скитаний» (1964).

Колычев Осип. Воспоминания об Эдуарде Багрицком. Кружок «Потоки Октября». – 1960-е гг. Москва. Машинопись воспоминаний с авторскими правками хранится в ОЛМ.

Силуэты – журнал «Силуэты: литература, искусство, театр, кино». Выходил в Одессе с 1922 по 1925 г.

Картавый – см. воспоминания М. Розенфельда.

Тарасенко М. «Потоки» (дружеские укоры). Первая публикация: Силуэты, 1923. – № 6-7, март. – С. 18.

Беклин – имеется в виду репродукция модной в начале XX века картины швейцарского художника Арнольда Беклина (1827-1901) «Остров мертвых» (1880).

Розенфельд М. К. Стенограмма воспоминаний о В.В. Маяковском. Печатается по: Маяковский в воспоминаниях современников. – М., 1963. – С. 597.

Семен Олендер. Из письма Сергею Бондарину. Москва, 1 января 1930.

Рукопись хранится в ОЛМ.

Эмилий Миндлин. Константин Паустовский. Печатается по: Миндлин Э. Необыкновенные собеседники. – М., 1968. – С. 380-382.

Будка соловья – правильно «Будка Соловья», по фамилии одного из героев.

Леонов Леонид Максимович (1899-1994) – писатель.

Блестающие облака – роман написан в 1929 г.

Кара-Бугаз – повесть написана в 1932 г.

Юбилей – в 1962 г. отмечалось семидесятилетие со дня рождения К. Паустовского.

Дмитрий Стонов – журналист, писатель, корреспондент газеты «Труд». В 1949 г. был арестован и осужден на 10 лет.

Татьяна Алексеевна – Т. А. Арбузова, с 1949 г. жена К. Паустовского.

Наши достижения – журнал художественного очерка, основанный М. Горьким, выходил в 1926-1936 гг. в Москве.

Эрлих Арон Исаевич (1896-1963) – прозаик, критик. Работал в «Гудке» в 1920-х гг.

Без Гехта даже нельзя представить себе литературную жизнь. – Эту фразу К. Паустовский повторит и в некрологе, и в приветствии конференции «Литературная Одесса двадцатых годов» (Одесса, 1964), и в повести «Книга скитаний».

К. Паустовский. «Четвертая полоса». Печатается по: Паустовский К. Книга скитаний. Собр. соч. в 8-ми т. – Т. 5. – М., 1968. – С. 426-427.

«могучая когорта» – К. Паустовский имеет в виду не столько реальных сотрудников «Четвертой полосы» (в нее входили только И.Ильф и Ю. Олеша), а будущих знаменитых писателей южнорусской школы.

«На вахте» – морская и речная газета. Выходила в Москве с 1924 г.

Иванов Евгений Николаевич, редактор одесской газеты «Моряк» в 1920-21 гг., в 1925 г. редактор газеты «На вахте». Был арестован, сослан. Впоследствии вернулся в Москву, был реабилитирован.

Шульман Эдуард. Опасность, или Поучительная история. Первая публикация: Шульман Э. Опасность или поучительная история. Из архива ФСБ. По материалам одного следственного дела: Тексты и комментарии // Вопросы литературы. – М., 2006. – Март-апр. – С. 262-296. Печатается с сокращениями.

Гехт Семен. Из романа «Вместе». Первая публикация: Гехт С. Вместе // Лит. современник. – Л., 1941. – Январь.

Шерешевский Л. Мой мудрый друг. Первая публикация: Шерешевский Л. Мои литературные институты или пять силуэтов за колючей проволокой // Книж. обозрение. – М., 1989. – № 5 (1183), 3 февр. – С. 8. Печатается по: Шерешевский Л. Мой мудрый друг // Вопросы литературы. – М., 2006. – Март-апр. – С. 286-292.

остарбайтеры – гражданское население оккупированных территорий, утнанное в 1941-44 гг. в Германию на трудовые работы.

Гроссман Василий Семенович (1905-1963) – писатель, автор романа-эпопеи «Жизнь и судьба» (1948-60).

Заболоцкий Николай Алексеевич (1903-1958) – поэт. Был арестован 19 марта 1938 г.

Тихонов Николай Семенович (1896-1979) – поэт.

главный редактор журнала – Н. Тихонов был редактором журнала «Звезда».

Эренбург Илья Григорьевич (1891-1967) – поэт, писатель, общественный деятель.

«Черная книга» – собрание документов об уничтожении евреев на оккупированных территориях и их участии в движении Сопротивления. Вышла в Нью-Йорке в 1946 г. на английском языке, набор русского текста был рассыпан в 1948 г.

Еврейский Антифашистский комитет – ЕАК (1942-1948), организация советских евреев. В него входили деятели еврейской культуры и искусства. Цель комитета – влияние на мировую общественность и организация политической и материальной поддержки СССР за границей. Закрыт в 1948 г. как «центр антисоветской пропаганды».

«ловец человеков» – «идите за Мной и Я сделаю вас ловцами человеков» (Евангелие от Матфея, гл. 4). Здесь – доносчик.

ГАБТ – Государственный академический большой театр

МХАТ – Московский художественный академический театр

Идут на Север срока огромные – строка из варианта зековской песни «Этап на Север – срока огромные».

Мы диалектику учили не по Гегелю – строка из поэмы В. Маяковского «Во весь голос» (1930).

Леонид Осипович Пастернак ... там профессорствовал – Л. О. Пастернак (1862-1945) – живописец и график. Был преподавателем в Училище живописи (1894-1918), и жил с семьей в квартире при училище. В 1921 г. училище был преобразовано во Вхутемас.

Вхутемас – еще школа ваянья – строка из стихотворения Б. Л. Пастернака «Детство».

Катаев запечатлел ту квартиру в «Алмазном венце»... – «...временное жилище недавно вернувшегося с Востока соратника ... все в этой единственной просторной комнате поражало чистотой и порядком. Всюду чувствовалась женская рука» (Катаев В. Алмазный мой венец. – Кишинев, 1986. – С. 382).

Содержание

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ (Письмо К. Паустовского) 5

Алена Яворская. «Грустный Еврейский Художественный Текст» 7

СТИХОТВОРЕНИЯ

«Льют дожди непрерывно...» 35

Порт 36

Перекоп 37

Вавилон 38

Пекарня 39

Роды 40

Бытие 41

Всенощная 43

9 января 44

ИСААК БАБЕЛЬ О ГЕХТЕ

Письмо В. Нарбуту 47

Письмо М. Кольцову 47

«В Одессе каждый юноша...» 48

ОЧЕРКИ

Одесса 51

Уличная Москва (письмо из Москвы) 53

Алешки (письмо) 56

Народный суд 58

Старики (Еврейская беднота на Подолии) 62

Лицом к солнцу 64

КНИГИ

Круговая порука

Круговая порука (Тюремная запись) 69

Рассказы

Марафет 75

Гай-Макан 83

Простой рассказ о мертвецах 87

Абрикосовый самогон 94

Шмаков и Пранайтис

Шмаков и Пранайтис 102

Картина Рембрандта 109

Дочь бакалейщика 114

Ягве 122

Юзеф Шостак 127

Полет за 15 рублей

| | |
|--------------------------|-----|
| Детство Танкова | 134 |
| Медвежье лукавство | 137 |
| Полет за 15 рублей | 141 |

РАССКАЗЫ 1923-1939

| | |
|--|-----|
| Случайная жертва (из ангорских воспоминаний) | 153 |
| Имя женщины | 156 |
| Пятница | 161 |
| Соня Тулупник | 167 |
| Случай на консервной фабрике | 189 |
| Письмо | 196 |

Человек, который забыл свою жизнь. Повесть 205**РАССКАЗЫ И ВОСПОМИНАНИЯ 1958-1963**

| | |
|--|-----|
| Вечера в железнодорожном клубе | 267 |
| В гостях у молодежи | 274 |
| Повидать бы, спросить... .. | 281 |
| У стены Страстного монастыря в летний день 1924 года | 292 |
| Семь ступеней | 303 |
| О Шолом-Алейхеме (к 80-летию со дня рождения) | 314 |

ПЕРЕВОДЫ ИЗ ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА

| | |
|------------------------------|-----|
| Рассказ о трех городах | 319 |
| Забытое имя | 325 |

ПИСЬМА

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Письмо к Марии Тарасенко | 333 |
| Письма к Сергею Бондарину | 334 |
| Письмо к Эдуарду Багрицкому | 336 |
| Письма к Генриетте Адлер | 338 |

ВОСПОМИНАНИЯ О ГЕХТЕ

| | |
|--|-----|
| К. Паустовский. Семен Гехт (некролог) | 351 |
| О. Кольчев. Из воспоминаний об Эдуарде Багрицком. Кружок «Потоки Октября» | 352 |
| М. Тарасенко (О. Кольчев, С. Гехт). «Потоки» (дружеские укоры) | 353 |
| М. Розенфельд | |
| Э. Миндлин. Константин Паустовский | 356 |
| К. Паустовский. «Четвертая полоса» | 360 |
| Э. Шульман. Опасность, или поучительная история | 362 |
| Семен Гехт. Из романа «Вместе» (Опасность) | 382 |
| Л. Шерешевский. Мой мудрый друг | 385 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Книги Семена Гехта | 391 |
| Комментарии | 401 |

Гехт, Семен Григорович
Г Вибране // Упоряд., авт. вступ. ст., комент. О. Л. Яворська. –
Одеса, 2008. – 432 с.: іл.
ISBN

У книзі вперше зібрані ранні вірші, оповідання, нариси та переклади Семена Гехта (1901-1963). Також увійшли листи письменника та спогади його сучасників. Все це дає уявлення про творчість та долю несправедливо забутого письменника.

ББК
УДК

Літературно-художнє видання

Г Е Х Т СЕМЕН ГРИГОРОВИЧ
ВИБРАНЕ

Російською мовою

Упорядник, автор вступної статті та коментарів *Олена Яворська*
Відповідальний редактор *Ольга Барковська*
Технічний редактор *Наталя Луцик*

Надруковано з готового оригінал-макету